Н.А. ТУЧКОВА
ОГАРЕВА

Н.А. ТУЧКОВА
ОГАРЕВА

ВОСПОМИН[illegible]

СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ

Под общей редакцией
С. Н. ГОЛУБОВА, В. В. ГРИГОРЕНКО,
Н. К. ГУДЗИЯ, С. А. МАКАШИНА,
Ю. Г. ОКСМАНА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1959

Н. А. ТУЧКОВА-ОГАРЕВА

ВОСПОМИНАНИЯ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1959

Подготовка текста,
вступительная статья и примечания
В. А. ПУТИНЦЕВА

Оформление художника
Н. ШИШЛОВСКОГО



Н. А. Тучкова-Огарева.
С фотографии, 1870-е гг.

Н. А. ТУЧКОВА-ОГАРЕВА И ЕЕ ЗАПИСКИ

Имя Наталии Алексеевны Тучковой (1829—1913) вошло в сознание русского читателя в связи с биографией Огарева и Герцена. Она прожила большую, трудную, полную значительных событий жизнь. Среди ее друзей и знакомых были десятки поистине замечательных людей, начиная с декабристов и Тургенева и кончая Гарибальди и Гюго, но именно годы близости Тучковой к Огареву и его великому другу до сих пор придают ее облику тот живой интерес, который всегда вызывала она у современников. И книга, которую оставила Тучкова о своей жизни, по-прежнему сохраняет свое выдающееся значение прежде всего как рассказ о славной деятельности Герцена и Огарева, как мемуарный памятник, посвященный важным страницам в истории нашего народа.

С ранних лет условиями своей жизни и воспитания Тучкова была тесно связана с передовыми кругами русского дворянства. Это была та среда, которая дала России декабристов и которая долгое время после поражения восстания, в трудных условиях политической реакции, продолжала питать революционную мысль в стране. Отец Тучковой, А. А. Тучков, в молодости был причастен к движению декабристов, входил в Союз благоденствия и привлекался к следствию по делу о 14 декабря, но от суда и наказания был освобожден. Переехав затем в свое родовое имение Яхонтово, Пензенской губернии, он на протяжении ряда лет продолжал поддерживать дружеские отношения с декабристами и близкими к ним лицами, находился с некоторыми из них в переписке, с другими встречался, как с декабристом Нарышкиным (при его проезде из сибирской ссылки на Кавказ); Нарышкин «очень обрадовался всем нам,— рассказывает Тучкова,— особенно отцу». В другом месте, не вошедшем в окончательный текст записок, вспоминая о своих позднейших встречах с возвратившимися из ссылки декабристами, Тучкова пишет, что они «добродушно, радостно» жали ей с сестрой руки и «говорили с светлой улыбкой: это дети Алексея Алексеевича» *.

* «Русская старина», 1886, кн. X, стр. 152.

По словам Тучковой, отец любил в семейном кругу рассказывать о декабристах, «об их мечтах»; «он вздыхал, вспоминая о них и думая, сколько пользы могли бы принести России эти образованные и высоконравственные люди...» Не удивительно, что в семье Тучковых установился подлинный культ декабристов: «...мы относились, конечно, с детства к ним восторженно»,— признается Наталья Алексеевна в своих записках.

Разумеется, о каком-либо идейном воздействии революционных традиций декабристов на юную, почти девочку, Тучкову говорить не приходится; тем не менее это благоговейное отношение к героям 14 декабря, привитое Тучковым дочери, несомненно сказалось на дальнейшей ее судьбе, в частности на ее сближении с Огаревым.

Огарев был соседом Тучковых по имению. В апреле 1835 года, после ареста и восьмимесячного заключения «по делу о лицах, певших в Москве пасквильные стихи», он прибыл в Пензу в ссылку. Шестилетней девочкой Тучкова видела его в первый раз и даже «играла с ним в шахматы», как вспоминает она в одном из писем 80-х годов*. В своих записках Тучкова рассказывает, как Огарев приезжал к ним с своей молодой женой Марией Львовной, племянницей пензенского губернатора. «Он любил рассуждать с моим отцом, слушать его рассказы о 14-м декабря, о друзьях декабристах». Тучков быстро сблизился с молодым поэтом, Огарев ввел его в круг своих московских друзей. В 40-х годах своим «хорошим знакомым» называл Тучкова Белинский**; Герцен, всегда исключительно дружески относившийся к Тучкову, оставил в дневнике запись о нем, как о «чрезвычайно интересном человеке, с необыкновенно развитым практическим умом». «Еще более интересный потому, что очевидец и долею актер в трагедии следствия по 14 декабря,— актер, как подсудимый, разумеется». И далее, имея в виду свои беседы с Тучковым о декабристах, Герцен писал: «Характеристические подробности! Рассказы об этом времени—наша genesis***, эпопея. Когда-нибудь надобно записать подробности» ****.

Для Герцена и Огарева, восторженных поклонников декабристов, рано осознавших себя преемниками их великого дела, Тучков был живым воплощением этого героического поколения. Глубокое чувство уважения вызывала к себе также его самоотверженная борьба с пензенскими крепостническими кругами. Он был уездным предводителем

---

* «Архив Н. А. и Н. П. Огаревых» , М. 1930, стр. 267.

** В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. XII, М. 1956, стр. 244 (письмо к Д. П. Иванову, 12 апреля 1844 г.).

*** Здесь — история происхождения (*лат.*).

**** А. И. Герцен. Собр. соч.,т. II, М. 1954, стр. 268 (запись от 20 февраля 1843 г.).

дворянства и настойчиво, в условиях постоянных столкновений с местной администрацией, выступал против злоупотреблений помещичьей властью. «Скромная с виду деятельность его,— писала Тучкова,— была полна преданности России и народу» *.

Огарев особенно оценил эту благородную деятельность Тучкова, когда осенью 1846 года, после четырех с лишним лет почти непрерывного пребывания за границей, вновь поселился в своем имении Старое Акшено.

Это было трудное для Огарева время. Незадолго до отъезда из Москвы, на даче Герцена в Соколове, произошел знаменитый разрыв друзей с Грановским и либерально настроенной частью их кружка. Герцен собирался надолго за границу, Огарев оставался совсем один. К тому же, после мучительных раздумий и колебаний, он навсегда расстался со своей женой, оказавшейся глубоко чуждым ему человеком, неразрывно связанным с ненавистным для него миром светской суеты, ложного блеска, пустоты и мелкого успеха...

В семье Тучковых Огарев находил ту атмосферу дружеского участия и взаимного понимания, потребность которой он тогда особенно остро ощущал. Именно в эти приезды Огарева в Яхонтово наметилось сближение поэта с младшей дочерью Тучкова, семнадцатилетней Наташей. «Я полюбил ее страстно, но никогда не говорил ей об этом,— писал впоследствии Огарев.— Она меня тоже любила, я едва смел замечать это. Поездка их за границу не рассеяла нашей взаимной, но скрытой любви» **.

Тучковы выехали из России в конце лета 1847 года. Страницы воспоминаний Тучковой, посвященные первым впечатлениям от Западной Европы, охваченной предчувствием революционной грозы 1848 года, выразительно рисуют образ юной подруги Огарева. С романтической восторженностью смотрит она на открывающиеся перед ней страны и города, на толпы оживленного, возбужденного народа, заполнявшего незнакомые ей площади и улицы. Особенно сильное впечатление оставила яркая, бурная жизнь Рима, картины всеобщего народного подъема в эти дни «пробуждения Италии», поднявшейся в едином порыве на защиту своей независимости и свободы. Необычайно волнует ее, почти постоянно проживавшую до этого в русском провинциальном захолустье, «дикарку», как она называла себя, зрелище народных демонстраций. И молодая Тучкова находит свое место впереди длинной колонны, с тяжелым знаменем в руках; «мне было очень грустно с ним расставаться,— вспоминает она,— я несла итальянское знамя с такою гордостью, с таким восторгом». На всю жизнь запечатлелась в ее памяти

---

* «Русская старина», 1886, кн. X, стр. 153.

** Я. З. Черняк. Огарев, Некрасов, Герцен, Чернышевский в споре об огаревском наследстве, М.— Л. 1933, стр. 450.

встреча народа Рима в Колизее с своим любимым трибуном Чичероваккио. «В эти дни всеобщего возбуждения мы не знали никакого отдыха и были по целым дням на ногах...» Живая, впечатлительная натура девушки, тот молодой пафос, с которым она наблюдала, как на ее глазах «создавалась всемирная история», привлекали к себе общее внимание и симпатию.

В Италии Тучковы встретились с семейством Герцена. С автором «Кто виноват?» Тучкова была знакома еще с начала 40-х годов, когда в Москве он посещал ее отца и читал ему отрывки из своего романа. «Помню, как мы в полукоротких платьях, в черном фартучке, — писала Тучкова Герцену в середине 60-х годов,— заслыша стук твоих дрожек, говорили: «Ах, это Герцен — верно, читать папа». И быстро бежали мы наверх, хотя знали, что уйдем, как ты взойдешь, но так что-то влекло встретиться глазами, сконфузиться и убежать»*. Прошло всего несколько лет, но в Риме Герцен нашел уже не девочку, а наблюдательного и интересного спутника в общих поездках по городу и по стране. «С того дня, как мы встретились с Герценами,—пишет Тучкова,— мы стали неразлучны, осматривали вместе все примечательное в Риме... и каждый вечер проводили у них...» Особенно полюбила Тучкову жена Герцена, Наталья Александровна. «На меня бесконечно хорошее влияние имела встреча с молодыми Тучковыми и близость с ними, особенно с Натали,— писала она в Россию из Рима в марте 1848 года,— богатая натура, и что за развитие!»** Ей, своей «Консуэле», Наталья Александровна завещала в случае своей смерти воспитание детей.

Редкую для молодой девушки отвагу, независимые черты характера проявила Тучкова в дни пребывания в Париже—городе, в котором она стала свидетелем острых классовых битв. Достаточно вспомнить описание того, как она одна пыталась дойти до баррикад в предместье св. Антония («Эпизод из нашей жизни в Париже»), или ее впечатления от Марсельезы во время многотысячной демонстрации рабочего Парижа: «Я никогда не слыхала ничего подобного; всякий, кто слышал Марсельезу, может себе представить, как она должна была глубоко потрясти присутствовавших, исполненная семнадцатью тысячами голосов и при такой обстановке: рабочие шли голодные, унылые, мрачные...» Тучкова не в силах разобраться в противоречиях политической борьбы во Франции, в истоках поражения революционного восстания народа, но все ее симпатии на той стороне баррикад, где люди труда выступали против голода, нищеты и бесправия. Как заметил еще цензор при публикации записок Тучковой (1890), она «относится с величайшей симпатией

---

* «Русские пропилеи», т. IV, М. 1917, стр. 292.

** «Литературное наследство», т.63, стр. 378 (письмо к Т. А. Астраковой, 14 марта 1848 г.).

к этому революционному движению и с негодованием клеймит людей порядка в Западной Европе».

За это ликование при виде революционного народа, за эту горечь от неудач борьбы Огарев спустя несколько месяцев напишет Тучковой взволнованные строки: «Я еще в жизни никогда не чувствовал, что есть женщина, которая с наслаждением умрет со мной на баррикаде! Как это хорошо!» *

Вскоре после возвращения в Россию Тучкова стала женой Огарева. Это был смелый при сложившихся условиях поступок, потребовавший от нее немало нравственной силы и стойкости. Дело в том, что первая жена Огарева, проживавшая тогда в Париже, решительно отказала ему в официальном разводе; напрасным было и посредничество Герцена и участие общих друзей, для встречи с которыми Огарев даже выезжал в Петербург. Больше того, Мария Львовна начала судебное преследование Огарева по крупному денежному иску-векселю, ранее выданному ей мужем. Для поэта и Тучковой создалось крайне тяжелое положение. В обстановке, когда каждый день приносил усиление реакции, когда в России начиналась глухая пора «мрачного семилетия», гражданский брак такой личности, как Огарев, становился политически опасным шагом.

Союз поэта с Тучковой вызвал осуждение со стороны его недавних друзей. Когда жалобы московских доктринеров на Огарева дошли до Герцена, он гневно назвал их «старчеством» и «резонерством»; «...вы заживо соборуетесь маслом и делаетесь нетерпимыми, не хуже наших врагов,— возмущенно писал Герцен.— ...Отбросьте эту дрянь, отбросьте вашу безутешную мораль, которая вам не к лицу, это — начало консерватизма...» ** Твердая поддержка Герцена и его жены на протяжении всего этого тревожного времени была особенно дорога для Огарева и Наталии Алексеевны, ведь даже Тучков, при всем своем свободомыслии, не мог примириться с «невозможностью легального брака» дочери. «Он много пошел назад с тех пор, как воротился из чужих краев»,— писала Тучкова весной 1849 года семейству Герцена ***.

Положение особенно обострилось после того, как в апреле 1849 года был разгромлен кружок Петрашевского, с некоторыми участниками которого Огарев был лично знаком. Поэт находился тогда с Тучковой как раз в Петербурге, и над ним нависла реальная угроза ареста.

---

* «Русские пропилеи», т. IV, стр. 80 (письмо к Н. А. Тучковой, 9 января 1849 г.).

** А. И. Герцен. Полн. собр. соч. и писем под ред. М. К. Лемке, т. VI, стр. 155—156 (письмо к Т. Н. Грановскому, Н. Х. Кетчеру, Е. Ф. Коршу и др., 2 февраля 1851 г.).

*** «Русские пропилеи», т. IV, стр. 88.

У Огарева созревает план тайного бегства из России. В начале лета 1849 года он и Тучкова приехали в Одессу — с тем чтобы договориться с капитаном какого-нибудь иностранного корабля и уехать за границу. Но эта попытка закончилась неудачно. «В Константинополь я сбирался съездить, да обстоятельства заставили раздумать»,— осторожно сообщает он Герцену *.

Однако возвращаться домой было опасно: волна арестов продолжала катиться по стране. Огарев и Тучкова проводят лето в Крыму, в глухом местечке, недалеко от Ялты, и уезжают оттуда только в сентябре. По приезде в имение за поэтом был установлен секретный полицейский надзор. В Третье отделение поступили доносы на Огарева, Тучкова и мужа его старшей дочери Сатина, близкого друга Огарева еще со студенческой поры; их обвиняли в создании «коммунистической секты», «вольнодумии», «безнравственности». В феврале 1850 года, «во исполнение высочайшего повеления», было предписано произвести у них обыски и доставить всех троих в Петербург.

Тучкова во всех событиях этих трудных дней вновь показала себя способной на мужественные и решительные действия. Она оказалась достойной подругой Огарева. Именно ей он был обязан тем, что, находясь тогда в Симбирске, за несколько часов до приезда жандармов узнал о предстоящем аресте и, видимо, успел подготовиться к обыску,— во всяком случае, ничего предосудительного в его бумагах обнаружено не было. Тучкова последовала за арестованными в Петербург и деятельно хлопотала об их освобождении. Мысль о ее «ложном положении» в глазах общества не останавливала двадцатилетнюю женщину, не раз слыхавшую от отца рассказы о подвиге декабристок. Несколько позднее, в посвященном Тучковой стихотворении, Огарев обратил к ней замечательные строки:

На наш союз, святой и вольный,
Я знаю — с злобою тупой
Взирает свет самодовольный,
Бродя обычной колеей.

Грозой нам веет с небосклона!
Уже не раз терпела ты
И кару дряхлого закона
И кару пошлой клеветы.

С улыбкой грустного презренья
Мы вступим в долгую борьбу,
И твердо вытерпим гоненья,
И отстоим свою судьбу...

---

* «Литературное наследство», т. 61, стр. 792 (письмо от 23 августа 1849 г.).

Следствие, которое вела особая комиссия во главе с Дубельтом, не подтвердило обвинения в «коммунизме». В середине марта арестованные были освобождены с оставлением под строгим надзором полиции. Огарев и Тучкова переехали в Симбирскую губернию на Тальскую писчебумажную фабрику, купленную поэтом еще в 1848 году.

Об этом периоде их жизни сохранились крайне скудные сведения, но несомненно, что именно тогда в сознании и характере Тучковой произошел глубокий перелом. Жизнь с Огаревым не принесла ей полного удовлетворения: «...мои мечты не сбылись, я не нашла того счастья, которого жаждала моя душа»,— вспоминала Тучкова *. Позднее она упрекала в этом Огарева — за равнодушие к ее одиночеству,— но, быть может, в начинавшейся тогда трагедии всей жизни Тучковой больше всех была повинна она сама. В тяжелых условиях общественной и личной жизни, которые сложились для нее в эти годы вынужденного затворничества с Огаревым на фабрике, Тучкова не смогла понять и разделить ни революционных исканий поэта, ни его хозяйственных начинаний, полных утопических надежд на преобразование всего строя жизни крепостной деревни. Она замкнулась в узком кругу семейных интересов, мелких вопросов личной жизни и больше не нашла в себе силы выйти из него — ни тогда, на Тальской фабрике, ни позднее, когда в Лондоне связала свою судьбу с Герценом. Жизнь сломила ее, когда восторженные увлечения молодости сменились тягостными буднями, воспринимавшимися ею как полуссылка. Драмой жизни Тучковой стало отсутствие подлинно живого интереса к общественному делу, составлявшему смысл существования и деятельности как для Огарева, так и для Герцена; с этих пор легла на нее, по словам самой Тучковой, та «печать проклятия», которая внесла столько горечи в позднейшую жизнь лондонских изгнанников.

Огарев тем временем всеми силами стремился вырваться из России — «туда — к свободным берегам». «Только одна мысль: к вам! — жива, как и прежде, уцелела от общего разгрома!» — писал он Герцену в конце 1850 года. Особенно сильно это стремление присоединиться за границей к Герцену стало после получения тяжелого известия о смерти Н. А. Герцен. В неопубликованном письме к Сатину от 14 января 1853 года Огарев писал: «Имел я *голос издалека*, голос измученный, кричащий от боли и призывающий. Думать нечего, мешкать нечего. Сожгу мосты за собою, а там что бы ни случилось,— я на все готов и не пожалею ни сил, ни жизни» (Отдел рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина).

Немногие письма Огарева, сохранившиеся от начала 50-х годов, полны тоски и глухого отчаяния от бессилия перед жизнью. Но он не

* «Архив Н. А. и Н. П. Огаревых», стр. 258.

уходил от борьбы в личную жизнь, а, напротив, всегда хотел опереться в своей борьбе на любовь и дружбу близких ему людей. Тучкова этого не могла и не хотела понять.

Смерть М. Л. Огаревой в 1853 году позволила Огареву и Тучковой оформить брак. В начале 1856 года, в условиях общественного оживления, вызванного смертью Николая I, им удалось получить заграничный паспорт — «для излечения болезни» Огарева. Но вместо Гастейнских минеральных вод в северной Италии они проследовали к Герцену, в Лондон...

Тучкова стала свидетельницей замечательной деятельности Герцена и Огарева — создателей вольной русской печати за границей. Их дом в Лондоне, начиная со второй половины 50-х годов, был одним из центров русского освободительного движения; невидимыми нитями издатели «Колокола» были связаны с самыми разнообразными кругами передового русского общества. Ни преследования царских властей, ни клеветнические измышления реакционной печати, ни цензурные кордоны не могли остановить живого общения Герцена и Огарева с передовой литературой и журналистикой, русской революционной молодежью, пестрой массой читателей.

Паломничество к Герцену в период расцвета «Колокола» и других изданий Вольной русской типографии охватило весьма широкие слои в России. В воспоминаниях Тучковой эта сторона жизни Герцена запечатлена особенно полно. Галерея выдающихся людей своего времени, прославленных писателей, художников, общественных и революционных деятелей проходит перед читателем. Здесь и Лев Толстой, и Тургенев, и Чернышевский, и Александр Иванов, и Марко-Вовчок, и братья Серно-Соловьевичи, и Сергей Боткин, здесь и крупнейшие представители западноевропейской эмиграции. «Иногда приезжали русские студенты, ехавшие учиться в Германию. Не зная ни слова по-английски, они ехали в Лондон дня на два нарочно, чтобы пожать руки издателям «Колокола»... Тут были и люди, сочувствовавшие убеждениям двух друзей хоть отчасти... но были и такие, которые приезжали только из подражания другим».

На правах хозяйки Тучкова близко стояла ко всей жизни дома Герцена — Огарева. В первые годы после приезда в Лондон она интересовалась и вольными изданиями друзей; известно, например, что именно Тучкова готовила переиздание листов «Колокола» за 1857—1858 годы. Но общественный смысл деятельности Герцена и Огарева, их революционная программа ею никогда не были поняты. Политические взгляды Тучковой не выходили за пределы умеренно-либеральных воззрений. Чего стоит, например, ее наивное утверждение в записках, что «в начале царствования Александра II не было никаких преследований за политический образ мыслей»! В самом «Колоколе» она могла про-

честь о многих гонениях, которым подвергалась в России революционная мысль при новом самодержце. Но Тучкова с каждым годом становилась все дальше и дальше от той борьбы, которую вели за освобождение родного народа Герцен и Огарев.

Развязка в ее личных отношениях с Огаревым последовала неожиданно быстро — в Лондоне она стала женою Герцена. Позднее Тучкова признавалась, что сильное чувство к Герцену возникло у нее еще в дни первого пребывания за границей. Но союз их не дал радости ни Герцену, ни самой Тучковой. Следует заметить, что воспоминания Тучковой, написанные для печати и опубликованные в русских журналах еще в 80—90-х годах, лишь в небольшой степени могли касаться вопросов ее личной жизни, тех сложных внутренних отношений, которые внесла Тучкова в семью Герцена. Отдельные намеки, разбросанные на страницах последних глав записок, далеко не раскрывали тяжелой, тревожной обстановки в семейной жизни Герцена 60-х годов, так ярко отразившейся в его переписке тех лет с Тучковой, Огаревым, старшими детьми.

Герцен скоро понял свою ошибку. Тучкова восстановила против себя его детей, и они отнеслись к ней недружелюбно, иногда и просто враждебно. Положение усложнял невыдержанный, эгоистический и резкий характер Натальи Алексеевны. Приходилось создавать семью заново, и на этом пути Герцена ждали мучительные испытания. Особенно тяжело было ему видеть, как страдал Огарев. Правда, связывающие их дружеские чувства ничем нельзя было омрачить. «Что любовь моя к тебе так же действительна теперь, как на Воробьевых горах, в этом я не сомневаюсь...» — писал Огарев своему другу в 1861 году *. Но Герцен с тревогой наблюдал, каких больших усилий стоило Огареву оправиться от перенесенных им волнений. Пугала Герцена и близость друга с простой английской девушкой Мери Сетерленд, в 1859 году случайно встреченной Огаревым на лондонском «дне»; неоднократно он пишет об этом Тучковой. В действительности же искренняя и нежная привязанность к своей новой подруге была окрашена у Огарева глубоким, светлым и благодарным чувством. Мери Сетерленд стала верной, доброй и заботливой спутницей поэта на протяжении почти двадцати лет — до последних дней его жизни...

Тучкова вновь, как десятилетие назад, оказалась в сложном, болезненно раздражавшем ее положении. Сложившиеся в семье отношения приходилось держать в тайне от всех,— дети Тучковой и Герцена — дочь Лиза, близнецы Елена и Алексей — считались детьми Огарева. Мучительная напряженность в личной жизни, неудовлетворенность семейным бытом, который никак не походил на счастье у домашнего очага, давно рисовавшееся ей в мечтах, повседневные укоры самой себе

---

* «Русские пропилеи», т. IV, стр. 264.

за Огарева, сложные взаимоотношения с детьми Герцена и окружающими — создавали невыносимо тягостную обстановку для молодой женщины,—ведь Тучковой в 1859 году исполнилось всего тридцать лет. И хотя эту тягостную обстановку она сама постоянно усложняла всем своим поведением, невольно кажется, что Тучкова была скорее жертвой своей неудачно сложившейся жизни. Недаром старшая дочь Герцена, Наталья Александровна, много лет спустя, когда Тучковой уже не было в живых, писала, что о ее роли в жизни Герцена «нужно писать с осторожностью»: «Нужно помнить, что она очень страдала и что все-таки ей были присущи и хорошие стороны» *.

Тяжелым ударом для нее явилась смерть в 1864 году обоих близнецов. Потеряв душевное равновесие, она с маленькой Лизой мечется по городам Западной Европы, терзая Герцена постоянной угрозой увезти дочь в Россию. «Я люблю Лизиного отца,— писала Тучкова сестре на родину в декабре 1865 года,— но многое, тяжелое лежит между нами, мы не можем вместе жить. На его месте я бы отпустила нас к вам, но он думает иначе» **.

Дальнейшая судьба Тучковой сложилась поистине трагично. В 1870 году не стало Герцена, через несколько лет неожиданно кончает с собой семнадцатилетняя Лиза; в далеком Гринвиче, на руках ненавистной для Тучковой женщины, умирал Огарев... Она решает возвратиться на родину, к отцу, в Яхонтово, и летом 1876 года, после двадцати лет жизни за рубежом, вновь переезжает русскую границу. Тучковой всего сорок семь лет, но казалось, жизнь закончена,— так много мучительно тяжелого было пережито ею; она чувствует себя, как при наступлении глубокой старости. Все в прошлом, и в то же время впереди еще более тридцати семи холодных, одиноких, старческих лет.

Все эти годы Тучкова жила воспоминаниями, «жила с мертвыми», как выразилась она однажды*** †. Порой, по старой привычке, отрывочно и без всякой цели, она записывала, что сохранила память о далеком прошлом, но записывала для одной себя и больше всего — о самых страшных, самых тяжелых пережитых мгновениях. В этих записях было больше болезненного самобичевания, чем рассказа о своей жизни. Написать свои мемуары для широкого круга читателей Тучкову убедила старый друг и дальняя родственница Герцена Т. П. Пассек, та самая «корчевская кузина», о которой когда-то было рассказано им на страницах «Былого и дум».

Пассек в середине 80-х годов работала над новым, третьим томом известных воспоминаний «Из дальних лет». С исключительной настой-

---

* «Литературное наследство», т. 63, стр. 841.

** «Архив Н. А. и Н. П. Огаревых», стр. 34.

*** † Там же, стр. 292.

чивостью она толкала Тучкову на описание отдельных эпизодов для будущей книги, связанных с Герценом и Огаревым, присылала для нее настоящие программы глав и разделов записок. Вспоминая об этом, Тучкова писала в некрологе Т. П. Пассек: «Мало-помалу Татьяна Петровна заставила меня набросать для нее отрывки из моих воспоминаний... «Попробуй писать,— писала мне Татьяна Петровна,— тебе легче будет, это своего рода жизнь, все воскресает, порой катится слеза, порой светится улыбка. Не дивись, что в семьдесят пять лет работаю,— в работе жизнь, а без дела пропадешь,— так и стала писать». И она была права: как будто переживая прошлое, я стала спокойнее, терпеливее жить в ожидании конца...» *

Несколько отрывков из воспоминаний Тучковой были напечатаны в составе записок Пассек. Но Тучкова продолжала работать над мемуарами дальше; вместо отдельных, случайных эпизодов она решила в связном повествовании рассказать о своей жизни до последнего возвращения в Россию. В 1890 году ее записки в этом полном виде начали печататься в «Русской старине».

Первые же главы мемуаров, посвященные жизни различных кругов русского дворянства, начиная с конца XVIII века, привлекли внимание читателей своими красочными характеристиками помещичьего быта, яркими образами как передовых дворян, вроде Г. А. Римского-Корсакова и галереи Тучковых, так и усадебных самодуров и крепостников. Еще большее значение имели страницы воспоминаний, на которых Тучкова обращалась к рассказу об Огареве и Герцене. Записки часто впервые знакомили читателя 80—90-х годов с неизвестными ему сторонами их жизни и деятельности. Во многих случаях они до настоящего времени остаются единственным источником наших сведений о семейном быте Герцена и Огарева, о тех или иных их встречах и знакомствах, преимущественно в период лондонской жизни. Записки рассказывали о постоянной и живой связи создателей вольной русской прессы с передовыми общественными кругами на родине и в странах Западной Европы. Правда, мемуары были серьезно ограничены в этом отношении цензурными требованиями, необходимостью умалчивать о важных сторонах политической деятельности Герцена и Огарева; известно, что многие страницы записок были в печати подвергнуты цензурным искажениям. Изъятие наиболее резких, по мнению С.-Петербургского цензурного комитета, мест производилось в «Русской старине» даже после того, как очередной выпуск журнала был отпечатан; так, десятая книга журнала за 1890 год была задержана по специальному докладу цензора, который в первых же главах записок Тучковой усмотрел «злостную клевету на Россию и правительственную власть 40-х и 50-х годов ради

* «Русская старина», 1889, кн. VII, стр. 188.

тенденциозного желания выставить в наиболее благоприятном свете Герцена и Огарева и весь их кружок...» Некоторые места текста, избежавшие цензурной расправы при журнальных публикациях записок, были опущены в отдельном издании 1903 года. При этом Московский цензурный комитет настаивал на мерах, которые ограничивали бы дальнейшее распространение книги,— на ее изъятии из обращения в публичных библиотеках и общественных читальнях, из продажи на улицах и площадях и т. п. Цензурные власти с тревогой почувствовали ту силу общественного интереса, которую вызвал к себе рассказ Тучковой, казалось, о далеком историческом прошлом.

Тучкова, конечно, не обладала пониманием исторического содержания наблюдаемых ею явлений жизни, событий, лиц; в ее записках исторически важное и существенное часто оттесняется незначительными, случайными эпизодами, даже нарушающими последовательность рассказа. При подготовке отдельного издания мемуаров некоторые из этих эпизодов были опущены, однако само освещение важнейших исторических событий осталось без каких-либо изменений и дополнений. Немало в ее оценках поверхностных суждений и просто предвзятости, как, например, в описании так называемой «молодой эмиграции» 60-х годов; совершенно превратное толкование, прямо противоположное действительному развитию событий, получила роль Н. А. Герцен в отношениях с Нечаевым и его окружением (глава «1871 год»). Другие ошибки вызваны явными промахами памяти — спустя несколько десятилетий после описываемого времени мемуаристка легко могла забыть продолжительность своего пребывания в Крыму в 1849 году (глава VI) или включить в беседу со Львом Толстым в доме Герцена... отсутствовавшего тогда в Лондоне Тургенева (глава XI).

Однако при всех своих пробелах, известной узости и односторонности в освещении событий, фактических неточностях и ошибках воспоминания Н. А. Тучковой-Огаревой позволяют современному читателю глубже понять условия, в которых проходила жизнь и революционная борьба двух крупнейших деятелей русского освободительного движения. Ее записки давно получили заслуженную популярность среди произведений русской мемуарной литературы XIX века.

Вл. Путинцев.

ВОСПОМИНАНИЯ

ГЛАВА I

Мой дед Алексей Алексеевич Тучков.— Бабушка Каролина Ивановская.— Братья деда.— Затеи деда.— Гостеприимство.— Генерал Торкель.— Столкновение с генералом Нейдгардтом.— Заботы дедушки о воспитании детей.— Мой дед по матери А. С. Жемчужников.— Разорение деда.— Арест.— Переезд семьи в село Яхонтово.

Решившись писать свои записки, я начну с того, что слышала от своего деда, генерал-майора Алексея Алексеевича Тучкова; но прежде скажу два слова о его наружности. Мой дед не был красив собою: среднего роста, широкоплечий, с крупными чертами лица и довольно длинным носом; но его голубые глаза выражали такую приветливость и доброту, что нельзя было не полюбить его, и действительно, он был бесконечно любим всеми знавшими его.

Он воспитывался сначала у какого-то немецкого пастора, которому дворяне отдавали своих детей для обучения немецкому языку, бывшему в моде после Петра Великого; по-французски дед говорил очень плохо; позже его поместили в Пажеский корпус.

Пажи представлялись императрице; на одном из придворных балов дед мой, еще юношею, удостоился чести танцевать с Екатериною II. Он никогда не забывал этого события, любил вспоминать о необыкновенной красоте Екатерины, об ее милостивых словах, обращенных к нему; всю жизнь оставался ее пламенным поклонником, изумлялся ее гению, ее знанию людей и снисходительности к ним и отсутствию в ней злопамятности. Хотя и встречаются, быть может, ошибки в ее царствовании, но дед положительно отрицал их; любовь к императрице и к отечеству слилась в

его душе в одно прочное и глубокое чувство, которое осталось непоколебимым всю жизнь и с которым он скончался.

В 1792 или 1793 году, находясь с полком в Вильно, дед мой прельстился необыкновенною красотою и умом Каролины Ивановны Ивановской и женился на ней; в 1794 году родилась у них старшая дочь, Мария Алексеевна Тучкова. Появление ее было встречено с необыкновенною радостью; в то время семейство деда жило роскошно: новорожденную купали в серебряной ванне. Карамзин приветствовал ее рождение следующими стихами:

В сей день тебя любовь на свет произвела,
Красою света быть, владеть людей сердцами,
Осыпала тебя приятностей цветами,
Сказала: «Будь мила!..»
«Будь счастлива!» — сказать богиня не могла!

Н. Карамзин.

4 декабря 1794 г
Москва[1]

Когда не стало Екатерины, все изменилось; дворянство трепетало перед императором Павлом; хотя государю случалось миловать за дурные поступки, но бывало и наоборот, и потому нельзя было рассчитать или предугадать последствия каждого ничтожного слова, которое могло не понравиться императору. В те времена служба для дворян была почти обязательна. Тучковых было пять братьев, и все они служили в военной службе. Старший Николай, любимец матери, смертельно раненный под Бородином, скончался через шесть недель после этого сражения[2], вторым был мой дед; третий, Сергей, служил в 1812 году у адмирала Чичагова. После бегства адмирала, который боялся потерпеть от жестокой клеветы, Сергей Алексеевич был судим в продолжение 12 лет восемью комиссиями, из коих ни одна не признала его виновным; наконец император Николай Павлович, вступивший уже на престол, повелел закрыть последнюю комиссию и признал Сергея Тучкова не виновным. Последний из братьев был, мне кажется, замечательнее остальных; он занимался, в ту младенческую эпоху нашей литературы, переводами классических трагиков: Корнеля, Расина; переводил также и Вольтера[3], занимался химиею и оставил записки, которые были помещены М. П. Тучковым в журнале «Век»; но издание этого журнала было приостановлено, и поэтому о дальнейшей судьбе этих записок мне ничего не известно[4].

Известный магнат и богач, Зорич, так полюбил Сергея Алексеевича Тучкова, что хотел выдать за него свою единственную дочь и давал ей приданое двенадцать тысяч душ, с условием, чтобы Сергей Алексеевич жил всегда при нем; но тот на это не согласился. «Моя свобода не имеет цены»,— говорил он. Впоследствии дочь Зорича, о которой идет речь, была выдана без такого богатого приданого, кажется, за офицера Григория Баранова; у нее родилась дочь Варвара, которая получила от матери большое имение и осталась при отце; мать же ее, Наталия Ивановна Баранова, была увезена Сергеем Алексеевичем Тучковым, который женился на ней при жизни Баранова. Я слышала это от моего отца и сама знавала уже немолодую Варвару Григорьевну Баранову, по мужу Г... Она вышла впоследствии за Александра Григорьевича Г., была уже вдовою в то время, как я ее знала, и бывала у нас, не считая нашу семью посторонней.

Четвертого Тучкова звали Павлом Алексеевичем; после 1812 года он находился некоторое время в плену во Франции, а по возвращении в отечество перешел в гражданскую службу и был членом Государственного совета и председателем комиссии прошений. Наконец пятый Тучков, Александр Алексеевич, пал в Бородинском сражении; молодая его вдова Маргарита Михайловна, урожденная Нарышкина, впоследствии основала Спасо-Бородинский монастырь, где и была настоятельницей до своей смерти.

Вспоминая о всех братьях моего деда, я отдалилась от своего рассказа, к которому теперь возвращаюсь[5].

В 1797 году моя прабабушка жила в Москве, с больным мужем и двумя незамужними дочерьми; желая находиться при матери, в то время уже престарелой, дед мой решился проситься в отставку. Излагая причины, побудившие его к этой просьбе, дед повергал на милостивое благоусмотрение императора Павла Петровича — которому из братьев дать отставку; но, как известно, и таковую просьбу было не совсем безопасно подавать императору Павлу I, и за нее можно было подвергнуться ссылке в отдаленную губернию и на неопределенный срок.

Наконец дед был успокоен получением отставки, за которую он благодарил государя и просил дозволения представиться лично в Гатчину для принесения благодарности. На эту просьбу последовала официальная бумага следующего содержания, которая хранится у нас:

«*Гатчино, сентября 23 дня 1797 г.*

Государь император соизволил указать объявить вашему превосходительству, что он, принимая благодарность вашу, избавляет вас от труда приезжать в Гатчино. Генерал-адъютант *Ростопчин*».

При этом находится на имя деда подорожная, которая обратила мое внимание только потому, что она подписана наследником престола Александром, а внизу подписал «генерал-майор, государственной военной коллегии член, с.-петербургский комендант и кавалер, князь Долгорукой, 10 февраля 1798 г.», т. е. четыре месяца после получения дедом отставки.

По преданию нашей семьи, император Павел, рассердясь на моего деда за его просьбу об отставке, выслал его из Петербурга...[6]

В царствование императора Александра I дворянство дышало свободнее, но вскоре явился Аракчеев, гонитель многих честных личностей и между прочим Тучковых. По его проискам их постоянно обходили производством и наградами, несмотря на то, что в 1812 году двое из братьев деда обагрили своею кровью Бородинское поле, защищая отечество. Упомянув о 1812 годе, скажу кстати, что отец передавал мне не раз, как он с младшим братом играл ружьями, брошенными солдатами французами в поле, близ сада. Они жили в деревне, недалеко от смоленской дороги; когда проводили пленных, которые кричали: «Du pain, du pain»*— тогда бабушка выходила им навстречу с детьми и оделяла их хлебом, даже белым, нарочно испеченным для подаяния пленным.

Дед был чисто русская, широкая натура; он был богат не столько по наследству, сколько по счастливой игре в карты, к которым питал большую страсть,— это был единственный его недостаток. Он был страстный поклонник и знаток живописи и архитектуры; к последней имел даже истинное призвание; в своих деревнях и в подмосковном имении он строил дома, оранжереи, разбивал великолепные сады, на которые приезжали любоваться знакомые; но когда все было доведено до возможного совершенства, он скучал и начинал мечтать о новой артистической работе, и нередко продавал устроенное имение в убыток; покупал

* «Хлеба, хлеба» (*франц.*).

новое и с жаром принимался за его устройство. Садовник деда, немец Андрей Иванович Гох, очень жалел великолепные сады и, покачивая головою, принимался разбивать новые; он всею душою был предан деду.

В Москве дед Алексей Алексеевич также перестраивал свои дома до основания, оставляя одни капитальные стены. В доме, купленном у кн. Потемкина, он устроил для картинной галереи, которую имел уже несколько лет, освещение сверху, которым все знакомые восхищались; его картинная галерея, замечательная для того времени, заключала несколько ценных оригиналов итальянской и фламандской школы и много хороших копий с картин этих двух школ.

В доме деда жили постоянно разные посторонние лица: друзья, товарищи его по военной службе, даже просто знакомые, находившиеся в стесненных обстоятельствах; преследуемый властями, полковник Татаринов прожил у деда десятки лет; о нем сохранилась у нас официальная бумага, свидетельствующая об участии к нему деда.

«*Февраля 4-го дня 1803 года.*

Милостивый государь мой, Алексей Алексеевич!—говорится в этой бумаге,— по письму вашего превосходительства, об отставном полковнике Татаринове, я имел счастие докладывать государю императору. Его величество высочайше повелеть соизволил: Татаринову назначить место для житья в котором-нибудь из уездных городов Московской губернии.

Сообщив о сей монаршей воле, для исполнения, г. московскому военному губернатору, честь имею вас, милостивый государь мой, об оной уведомить. Пребываю с истинным почтением, м. г. мой, вашего превосходительства покорнейший слуга князь *Лопухин*».

Генерал-майор Торкель прожил у деда 30 лет и после разорения Тучковых переехал с ними в Яхонтово, где я помню его с детства и где он скончался в 1839 году.

Детей своих дед воспитывал по тому времени замечательно: сначала у них были всевозможные учителя, потом сыновья его учились в школе колонновожатых старика Муравьева, которого молодежь чрезвычайно любила и уважала. Это было замечательное и лучшее в то время учебное заведение, в котором отец мой не только усвоил знание высшей математики, но и развил преподавательский талант, кото-

рый впоследствии был ему очень полезен для нас и для его школы крестьянских детей. Окончив курс в школе, отец мой вступил в Московский университет, а впоследствии поступил на службу в генеральный штаб, не раз был посылаем на съемки и проч., был произведен в поручики и в этом чине остался до конца жизни. Пылкий и самостоятельный характер отца был непригоден для военной службы; не раз у него случались неприятности с начальством, обращавшимся с подчиненными подчас довольно грубо. Так, например, однажды, посланный куда-то по казенной надобности, отец мой, тоже Алексей Алексеевич Тучков, стоял на крыльце станционного дома, когда подъехала кибитка, в которой сидел генерал (впоследствии узнали, что это был генерал Нейдгардт).

Он стал звать пальцем отца моего.

— Эй, ты, поди сюда! — кричал генерал.

— Сам подойди, коли тебе надо,— отвечал отец, не двигаясь с места.

— Однако кто ты? — спрашивает сердито генерал.

— Офицер, посланный по казенной надобности,—отвечал ему отец.

— А ты не видишь, кто я? — вскричал генерал.

— Вижу,— отвечал отец,— человек дурного воспитания.

— Как вы смеете так дерзко говорить? Ваше имя? — кипятился Нейдгардт.

— Генерального штаба поручик Тучков, чтобы ты не думал, что я скрываю,— отвечал отец.

Эта неприятная история могла бы кончиться очень нехорошо, но, к счастью, Нейдгардт был хорошо знаком со стариками Тучковыми, потому и промолчал,— едва ли потому, что сам был виноват.

Младший сын деда, Павел Алексеевич, не был в университете; он предпочел военную службу и четырнадцати лет был произведен в офицеры.

Что особенно замечательно для того времени, дед также ничего не жалел для образования своих дочерей; профессор И. И. Давыдов, между прочими учителями, преподавал тете Марии Алексеевне историю и словесность, знаменитый живописец Куртель давал ей уроки рисования и живописи; она стала хорошею портретисткою, превосходно копировала картины и своими копиями много утешала деда после его разорения и продажи его картинной галереи. Я особенно

помню две великолепные копии: четыре евангелиста и картина со многими фигурами и с слепым Товием*. Эти копии и теперь существуют у моего троюродного брата, члена совета Мин. вн. дел, А. И. Деспот-Зеновича.

Вторая дочь деда, Анна Алексеевна, была замечательная пианистка; ученица знаменитого Фильда, она в совершенстве усвоила его мягкую, плавную и выразительную игру. Третья дочь его Елизавета Алексеевна, очень умная и замечательно красивая, вышла замуж шестнадцати лет, в тот самый год (1823 г.), когда отец мой женился в Оренбурге на дочери генерал-лейтенанта Аполлона Степановича Жемчужникова, Наталии Аполлоновне.

Аполлон Степанович Жемчужников был очень добрый и в высшей степени честный человек; он был женат на Анне Ивановне Типольд, имел многочисленную семью, состоявшую из девяти человек детей; кроме того, у него жили мать и тетка его жены; средства его были ограниченные,— он жил одним жалованьем.

Когда он был назначен начальником дивизии в Оренбург, у въезда в город он был встречен командиром полка, стоявшего тогда в Оренбурге. Полковник подал ему рапорт о состоянии полка, а в рапорт было вложено десять тысяч. Аполлон Степанович развернул бумагу, гневно раскидал деньги и сказал полковнику:

— На первый раз я вас прощаю, но если это повторится, без пощады отдам вас под военный суд.

Полковник, в большом удивлении, пробормотал испуганно извинение, говоря:

— Так всегда встречали нового начальника.

Мой отец учился у Муравьева со старшими братьями моей матери и был очень дружен с ними; навестив их однажды в Оренбурге, он увидел мою мать и просил ее руки. Бабушка, Каролина Ивановна, нашла, что отец слишком молод, чтобы жениться; его послали на год за границу, но по возвращении отец не изменил своего намерения и женился на Наталье Аполлоновне Жемчужниковой.

В это время дела деда расстроились: фортуна, как говорили тогда, так долго улыбавшаяся ему, вдруг изменила,— он стал проигрывать, проигрывать постоянно, и для уплаты

---

* Оригинал «Четырех евангелистов» был куплен у деда французским правительством и находится теперь в Лувре. «Слепой Товий» попал в Америку к какому-то богатому плантатору. (*Прим. автора*)

карточных долгов был вынужден продавать за бесценок богато устроенные имения и московские дома. Один из его домов был продан Головкину, а впоследствии перепродан им великому князю Михаилу Павловичу; когда нам показывали этот великолепный дом, он носил название «Михайловского дворца», на дворе его стояла будка и ходил взад и вперед часовой, что нас, жительниц деревни, очень поразило. В настоящее время в этом доме помещается лицей Каткова.

У деда осталось только четыре имения: Сукманово — в Тульской губ., Фурово — во Владимирской, Ведянцы — в Симбирской, подаренные Екатериною II моему прадеду Алексею Васильевичу Тучкову, и отдаленное Яхонтово в Пензенской губернии; но до отъезда семьи в добровольную ссылку, во время междуцарствия и воцарения Николая Павловича, наступило 14 декабря. Отец мой и женатый продолжал жить в доме отца своего, в Москве, где и был арестован и увезен в Петербург[7].

По привозе в столицу он был доставлен прямо в Зимний дворец; его допрашивали в зале, около кабинета императора. Отец мой принадлежал к Союзу благоденствия, был дружен со многими из членов Северного общества и с некоторыми из Южного; особенно дружен он был с Иваном Пущиным, с А. Бестужевым, Евгением Оболенским, с братьями Муравьевыми-Апостолами и др. Михаил Михайлович Нарышкин был его друг и вместе с тем брат его тетки, Маргариты Михайловны Тучковой, впоследствии бородинской игуменьи. После допроса отец сказал громко:

— Si vous voulez me mener à la forteresse, vous devrez m'y traîner de force, car je ne marcherai jamais de bon gré *.

Государь спросил, что это за шум; узнав в чем дело, он приказал содержать отца в генеральном штабе, где он просидел три или четыре месяца[8]. Так как его не было в Петербурге во время вооруженного возмущения, то против него не нашлось никаких важных улик. Я спрашивала отца, почему он так восставал против заключения в крепости.

— Я боялся за твою мать,— отвечал он,— боялся, что эта весть дойдет до моей семьи... тогда ожидали рождения твоей старшей сестры.

---

* Если вы хотите отвести меня в крепость, то вам придется тащить меня силою, так как добровольно я ни за что не пойду (*франц.*).

Действительно, во время заключения отца родилась, в 1826 году, старшая сестра моя, Анна Алексеевна, в Москве, в доме, нанятом дедом для всей семьи,— своих домов у него тогда уже не было.

После возвращения из Петербурга отец вышел в отставку, и вскоре вся семья наша перебралась на жительство в село Яхонтово, Пензенской губ., в маленький домик, крытый соломою, в котором живали прежде приказчики; из Москвы перевезли немного мебели, некоторые сокровища, остатки прежнего величия, множество книг с литографиями картин разных галерей, с изображением разных пород птиц и пр.; все эти дорогие издания хранились в шкафах, на которых были расставлены бюсты разных греческих богов и богинь; впоследствии старшая сестра рисовала с них карандашом и тушью. У каждого из членов семьи было по комнате, и то небольшой, за исключением тети Марьи Алексеевны, у которой была маленькая спальня и большая комната, называемая классною, в которой висели ее работы масляными красками, где она занималась живописью и учила мою сестру. В гостиной стоял рояль тети Анны Алексеевны; она играла, как я уже говорила, очень хорошо, но, к сожалению, только по вечерам. Бывало, няня, Фекла Егоровна, торопит нас идти спать, а нам не хочется: мы видим, как зажигают на рояле восковые свечи, значит тетя будет играть,— и начинается у нас долгий торг с Феклою Егоровною, кончавшийся обыкновенно тем, что няня согласится оставить дверь в нашу комнату приотворенною, чтобы мы могли слушать музыку в постели; мы бежим спать счастливые, но, утомленные беготнею, разумеется, тотчас засыпаем...

Осенью дед наш с тетею Анною Алексеевною возвращались в Москву; оба они не могли привыкнуть к деревенской жизни; особенно невозможным им казалось проводить в деревне зиму.

ГЛАВА II

Друзья отца.— Г. А. Римский-Корсаков.— Mon Repos генерала К. К. Торкеля.— День ангела бабушки.— Соседи.— Преосвященный Амвросий в селе Яхонтове.— Смерть бабушки и сестры.— Николай Платонович Огарев.— Наша первая гувернантка.— Разлад в семье Огаревых.

Кажется, мне было немногим более года, когда однажды зимою вся семья наша сидела в гостиной; кроме своих, тут был лучший друг моего отца, Григорий Александрович Римский-Корсаков [1]. Нянюшка подносила меня прощаться к каждому из присутствовавших, а я по-архиерейски подносила руку к их губам; также подала я руку и Григорию Александровичу. Он покачал головою и сказал:

— Это что? Я не хочу.

Я прижалась к няне и горько заплакала; она поспешила удалиться со мною, но Григорий Александрович догнал нас и сказал:

— Ну, дай ручку, я поцелую, не плачь.

Но теперь уже я качала головой и показывала, что не хочу. Это мое первое воспоминание. Григорий Александрович всегда говорил: «J'aime quand les enfants pleurent, car on les emporte»*,— но для меня он делал исключение; между нами с самого раннего моего детства была какая-то симпатия; я его любила почти столько же, как и отца.

Мне труднее говорить о Григорье Александровиче, нежели о всех выдающихся личностях, с которыми судьба сталкивала меня на жизненном пути, потому что он прошел незаметно, хотя по оригинальному складу ума, познаниям,

---

* «Я люблю, когда дети плачут, потому что их тогда уносят» (*франц.*).

необыкновенной энергии и редкой независимости характера он был одним из самых выдающихся людей. Современники удивлялись ему. Если бы он родился на западе, то ему выпала бы на долю одна из самых выдающихся ролей в общественной жизни, а у нас в то время не было места таким личностям.

Григорий Александрович был старше моего отца; в 1816 году он был уже офицером л.-гв. Семеновского полка, в 1820 году произведен в полковники [2]; мать выхлопотала ему отпуск, и он отправился в 1823 году путешествовать в чужие края и возвратился только в 1826 году; благодаря этой случайности его не было в России во время возмущения 14 декабря 1825 года; имев друзей между декабристами, он мог подвергнуться тяжкой участи, в особенности по причине его неукротимого нрава.

Странно было явление такого независимого человека именно в России в ту эпоху. Он был большой оригинал и оригинально вышел в отставку по возвращении из чужих краев.

Корсаков был однажды приглашен, вместе с прочими гвардейскими офицерами, в Зимний дворец на обед, данный государем Николаем Павловичем гвардейским офицерам. В то время военные ужасно затягивались; после обеда Корсаков имел привычку расстегивать одну пуговицу у мундира. Кн. Волконский, бывший тогда министром двора, заметив это, подошел к Корсакову и очень вежливо сказал ему по-французски:

— Colonel, boutonnez vous, je vous prie,*— и прошел далее, но Григорий Александрович оставил это замечание без всякого внимания. Обходя еще раз сидевших за столом офицеров, кн. Волконский вторично напомнил Корсакову, что нельзя расстегиваться во дворце. Он говорил по-французски, и Григорий Александрович отвечал ему с раздражением на том же языке:

— Voulez-vous, prince, que j'étouffe?**

С этими словами он встал из-за стола и удалился тотчас из дворца. На другой день он подал в отставку и оставил службу навсегда. Он услышал вскоре, что мой отец, тоже будучи в отставке, живет в своем пензенском имении и занимается сельским хозяйством, имея свеклосахарный завод.

---

* — Полковник, застегнитесь, пожалуйста (*франц.*).

** — Верно, вы хотите, князь, чтобы я задохнулся? (*франц.*)

В пятнадцати верстах от Яхонтова находилось имение Корсаковых — Голицыно; оно досталось Григорию и Сергею Александровичам Римским-Корсаковым по наследству. Григорий Александрович поселился в нем в начале 1830-х годов, завел также свеклосахарный завод и управлял своим имением до конца жизни.

Григорий Александрович, как все образованное меньшинство общества того времени, был поклонником Вольтера и энциклопедистов, читал все, что было замечательного на французском языке, и сам имел богатую библиотеку французских книг. Не любя никому давать своих книг, он делал для нас исключение; когда мы подросли, он прислал m-lle Michel каталог своей библиотеки, в котором она отметила все, что было нужно для нашего образования, и он прислал нам целый ящик с книгами; через год мы возвратили их очень аккуратно; я помню, сколько мне наделало хлопот маленькое чернильное пятно, сделанное мною на обертке одного из томов «Mémoires d'Adriani»; наконец мне удалось найти подобный экземпляр в Москве, и я подменила его, а возвратить Григорию Александровичу книгу с чернильным пятном не имела духа.

Из русских писателей едва ли Корсаков читал что-нибудь, кроме Пушкина и Гоголя; однако в бумагах моего отца мне попалась коротенькая критика на «Свои люди — сочтемся», писанная рукою Григория Александровича (1850 г.)[3]. Ум его был меткий, оригинальный, последовательный и вместе с тем блестящий; он был остроумен и находчив. Наружность его была очень красивая и внушающая; в аристократических салонах Москвы его так же боялись, как и в наших степных гостиных; станционные смотрители, ямщики, чиновники, даже губернатор — все знали его, и все его боялись.

Корсаков казался холоден ко всем, даже и к моему отцу, хотя чрезвычайно любил его; по-русски они были на «ты», а по-французски говорили друг другу «вы», что я заметила вообще в людях того времени. Привязанность Григория Александровича к моему отцу обнаруживалась только тогда, когда отец серьезно занемогал; тогда Корсаков делался его сиделкою, ходил и говорил тихо, с озабоченным видом, просиживал ночи у его постели; но как только ему становилось лучше, Корсаков принимал опять холодный вид и тотчас уезжал домой.

Отец рассказывал, что необузданный характер его дру-

га много раз ставил последнего на край погибели. Еще в бытность в военной службе Корсаков зашел как-то раз слишком далеко в шутке с приятелем, тоже военным; тот обиделся, и дело дошло почти до дуэли, но мой отец был настолько счастлив, что сумел уговорить обиженного и помирить их. Отец не раз являлся, таким образом, его ангелом-хранителем, выручая его из беды. В Голицыне случилось однажды весьма неприятное происшествие, которое могло бы весьма дурно кончиться для Григория Александровича. Рассердясь, не помню за что, на какого-то татарина, он его так избил, что тот чуть было не умер. Придя в себя, Корсаков понял всю безумную дикость своего поступка. Он послал за моим отцом и писал ему так по-французски:

— Venez vite, je suis un malheureux*.

Мой отец поспешил к нему, стал сам ухаживать за татарином и успел поправить его, хотя не очень скоро. Вышедши к татарам, которые собрались около дома и требовали от Григория Александровича выдачи больного или убитого татарина, отец успокоил их, сказав, что он сам ходит за ним. Хотя татары эти были другого уезда, но они знали Тучкова, и спокойно оставили своего больного на попечении «Лексей Лексеевича», как они называли моего отца, и удалились из Голицына. Так это дело и уладилось.

Иногда на Григория Александровича находила потребность учинить какую-нибудь чисто школьническую шалость. Однажды в Москве в английском клубе, за обедом, он сказал сидевшему вправо от него приятелю:

— Бьюсь об заклад, что у моего соседа слева фальшивые икры**; он такой сухой,— не может быть, чтобы у него были круглые икры; погодите, я уверюсь в этом.

С этими словами он нагнулся, как будто что-то поднимая, и воткнул вилку в икру соседа. После обеда тот встал и, ничего не подозревая, преспокойно прохаживался с вилкою в ноге. Корсаков указал на это своему приятелю, и оба они много смеялись. Эта шутка могла бы также подать повод к большой неприятности, но, к счастию, один из служителей клуба ловко выдернул вилку из ноги господина, не успевшего заметить эту проказу.

---

* — Приезжай немедленно, я погиб (*франц.*).

** В то время носили шелковые чулки и подкладывали подушки, когда собственные икры были тонки. (*Прим. автора.*)

У моего отца был еще один приятель, память о котором сохранилась до сих пор в нашем губернском городе; это был Иван Николаевич Горскин; мой отец и Корсаков были знакомы с ним почти с детства и потому поддерживали с ним короткие отношения, хотя между ними было мало общего.

Иван Николаевич был умен, но ум его был какой-то особенный, легкий, саркастический. Он умел пересмеять каждого, заметить смешные стороны, и метко задевал всех. Он был арестован в Москве после 14 декабря (1825 г.), но его освободили через несколько месяцев; заточение это придало ему незаслуженный вес. В крепости он написал стихи, начало которых я помню до сих пор:

Ах, ах, ах, какая тоска,
Как постель моя жестка.
Все по клеткам ходят
И осматривают нас,
Будто птичек, все нас кормят.
Вот житье, ну, черт ли в нем!
Не осталось либерала
До последнего жида *,
Но нам кажется все мало —
Так пожалуйте сюда.

Бывало, когда он приедет в Яхонтово, все его упрашивают спеть эти стихи; он сядет за рояль, поет и аккомпанирует себе сам, а мы слушаем его с восторгом, видя в нем также декабриста. Но, в сущности, Иван Николаевич не разделял возвышенных взглядов о нравственности и свободе этих несчастных и даровитых людей; он был человек совершенно иных воззрений и был способен на совершенно иные поступки.

Расскажу один случай, характеризующий его. Когда он жил еще с родителями, ему казалось, что они тратят слишком много на гувернанток для его сестер; его молодой, но изобретательный ум придумал оригинальное средство избавления от этой ненужной, по его мнению, траты. Как наймут гувернантку для его сестер, он начнет ей строить куры, как тогда говорили; прикидывается влюбленным, рассеянным, не отходит от гувернантки по целым дням; наконец, его поведение бросается в глаза, и родители начинают замечать его.

---

* На арест Ив. Петр. Липранди, который был вскоре выпущен[4]. (*Прим. автора.*)



А. А. Тучков

Рисунок карандашом Х. Рейхеля, 1844 г.

— Что это Иван прохода не дает гувернантке,— говорят они,— все вертится около нее; как бы он не женился на мамзели, или обесчестит наш дом, пожалуй; это нельзя так оставить, надо гувернантке отказать.

И гувернантка, ни в чем неповинная, получала отказ; Иван Николаевич показывал вид полнейшего отчаяния, а сам торжествовал; сестры его оставались месяцы без наставницы, пока родители отыскивали такую, которая подходила бы ко всем требованиям. Иван Николаевич весело потирал руки, думая про себя: «Нанимайте, нанимайте, а мы и за новою будем ухаживать, нам это нипочем».

Подобные порывы рано проглядывали в его корыстолюбивой натуре. Так прошла вся его жизнь; он сознавал, что общество не может относиться к нему с уважением, и потому постоянно бравировал и задевал каждого беспощадно своим злым языком.

Вспоминаю один анекдот, характеризующий Ивана Николаевича. Дед мой говорил всегда, что разделит имение при жизни, чтобы быть покойным, что между его детьми не будет неприятностей: незамужние дочери получили Сукманово и Фурово, сыновья — Яхонтово и Ведянцы. Когда раздел был совершен, дядя мой продал вскоре свою часть Ивану Николаевичу; последний заезжал часто к нам из своего нового имения и постоянно хвалился, что крестьяне любят его необыкновенно.

— Они меня обожают,— рассказывал он однажды Корсакову и моему отцу,— любят меня гораздо более прежних владельцев. Когда я ссматривал лес, мне пришлось раза два завтракать под толстым дубом, широко раскинувшим свои ветви. Вообразите, друзья, они назвали это дерево — Иванов дуб! Это изумительно!

Моему отцу было неприятно слушать его разглагольствования, тем более так как он знал, что все это неправда,— но он молчал; Корсаков же потерял терпение, ударил кулаком по столу и вскричал:

— Laissez-moi tranquille avec vos balivernes!* Не верю я всему этому; ты набавил оброк, ты сажаешь неплатящих в рабочий дом; при Тучковых этого никогда не было,— и ты рассказываешь нам, что они тебя обожают? Да, верю, они назовут это дерево Иванов дуб, но знаешь ли когда?— когда они тебя на нем повесят!

---

* — Оставьте меня в покое с вашими глупостями! (*франц.*)

Всем стало неловко; Иван Николаевич принужденно засмеялся, а Корсаков спокойно вышел из комнаты, насвистывая какую-то французскую песню.

Живо помню также нашего доброго генерал-майора Карла Карловича Торкеля*; мы, дети, были очень привязаны к нему, любили его открытое, доброе лицо, его голубые, вечно улыбающиеся глаза; у него была большая рана на ноге, так что он всегда ходил с костылем; он любил, чтобы я его водила, и говорил, что мы идем, как Эдип с Антигоною[5]; не знаю, почему я краснела и не любила, когда он говорил это при больших.

Карл Карлович жил во флигеле, построенном по его собственному плану, очень близко от нашего дома; над входною дверью была крупная надпись: «Mon Repos»; флигель этот состоял из четырех крошечных комнат, но как ни мал был его домик, Карл Карлович чувствовал себя в нем полным хозяином, и это радовало и тешило его, как ребенка. В маленьком палисаднике возле дома он пил в летнее время кофе поутру и чай после обеда, но обедать ходил всегда в большой дом, как он его называл. Обыкновенно он усаживался на стуле в зале; я проворно подвигала другой стул для его больной ноги, которую он не мог держать на весу. Карл Карлович имел особенность ужасно громко чихать; мои тетушки рассказывали, что им бывало очень неловко, когда еще в Москве Торкель сопровождал их в театр, потому что его чиханье обращало не раз особое внимание публики на их ложу, и однажды ему даже аплодировали. Дома, когда он собирался чихать, он посылал предупредить мою мать и бабушку, которую он очень любил и называл своею «государынею».

Тетя Марья Алексеевна была необыкновенно привязана к своей матери; в ее именины или рождение она делала ей какой-нибудь сюрприз, вечером иллюминацию; шифр именинницы на масляной бумаге изготовлял наш друг Торкель; мы заучивали какие-нибудь стихи по-русски или по-французски, сцены из трагедий Расина; когда я была еще слишком мала, чтобы запомнить что-нибудь, мне все-таки делали какой-нибудь костюм, чтобы мне не было обидно. В дни приготовлений обедали в официантской, а залу за-

---

* Приношу здесь мою благодарность наследникам А. И. Деспот-Зеновича за то, что они прислали мне три семейные портрета и портрет дорогого ген. Торкеля. (*Прим. автора.*)

пирали; в ней настилали пол для маленьких актеров, устраивали занавес, убирали всю залу гирляндами из цветов; иногда, забывшись, бабушка отворяла дверь в залу и поспешно запирала ее, говоря: «Я ничего не видала».

К торжественному дню съезжались соседи; дальние жили подолгу у нас; а как хорош был Карл Карлович в эти дни! Белые воротнички его белой как снег рубашки туго накрахмалены, на нем синий фрак с бронзовыми пуговицами, его белые волосы, с серебристым отливом, тщательно приглажены, голубые глаза торжественно улыбаются, в руках у него букет или какой-нибудь подарок своей работы — недаром он немец. Забывая свою застенчивость, я подаю ему руку и не без гордости веду его к именинице; там, сказав свое приветствие и вручив подарок, он садится и отдыхает, прежде чем отправиться на свое обычное место в залу...

В нашем соседстве жила Александра Петровна Струйская; моя бабушка очень любила ее за ум и любезность; имение ее, Рузаевка, находилось, всего в 15 верстах от Яхонтова. Рассказывали, что весь околоток трепетал перед ее мужем, Николаем Петровичем Струйским[6]; он был человек очень сердитый и вспыльчивый, держал верховых, которые день и ночь разъезжали и доносили ему все, что делалось, кто проезжал через Рузаевку и куда. Тогда он приказывал привести проезжающего, иногда милостиво отпускал его, а иногда, случалось, заставлял беседовать с собой, и лишь только что-нибудь ему не понравится, сделает знак людям, проезжего схватят и потащат в тюрьму, где однажды долго высидел какой-то исправник. Он запирал таким образом разных мелких чиновников: заседателей, приказных и т. п., но дворян не трогал. В саду, недалеко от великолепного господского дома, находилось высокое, тоже каменное здание, которое и служило тюрьмою; окна были только вверху и то с крепкою железною решеткою; говорили, что когда этот злодей умер, кажется, это было в 1800 году, то жена его выпустила из тюрем много несчастных,— говорили, будто человек до трехсот, хотя число это, вероятно, преувеличено.

Николай Петрович Струйский писал стихи, хотя очень плохие, восхваляя в них Екатерину II; дед мой рассказывал, что императрица прислала ему бриллиантовый перстень, с тем чтобы он более стихов не писал. Нас изредка возили в Рузаевку к старушке Александре Петровне Струй-

ской; к ней собирались ее внуки, с которыми мы играли и бегали по саду. Дом, в котором она жила, был очень большой, мрачной наружности; комнаты от высоких и узких окон казались также угрюмы; в двух гостиных мебель была с бронзовою отделкою на ручках и ножках, обитая малиновым штофом и всегда под белыми чехлами; везде висели фамильные портреты; в углублении большой гостиной, над диваном, висел в позолоченной раме портрет самого Николая Петровича, в мундире, парике с пудрою и косою, с дерзким и вызывающим выражением лица, и рядом, тоже в позолоченной раме, портрет Александры Петровны Струйской, тогда еще молодой и красивой, в белом атласном платье, в фижме, с открытой шеей и короткими рукавами. Из гостиной была дверь на балкон; по широким ступеням его мы спускались в большой, тоже очень мрачный сад, разбитый на правильные аллеи; вдали от дома был лабиринт, который нас забавлял и пугал отчасти, потому что не легко было из него выбраться.

Внуки страшного Николая Петровича подводили нас к тюрьмам, которые тогда (в 1836 г.) представляли ряд развалин; в стенах виднелись обрывки железных цепей.

— Ваш дедушка в цепях держал своих заключенных? — спрашивали старшие из нас.

— Конечно, прикованными к стенам, а то бы они ушли,— весело и с некоторою гордостью отвечали внуки.

У Николая Петровича Струйского было много детей; двое из сыновей его печально кончили свое поприще: один был сослан в Сибирь за убийство дворового человека[7], другой был сам убит крестьянином. Это было в голодный год; крестьянам было очень тяжко, многие питались одною мякиною и дубовою корою. Александр Николаевич Струйский запрещал своим крестьянам ходить по миру, а между тем сам не давал им достаточно хлеба. Однажды он воротил крестьянина Семена, которого встретил с сумою; через день или через два дня Александр Николаевич поехал в поле; ему опять попался навстречу тот же крестьянин с сумою... В самый полдень лошадь его пришла домой без седока; послали верховых узнать, что случилось, и нашли помещика в поле с отрубленною головою. Некоторое время не знали, кем он убит; наконец догадались, что это сделал, вероятно, тот самый Семен, с которым он встретился два дня тому назад. На эту мысль навело следующее обстоятельство: у крестьян существует обычай надевать чистую рубашку

исключительно по субботам, после бани; Семен же сменил рубашку в четверг, в день убийства Александра Николаевича Струйского. Это была единственная, но весьма веская улика против Семена; после сделанного ему допроса он сам во всем сознался.

От семьи Струйских, по боковой линии, произошел известный поэт Александр Полежаев.

В семи верстах от Яхонтова находится большое базарное село Исса, где нам показывали довольно просторную землянку, состоявшую из двух маленьких комнат; в ней скрывался Емельян Пугачев; не знаю, существует ли эта землянка теперь.

Упомяну здесь кстати, что к нам ездило семейство Шуваловых. Имение их находилось за Саранском, и потому они гостили у нас подолгу. Однажды нас возили к ним; там я видела главу семьи — Николая Ивановича Шувалова, это был совершенно седой, молчаливый старик. Рассказывали, что Пугачев в его присутствии велел повесить его отца и мать; ему было в то время не более семи-восьми лет, но так как он был грамотный, то Пугачев взял его к себе в писцы. Николай Иванович так был поражен ужасным зрелищем, что навсегда остался каким-то испуганным и мрачным.

Вспоминая свое детство, я часто переношусь мысленно к тому дню, когда нас посетил в Яхонтове пензенский архиерей Амвросий; почему этот день воскресает в моей памяти особенно ярко и живо, потому ли, что я была поражена пением нежных детских голосов архиерейских певчих, или потому, что этим днем заканчивается то безоблачное время, когда несчастия не касались еще нашей семьи,— не знаю.

Лето 1838 года было необыкновенно жаркое; в комнатах было нестерпимо душно; к нам съехались соседи со всех концов уезда и встретили архиерея на крыльце; дамы целовали у него руки. У преосвященного Амвросия было умное и немного хитрое лицо; он сам служил обедню; его певчие пели в церкви, которая была переполнена народом. После обедни все возвратились к нам в дом; дамы ужасно суетились, ухаживали за архиереем, одна бабушка держала себя с достоинством, была приветлива и любезна как хозяйка. Все разместились в гостиной, куда и мы с сестрою вышли перед обедом; архиерей разговаривал с моим отцом, который сказал ему, между прочим, почтительно улыбаясь:

— Вот что плохо, преосвященный, крестьян-то не учат закону божьему; они очень суеверны, а религии вовсе не знают; об евангелии и не слыхивали; ведь мы ваше стадо, вы должны печься о нас грешных.

Амвросий усмехнулся:

— Ученье Христа! Да что вы, Алексей Алексеевич, разве можно этим шутить! Вы благодарите создателя, что они (крепостные) не знают евангелия; знали бы, так вас бы не слушались; начальство-то лучше нас с вами это понимает.

Во время обеда хор архиерейских певчих пел «Многие лета». Как я помню бабушку в этот день! Образ ее, как живой, носится перед моими глазами. Она была небольшого роста, с довольно большим лбом необычайно красивой формы, с маленькими, как смоль, черными глазами, живыми и в то же время серьезными, и правильными чертами лица; одета была всегда в темное платье, сверху накинута турецкая шаль; в белом чепце, из-под которого виднелась черная шелковая шапочка, тщательно скрывавшая седые волосы. В движениях ее, в словах, во всех приемах проглядывала простота, достоинство и какая-то спокойная грация. Бабушку везде уважали и дорожили ее мнением; когда она говорила, все смолкало.

Бабушка очень любила пение, и в этот день была особенно довольна и весела. Архиерей отправился дальше с певчими и со всею своею свитою; он объезжал всю губернию.

На другой день бабушка не совсем хорошо себя чувствовала и не встала; нас не пустили к ней; нам хотелось играть, как всегда, но мы видели, большие что-то очень серьезны, и старались подладиться под общий тон. Бабушка всегда была слабого здоровья, однако никогда не лежала целый день в постели, это-то и тревожило всех; как обыкновенно в таких случаях, говорили, что она простудилась в церкви; жар подтверждал это предположение; ночью сделался бред, а под утро ее не стало.

Справедливо, что несчастье, раз постучавшись в дверь дотоле спокойного дома, не скоро отойдет от его порога. Едва мы начали свыкаться с нашею утратою и возвратились к своим обычным занятиям, как нас постигло новое, еще более сильное испытание: год спустя скончалась моя старшая сестра Аннинька; ее сразила нервная горячка, и нашу Анниньку отвезли в Саранск и положили рядом с бабушкой в ограде монастыря.

Скоро тетя Мария Алексеевна уехала с дедушкой в Москву; наш дом опустел, сделался мрачен и уныл, отец не мог оставаться в нем долее; каждая вещь, каждая комната напоминала ему потерянную дочь; он решился переехать со всею семьею в новый дом, который еще при жизни бабушки начал строить возле сахарного завода.

Мы были небольшие с сестрою, когда после наших несчастий нами стали усиленно заниматься; смерть сестры, кроме горя, произвела страшный испуг. Нас стали беречь, кутать, maman запиралась и плакала в своей комнате, отец искал облегчения в деятельности. Однако и он не мог долго выдержать в деревне, в этой новой обстановке; мы поехали в Москву, где пробыли с полгода. Приискивая для нас хорошую наставницу-иностранку, нашли m-me Moreau de la Meltière. Она была уже старушка, хитрая и большая говорунья, но с нами скучала и предпочитала разговаривать со старшими, в особенности с моим отцом, в совершенстве владевшим французским языком. До этого времени мы почти не учились, и вдруг нам пришлось целый день сидеть над книгами, к тому же летом, на душном и пыльном Арбате.

Мы занимали тогда дом, нанятый для Николая Платоновича Огарева с его первою женою Мариею Львовною, рожденною Рославлевою. Это было в 1840 году; они уезжали из Москвы более для того, чтобы незаметно пожить врозь; тогда уже между ними были большие несогласия. Огарев проводил время с друзьями, с Герценом, Кетчером, Евг. Фед. Коршем, Мих. Сем. Щепкиным и другими. Тоже близкая с ними в переписке, живя в Москве, Марья Львовна не ладила с кружком Огарева, ревновала к нему мужа и, желая втянуть его в аристократический круг, задавала балы, на которых Огарев отсутствовал. Он не мешал ей бросать деньги, как она хотела, но отстаивал свою личную свободу и, не разделяя ее вкусов, уезжал к друзьям; но об этом знали только в кружке; от посторонних Огарев тщательно скрывал свой домашний разлад.

Я была лет шести, когда видела Огарева в первый раз; он был тогда совсем молодой человек [9]. Вскоре он приехал к нам с женою [10]. Он любил рассуждать с моим отцом, слушать его рассказы о 14-м декабря, о друзьях декабристах; иногда они играли в шахматы. Марья Львовна всегда спешила уехать, торопила мужа. Она была довольно пикантная брюнетка, бойкая, живая; меня, вероятно, как младшую в семье, ласкала более других [11].

Она была племянницею Александра Алексеевича Панчулидзева, пензенского губернатора, в канцелярии которого числился на службе Огарев во время своей ссылки; в доме губернатора он и познакомился с Мариею Львовною и вскоре женился на ней. В то время отец Огарева, разбитый параличом, жил постоянно в деревне. Быть может, он мечтал об ином браке для единственного сына, который, кажется, по матери* находился в родстве с аристократическим домом Гогенлоэ; но отец кончил тем, что уступил желанию сына; вскоре после его женитьбы он умер[12].

Возвращаясь к нашей жизни в Москве, я вспоминаю, как нам было тяжело с m-me Moreau; она не умела нас заинтересовать и только, чтобы занять нас, задавала нам много читать из истории и мифологии и требовала, чтобы мы делали извлечения, за которые мы не знали как и приняться; при отце называла нас «ces pauvres petits anges»**, а в его отсутствие вовсе не обращала на нас внимания. Но скоро наступила счастливая для нас развязка: когда мы стали собираться обратно в деревню, она не согласилась ехать с нами и рекомендовала на свое место весьма образованную и начитанную особу — m-lle Michel, воспитавшую двух дочерей Екатерины Аркадьевны Столыпиной. Эта достойная личность провела у нас восемь лет и была для нас не только наставницею, но и другом и осталась им до конца своей жизни.

---

* Баскакова Елизавета Ивановна, единственная наследница своих родителей; она получила в приданое богатейшее село Белоомут, Рязанской губернии: в имении было леса на два миллиона. Огарев отпустил на волю это село за 300 000 руб. сер. (*Прим. автора.*)

** «бедные маленькие ангелы» (*франц.*).

ГЛАВА III

Отец мой как предводитель дворянства.— Деревенская школа.— Воспоминания отца о декабристах.— Норов.— Свидание с М. М. Нарышкиным.— Отношения отца к крестьянам.— Выборы бургомистра.— Рекрутские наборы.— Штраф, наложенный на отца.— Новый священник нашего села.— Столкновение отца с губернатором.— Следствие у соседней помещицы.— Шишков.— Встреча г-жи Перваго с Герценом в Вятке.— Нравы того времени.— Желтухины. — Спектакль.

1840—1846.

Наконец мы вернулись в село Яхонтово; мы редко ездили в гости, только на такие праздники, от которых нельзя было отказаться; отец тоже никуда не ездил; он был предводителем дворянства; кроме того, занимался имением и сахарным заводом и во всем не имел других помощников, кроме своих крестьян.

Я уже говорила об отце в третьем томе записок покойной Татьяны Петровны Пассек «Из дальних лет» [1] и в начале этих записок рассказывала об его детстве и молодости, но этим далеко не исчерпано все касающееся его служебной деятельности и его жизни «между крестьянами». Я выражаюсь так потому, что все его время было посвящено их образованию и заботам о них; он не желал вести той праздной жизни, которую вели помещики той эпохи, и был в то время одним из весьма немногих людей в России, считавших серьезным делом то, что он делал для крестьян, и, не будучи богат, не гнался ни за отличиями, ни за наградами по службе.

Мне было года четыре или пять, когда отец был избран в первый раз инсарским уездным предводителем дворянства; в эту должность его избирали четыре раза подряд, и

в эти пятнадцать лет он заслужил доверие и уважение дворян, бесконечную любовь крестьян и ненависть со стороны чиновников-взяточников. Крепостные и казенные крестьяне беспрестанно с полным доверием обращались к нему по поводу разных недоумений и жалоб. Он выслушивал их с большим терпением, исполнял немедленно все то, что от него зависело, а если нужно было искать правосудия далее, то сам писал им прошения,— он знал наизусть большую часть статей свода законов.

Характера отец был пылкого, горячего до самозабвения, всегда готовый оказать помощь другим. Как-то раз ему доложили, что на селе упала в колодец девушка в припадке помешательства; услышав это, отец позабыл о своих больных ногах и побежал к месту происшествия, где уже собралось много народа.

— Привяжите к кому-нибудь крепкую веревку! — кричал он торопливо,— и спустите туда поскорее! Как, никто не хочет? Ну, так ко мне привязывайте веревку, я сам спущусь!

Все присутствовавшие восторженно закричали, что готовы исполнить желание отца; один молодой парень спустился в колодец, и девушка была спасена.

У отца была школа, в которой было до сорока учеников; старших он учил сам не только арифметике, но и алгебре, геометрии, учил их снимать планы и проч., а они учили младших; во время урока не было человека терпеливее отца, и он готов был десять раз объяснить непонятное ученикам, которые его очень любили. Нас он также учил математике, но более всего любил разговаривать с нами, рассказывая о своей молодости и о всем виденном и слышанном им, о своем путешествии во Францию в 1830 году; много говорил о декабристах, об их мечтах; он вздыхал, вспоминая о них и думая, сколько пользы могли бы принести России эти образованные и высоконравственные люди, если бы несчастная случайность не увлекла их в водоворот декабрьской смуты, который выбросил их навсегда из общества; слыша так много о них, об их страданиях, о лишениях, перенесенных ими доблестно, мы относились, конечно, с детства к ним восторженно[2].

Вот что рассказывал отец об одном декабристе, Норове. Офицеры и даже солдаты привыкли при Александре I к гуманному обращению со стороны самого государя. Однажды один из князей присутствовал при ученье полка, в кото-

ром служил Норов. Шеф был не в духе, остался всем недоволен, кричал на солдат и офицеров; погода была дождливая, и князь, топая ногою перед Норовым, в порыве гнева, забрызгал его; когда он удалился, Норов вложил шпагу в ножны и стал позади солдат. На следующий день великий князь узнал, что Норов подает в отставку; опасаясь заслужить от государя замечание за свою горячность, великий князь послал за Норовым и, убеждая его взять свое прошение обратно, сказал между прочим:

— Ah! Mon cher, si vous saviez comme Napoléon traitait quelquefois ses maréchaux!

— Mais, votre altesse, il y a aussi loin de moi à un maréchal de France, que de votre altesse à Napoléon*,— отвечал Норов[3].

Говорят, что Норову не прощены были эти слова, и их припомнили ему, когда он был арестован 14 декабря 1825 года[4].

Не помню хорошо, в котором году государь Николай Павлович повелел некоторых сосланных декабристов перевести рядовыми на Кавказ[5]. Проездом им удалось повидаться со своими и с друзьями; помню, что мы были тогда у деда в Москве и всею семьею поехали для свиданья с М. М. Нарышкиным на дачу его сестры, княгини Авдотьи Михайловны Голицыной, у которой он провел дня два. Тут была и игуменья Тучкова, живое лицо которой сияло счастием в этот день. Черты лица Нарышкина носили следы преждевременной старости; оно было худое, желтое; на нем была солдатская шинель; он очень обрадовался всем нам, особенно отцу, и нас он очень ласкал, с чисто отцовским чувством. У него не было детей; в Сибири он взял приемыша, девочку-«сибирячку», которую мы видели потом в его имении «Высоком»[6]. Этот раз он не имел времени много рассказывать о Сибири, только хвалил начальников за их гуманность, говорил, что декабристы постоянно боялись навлечь на них неудовольствие государя.

Начав самостоятельно управлять своим имением Яхонтовым, отец мой отменил все поборы с крестьян, но в соседних имениях они существовали и позже. У нас крестьяне ходили на барщину только с тягла, т. е. наделенные зем-

---

* — Если бы вы знали, как Наполеон иногда обращался со своими маршалами!

— Но, ваше высочество, я так же мало похож на маршала Франции, как вы на Наполеона (*франц.*).

лею; неженатые и девушки не знали барщины, мальчики и старики назначались в караул, тогда как у других владельцев все поголовно выходили на барщину. На сахарном заводе крестьяне жили «брат на брата», как они говорили, т. е. один брат жил постоянно на заводе на нашей пище, а другой жил постоянно дома, не зная никакой барщины; крестьяне не тяготились таким распоряжением и жили на заводе очень охотно. Отмена поборов имела большое влияние на благосостояние крестьян: они не только перестали даром отдавать баранов, свиней, поросят, кур, яйца и т. п., но стали нам продавать все эти продукты для домашнего обихода, для содержания дворовых; наше село стало равняться благосостоянием с имениями князя Мих. Сем. Воронцова, который владел возле нас селом Иссою и деревнею Симанкою.

Я никогда не видела этого замечательного и достойного сановника, но уважала его с самого детства за уменье во время крепостного права сделать своих крестьян счастливыми и богатыми; он отдавал всю господскую землю миру и взимал за нее легкий оброк. Имением его заведовал управляющий, но крестьяне не боялись его, а скорее он боялся крестьян; едва доходила до Воронцова какая-нибудь жалоба крестьян на управляющего, последний немедленно удалялся.

У отца не было управляющего; сельским хозяйством заведовал под его руководством один из крестьян, называвшийся бургомистром, которого прочие крестьяне, с разрешения отца, избирали каждый год. Я помню сходки крестьян перед нашим крыльцом и разговоры их с отцом перед выбором нового бургомистра. Они благодарили отца за дозволение избрать его: «Будет,— говорили они прежнему,— посидел в бургомистрах, пусть другой посидит». Это считалось большою честью.

Когда бывал объявлен рекрутский набор, отец собирал всех молодых людей, бывших на очереди, и говорил им: «Мне вас очень жаль, но делать нечего, это ваш долг; я должен повиноваться правительству, и вы также. Надеюсь, вы не будете ни бегать, ни увечить себя, я не буду сажать вас в кандалы, как это делают другие, но вперед говорю вам: кто отрубит себе палец или убежит, того отдам, хотя после, хотя без зачета. Идите же домой и живите тихо до требования».

Действительно, будущие рекруты не бегали и оставались дома до последней ночи перед отъездом; тогда по приказанию бургомистра они собирались в контору, а поутру

отправлялись в уездный город, где находилось рекрутское присутствие.

Это было очень тяжелое время для всех нас, потому что матери, сестры и жены приходили просить нас со слезами заступиться за них, попросить моего отца освободить их близких от рекрутской повинности. Проводы рекрут ничем не отличались от проводов на кладбище: те же рыданья, обмороки, та же безнадежность... ведь расставались на двадцать пять, на тридцать лет; солдаты редко возвращались, а если и приходили, то стариками.

Возвращаясь из уездного города домой по субботам, потому что присутствие закрывалось до понедельника, отец рассказывал нам, со слезами на глазах, о тяжелых сценах, происходивших почти каждый день во время присутствия. Когда набор бывал окончен, нередко у моего отца делалась нервная горячка от усилия казаться хладнокровным, когда внутренно он бывал глубоко потрясен. Кроме очередных, отец отдавал иногда в солдаты сирот, в тех случаях, когда никто не принимал их в зятья за лень или другие дурные свойства; они были бобылями, и некому было о них плакать.

В то время взяточничество достигало баснословных размеров; рекрутские наборы обогащали сразу многих: все брали взятки с испуганных крестьян, и все это делалось необыкновенно ловко; если бы отец не пользовался таким безграничным доверием со стороны крестьян, он не мог бы так метко разрушать хитрые планы взяточников. Помню один выдающийся факт: окружной, забрав деньги у богатых, сумел сфальшивить в жеребьевке и поставил все одиноких рекрут. Мой отец, предупрежденный крестьянами, забрил затылки всем этим рекрутам, т. е. целой волости. Окружной, видя, что отец разрушает все его тонкие плутни, пришел в неописанное отчаяние, растерялся, заговорил с отцом по-французски, но последний напомнил ему, что это русское присутствие и что здесь он не понимает иностранных языков, но если кто-нибудь находит неправильным, что он забраковал целую волость, то он просит внести этот факт в журнал; однако в журнал никто не вписал этого поступка: взяточники слишком боялись огласки. Окружной поставил других рекрут, а взятки (40 тыс. ассигн.) возвратил, не без тайного озлобления против беспокойного предводителя[7].

У отца было много врагов, но они не могли вредить ему, а скорее сами боялись его, как доказывает следующий слу-

чай. В то время не было войны, а рекрутские наборы, все учащаясь, стали ежегодными. Отец в высшей степени жалел отнимать столько здоровых и молодых сил у хлебопашной России и сожаление это простирал так далеко, что старался принимать людей похуже, едва выходящих в меру; один раз он набрал таких малорослых и невзрачных рекрут, что это не могло пройти незамеченным. Отец должен был заплатить 30 тысяч ассигнациями штрафа, что было бы для нас совершенным разорением, но, к счастию, прежде нежели взыскать эту сумму, государь велел спросить у губернатора, не из корыстных ли видов Тучков принимал таких рекрут, и губернатор, который бы все сделал, чтобы погубить отца, если бы это было в его силах (что он и доказал впоследствии), мог только отвечать отрицательно; тогда государь простил этот штраф.

Когда, по совету стариков, отец освобождал от набора очередного из богатого дома, то последний должен был внести в мир выкупные деньги, от семисот до тысячи рублей ассигнациями. В постоянных заботах о своих крестьянах отец завел мирской капитал, который составился из вышеупомянутых сумм, из денег, уплачиваемых женихами за яхонтовских невест, когда они выходили за крепостных; кажется, они платили в мир по пятидесяти рублей ассигнациями; отец же выдавал девушкам отпускную на случай вдовства; эта предусмотрительная мера вовсе не нравилась помещикам, а когда наши девушки выходили за казенных крестьян, то ничего не платили в мир. Капитал этот дошел до пяти-шести тысяч ассигнациями. Богатые крестьяне брали из него ссуды на торговлю и платили проценты; бедным же выдавались на их нужды деньги без процентов, но с обязательством возвратить их миру.

При освобождении крестьян о капитале этом позабыли, и он остался в тех руках, в которых находился в момент освобождения.

Помню, что когда овдовел тот священник, который был в Яхонтове, когда наше семейство поселилось там, и который крестил нас — двух меньших детей, то архиерей приказал уволить его в заштатные, а нам дал молодого семинариста, весьма гордого и требовательного с крестьянами. Мы, дети, были очень огорчены удалением нашего доброго старика. В одну из своих поездок в Пензу отец мой жаловался архиерею на нового священника и просил его сменить; преосвященный отвечал, что готов сделать это, но что для

него будет удобнее, если отец мой укажет, какого именно священника он желает. Поблагодарив архиерея за это позволение и возвратившись домой, отец сказал старикам, чтобы они послали двух выборных по уезду узнать, нет ли где добросовестного священника, который не обижает мир. После продолжительных странствований по уезду выборные нашли такого священника в лице Ивана Ивановича Добрынина в Неелове, близко от нас; тогда они были посланы вторично, чтобы узнать у этого священника, согласен ли он перейти в наш приход по приглашению отца, на что он с радостью согласился. Вскоре Иван Иванович был переведен по прошению отца в наше Яхонтово, где он прослужил 25 лет и где похоронен. Это был человек необыкновенно любящий и весьма доброй души, жадности к деньгам не питал, за венчание брал с крестьян всего один рубль. Когда он обходил село с какими-нибудь требами, на похоронах или на крестинах, он никогда не упоминал о вознаграждении; брал, не глядя, что давали, и часто, идя по селу, ласкал ребятишек и раздавал им медные деньги, полученные с их отцов; правда, попадья бранила его за это, но он не обращал внимания на ее брань. Видя его истинно христианскую доброту, отец много помогал ему, выстроил ему хорошенький домик, а по зимам брал всю его скотину и содержал ее бесплатно вместе со своею.

Иногда до моего отца доходили слухи о жестоком обращении с крестьянами или дворовыми кого-либо из помещиков его уезда; он тотчас являлся на место сам, расспрашивал о взаимных отношениях крестьян с владельцами, внимательно выслушивал большею частью неосновательные жалобы помещиков; если дело касалось кого-либо из дворовых, то он убеждал помещика дать отпускную, говоря, что душевное спокойствие дороже какого-нибудь неприятного лица из дворовых, и нередко успевал убедить своего собеседника, а иногда, по пословице «куй железо, пока горячо», заручившись согласием владельца, вынимал из кармана гербовый лист и приказывал своему протоколисту написать отпускную, которая тут же и подписывалась помещиком. Когда же дело касалось крестьян, то он выслушивал обе стороны внимательно и порознь и, оставшись наедине с помещиком, убеждал его отменить жестокости и несправедливости, угрожая в противном случае взять имение в опеку, что иногда и случалось.

Много хлопот и огорчений наделало отцу село Яковлещено;

оно принадлежало малолетним, по смерти их матери, и управлялось мужем покойницы. Как ни убеждал отец крестьян не бунтовать, обещая назначить другого опекуна, они его не послушали.

— Не хотим принадлежать его детям,— говорили они,— дети растут у него, такие же будут. Пусть возьмут годных в солдаты, остальных пусть сошлют в Сибирь!

Для усмирения бунта была прислана военная команда; два человека умерли в больнице от последствий наказания[8].

Александр Алексеевич Панчулидзев, бывший двадцать или двадцать пять лет губернатором в Пензенской губернии, ненавидел отца за независимый характер, за свободный образ мыслей и считал его человеком «беспокойным». Исполняя свой долг, отец невольно постоянно мешал губернатору. Однажды, в голодный год, Панчулидзев созвал в Пензу всех уездных предводителей для того, чтобы убедить их не просить у правительства никакого вспомоществования; когда собрание открылось, несколько предводителей изъявили тотчас на это свое согласие, но когда очередь дошла до моего отца, то он изобразил весьма основательно бедственное положение народа и прибавил, что будет просить помощи у правительства.

— Но правительство не в состоянии оказать большую помощь,— запальчиво возразил губернатор.

— Удрученное население будет довольно и немногим; самое ничтожное пособие покажет участие правительства к несчастным, внесет успокоение в души крестьян, измученных всякими лишениями и голодом, этим худшим из всех бедствий,— отвечал отец.

Вслед за этими словами и остальные предводители стали требовать пособия для своих уездов. Таким образом, вмешательством «беспокойного» Алексея Алексеевича Тучкова был разрушен план губернатора получить крест за умение обойтись без пособия от правительства в столь критическую минуту.

Иногда помещикам удавалось склонить губернатора в свою пользу в тех случаях, когда он вовсе не знал сущности их дела с крестьянами, но, считая себя дворянином, считал своим долгом стоять всегда за помещиков. Панчулидзев удивлялся взглядам отца и никогда не мог его вполне понять; между ними было не мало ссор и неприятностей. Однажды отец, выведенный из терпения, сказал ему: «Вы мне вовсе

не начальник, я непосредственно подчинен министру внутренних дел».

Однажды, по настоятельной просьбе помещицы Тре<тьяко>вой, губернатор послал чиновника особых поручений вместе с уездным исправником произвести у нее следствие без ведома моего отца; однако крестьяне тотчас дали ему знать об этом, и он отправился немедленно в дом г-жи Тре<тьяко>вой.

— Господа,— сказал входя отец,— вы забыли, кажется, меня предупредить, ведь я здесь хозяин, это мой уезд.

Чиновники отвечали сконфуженно, что им не было приказано приглашать его на следствие.

— О чем же вы производите следствие? — спросил отец

В ответ на эти слова чиновники объяснили ему сущность жалобы г-жи Тре<тьяко>вой на шестнадцатилетнюю девушку, которая будто бы отравила ее. Обвиняемая стояла испуганная, заплаканная и босая, а дело было зимою.

— Господа,— заявил отец,— прикажите обуть и одеть подсудимую, как следует зимою; иначе я, по закону, не имею права ее допрашивать.

Тре<тьяко>ва побледнела.

— Да ведь это за ее вину...— начала было она.

— Сударыня,— возразил отец,— когда вы пригласили нас разбирать это дело, то должны подчиниться требованию закона. Как вижу,— продолжал он,— госпожа Тре<тьяко>ва здорова.

— Меня рвало тогда тотчас после обеда,— заявила Тре<тьяко>ва.

— Это не есть еще доказательство отравления, где же рвота? Только химический анализ может доказать, было ли это отравление, или просто желудочное расстройство,— сказал мой отец.

Разумеется, рвота не была сохранена, и благодаря присутствию отца следствие кончилось ничем. Уезжая, он убеждал помещицу избавиться от подозреваемой девушки, дав ей отпускную,— не помню, однако, успел ли он в этом.

Много замечательных фактов слышала я от отца; между прочим, он рассказывал о молодом Шишкове, который воспитывался в доме у моего деда; должно быть, в то время многие считали безопаснее для юношей воспитание в Москве, нежели в Петербурге. Дед Шишкова некогда занимал важный пост министра народного просвещения. В числе портретов, писанных тетушкою Марьею Алексеевною, я помню

прекрасный портрет молодого Шишкова. Совсем еще юноша, блондин, он имел мелкие и живые черты лица и быстрый взгляд. Он написал стихотворение, в котором высказал очень свободные мысли; об этом узнали, он был арестован и отвезен в Петербург. Император Николай Павлович приказал привезти его во дворец и спросил его, указывая на это стихотворение:

— Это ты написал?

— Я, ваше величество,— живо отвечал Шишков.

— Читай,— сказал государь.

Молодой человек прочел свое сочинение с одушевлением. Государь рассердился и приказал заключить его в дом умалишенных; однако из уважения к его деду, служившему при дворе, неосторожный юноша был вскоре выпущен. Это было, должно быть, самое тяжелое наказание, какое может постигнуть человека. В молодости я знавала старинную знакомую Тучковых, г-жу Перваго (незаконную дочь Стрешнева-Глебова), которая была подвергнута подобному же наказанию за какие-то неосторожные речи. По ее словам, трудно себе представить, какое влияние имеет на здорового человека общество психически больных; и действительно, у нее осталось что-то странное на всю жизнь. По выходе из сумасшедшего дома она была сослана в Вятку, куда прибыл, тоже не по своей воле, Александр Иванович Герцен. Узнав об его приезде, г-жа Перваго, не знавшая его лично, обратилась к нему письменно с предложением заказать вместе панихиду по Рылееве и его товарищам; но Герцен отклонил это предложение, считая его ребячеством, которое могло направить его еще дальше, без всякой цели, без всякой пользы. Г-жа Перваго очень рассердилась за его отказ и никогда не могла простить ему этого факта, считая это признаком трусости; изведав всякие невзгоды и не ожидая ничего от жизни, она не боялась никаких наказаний и находила отраду в поддразнивании властей[9].

Однажды, ехавши из деревни в Москву, мы обогнали много подвод, на которых виднелись исключительно детские лица; их сопровождали солдаты; это было зимою. Отец, полюбопытствовав узнать, что такое, спросил одного из солдат:

— Откуда эти дети?

— Из Польши,— коротко отвечал солдат.

— Куда везете их?

— В Тобольск,— был ответ.

Дети, на взгляд от трех до десяти лет, принимали подаяние отца, улыбаясь сквозь слезы. Многие ли из них доехали до места назначения? Одни говорили, что это дети шляхтичей; другие — что это дети евреев, взятые у родителей для того, чтобы они скорее обрусели [10].

Не помню, в 1845 или 1846 году, поселились в нашем соседстве премилые люди: Алексей Дмитриевич Желтухин и жена его, Елизавета Николаевна. Отец Желтухина, Дмитрий Алексеевич, бывал у моего деда; поэтому, вероятно, молодые Желтухины и приехали познакомиться с нами. С первого свидания мы сошлись с ними; они оба пели очень мило и были большие охотники до любительских спектаклей; отец мой также очень полюбил Желтухина, который звал его, как и мы, «папа». Мы подружились и с его женою, Елизаветою Николаевною, стали всею семьею ездить к ним; по субботам они приезжали к нам, оставались до понедельника; их отъезд каждый раз очень огорчал нас. Они привозили с собою много книг с драмами, комедиями. Желтухин читал нам вслух по вечерам; мы обсуждали вместе, какую пьесу выбрать, какую роль взять и проч. Желтухин был человек весьма умный и симпатичный, с необыкновенно привлекательною наружностью; у него были темные, очень густые волосы, красивый лоб, прекрасные глаза и милая, слегка насмешливая улыбка; дамы бредили им, увидев его только один раз. Удивительно, что он при всем этом был необыкновенно скромен, даже немного застенчив.

В то время нам писали из Москвы, что Огарев там пирует с друзьями; они провожали Александра Ивановича Герцена, который уезжал со всею семьею за границу на неопределенный срок. Иван Алексеевич Яковлев уже скончался, и Герцен чувствовал себя вполне свободным [11].

Нам было любопытно посмотреть на Огарева после его семилетнего отсутствия и хотелось видеть человека, только что возвратившегося из чужих краев [12]. Когда Огарев приехал наконец в деревню, мой отец очень обрадовался ему, а мы с ним дичились, да и репетиции поглощали все наше время; мы были очень заняты постановкою двух пьес к 27 ноября, дню рождения моей сестры Елены, который праздновался всегда торжественно.

В то время нам жилось очень весело и легко, ученье не имело всей своей правильности, зато мы много читали; но в описываемое мною время были всецело поглощены театром: Желтухин был славный актер, жена его тоже хоро-

шо играла, меня хвалили; признаюсь, внутренно я гордилась только похвалою Желтухина.

Наконец торжественный день 27 ноября настал; в доме поднялась страшная суетня; какой-то маляр дорисовывал наверху декорации, m-lle Michel писала афишки, а мы... мы ничего не делали.

Давно не было в Яхонтове такого праздника; гостей было человек до пятидесяти; незнакомые нам дамы просили через других позволения приехать на спектакль; причиною этого съезда была, вероятно, игра Желтухина. Будучи еще па ком, он играл при царской фамилии и был замечен своею игрою; впоследствии он играл в Казани и был признан за отличного актера любительского театра.

К нашему крыльцу подъезжали беспрестанно возки, и из них высаживались многочисленные семьи наших соседей; дамы в нарядных чепцах и платьях отправлялись к моей матери и усаживались на диване в гостиной; их мужья, еще менее их интересные, раскланявшись с обществом в гостиной, спешили в отцовский кабинет. Мы встречали дочерей и, устроив их в уютном уголке, спешили от них отделаться под предлогом разных актерских занятий и репетиций. Не имея ни одной общей мысли с ними, мы ужасно скучали, занимая их. Как весел был наш актерский обед! Профанов мы не допускали; кроме актеров, в нем участвовали только наша хорошая знакомая Нина Николаевна Юрлова (рожденная Нечаева) и Николай Платонович Огарев. Он очень оживился и в конце обеда показывал нам, как, выпивая бокал шампанского левою рукою за здоровье сестры, правою он ловко, с одного удара, разбивал тарелку о свою кудрявую голову; подражателей нашлось много, и дюжины две тарелок были уничтожены в этот памятный день...[13]

ГЛАВА IV

Николай Платонович Огарев.— Сборы к отъезду.— Остановка в Москве и Петербурге.— Первые заграничные впечатления.— Италия.— Свидание с И. П. Галаховым в Ницце.— Рим.— А. И. Герцен и его семья.— Неаполь.— Пропажа портфеля.— Известие о революции во Франции.— Отголоски революции в Италии.

1848—1849.

После окончания спектаклей гости разъехались, и наша жизнь пошла опять своим обычным чередом; однако начинали поговаривать о нашем путешествии в чужие края на целый год. Огарев приезжал к нам часто и оставался по нескольку недель.

Постараюсь передать его наружность в то время: он был повыше среднего роста, не худ и довольно широк в плечах, черты его лица были неправильны, но очень приятны; большие серые глаза имели очень умное и кроткое, подчас немного задумчивое выражение; волосы его были темно-русые, кудрявые и очень густые. Он был бесконечно любим крестьянами и дворовыми как в его имениях, так и в нашем. Когда мы обе, сопровождаемые Огаревым, прогуливались по нашему саду, то крестьяне выбегали иногда к нам радостно и говорили: «Мы варим брагу к празднику, попробуйте, Николай Платонович». Огарев брал стакан из их рук, выпивал брагу и хвалил ее, улыбаясь с своим обычным добродушием.

Помню, как однажды мы подошли к избе моей кормилицы; увидав нас, она высунула торопливо голову из маленького окошечка и сказала:

— Погодите, Николай Платонович, не ходите на двор, у нас злая собака, пожалуй она вас укусит.

Огарев отвечал уже со двора и очень спокойно:

— Не беспокойся, Марфа Ивановна, она уж укусила меня.

Надобно было что-нибудь слишком необыкновенное, чтобы Огарев потерял терпение и рассердился, и то на равных, а не на подчиненных; он был олицетворенный покой и кротость. Понемногу мы привыкали к нему. Он жил у нас в верхнем этаже; не имея возможности послать за Огаревым, чтобы звать его на прогулку, когда наши занятия с m-lle Michel бывали окончены, мы условились с ним играть на фортепиано финал из «Сомнамбулы» [1]; бывало, как только Огарев услышит этот мотив, так и сойдет в зал с картузом в руках.

— Mesdemoiselles, je suis sous les armes*, — говорил он шутя, и мы отправлялись с ним в лес; иногда брали с собою кофе, кофейник и сливки. Утомившись ходьбою, садились большею частию у Дубового оврага; Огарев разводил огонь, а мы варили кофе. Хорошее время! Легко и светло воспоминание о нем, никто из нас ни в чем не мог упрекнуть себя. Удивляюсь только, как Огарев не скучал с нами; он говорил с нами о наших занятиях, о чтении, о Герценах, с которыми мы должны были скоро увидеться в Италии и познакомиться короче; Огарев смотрел на нас, как на детей [2].

Сначала нам не верилось, что мы едем за границу, однако начались и серьезные приготовления к отъезду; m-lle Michel торжествовала: наконец осуществлялась ее заветная мечта; нас тоже многое влекло к перемене, к путешествию... но жаль было расстаться со старою нянею Феклою Егоровною и с Огаревым. Последний провожал нас до первой станции, вспрыгнул на подножку нашей кареты, крепко пожал нам руки и отдал запечатанную записочку к Наталье Александровне Герцен, потом сел в свое ландо и поскакал обратно в Яхонтово, откуда должен был возвратиться в свое имение [3].

Во-первых, мы посетили деда в Москве, он с улыбкою провожал нас в чужие края; будь он помоложе, как охотно поехал бы он сам в Италию, он, который так хорошо по-

---

* — Сударыни, я под ружьем (*франц.*).

нимал архитектуру и живопись. В Петербурге мы остановились у меньшего брата моего деда, Павла Алексеевича Тучкова, в то время члена Государственного совета и председателя комиссии прошений. Он и больная его дочь Маша, с компаньонкою ее miss Smith, оставались одни в большом доме; остальные члены семьи находились в то время в деревне. Мой отец очень любил беседовать с дядею, но мы обе дичились его. Он мало говорил, когда все собирались к обеду или к чаю, и эта молчаливость, эта тучковская застенчивость старика нас очень стесняла. Когда же он бывал вдвоем с моим отцом, из другой комнаты доносился их оживленный разговор, иногда даже слышался смех.

Мы провели у Тучкова недели три в ожидании паспорта. По воскресеньям ездили на целый день к брату моего отца, молодому Павлу Алексеевичу Тучкову, и страшно там скучали, потому что дети его были много моложе нас и имели с нами мало общего; помню, что дядя жил тогда на даче, на Черной речке.

Наконец паспорт был выдан, и мы отправились в Кронштадт, где сели на большой пароход, который высадил нас на четвертый день в Штеттине[4].

Не стану описывать нашего путешествия; все города и страны, которые мы посетили, слишком известны, чтобы о них говорить подробно; скажу только о впечатлении, произведенном на нас первым европейским городом. Хотя Штеттин был совсем маленький городок, однако нас поразила свобода, непринужденность, отражавшаяся на каждом лице, тогда как Петербург производил в то время совершенно иное впечатление. В Берлине мы пробыли дней пять, не более; этот солдатский, несимпатичный город не особенно нам понравился.

Огарев дал моему отцу записочку к берлинскому жителю, Герману Миллеру-Стрюбингу, который был для русских вроде проводника; предупрежденный письмом, он встречал отрекомендованных ему русских, показывал им все, что заслуживало внимания в Берлине, возил их в Потсдам, в Сансуси и пр. и провожал до вагона, который увозил их из Берлина. Так было и с нами; показав нам все, что следовало, объяснив все на ломаном французском языке, не разлучавшийся с нами в продолжение пяти дней, Герман Миллер-Стрюбинг усадил нас наконец в поезд, который часов через шесть доставил нас в Дрезден. Этот город нам очень понравился, особенно вначале; мы ходили

каждый день в галерею и не могли достаточно наглядеться на все художественные произведения, хранящиеся в ней.

В Дрездене мы пробыли несколько месяцев, и об этом времени я сохранила воспоминания, которые, однако, не передаю здесь, так как они не имеют общего интереса. Но вот предо мною Вена, Прага, Триест, Венеция, Пиза, Генуя, Ницца... Обо всем в этих городах мною виденном и о тогдашних моих впечатлениях я тоже не говорю, так как заметки об этом устарели...

Не трудно было нам найти в Ницце Ивана Павловича Галахова: за исключением его, в то время не было иностранцев в Ницце. Иван Павлович принадлежал к московскому кружку Герцена и Огарева; он был человек весьма умный и образованный, в деревне бывал редко и живал не подолгу, посещая только нас, а с прочими соседями не был даже знаком[5].

По приезде в Ниццу вечером мы отправились все к Ивану Павловичу. Недавно еще он был стройный, прямой, имел то, что я не умею назвать по-русски: «un air de grande distinction»*, теперь же мы увидали больного, слабого, немного сгорбленного Ивана Павловича, с заостренными чертами лица; сердце невольно сжималось, глядя на него. И на что его женила сестра? Она наивно верила, что ему лучше быть женатому... Посидев немного, мы простились с Иваном Павловичем и уложили все с вечера, чтобы ранее выехать из Ниццы обратно в Геную, по живописной дороге «Corniche», смиренно подчиняясь всем неудобствам дилижанса.

Из Генуи мы отправились морем в Чивита-Веккиа, а оттуда, опять в дилижансе, в Рим. Вечером, усталые, разбитые ездою в дилижансе, мы въехали наконец в «вечный город» и остановились в гостинице «Император», на улице Бабуине; поутру отец мой узнал адрес Герцена, и мы, нетерпеливые, отправились все к ним. Они жили тогда al Corso.

Семейство Герцена в то время было многочисленное: Александр Иванович с женою Натальею Александровною, мать его, Луиза Ивановна Гааг, с Марьею Каспаровною Эрн и Марья Федоровна Корш, старшая сестра Евгения и Валентина Федоровичей Корш. Детей было тогда у Алек-

---

* «на нем был отпечаток большого изящества» (*франц.*, точно непереводимо).



Н. П. Огарев.

Портрет работы неизвестного художника, 1830-е гг.

сандра Ивановича трое, и по слабости здоровья его жены они были разделены для ухода между дамами: старший мальчик, лет семи, был неразлучен с матерью; второй, глухонемой, был постоянно у бабушки и Марьи Каспаровны; третья — девочка лет трех — была на попечении Марьи Федоровны.

С того дня как мы встретились с Герценами, мы стали неразлучны; осматривали вместе все примечательное в Риме — а это немалая задача — и каждый вечер проводили у них; тут составлялись планы для следующего дня; иногда Александр Иванович читал нам то, что он писал в то время о Франции; иногда Наталья Александровна уводила меня в свою комнату и читала мне стихотворения Огарева, беседуя со мною постоянно о нем.

— Какая глубокая натура, какое сродство между моею душою и его!— говорила она восторженно[6].

Тогда я много вспоминала об Огареве и жалела, что его нет с нами. Герцен оживлял всех нас своим веселым юмором, редкою подвижностью, добродушным смехом. Он прожил около года во Франции и ужасно в ней разочаровался; поэтому у него были бесконечные споры с моим отцом, который относился пристрастно к Парижу и французам; ни тот, ни другой не сдавались в этих спорах; только утомившись, они расходились и заговаривали о другом. В одно из этих прений отец мой, выведенный из терпения безнадежностью взглядов Герцена на Францию, сказал ему:

— Позвольте вам сказать, Александр Иванович, что вы не знаете этой страны, вы ее не понимаете; одна электрическая искра падет, и все изменится; чем хуже нам кажется все, тем ближе к развязке.

— Из ваших слов о том, что делается во Франции, я заключаю, что мы не далеки от провозглашения республики.

— Я пари держу,— вскричал отец,— что Франция прогонит этого мещанского короля, который правит ее судьбами, и провозгласит республику.

— Хотелось бы вам верить,— сказал Герцен с иронией,— но едва ли. Когда же все это будет? Я принимаю ваше пари на бутылку шампанского.

— Когда?— повторил с живостью отец,— скоро. Готовьте шампанское: на мое рождение мы будем пить за французскую республику!

Этот горячий разговор, обративший тогда мое внимание, был вскоре позабыт.

Решено было ехать дней на десять в Неаполь; в Риме оставалась только Марья Федоровна Корш с маленькими детьми Герцена, а старшего мать взяла в Неаполь.

Никогда не забуду этой поездки, так мне было хорошо тогда! Мы ехали в дилижансе; я сидела в купе с Натальею Александровною и с маленьким Сашей. Александр Иванович часто подходил к нам на станциях с разными вопросами: не хотим ли поесть чего-нибудь, или попробовать местного кисленького вина, или выйти походить, пока перепрягают лошадей. Ночи были лунные; мы выходили иногда полюбоваться великолепным видом на море.

Наконец на второй или на третий день мы прибыли в Неаполь, в десять часов вечера, и остановились, разумеется, все в одном отеле на Кьяе. Вместо окна в каждой комнате была стеклянная дверь, выходившая на маленький балкон с видом на море; вдали краснел огонек, и виднелась темная струйка дыма на Везувии. Не знаю, может ли кто-нибудь увидеть равнодушно Неаполь в первый раз в жизни? На нас всех он произвел сильное впечатление; в природе и на душе было так хорошо, что мы вдруг стали необыкновенно веселы, более того — даже счастливы, несмотря на нашу страшную усталость.

Из Неаполя мы ездили в Сорренто, дорога туда, Сорренто и его окрестности прелестны. В Сорренто нам посоветовали съездить в «Лазуревый грот»; говорили, что до него недалеко; однако это неправда: мы наняли большую лодку с шестью гребцами, и нам пришлось плыть до грота шесть часов в открытом море, в этот день далеко не покойном.

Как все путешественники, мы поднимались на Везувий, частью на ослах, частью пешком. Везувий представлял в то время вид огненной реки, что было необыкновенно красиво; некоторые из нас прожгли сапоги, ступая на горячую лаву[7].

Весьма живо сохранился в моей памяти следующий случай из нашего пребывания в Неаполе.

Однажды все наше семейство пошло по приглашению нашего знакомого доктора Циммермана, родственника моей матери, к нему в гости; семейство Герцена оставалось в отеле. От Циммермана мы возвратились поздно, однако я все-таки зашла проститься с Натальею Александровною.

Когда я вошла, она стояла среди комнаты, встревоженная, с раскрасневшимся лицом,— она, которая всегда была бледна; Луиза Ивановна, обыкновенно веселая и добродушная, смотрела гневно; Александр Иванович стоял у своего письменного стола задумчивый и молчаливый. Я глядела на всех с недоумением, не зная, как уйти и что делать, но Наталья Александровна вывела меня скоро из неловкого положения.

— Не подходи ко мне, я преступница,— сказала она с иронией,— я потеряла все наше состояние! Я не шучу, это правда.

— Полно, Наташа,— сказал Александр Иванович с упреком,— ты знаешь, я не боюсь, я прокормлю свою семью.

— Слушай,— сказала мне Наталья Александровна с оживлением,— когда вы пошли к Циммерману, я занялась с Сашею; вдруг гарсон постучал и сказал Александру, что на улицах демонстрация, большое волнение; Александр заторопил меня. Ты знаешь темно-зеленый портфель; в нем были ломбардные билеты, векселя на разные банкирские дома,— словом, все наше состояние и маменькино тоже. Я не знала, куда его девать, оставить в отеле боялась; наконец второпях сунула его в карман, но карман был мал, и портфель одним углом высовывался из него. Много раз я ощупывала его, стоя в толпе, он был тут; вдруг я почувствовала, что кто-то дернул меня; ощупала карман,— он пустой...

На другое утро Герцен с моим отцом занялись практическою стороною этого дела. Они написали письма к банкирам, на имя которых были бланки, прося их, по случаю кражи, не платить по ним до нового уведомления; потом пошли сами к неаполитанскому банкиру, графу Торлони, чтобы посоветоваться с ним о мероприятиях для отыскания портфеля, но, к сожалению, Торлони, несмотря на графский титул, оказался очень тупым. Более всего им помогли знакомые журналисты: они тотчас напечатали о потере портфеля, об его содержании и о вознаграждении тому, кто принесет его; потом один из них пошел с Герценом в полицию, где ими было заявлено о пропаже, и пр. Все это было сделано так быстро, что воры не могли получить крупной суммы по векселям, а по ломбардным билетам еще менее.

Через несколько дней к журналистам явился подозрительный нищий, объяснил шепотом, что портфель най-

ден бедными людьми и что они просят вести переговоры с самим сеньором, потерявшим портфель, но отнюдь не мешать в это дело полицию. Журналисты дали наш адрес.

На следующий день к крыльцу нашего отеля подошел старик, о котором доложили Герцену. Старик ни за что не хотел войти в отель, а просил Герцена выйти к нему, на что последний согласился.

— Портфель найден,— сказал старик,— мы его отдадим, конечно за вознаграждение; мы люди бедные, только не надо мешать в это дело полицию; если вы согласны, я зайду за вами ужо и провожу вас к нашему старшему; вы с ним столкуетесь, а потом вам принесут портфель, а вы отдадите вознаграждение.

Герцен согласился. В назначенное время старик пришел за ним, и они отправились. Бог знает, по каким трущобам ему пришлось идти, едва ли сама полиция проникала туда когда-нибудь; на пути им встретились люди мрачной наружности, едва прикрытые какими-то лохмотьями, лежавшие на дороге и не пропускавшие их дальше; завязался горячий спор, которого Герцен не мог понять; наконец их пропустили. Александр Иванович не имел никакого оружия в руках; эта мысль беспокоила его, когда огненные глаза со всех сторон устремлялись на него. Наконец, преодолев все препятствия, они дошли до цели; это было нечто вроде главного штаба воров; Герцена провели к старшему, тот надменно кивнул ему головою и велел подать портфель.

— Тот ли вы ищете? — спросил он.

— Да,— ответил Герцен, узнав портфель,— только я не вижу, целы ли бумаги, находившиеся в нем?

— Все цело,— отвечал старший. — Вы безоружный, находитесь всецело в нашей власти и уйдете отсюда, как пришли, никто не тронет волоска вашего, за это я ручаюсь головою.

Потом начались переговоры, окончившиеся тем, что за сто скуди портфель принесут к нашему отелю, а Герцен вынесет деньги и получит его.

— Но,— говорил старший,— мы честные люди, дайте и вы нам честное слово, что не замешаете в это дело полицию; мы не воры, но мы не любим полиции.

Герцен обещал. Молодой парень, явившийся на другой день с портфелем, не имел кармана, куда бы положить сто скуди, по той простой причине, что на нем не было никакой одежды; он был только прикрыт куском старого корабель-

ного паруса; однако это не помешало обмену совершиться благополучно. Герцена везде поздравляли со счастливым окончанием дела, и ему приходилось расплачиваться за поздравления.

— Надобно скорее убираться отсюда,— говорил он смеясь,— конца нет поздравлениям; право, они принимают меня за какого-то Монте-Кристо.

Этот эпизод немного омрачил наше веселое житье в Неаполе, и мы поспешили возвратиться в Рим[8].

Вскоре наступило 12(24) февраля 1848 года; мы собирались вечером праздновать день рождения моего отца; дамы семейства Герцен были уже у нас, чтобы сесть за стол,— мы ожидали только появления Александра Ивановича, который, по обыкновению, отправился читать перед обедом вечерние газеты. Вдруг послышались на лестнице торопливые шаги; то был Герцен с знакомым журналистом Спини. Герцен не шел, а бежал.

— Алексей Алексеевич,— вскричал он, входя в комнату и ставя бутылку на стол,— вы угадали: телеграф передает, что во Франции король бежал и провозглашена республика! Вот и бутылка шампанского; давайте скорее стаканы! — обратился он к нам.

Как он был хорош в эту минуту восторга, волнения; казалось, на его чертах не было места другому чувству, кроме неожиданной, беспредельной радости; он обнимал моего отца, как будто тот своим пророчеством был причиною счастливой вести.

Отец также был в неописанном восторге и с гордостью посматривал на всех нас.

— Что я говорил! Францию нельзя осуждать так необдуманно.

С этими словами отец обращался то к тому, то к другому из нас, а лицо его сияло удовольствием, верою в любимую страну[9].

С этого дня газеты были наполнены вестями о возмущениях, о восстаниях, происходивших в разных странах.

В Риме демонстрации были ежедневно; народ, очень взволнованный провозглашением французской республики, собирался в большом порядке и ходил по улицам Рима, прося реформ, напоминая о страждущих братьях в Ломбардии, говоря сочувственные речи французскому послу, который, как представитель монархии, вовсе не знал, что им ответить, тем более, что он не получал еще никаких

инструкций из Парижа; у австрийского посланника сломали герб и разделили между присутствующими эту черную птицу в память черных дел.

Видя часто римских демократов-журналистов, мы спрашивали их — все ли вести о восстаниях справедливы; они отвечали улыбаясь, что далеко не все: «Мы их предчувствуем, предугадываем, а через несколько дней они в самом деле подтверждаются»,— говорили они.

Мы всегда принимали участие в демонстрациях, т. е. Герцен, моя сестра, Марья Каспаровна Эрн и я; остальные не ходили — по различным причинам: мой отец никогда не мог много ходить по причине больных ног, жена Александра Ивановича — по слабости здоровья, Марья Федоровна была с детства хромая и потому едва переступала, опираясь на чью-нибудь руку; зато мы, четверо, были неутомимы. В продолжение многих дней мы не имели времени даже пообедать. Указывая на нас, «done forestiere»*, революционеры приглашали итальянок, глядевших на нас с балконов, сойти к нам и идти в рядах народа; но мало итальянок присоединилось к нам[10].

Когда волонтеры стали собираться в Милан, устроилась огромная демонстрация, которая, направляясь из Корсо в Колизей, по дороге остановилась перед церковью, где происходило богослужение, и просила священника благословить итальянское знамя, отправлявшееся в Ломбардию. Часть нас вошла в церковь, где все встали на колени; мы не знали, что нам делать и стояли как посторонние; тогда к нам подошел один из революционных начальников или руководителей демонстрации и попросил нас встать тоже на колени, чтобы не оскорблять религиозного чувства толпы.

Когда мы вышли из церкви, один из них вручил мне знамя, прося меня нести его перед народом. Я пошла впереди нашей длинной колонны, держа тяжелое знамя обеими руками; остальные женщины шли около меня[11].

Когда мы достигли наконец Колизея, нам пришлось долго ожидать Чичероваккио; он был простой работник и в то время главный и любимый трибун народа. Почти все жители Рима собрались в Колизее; со всех сторон тянулись пестрые толпы, в которых виднелись и женщины с детьми.

---

* «иностранных дам» (*итал.*).

Наконец толпа заколыхалась, потом все затихло — явился Чичероваккио. Он стал с жаром говорить народу о необходимости подать скорую помощь угнетенным братьям в Ломбардии, и в конце своей речи, представляя народу своего шестнадцатилетнего сына, добавил:

— У меня только один сын, он мне дороже всего на земле, и я отдаю его на служение народу, пусть он идет с волонтерами в Милан,— и, обратившись к юноше, добавил: — Иди с нашими, проливай свою кровь за отечество, за народ. К сожалению, я не могу идти сам в Ломбардию, я остаюсь здесь, стеречь вас от внутренних врагов.

Сказав это, Чичероваккио отер украдкою слезу; ему нелегко было принести эту жертву. Все были глубоко тронуты; те, которые стояли ближе, восторженно жали ему руки, остальные кричали со всех сил: «Evviva Cicerovachio!»* Долго гудел в толпе этот возглас, и эхо повторяло его.

В это время ко мне подошла молодая итальянка, незадолго присоединившаяся к нам.

— Я не сомневаюсь, что вы итальянка,— сказала она,— но я из самого Рима, а потому я думаю, что мне следует нести это знамя.

Я наклонила голову в знак согласия и молча передала ей знамя, хотя мне было очень грустно с ним расставаться: я несла итальянское знамя с такою гордостью, с таким восторгом[12].

В эти дни всеобщего возбуждения мы не знали никакого отдыха и были по целым дням на ногах, удивляясь и радуясь тому, что на наших глазах совершалось пробуждение Италии, создавалась всемирная история...[13]

---

* «Да здравствует Чичероваккио!» (*итал.*)

ГЛАВА V

В Париже.— Соотечественники.— Немецкий революционер Гервег.— Июньские дни 1848 г.— Обыск у Герцена и у моего отца А. А. Тучкова.— П. В. Анненков и И. С. Тургенев.— Последняя ночь в Париже.— Встреча с М. А. Бакуниным в Берлине.— Возвращение в Россию.— Граф П. Д. Киселев.— К. Д. Кавелин.— Московский кружок Герцена и Огарева.— Астраков.

1848—1849.

Вскоре нам пришлось оставить Италию; к тому же интересно было взглянуть на республиканский Париж. Мой отец горел нетерпением видеть наяву свои мечты; нам было очень жаль расстаться с Герценами, но они обещали скоро присоединиться к нам в Париже. Оказалось, что в новой республике не так хорошо, как это думалось издали; сменили заглавие: слово «монархия» на слово «республика», а содержание осталось то же. В экономическом отношении благосостояние народа ничуть не улучшилось и никто о нем не думал; народ бедствовал, особенно рабочий класс Парижа; он требовал работы, а испуганное мещанское сословие сокращало все производства, сводило на minimum все требования и заказы.

Недели через две-три после нашего приезда мы были свидетелями необычайного явления: рабочие (уверяли, будто тысяч до семнадцати) шли в мэрию просить работы, шли в большом порядке и пели Марсельезу. Я никогда не слыхала ничего подобного; всякий, кто слышал Марсельезу, может себе представить, как она должна была глубоко потрясти присутствовавших, исполненная семнадцатью тысячами голосов и при такой обстановке: рабочие шли голодные, унылые, мрачные...



А. И. Герцен.
С литографии Л. Ноэля, 1847 г.

В то время у нас часто бывали Павел Васильевич Анненков и Иван Сергеевич Тургенев; они сопровождали нас в картинную галерею и вообще помогали нам осматривать все интересное в Париже. Вскоре приехали и Герцены; они поместились на Елисейских полях, в нижнем этаже того дома, в котором мы занимали второй этаж. У Александра Ивановича бывали еще Николай Иванович Сазонов и Илья Васильевич Селиванов, кажется, старый знакомый Кетчера; у нас устроилось чисто русское подворье. Бывало хорошо и даже весело в этих непринужденных беседах с соотечественниками, но хорошему расположению мешало разочарование во Франции. Герцен опять стал нападать на нее, отец мой не защищал ее более. Разочарование становилось все сильнее и сильнее; впрочем, чего же было и ожидать от французов, кроме громких слов и общих мест?.. Больно было Герцену и отцу моему сознавать, что они ошиблись.

Везде обнаруживалась реакция; в Австрии, в Германии, везде преследовали свободомыслящих людей; последние скрывались. В это время явился в Париж бежавший из Германии революционер и писатель Георг Гервег, последователь Маркса. Он был довольно высокого роста, худощавый, гладко остриженный, с выдающимся длинным носом и черными, неприятно сверкавшими глазами; впрочем, человек весьма начитанный, изучивший основательно философию, историю и литературу. Жена его была совершенный контраст с ним: среднего роста, с некрасивыми и невыразительными чертами лица — тип немецкой мещанки. Гервег обращал на себя всеобщее внимание своим чудесным спасением. Он рассказывал нам, как он бежал, как скрывался на чердаке у одного крестьянина, который чуть было не поплатился жизнью за свой великодушный поступок. Герцен слушал его рассказ с волнением. Когда он умолк, Александр Иванович спросил:

— Как зовут того, кто вам спас жизнь?

— Я и не спросил,— отвечал Гервег с пренебрежением.

Эту черту я никогда не могла забыть и считала ее доказательством его эгоистичного и неблагодарного характера[1].

Вскоре наше внимание было сосредоточено на деле более важном: настали июльские дни 1848 года. Мы увидели, на какие злодеяния способен человек, когда он охвачен чувством страха. Из провинции прибыла в Париж, для восстановления порядка, мобилизированная гвардия (gar-

de mobile); рабочие в отчаянии, без работы, голодные, отважились на устройство баррикад; как ужасно было ликование мещан! С Елисейских полей мы слышали отчетливо, когда расстреливали на Марсовом поле; достаточно было, чтобы какой-нибудь полицейский удостоверился, что пахло порохом от рук рабочего,— и его немедленно, без суда, волокли расстреливать[2].

Герцен и мой отец становились угрюмы, молчаливы. И в самом деле, легче было молчать: негодование, бессильный гнев в них брали верх над всеми другими чувствами[3].

Несколько дней мы не видались с нашими знакомыми, их не пропускали к нам, а когда Александр Иванович и отец мой пошли посмотреть, что делается в центре Парижа, то их много раз останавливал караул и чуть было не арестовал. Не буду рассказывать, как я одна пыталась дойти до баррикад в предместье св. Антония, как выстрелы на Вандомской площади произвели на меня тяжелое впечатление, потому что все это было рассказано мною в третьем томе воспоминаний моего друга, покойной Т. П. Пассек, «Из дальних лет»[4].

В один из этих печальных дней Наталья Александровна Герцен, моя сестра и я пошли погулять взад и вперед по Елисейским полям. Мы заметили на улице трех мужчин в синих блузах, которые также ходили взад и вперед, как мы. Приняв их за рабочих, мы недоумевали, как они не боятся показываться так при солдатах. Когда мы ушли к «Круглой Точке» (Rond Point), мнимые рабочие позвонили у наших дверей. Увидав это, мы поспешили домой; три блузника были уже в квартире Герцена, когда нам отперли дверь. Работники узнали нас и улыбнулись.

— Ma foi, mesdames, veuillez nous excuser, nous avons attendu toute la matinée que vous vous-éloignez du logis, nous avons fait notre possible pour vous éviter ce désagrément — et voilà que vous rentrez*,— сказали они.

— En quelle qualité venez vous?**,— спросил Герцен, более опытный и более догадливый, нежели мы.

Они расстегнули блузы и показали полицейский шарф.

— Par mandat du préfet de police***,—отвечали они.

---

* — Извините нас, сударыни, мы все утро поджидали, чтобы вы удалились из дома; мы сделали все возможное, чтобы избавить вас от этой неприятности, а вот вы возвратились (*франц.*).

** — В качестве чего являетесь вы? (*франц.*)

*** — По приказанию полицейского префекта (*франц.*).

— Nous venons faire une perquisition domicilière chez m-r Alexandre Herzen, citoyen russe; c'est vous, monsieur?* — продолжал один из них, обращаясь к Герцену.

Тот кивнул головою. Тогда они прошли в его кабинет и там перевернули все вверх дном, осматривали камин, трогали золу, чтобы убедиться, нет ли сожженных бумаг в камине, а Герцен имел привычку жечь ненужные бумаги каждый день по окончании занятий. Видя, что полицейские осматривают бумаги ее мужа, Наталья Александровна вошла также в кабинет, стала иронически хвалить республику, в которой так свободно жить; потом предложила полицейским освидетельствовать и ее бумаги, но они спокойно отвечали, что исполняют только то, что им поручено, что с них и этого довольно.

Мой отец был в отчаянии; он понимал важную роль, которую играла полиция в эти страшные дни, и чувствовал, что жизнь Герцена в руках этих мнимых блузников. Полицейские, видимо, еще чего-то искали, но не говорили чего: вероятно, русского золота. Покончив с осмотром бумаг Александра Ивановича, один из полицейских обратился к моему отцу с вопросом:

— Вы тоже русский и живете во втором этаже, над английским семейством?

— Да,— отвечал отец, немного удивленный этими точными сведениями.

— Потрудитесь нам указать дорогу к вам,— сказал полицейский, вежливо наклоняя голову,— потому что теперь очередь за вами.

У отца они также тщательно все переглядели и унесли статью о революции 1848 года, писанную им по-французски, о чем отец очень жалел, потому что не имел другого экземпляра; она так и осталась в префектуре. Во время осмотра бумаг мы показывали полицейским разные карикатуры на тогдашних правительственных лиц; они смотрели на них, почтительно сдерживая улыбку [5].

Вести приходили все печальнее; эмигранты прибывали, а французы, принимавшие участие в баррикадах и случайно уцелевшие, спешили скрыться за туманы соседней Англии. Про Чичероваккио и его сына пронесся слух, что они

---

* — Мы явились произвести домашний обыск у г. Александра Герцена, русского гражданина; это вы, милостивый государь? (*франц.*)

оба в плену в Австрии; не вытерпел любимец народа, горячий трибун, ушел по следам сына. Было какое-то тяжелое затишье, как бывает после похорон; близился срок нашего возвращения домой, и, признаться, легче было вернуться, когда все страны превратились в какие-то обширные тюрьмы. Все наши соотечественники начинали поговаривать также о возвращении в Россию; один Герцен упорно молчал, а иногда говорил:

— Надо оставаться на западе, хотя он и разлагается; может, придется и погибнуть с ним, все же тут борьба, жизнь...

Решено, мы уезжаем; настали последние дни с их утомительною суетою. Мы должны были выехать из Парижа очень рано, прямо в Берлин; все решили не ложиться спать, а провести вместе последнюю ночь, роковую для меня, потому что я не видала более Натальи Александровны. Тургенев, как более избалованный и более нежный, пришел нарочно проститься и рано ушел домой. Провожали нас, кроме Герценов, Гервеги, Павел Васильевич Анненков и Николай Иванович Сазонов. Последний был очень умный, многознающий человек, но весьма несимпатичный и очень уже офранцуженный. Мужчины выпили много шампанского в эту прощальную ночь; от недостатка сна и излишка вина они имели страшные, зеленовато-бледные лица, говорили о свидании, но без особенной веры, а как будто для ободрения себя; в особенности, глядя на Наталью Александровну, трудно было надеяться на очень отдаленное будущее; она сама говорила: «Я чувствую, что не доживу до старости; жаль только, что не увижу детей большими. О дети, дети,— говорила она,— дорогие цепи; пожила бы для себя, да нельзя».

Вот сидим уже в вагоне и смотрим на провожающих нас. Как теперь вижу бледное лицо Натальи Александровны, опирающейся на руку сияющего здоровьем Александра Ивановича, и все исчезает [6].

Узнав о нашем приезде в Берлин, Михаил Александрович Бакунин пришел к нам вечером; я о нем слышала и желала увидеть его сама. О нем говорили так много противоположного; говорили, как о человеке бесконечно умном, начитанном и знающем в совершенстве немецкую философию, и, вместе с тем, как о детски избалованном, бестактном и любящем заниматься сплетнями; однако в один вечер нельзя было узнать такого замечательного человека.

Он пришел любезно и развязно с нами познакомиться и много нас расспрашивал о наших общих друзьях, оставшихся в Париже. От избытка энергии он никогда не унывал, а смотрел на революционное дело несколько по-детски; прощаясь, жал нам крепко руки, говоря: «До свидания в славянской республике!» Все смеялись его выходке.

Однако после нашего отъезда Бакунин поселился в Дрездене, завел там страшную агитацию, устроил с тамошними демократами баррикады, после был взят с оружием в руках; его хотели расстрелять, потом взамен передали Австрии, которая хуже всех других стран обращалась со своими пленными. Полный надежд, quand-même, и физических сил, Михаил Александрович Бакунин был заключен в крепость и прикован к стене. Впоследствии он рассказывал нам, что пробовал отравиться спичками и ел их без всякого ущерба для своего редкого здоровья.

— Подлая страна,— говорил он,— не умеет ни покончить с человеком, которого считает вредным, ни смягчить его человеческим обращением. Откровенно говоря, я рад был,— продолжал он,— что меня выдали России; австрийцы и кандалы-то пожалели — сняли свои.

Осенью 1848 года мы вернулись из чужих краев, тоже морем, через Кронштадт; тогда это было самое удобное средство передвижения. Вещи наши осматривались снисходительно; в таможне были предупреждены о нашем приезде, контрабанды у нас не было, но были французские газеты, кажется, «Le Rappel», «Le Peuple» Прудона, «La voix du peuple», «La Liberté» и проч.; были литографии французских выдающихся деятелей, карикатуры... За них-то мы и опасались; однако все обошлось благополучно; но по всему было заметно, что настало время больших строгостей. Нашей гувернантке, m-lle Michel, не было дозволено въехать вместе с нами в Петербург, ей пришлось ждать в Кронштадте. Она плакала, опасаясь, что ее вовсе не пустят; пятнадцать лет провела она в России совершенно безвредно, занимаясь исключительно воспитанием вверенных ей детей. Мой отец хлопотал о ней в Петербурге, и через несколько дней ей был разрешен въезд в Россию, но, кажется, года через два она была вынуждена принять русское подданство во избежание высылки из пределов России.

В эту эпоху было решено русских не пускать за границу, кроме редких исключений, по очень серьезным болезням,

а иностранцев, в особенности французов, не впускать в Россию; те же иностранцы, которые уже были в России, должны были или оставить Россию, или принять русское подданство; мера эта продолжалась лет семь. В 1855 году, уже в царствование императора Александра II, эта строгость была отменена; наш заграничный паспорт первый, помню, был выдан по мнимой болезни Огарева.

В Петербурге отец мой заметил, что Л. А. Перовский, в то время министр внутренних дел, хороший его знакомый и вместе с тем его начальник, как-то раздражителен и холоден с ним. Между прочими знакомыми отец был у приятеля деда моего, графа П. Д. Киселева, который имел репутацию очень либерального человека. Граф любил моего отца и принял его, как всегда, очень любезно; большею частью они беседовали по-французски. Вдруг граф говорит отцу:

— Ah, mon cher Toutchkoff, je ne sais si votre nom est inscrit en rouge ou en blanc, mais il est noté dans le livre noir, c'est sûr.

— Pourquoi cela, comte? — спросил отец.

— C'est un fait,— продолжал граф,— mais je ne sais trop comment vous l'expliquer, en un mot: vous sentez les barricades à une lieue. Oui, mon cher, il ne fallait pas rester à Paris pendant les journées de juin.

— Mais il est impossible de tout prévoir,— возражал отец,— quand l'insurrection du faubourg St. Antoine éclata, il était trop tard pour quitter Paris. Il est heureux encore que nous n'ayons pas été fusillés comme agents russes. Nous avons eu tous des perquisitions domicilières et si l'on eût trouvé de l'or russe chez nous, notre affaire eût été très mauvaise, car dans les journaux on ne faisait que parler des agents russes, qui à l'aide de l'or russe fomentaient tous ces troubles; un heureux hazard nous a sauvés; une heure avant la visite de la police chez nous, Herzen a pris tout l'or que nous possédions pour l'échanger chez Rotschild et dans ce but l'a laissé chez sa mère, qui demeurait dans une autre rue; là il n'y eut pas de perquisition*.

---

* — А, мой милый Тучков, не знаю уже,— красными или белыми чернилами записано ваше имя в черной книге, но что оно записано в ней, это факт.

— Почему это? — спросил отец.

— Это верно,—продолжал граф,—но я не знаю, как вам это объяс-

— Ah! c'est curieux,— вскричал Киселев,— perdu des deux côtés*!

— Oh non, mon comte, ici je ne suis pas encore perdu**,— возразил горячо мой отец,— все ограничилось тем, что у меня взяли мою статью о революции 1848 года, которую мне очень жаль.

— Спросите Перовского, как на вас смотрят,— сказал граф,— он должен знать.

Отец виделся с Перовским, но последний был непроницаем.

Я забыла сказать, что Мария Федоровна Корш, прожившн в семействе Герцена за границею полтора года, возвратилась с нами в Россию и ехала с нами до Москвы к своему брату, Евгению Федоровичу Корш. В Петербурге к ней часто хаживал ее зять Константин Дмитриевич Кавелин; он был знаком с моим отцом еще в Москве и бывал у нас, но тогда мы были слишком молоды, чтобы обратить на него серьезное внимание. Тут мы познакомились с ним короче; он нам много рассказывал о московском кружке, о Белинском, об его кончине, хотел даже подарить мне слепок с Белинского, снятый по кончине его. Мне очень хотелось его иметь, но странны бывают понятия в молодости: мне казалось, что, не знавши Белинского лично, я была недостойна получить такой драгоценный подарок, и даже негодовала на Кавелина за то, что ему вздумалось подарить мне такую бесценную вещь. Вероятно, Кавелин заподозрил, что я не дорожу слепком Белинского, так это и не осуществилось.

Приходя к нам, Кавелин иногда опаздывал, а мы

нить; одним словом, от вас за версту пахнет баррикадами. Да, друг мой, не следовало оставаться в Париже во время июньских дней.

— Да ведь невозможно все предвидеть,— возражал отец,— когда началось восстание в предместье св. Антония, было уже поздно оставлять Париж. Счастье еще, что нас не расстреляли как русских агентов. У нас у всех были обыски на дому, и если бы у нас нашли русское золото, то наше положение было бы весьма плохо, потому что в газетах беспрестанно писали о русских агентах, которые будто бы с помощью русского золота подстрекали рабочих к восстанию; счастливая случайность спасла нас. За час до прихода полиции Герцен взял все наше золото, чтобы обменять его у Ротшильда, и оставил его у своей матери, жившей в другой улице и у которой не было обыска.

* — Ах, как все это странно, погибель с обеих сторон!— вскричал Киселев.

** — О, здесь я еще не погиб (*франц.*).

с Марьею Федоровною Корш, усталые от морского путешествия, ложились довольно рано. Раз Кавелин постучал в дверь нашего нумера после девяти часов; мы отвечали, что легли: тогда он просил позволения разговаривать через дверь, сел на стул в коридоре у запертой на ключ двери, и мы беседовали таким образом. Но Марья Федоровна, боясь оскорбить щепетильность английского пансиона, в котором мы остановились, запретила Кавелину ходить к нам после девяти часов, и это не повторилось. Я думаю, редко можно встретить столько доброты и кротости в соединении с замечательным, пытливым умом, как у Константина Дмитриевича Кавелина; не было никогда благородного порыва, на который он бы тотчас не отозвался, не раздумывая о своих личных интересах; известно, как он оставил Московский университет и тем, быть может, повредил своей карьере навсегда. Но мне придется позже говорить о нем; он являлся несколько раз в моей жизни до 1855 года, когда мы — Огарев и я — окончательно оставили Россию, не зная, увидим ли мы ее еще раз[7].

Я одна увидела ее, увидела дорогое Яхонтово...[8]

Проездом из Петербурга в наше имение мы побывали у деда моего, генерал-майора Алексея Алексеевича Тучкова; он нам очень обрадовался, так же, как и мы ему. В это время нам очень хотелось видеть знаменитый кружок Герцена и Огарева; теперь мы уже понимали его значение. Мой отец всегда бывал там и был всеми очень чествуем, как декабрист, и к нему ездили эти господа, но мы тогда были почти детьми. Наконец мы увидали всех или почти всех. В семье Герцена я уже слышала о характере Николая Христофоровича Кетчера, об его выходках, обидчивости, о неприятностях, возникавших более всего от его строптивого характера, и потому немудрено, что я смотрела на него не совсем беспристрастно и что он мне с первого взгляда не понравился.

Евгений Федорович Корш, тогда редактор «Московских ведомостей», был действительно таким, каким мне его описывали,— умный и холодный, как сталь; его заикание не только не вредило ему, а как будто придавало более меткости его остротам. О Грановском и его жене я также много слышала; между прочим, Герцен говорил, что, несмотря на замечательный ум Грановского, его идеализм был иногда преградою в философских прениях с друзьями. Однажды посреди горячего спора о вероятности несуществo-

вания загробной жизни Грановский вдруг встал и отошел. На вопрос некоторых друзей — что с ним, Грановский отвечал:

— У меня умерла сестра, которую я горячо любил, я не могу допустить, что я с нею не увижусь.

Эта выходка многим показалась малодушием. С другой стороны, несогласие с Кетчером, заступничество Грановского — все это указывало на необходимость отдаления хотя на время. Мало-помалу кружок стал разъединяться; Герцен уехал за границу, Огарев — в деревню[9]. Жена Грановского тоже меня очень интересовала. Она была ближайшим другом Наталии Александровны Герцен и вдруг, без заметной причины, без объяснения, отдалилась от нее,— почему это произошло, осталось тайною навсегда. Мне казалось, что все эти личности знали, что я много о них слышала, и потому как-то сдержанно относились ко мне.

Еще мы познакомились с Астраковыми; помню, как мы отправились к ним вдвоем с сестрою, с запискою Наталии Александровны Герцен к Татьяне Алексеевне Астраковой[10]. Она жила близ Девичьего поля, на Плющихе, в собственном деревянном доме. Астраковых было несколько братьев; старшего, Николая Ивановича, мужа Татьяны Алексеевны, уже не было в живых; из остальных всех ближе с Огаревым и Герценом был Сергей Иванович,— с ним-то мы короче и познакомились. Он и Татьяна Алексеевна приняли нас так радушно и просто, что нам стало свободно, и казалось, что мы давно знакомы, и так это осталось навсегда. Мы с Татьяною Алексеевною остались как два вестовых того времени и до сих пор (1889 г.) перекликаемся иногда[11].

Когда мы приезжали к Астраковым, нас встречал всегда их слуга, отставной солдат Никифор; он нас очень полюбил и называл все «голубчиками». Когда впоследствии мы навещали Астраковых, приезжая в двух пролетках: я с Огаревым, а сестра со своим женихом, Николаем Михайловичем Сатиным, Никифор качал головою и говорил: «Разлучили голубчиков, прежде лучше было!»

Сергей Иванович Астраков был человек замечательно умный и знающий, очень хороший математик, а между тем судьба-мачеха не дала ему возможности сделать многого для отечества и для собственного существования.

Он является в моих глазах одною из тех молчаливых жертв, неугаданных другими, которые у нас встречаются чаще, нежели в других странах; жил он как-то отщепенцем, хотя и принадлежал к кружку. Впоследствии, кажется в 1866 году, от неудовлетворения ли, или с отчаяния этот духовно и физически сильный человек угас в чахотке, и не стало существа самого преданного добру и правде![12] За исключением Герцена, никто из друзей не любил и не ценил Огарева так, как Сергей Иванович Астраков[13].

ГЛАВА VI

Наше сближение с Николаем Платоновичем Огаревым.— Хлопоты его о разводе с Мариею Львовною Огаревою.— Поездка в С.-Петербург.— Приятели и друзья Огарева.— Ив. Павл. Арапетов.— К. Д. Кавелин.— И. С. Тургенев.— Мих. Александр. Языков.— Собрания у М. В. Буташевича-Петрашевского.— Вечер у Н. П. Огарева.— Спешнев.—Аресты в Петербурге.— Отъезд в Москву.— Розыски священника для обвенчания.— Мой отказ венчаться с Огаревым без его развода.— Поездка в Одессу.— Намерение уехать за границу.— Пребывание в Крыму.— Возвращение в деревню.— Запрещение Огареву носить бороду.— Обыск в деревне.— Арест и увоз отца.— Весть к Огареву.— Тяжелые встречи в Москве и черные дни в Петербурге.— Освобождение отца, Огарева и Сатина.— Веселые проводы.— Ссылка отца в Москву.— Наш отъезд в деревню.— Сожжение книг и бумаг.— Поджог крестьянами писчебумажной фабрики.— Смерть Н. А. Герцен.— Приглашение за границу.— Смерть М. Л. Огаревой и Т. Н. Грановского.— Новое царствование.— Заграничный паспорт.

1849—1855.

...После тяжелых объяснений с моим отцом, который сначала не мог слышать о нашем браке[1], было решено ехать всем в Петербург, где Огарев надеялся уладить дело развода с своею первою женою, Мариею Львовною Огаревою. Она была в то время за границею; там было поручено А. И. Герцену узнать у нее, можно ли надеяться на ее согласие.

И там и тут все оказалось безуспешно: в Петербурге, в эту строгую административную эпоху, было почти немыслимо устроить такое трудное дело.

Мы остановились в Петербурге, так же как и Огарев, в гостинице Кулона, в то время одной из лучших или даже

лучшей. Огарев почти ежедневно был посещаем своими многочисленными друзьями, которых он нередко приводил и к нам; между прочими чаще бывали Сатин, Кавелин, Арапетов, Михаил Александрович Языков, Ив. Ив. Панаев и Н. А. Некрасов. Тургенев находился в то время в своей деревне Спасское; тогда говорили, что он был сослан туда за то, что был в Париже во время баррикад[2]. Не соображали, как опасно было оставить Париж в то смутное время,— стоило быть принятому за русского агента — и можно было быть расстрелянному; со временем узнали бы, что это было по ошибке — и только; благоразумие повелевало выжидать спокойствия для отъезда, и так сделали все русские, застигнутые реакционною бурею в Париже.

Но, возвращаясь к петербургским приятелям Огарева, вспоминаю Михаила Александровича Языкова, который обладал необыкновенным даром веселить, смешить свой интимный кружок, сохраняя при том очень серьезный вид, что придавало еще более пикантности его насмешкам и каламбурам. Находчивость его была поразительна — он никогда не пропускал случая сострить. Раз на каком-то обеде, встав с бокалом в руке, он сказал с одушевлением:

— Раз думал я, друзья... — все слушали его в нетерпеливом ожидании.— Раздумал я,— сказал он и сел на свое место.

Все весело смеялись над этою выходкою.

Михаил Александрович был очень маленького роста, слегка хромал, с мелкими, довольно правильными чертами лица, всегда острижен под гребенку.

Во время нашего пребывания в Петербурге помню один случай, в котором я, случайно или по какому-то женскому инстинкту, спасла Огарева и некоторых друзей его.

В начале страстной недели (1849 г.) у нас собралось несколько друзей Огарева; между прочими помню Сатина, Кавелина и Арапетова. Последний рассказывал с большим жаром о собраниях М. В. Петрашевского: к нему собирались даже личности, приехавшие в столицу только на короткий срок. Знакомые Петрашевского привозили к нему своих знакомых; вообще, доступ в эти сборища был очень легок, и потому собрания были весьма многолюдны; особенно обращал на себя внимание обычай разговляться в страстную пятницу, и это происходило (как говорили тогда) уже несколько лет, посреди Петербурга[3].

— А полиция? — спросила я не без удивления.

— Вероятно, полиции давно все известно,— отвечал Арапетов,— но она ничего не находит особенно важного в этих собраниях.

— О чем же говорится? Что делается на этих вечерах? — допытывалась я.

— О! не знаю, как вам сказать; порицают многое, хвалят то, что для нас запрещенный плод,— говорил шутя Арапетов,— а главное: мужчины одни, дам нет, mille pardons, вина хорошие, весело, легко на душе, а положительной цели, говорят, никакой нет.

Однако мне не нравилось описание этих вечеров; в самом деле, как тут не быть тайной полиции и как так рисковать без всякой определенной цели?

Арапетов звал всех присутствующих мужчин ехать разговляться в пятницу к Петрашевскому, а я стала их уговаривать не ездить, потому что глупо так шутить своею жизнью.

— Но ведь тут нет никакого риска,— возразил Иван Павлович Арапетов,— это вам, приехавшим из степи, кажется опасно, а нам это только забавно. Поедем, Огарев; если ты не поедешь, и я не поеду.

Кавелин подошел ко мне и с свойственною ему мягкостью старался убедить меня не страшиться такого безразличного поступка. Как более близкий друг Огарева, он был посвящен в наши планы и мечты и знал, как дорого было для меня существование Огарева; но и он не мог меня убедить в безопасности посещения этих бесед.

Прощаясь, Арапетов сказал Огареву:

— Ухожу, ничего от тебя не добившись; заезжай за мною в пятницу вечером, у меня будет человек, который нас представит Петрашевскому; ну, смотри, приезжай, а то ты мне испортишь славный вечер, без тебя я не поеду.

Огареву очень хотелось обещать; но, бросив беглый взгляд на мое смущенное, взволнованное лицо, он молча пожал руку Арапетову.

— Не ожидал я от вас такой осторожности,— сказал мне Кавелин, улыбаясь,— а еще сами ходили на баррикады.

Однако никто из присутствующих не был на вечере у Петрашевского; я с радостью приняла эту жертву.

На следующий день этой роковой пятницы у Огарева был тоже вечер, собралось довольно много его друзей; Кавелин, познакомившись с Спешневым, привез его к Ога-

реву. Новый собеседник обращал всеобщее внимание своею симпатичною наружностью. Он был высокого роста, имел правильные черты лица, темно-русые кудри падали волнами на его плечи, глаза его, большие, серые, были подернуты какою-то тихою грустью. Рассказывали, что он только что вернулся из чужих краев, где недавно похоронил женщину, для которой в продолжение несколько лет оставлял свою страну, свою престарелую мать. Он вернулся убитый этой потерею, с двумя детьми, которых его мать взяла на свое попечение.

— Вот,— говорил мне с упреком Кавелин,— г. Спешнев разговлялся вчера у Петрашевского, однако он цел и невредим, и говорит, что там было очень оживленно, а вы нам помешали, это упрек вам навсегда!

Я чувствовала себя в самом деле как бы виноватою, и молча, опустив голову, выслушивала нравоучение Константина Дмитриевича, хотя все-таки оставалась при своем мнении, потому что у Петрашевского велись книги, где записывались имена посетителей за несколько лет.

Вечер у Огарева был весьма удачен, оживлен, сам хозяин был очень доволен; из дам были только Авдотья Яковлевна Панаева, моя мать и я с сестрою; мы только потому тут были, что жили в одном этаже, и так как было много гостей, отворили двери в нашу квартиру; нам любопытно было посмотреть на этот праздник, где было так много мужчин и так много дорогих вин, которые лились рекою.

После ужина Михаил Александрович Языков, прихрамывая, подхватил Кавелина вместо дамы и понесся с ним, вальсируя по всей анфиладе комнат. Мы были удивленными зрительницами с сестрою и играли ту же роль, как в 1848 году в Риме, на маскараде; тогда мой отец взял ложу с Герценом, но нам захотелось посмотреть маскарад поближе; мы надели маски, домино и сошли в залу, где было страшное оживление. Через некоторое время к нам подошел какой-то толстый итальянец, очевидно, наблюдавший за нами некоторое время. «Милые маски,— сказал он,— вам здесь не весело, как другим; видно, что вы в первый раз в маскараде, вдобавок вы сестры, да еще иностранки». Мы невольно засмеялись и вернулись в ложу. Жена Герцена, напротив, провела в то время очень хорошо вечер — она разговаривала с каким-то симпатичным брюнетом-поляком и пресерьезно советовала мужу познакомиться с ним, но это не осуществилось.

Вспоминаю, что тогда в Риме нас очень поражала одна личность, но, к сожалению, мы никогда не узнали ее имени; это был Сози (двойник) Герцена, как мы его называли; такое сходство редко можно встретить. Казалось, он замечал это, потому что улыбался, встречая нашу многочисленную компанию, разного возраста дам и только двух кавалеров — моего отца и Герцена. Сози стал даже носить шляпы и плащи, цветом и формою во всем подобные тем, которые были на Герцене. Сози отличался от Герцена только ростом и годами, он был несколько повыше и казался лет на пятнадцать старше Герцена. Меня удивляло тогда, что Герцен не старался узнать, кто он, но это не потому, чтобы он не замечал сходства; напротив, он первый обратил на него внимание и часто шутя говорил жене:

— Ты смотри не ошибись, дашь ему руку и исчезнешь, как сновидение.

Тогда в Италии все пробуждалось, дышало революционным духом, народ говорил только о Милане и Венеции, которые находились в когтях Австрии. Когда нам случалось брать наемную коляску, то только сделаем знак ветурино подъезжать, он, прежде чем взять вожжи в руки, оправлял свою большую черную шляпу с широкими полями и делал в ней рукою две ямы, потом подъезжал к нам.

— Зачем вы делаете эти ямы? — спросила одна из нас.

— А как же? Разве синьоры не знают? Все ветурины так делают; это значит: «Senza Milano e Venezia»*. А когда мы их возьмем, тогда не будем делать ям,— говорил ветурино с большим оживлением.

Но возвращаюсь к моему рассказу.

Вечер Огарева кончился в пятом часу; хотя мы две и ушли раньше, но не могли заснуть от веселого гула раздающихся голосов. На другой день было светлое Христово воскресение. Пасха — с детства мой любимый праздник...

Я сидела с матерью и сестрою за чайным столом: было часов девять. Огарев еще не показывался, так как ему было необходимо спать около восьми часов, иначе он подвергался нервному припадку. Вдруг дверь отворилась и вошел Константин Дмитриевич Кавелин, бледный, расстроенный; однако мы отнесли его наружный вид к утомлению после бессонной ночи.

---

* «Без Милана и Венеции» (*итал.*).

Поздоровавшись с нами, Константин Дмитриевич спросил, видели ли мы Огарева. На наш отрицательный ответ он выразил желание велеть его разбудить.

— Хорошо,— сказала я,— сейчас скажу его камердинеру, но прежде посидим немного; что вы так бледны, устали?

— Нет, не от того, но тут совершаются страшные вещи,— сказал он, понизив голос,— Петрашевский арестован, Спешнев тоже; там книги велись, записывались имена всех посетителей; говорят, аресты не ограничатся Петербургом, они будут производиться по всем концам России, много жертв будет, и все это из пустяков. Несчастная, роковая пятница,— продолжал он задумчиво и, подняв голову, прибавил с каким-то нервным подергиванием губ:— а вы нас спасли!

Я молча слушала, смущенная; я не находила слов, чтобы выразить тот ужас, который овладел мною; как вчера я вместе с другими восхищалась прекрасным выражением симпатичного благородного лица Спешнева, и, может, он навсегда исчезнет для своей страны, для своей семьи... А старая мать его, которая прижала к сердцу его детей, вероятно, незаконных, без имени, без прав на наследство!.. Этот удар убьет его мать,— а дети? Что с ними станется тогда?

Впоследствии Кавелин нам передавал, что при обыске у Спешнева была найдена тетрадка «Проект конституции или республиканской формы правления», написанная им когда-то в ранней юности, теперь же ему было около тридцати лет. Эта тетрадь много способствовала к его осуждению[4].

После этих арестов и толков в Петербурге стало невыносимо тяжело; дело развода было оставлено; напротив, надо было стараться не обращать на себя внимания. Мы вернулись в Москву.

Тут мой отец требовал только одного, чтобы мы хотя тайно обвенчались.

Огарев и Сатин,— последний был тогда уже женихом моей сестры,— объехали все окрестности Москвы, отыскивая податливого священника, и постоянно возвращались без успеха. В то время я встретила в доме моего деда какого-то чиновника по фамилии Цветкова, знающего хорошо законы. Мне не трудно было, под предлогом любознательности, выведать от него, какие последствия могут

постигнуть двоеженца. Убедившись из наивного рассказа Цветкова, что за такой поступок следует строгое наказание в виде заключения в Соловецкий монастырь или еще куда-то, я решилась ни за что не венчаться с Огаревым,— легче было расстаться, чем подвергать его явной опасности.

Когда, по обыкновению, оба друга приехали к нам с своих поисков, они казались очень веселы: «Победа, победа!» — кричали они издали.

— Что такое? — спросила я.

— Наконец,— сказал Николай Михайлович Сатин,— мы разыскали старого священника, который согласен вас венчать без бумаг; конечно, он догадывается, что что-нибудь не в порядке; старик говорит: я стар, пусть накажут, как знают, только дайте денег, много денег, у меня живет внучка-сирота, я ей оставлю.

— Но я, Сатин, раздумала,— сказала я тихо,— я не хочу венчаться.

Оба друга посмотрели на меня, как на больную.

— А мы хотели идти обрадовать папа,— сказал Огарев,— что это за сюрприз?

— Пожалуйста, не говорите папа ни слова; пусть он думает, что согласного священника не нашли. Помните, как я вас, против вашей воли, сберегла от роковой пятницы Петрашевского; ну, наше венчание еще тысячу раз опаснее.

Пришлось уговаривать отца отпустить нас в Одессу, где у Огарева были тоже друзья; там надо было найти капитана английского корабля, который бы согласился взять нас без паспорта. Паспортов за границу в то время не выдавали. Мой отец настаивал только на том, чтобы, приехавши куда бы то ни было за границу, непременно венчаться, хотя бы в лютеранской или католической церкви.

После свадьбы сестры, которою спешили ввиду приближения поста[5], о котором сначала все позабыли, был наконец назначен день нашего отъезда; родители мои уезжали в деревню, мы — в Одессу, а сестра с мужем оставались в Москве. Ах, эти тяжелые прощания! Сколько их в жизни каждого человека, сколько их досталось и на мою долю! Помню, что в этот день была страшная гроза, потом дождь ливнем лил... говорят, это счастливая примета...[6]

Когда мы добрались до Одессы, Огарев занялся приискиванием английского капитана, но ему не было и в этом удачи: история Петрашевского с многочисленными арестами напугала всех — никто не решался ни на какой сме-

лый поступок; в то время все было запугано[7]. Друзья Огарева, между которыми помню Александра Ивановича Соколова[8], советовали Огареву ехать в Крым и там выжидать, пока благоприятный случай представится уехать за границу.

Итак, совершенно случайно мы поселились на некоторое время в Крыму и провели там восемь месяцев[9].

Я была в восторге от климата, от величественной природы; благоухание распускающихся почек на миндальных деревьях в нашем саду, виноградные лозы,— все мне напоминало наше пребывание в Италии, мою страстную симпатию к Наташе Герцен, от которой получались нетерпеливые письма, требовавшие, чтобы мы ехали к ним скорее, скорее...

В то время я много ходила с Огаревым по руслу быстрых и неглубоких речек в окрестностях Ялты; там мы находили бездну окаменелостей, часть которых впоследствии привезли в Яхонтово. В одну из этих прогулок я сильно промочила ноги и тяжко захворала воспалением в груди; сначала Огарев сам меня лечил, но, заметив, что болезнь принимает более серьезный характер, он пригласил тамошнего врача. Я была близка к смерти, но молодые силы победили болезнь и судьба сберегла меня для невероятных, тяжких испытаний. Я выздоровела, медленно поправляясь, и, быть может от слабости, впала в ностальгию,— я только и думала о моей семье, о свидании с нею... Огарев был глубоко потрясен моим душевным состоянием и решился ехать обратно в Яхонтово, тем более что в то время невозможно было ехать за границу.

Мы вернулись домой в глубокую осень; верст за сто моя сестра с Феклою Егоровною выехали нам навстречу; мы и плакали, и смеялись, и не могли наговориться.

Мои родители занимали первый этаж нашего дома, а мы расположились наверху. К сожалению, как зимний путь открылся, мой зять уехал с сестрою в Москву, и мы остались одни наверху. Огарев развесил портреты своих родителей и деда, превосходно писанные масляными красками; покрыл стены литографиями любимых поэтов и друзей своих с рисунков Рейхеля и Горбунова,— тут был весь московский кружок; посреди комнаты стояло его роялино, на котором он так любил фантазировать по ночам.

Отец мой был в печальном настроении духа; он был очень нелюбим взяточниками и ждал доносов по поводу нашего смелого поступка. С губернатором А. А. Панчулидзевым

он никогда не ладил; кроме того, Панчулидзев был дядя Марьи Львовны Огаревой.

Вскоре после нашего возвращения пришла официальная бумага от губернатора к Огареву относительно его бороды; в бумаге было сказано, что «дворянину неприлично носить бороду» и, следовательно, Огарев должен ее сбрить. Огареву очень не хотелось подчиниться этому требованию, он обрил только волосы на подбородке, что очень не шло к нему.

У Огарева была писчебумажная фабрика в Симбирской губернии, и хотя он только изредка наезжал туда, но ему приходилось много разъезжать для помещения бумаги — то на Нижегородскую ярмарку, то в Симбирск и в другие места[10].

Вскоре после отъезда Огарева в Симбирск, может, через месяц или два, не помню, в феврале или марте 1850 года, моя мать вошла ко мне наверх, часов в десять утра, и сказала мне испуганно: «К нам приехал жандармский генерал!»

— Это я причина всех этих бед! — вскричала я, и полились упреки себе. Слезы градом катились по раскрасневшемуся лицу; я их наскоро утерла и последовала за моею матерью в кабинет отца, в ту самую комнату, где я ныне, шестидесяти лет, пишу эти строки.

Отец мой был с двумя мужчинами: один из них был жандармского корпуса генерал, невысокого роста, с добродушным выражением в лице, другой был чиновник особых поручений Панчулидзева, son âme damnée*, как говорят французы, кривой Караулов, о котором рассказывали столько анекдотов по поводу его фарфорового глаза**. Последнего я знала. Отец мне протянул руку с своею кроткою, очаровывающею улыбкою и познакомил меня с генералом, но все мое внимание было поглощено Карауловым. Я не вытерпела и подошла прямо к нему; он отступил.

— Это вы с вашим п<одлы>м губернатором сделали донос на моего отца! — сказала я, не помня себя от гнева.

---

* его покорный раб (*франц.*, точно непереводимо).

** Он имел обыкновение опускать в стакан воды фарфоровый глаз на ночь; раз, сменив привычного слугу, он лег в постель и велел новому подать себе стакан воды, в который, по обычаю, опустил фарфоровый глаз. Молодой парень все стоял у постели. «Чего ты ждешь?»— спросил К<арауло>в. «Пожалуйте другой»,— отвечал слуга. (*Прим. автора.*)

Он пробормотал какое-то извинение. Генерал взял меня под руку и просил успокоиться.

— Пойдемте в залу, мне нужно с вами поговорить,— сказал он учтиво.

Мы вышли и сели рядом в зале.

— В каких вы отношениях с дворянином Николаем Платоновичем Огаревым? — был первый вопрос.

— В близких отношениях,— отвечала я, —я не могу обманывать, да и к чему?

— Стало быть, вы венчаны? Где? Когда? — спросил поспешно генерал Куцинский.

— Нигде, никогда! —вскричала я с жаром.

— В Третьем отделении не верят, чтобы Тучкова была не венчана; это не может быть,— сказал генерал Куцинский,— будьте откровенны.

— Нет, нет, я не венчана, будьте вполне в этом уверены. Огарев не двоеженец, он ни в чем не виноват перед нашими законами; я предпочла пожертвовать именем, семьею, чем подвергнуть его такой ответственности.

Тогда я ему рассказала откровенно все наши планы и как я сама восстала против нашего брака; рассказала, что Огарев расстался с Марьею Львовною уже семь лет, но что она ни за что не соглашалась на развод, только чтобы мучить нас.

Генерал Куцинский слушал и удивлялся моему безыскусственному рассказу. Потом он мне сделал несколько вопросов о моем отце:

— Правда ли, что он возмущает крестьян?

— Мой отец любимец народа; о нет, напротив, он их учит надеяться на законы, на правосудие, не отчаиваться... он за каждого хлопочет, он заставляет взяточников отдавать награбленное; я горжусь своим отцом, для меня его служба лучше всякой другой,— говорила я с одушевлением.

Я рассказала генералу Куцинскому, как мы слышали раз с Огаревым, в дороге, не помню, в Тамбовской или Симбирской губернии, от простого человека, что на Руси только один человек жалеет крестьян; на мой вопрос: как его зовут?—он отвечал: «Его имя слышно далеко, неужели вы не слыхали: Тучков!» — «Вот наша награда»,— сказала я с жаром[11].

— Да вы все увлекаетесь,— возражал генерал Куцинский,— но вот это-то и вредит вашему отцу; его выставляют как человека вредного образа мыслей, слишком лю-

бимого крестьянами; говорят, что он позволяет своему бургомистру сидеть в его присутствии; говорят еще, что он на сходе говорил что-то о религии.

— Это все мне известно, и я могу это объяснить: отец сажал при себе бургомистра, потому что у последнего болела нога; на сходе он говорил, чтобы бабы давали молока детям, когда отнимают их от груди, потому что во время постов царствует большая смертность между малолетними; в подтверждение своих слов отец повторил слова Иисуса: «Не то грех, что в уста входит, а то, что из уст выходит». Что же тут предосудительного, что его любят? Это только потому, что он один не грабит в своем уезде, а может, и во всей губернии. Если б все были такие, как мой отец, народ не обратил бы на него особенного внимания.

Мне казалось, что мое увлечение благотворно подействовало на генерала Куцинского.

Он протянул мне руку и сказал с чувством:

— Я сам из крепостных, дослужился до этих эполет, это бывает очень редко. Благодарю вас, что вы не судили меня по моему мундиру, ведь и в нем можно иногда служить добру,— сказал генерал Куцинский.

— Теперь мой черед,— воскликнула я,— сделать вам один вопрос: вероятно, и Огарев будет арестован? Скажите правду.

— Я не имею такого поручения, я не думаю...— отвечал он.

Я встала, в моих глазах, вероятно, виднелось недоверие к словам Куцинского.

— Пойдемте в кабинет посмотреть на гиену, радующуюся своей жертве,— сказала я.

Генерал встал и пошел в кабинет, а я вернулась в зал и постучала в комнату моей матери. Я ей рассказала мое намерение предупредить Огарева и просила ее приготовить для посланного рублей сто. Она одобрила мой план. Я написала несколько слов к Огареву для предупреждения об его вероятном аресте, передала записку и деньги, полученные мною от моей матери, молодому парню, грамотному, из служащих в конторе, Варламу Андрееву, и велела ему ехать на перекладных в Симбирск, к Огареву, не теряя ни минуты и ни с кем не разговаривая.

Все было исполнено в точности.

На большой дороге мой посланный съехался с военным, ехавшим из Пензы по одному направлению с ним. На стан-

циях они оба требовали скорее лошадей и молча приметили черты друг друга. Конечно, офицер получал скорее лошадей, но тотчас за ним выезжал и Варлам Андреев; магическое слово: «На водку»—мчало его не хуже офицера. Диккенс говорит: «Две тайны рядом сидели в дилижансе, потому что человек для другого человека всегда тайна»; так было и в этом случае: две эти тайны ехали по одному пути, имея одну цель, но не зная о том. Разница была только в том, что, достигнув наконец Симбирска, военный должен был представиться симбирскому губернатору, объявить ему об особом повелении и, взяв с собою губернаторского чиновника особых поручений, ехать с ним отыскивать квартиру Огарева, тогда как мой посланный, прочитав на конверте адрес, взял извозчика и тотчас прибыл в квартиру Огарева, которого разбудил и успел предупредить, подав ему мою записку. «Огарев,— писала я,— у нас жандармский генерал, вероятно, арестует и увезет папа в Петербург по особому повелению, готовься к тому же, не теряя ни минуты». Все это было сделано точно, но немного резко, второпях. Нервный припадок был последствием этих известий. Когда Огарев пришел в себя, он стал готовиться в дорогу с ожидаемым жандармским посланником. Писать было некогда, он отослал в Яхонтово то, что ему не нужно было брать в Петербург.

Наконец офицер явился к Огареву в сопровождении чиновника особых поручений губернатора и объявил ему повеление арестовать его и везти в Петербург. Огарев с своею кроткою улыбкою и добродушным видом попросил позволения сделать свой туалет и позавтракать. Офицер охотно согласился и сам позавтракал с ним. Мой посланный стоял еще перед Огаревым, когда офицер вошел; они узнали друг друга, глаза их встретились, и мимолетная улыбка осветила черты офицера.

Грустно мы сели в Яхонтове за стол; отец мой, как всегда с гостями, был очень предупредителен с генералом Куцинским и с Карауловым, но мы трое делали только вид, что обедаем,— у каждого из нас было много тяжелого на душе. Когда кончился обед, генерал вежливо попросил позволения осмотреть бумаги и книги отца, но он, видимо, очень неохотно исполнял эту обязанность, тогда как Караулов con amore* рылся по всем столам. Потом генерал Куцин-

* с любовью (*итал.*).

ский подошел к моему отцу и сказал ему, смягчая по возможности неприятную весть:

— Теперь нам бы пора в дорогу, Алексей Алексеевич, уж не рано.

— Куда? — спросил рассеянно мой отец.

— В Петербург, по особому повелению,— был ответ генерала Куцинского.

Отец мой скоро собрался; мы обе с матерью помогали укладывать его вещи; только он настоял, чтоб ехать в его кожаной кибитке и взять с собою камердинера, Ивана Анисимова Колоколова. Генерал Куцинский соглашался на все его желания, сел в кожаную кибитку с отцом; на облучке, возле ямщика, помещался жандармский солдат. Наш служащий Иван ехал позади, в кибитке генерала Куцинского.

Уезжая, отец мой много раз повторял:

—Reste ici, ne quitte par la maison, promets-moi, Natalie*,— говорил он мне. Я молча целовала его руки,потому что чувствовала, что не буду иметь силы исполнить его желание[12].

Едва кибитки скрылись из наших глаз, как мы вернулись в дом, заплаканные, встревоженные. Мы отпустили людей и, оставшись одни, утерли слезы и решили ехать тотчас в Петербург, чтобы узнать их участь, быть может помочь им или по крайней мере разделить с ними то, что судьба им готовила. Maman послала поутру за бургомистром и занялась с ним добыванием материальных средств для нашего отъезда, а я наскоро приготовила восемь писем к сестре в Москву; письма эти должны были высылаться без нас, чтобы ее не тревожить молчанием, так как она в конце февраля должна была родить. Заметив приготовления к скорому отъезду, старая няня наша Фекла Егоровна стала просить нас, чтобы мы ее взяли с собою; она на это имела полное право, потому что была так же убита нашим горем, как и мы сами.

Весть об аресте и увозе моего отца в Петербург быстро разнеслась по уезду: в продолжение нескольких дней, проведенных нами в сборах, по ночам приезжали из многих сел крестьяне — русские, мордва, татары — спросить у нас — правда ли, верно ли это? Мы выходили к ним с ма-

---

* Оставайся здесь, не бросай дома, Наташа, обещай мне это (*франц.*).

терью и видели их неподдельное горе, слышали их плач; днем они не смели уже ездить к их защитнику. «Неужто враги его погубят? — говорили они простодушно,— нет, царя не обманешь, он увидит правду и выпустит Лексея Лексеевича».

Услышав роковую весть, наши ближайшие соседи приехали навестить нас. Они были люди старого закала, грубые, невежественные, обирали своих крестьян, водили дворовых в самотканках и босиком. При нас они ужасались нашему несчастию, но едва мы выходили для приготовления к нашему отъезду, как они говорили нашим служащим: «И давно бы надо его сослать, ваш барин — дворянин, а сам все за мужиков! Вот и дошло наконец!»

Наконец, усевшись все три рядом, а буфетчик наш, Александр Михайлов, на облучке, возле ямщика, мы выехали из Яхонтова и на четвертый день, усталые, измученные, прибыли в Москву и остановились в гостинице «Дрезден». Мы тотчас же послали за Сергеем Ивановичем Астраковым, коротким приятелем Огарева и Сатина. Он мог нам передать о состоянии здоровья сестры, которое нас очень тревожило. Хотелось бы тотчас ее видеть, но мы боялись слишком потрясти ее. Астраков тотчас явился, а я, стоя у окна в нетерпеливом ожидании, думала, что за причина, что он очень долго не едет. Тут пошли расспросы с обеих сторон и обмен дурных вестей. Астраков передал нам, что зять мой, Н. М. Сатин, арестован и увезен в Петербург, о чем сестра скрывала в своих письмах, и что 24 февраля у сестры родилась дочь, которую назвали Натальей в честь нас обеих.

Желание увидать сестру еще усилилось от этих известий, но теперь для нее всякое волнение было еще опаснее. Я попросила Астракова узнать в московском кружке, у Кетчера или Грановского, не опасно ли для сестры свидание с нами, и сказать, что если это рискованно, то мы уедем в Петербург, не повидавшись с нею. Но едва Астраков произнес мое имя, как полились враждебные речи: «Она погубила своего отца и Огарева, да и Сатина тоже, а теперь ей мало, приехала сюда, чтобы убить сестру»,— вскричал один из них.

Астраков потерял терпение, наговорил им кучу колкостей и уехал, сказав, что я не поеду к сестре. Тем и кончилась эта бурная конференция друзей московского кружка о моем свидании с сестрою[13]. После Астракова нас навес-

тил лучший друг моего отца, Григорий Александрович Римский-Корсаков. Он вошел печальный и, пожимая наши руки, сказал:

— Dans quel temps vivons nous!*

Я отозвала его в другую комнату и сказала ему:

— Je vous connais depuis mon enfance, je vous aime presqu'à l'égal de mon père, dites, est-ce que vous ne pouvez m'estimer parce que j'aime un homme marié? Je tiens à connaitre votre opinion**.

Очевидно, он не ожидал этого вопроса, смутился и отвечал нерешительно:

— Vous ne portez pas mon nom, c'est très malheureux...***

Я встала и положила конец этому разговору. Корсаков желал загладить сказанное им, но я не слушала его речи, а вернулась к моей матери, около которой и села. Корсаков последовал за мною. Тогда явился другой посетитель, не друг, а приятель моего отца, или, лучше сказать, давнишний знакомый его, Иван Николаевич Горскин. На словах он показывал большое участие к нам, но проглядывало какое-то чувство зависти, даже затаенной радости.

— Вы не должны беспокоиться о них,— говорил он нам развязно,— Закревский мне передал, что их ожидает: одного в Вятку сошлют, другого — в Пермь, третьего...

Я не дала ему докончить, я чувствовала, как кровь бросилась мне в голову.

— Извините меня, Иван Николаевич, если я вас перебиваю, но Закревский едва ли мог вам это сказать, я этому не верю...

— Но ему сказал генерал Куцинский, который ездил за вашим отцом,— возразил Иван Николаевич.

— Едва ли генерал сам знает, а если и знает, то не может ни с кем говорить о государственной тайне; я видела его, он слишком осторожен, чтобы сделать подобную ошибку,— сказала я сухо.

— Да, да,— подхватил обрадованно Корсаков,— Наталья Алексеевна справедливо заметила, что это все вздор: кто может угадать наказание, когда никому неизвестно, в чем состоит обвинение.

---

* — В какие времена мы живем! (*франц.*)

**— Я вас знаю с детства, я вас люблю почти как моего отца, неужели вы можете не иметь уважения ко мне, потому что я люблю женатого человека? Я хочу знать ваше мнение (*франц.*).

*** — Вы не носите моего имени—это большое несчастье (*франц.*).

Выходка Ивана Николаевича бросала на него не совсем выгодный свет; посидев немного, он удалился и более к нам не являлся в Москве.

Убедившись, что мы не можем видеться с сестрою, мы поехали в Петербург, не видавшись тоже и с моим дедом, от которого скрывали арест моего отца, потому что дед был в преклонных годах.

В Петербурге, остановившись в гостинице, мы известили о своем приезде дядю Павла Алексеевича Тучкова-младшего, брата моего отца. Мы поделились с ним всеми своими тревожными новостями, погоревали вместе. Он нас ободрял, но сам казался очень печальным по поводу ареста старшего брата, которого он горячо любил. Дядя нашел для нас квартиру, в которую советовал нам скорее переехать, что мы тотчас привели в исполнение.

Константин Дмитриевич Кавелин навещал нас ежедневно; он мне постоянно твердил, что меня скоро арестуют, и очень беспокоился о моих остриженных волосах, уговаривал меня даже носить фальшивую косу, но я не согласилась. Тогда уже начинали обращать внимание на стриженые волоса и на синие очки дам, но настоящих нигилисток еще не было.

Раз Кавелин застал меня перечитывающею последние письма Огарева, которые я носила всегда в кармане. Кавелин пришел в ужас от возможности для меня быть арестованною с письмами в кармане. Он взял их и имел сердечную доброту ежедневно приносить мне их для прочтения. Мне так наскучило слышать от него, что говорят, будто меня непременно арестуют, что я раз с отчаянием воскликнула:

— Да боже мой, пусть уж лучше арестуют, чем это вечное ожидание!

Так провели мы десять мучительных дней, в продолжение которых мы ездили к двоюродным братьям моей матери, генералам Типольд. Я желала видеть генерала Куцинского, чтобы узнать что-нибудь об Огареве, с которым не могла переписываться, тогда как с отцом и зятем я обменивалась письмами; мне тоже очень хотелось, чтобы Огарев узнал, что мы в Петербурге. Типольды пригласили генерала Куцинского, с которым были дружны, и дали мне знать об этом. Мы встретились очень дружески. Я просила генерала Куцинского сказать Огареву о нашем приезде сюда, но он отказывался видеть его наедине, говоря: «Мо-

гут думать, что я действую из корыстных целей; все мое достояние — моя честность; я ни за что не могу подвергнуть ее сомнению».

Тогда я придумала другое: я сняла с пальца золотое кольцо, на середине которого был золотой узел, и подала его генералу Куцинскому, прося его, хоть при свидетелях, перелистывать бумаги в присутствии Огарева так, чтобы обратить его внимание на кольцо; тогда, думала я, он сам отгадает, что я здесь. Генерал Куцинский взял кольцо, надел его на палец и добродушно обещал сделать все возможное, чтобы обратить на него взгляд Огарева; но генералу не суждено было увидать еще раз Огарева в III Отделении.

Раз мы сидели с матерью в небольшой гостиной нашей квартиры. Фекла Егоровна была с нами; она старалась ободрить меня своими простыми, бесхитростными надеждами. В ответ на ее слова я только грустно качала головою. И она и моя мать очень беспокоились тогда на мой счет, потому что со времени ареста моего отца я лишилась почти совершенно сна и аппетита и находилась в каком-то возбужденном состоянии. Вдруг раздался сильный звонок. Я послала Феклу Егоровну посмотреть, кто это, потому что мы никого не хотели видеть постороннего; вошел мой дядя Павел Алексеевич Тучков, который на этот раз весело улыбался. Мне это показалось очень неприятным. Он поздоровался с моей матерью, потом подошел ко мне и, целуя меня, сказал:

— Я тебе гостей привез, Наташа.

— Ах, дядя,— отвечала я с легким упреком,— ведь я вас просила теперь никого к нам не возить!

— А может к этим гостям ты будешь снисходительнее,— сказал он весело.

Дверь слегка отворилась, и на пороге стоял мой отец, за ним Сатин, потом уж Огарев и моя тетка Елизавета Ивановна Тучкова... Я не могла прийти в себя от изумления, от счастия. Фекла Егоровна, вся в слезах и улыбающаяся, старалась схватить прибывших за руки, чтобы прижать их к своим губам,— они не давали целовать руки, а целовали ее в щеки. Все вдруг стали необыкновенно веселы, то молчали и глядели друг на друга, то все разом рассказывали и прерывали друг друга. У меня голова кружилась, я чувствовала, как будто была где-то далеко от всего дорогого, в какой-то безлюдной пустыне, и вдруг вер-

нулась домой; о, это чувство такое полное, что можно годы отдать за один час подобный!

Когда все немного успокоились, отец нам передал кое-что из своего путешествия с генералом, из жизни в III Отделении; также и о вопросах, предложенных ему, и об его ответах.

Дорогою генерал Куцинский спрашивал иногда жандармского солдата: дает ли он на водку ямщикам?

— Давал,— отвечал почтительно жандармский солдат,— но хуже везут, ваше превосходительство.

В Третьем отделении, от скуки, отец выучил Ивана Анисимова играть с ним в шахматы, его любимую игру. Иногда он посылал Ивана гулять по городу для покупки книг или французского нюхательного табаку, к которому отец имел большую привычку. Иван ходил по городу не иначе, как между двух жандармских солдат.

Потом отец рассказал нам свидание с графом (впоследствии князь) Алексеем Федоровичем Орловым. Отец занимал в III Отделении две большие комнаты, очень хорошо меблированные, а Огарев и Сатин занимали по одной комнате.

Первым потребовали к Орлову моего отца, потом явились туда и Огарев с Сатиным. Они все трое бросились в объятия друг друга, как после воскресения из мертвых. Граф был очень любезен с ними, объявил им, что они свободны, но сказал отцу, что хотя он тоже свободен, но ехать в деревню не может, он должен жить в Москве или в Петербурге. Отец мой был очень поражен этими словами.

— За что же это, граф? — спросил он печально.— Мне помнится, помещикам запрещают жить в своих поместьях за жестокое обращение с крестьянами. Я бы желал, чтобы было назначено следствие по этому поводу.

— Ah! Mon cher Toutchkoff, vous-êtes toujours le même*,— сказал граф Орлов, который был приятелем моего деда, а потому знал коротко и отца моего,— будьте довольны и этим; вам, конечно, не за то запрещен въезд в имение, скорее наоборот; представили, что вас слишком любят и ценят там — это все пройдет, уляжется, два года скоро пролетят, может, мы вас и раньше выпустим.

---

* — А, милый Тучков, вы все тот же (*франц.*).

Потом граф обратился к моему зятю и к Огареву:

— Вы, кажется, знакомы или даже дружны с Герценом? Я должен вас предупредить, что он государственный преступник, а потому, если вы получите от него письма, то вы должны их представить сюда... или... изорвать.

Огарев и Сатин наклонили головы в знак согласия на последнее предложение[14].

— Господа,— сказал граф А. Ф. Орлов, прощаясь с ними,— я забыл вам сказать, что вы должны обязательно сегодня, хоть в ночь, выехать отсюда: в столице много говорили о вашем заключении, умы взволнованы... Я полагаюсь на вашу аккуратность.

Затем граф повернулся к моему отцу и сказал ему с улыбкою:

— А какая у вас дочка: провела моего генерала!

Мой отец не знал, на что намекает граф,— вероятно, на то, что я успела предупредить Огарева об его аресте; у него не было найдено никаких компрометирующих бумаг.

Мой дядя, Павел Алексеевич, посоветовал нам оставить квартиру тотчас и переехать на этот последний вечер в гостиницу Кулона. Фекле Егоровне было поручено уложить все наши пожитки. Пока она все собирала, Огарев вышел в другую комнату, снял один сапог и вынул из него стихотворение, написанное им в III Отделении, «Арестант», которое вручил мне; впоследствии оно несколько раз было напечатано[15]. Пока укладывались и переезжали, вечер настал. Быстро разнеслась по городу молва об освобождении наших дорогих узников, и все знавшие их хоть сколько-нибудь спешили в гостиницу Кулона с поздравлениями: тут были и друзья, и родственники, литераторы, генералы: Типольды, Тучковы, Плаутины, Сабуровы, Милютины, а между ними добрейший, благороднейший генерал Куцинский!

— Ну,— говорил он решительно,— пусть думают, что хотят, не мог утерпеть, хотелось посмотреть на вас с Огаревым! Что? Теперь хорошо на белом свете? Да вот кольцо-то надо вам возвратить, мне не пришлось его употреблять — тем лучше. Ну, познакомьте же меня с Огаревым.

Я поспешила исполнить его желание, позвала Огарева, и они тепло, искренно пожали друг другу руки[16].

До утра оставалось уже немного времени, кто-то напомнил о необходимости ехать, подали шампанское, и все

пили за счастливый исход дела, с пожеланием доброго пути в Москву; все оживились, даже генералы.

Мы выехали из Петербурга счастливые, довольные; мой отец ехал тоже с нами в Москву. Только порою, при воспоминании о том, что отцу не дозволено сопровождать нас в деревню, пробегала какая-то туча, но ненадолго, и бесследно исчезала [17].

Опять мы остановились в «Дрездене», но теперь мы приезжали туда только ночевать; бывали у дедушки, у друзей Огарева и наконец у моей сестры, которую осторожно приготовили ко всем новостям. Теперь бояться нечего было: все близкие были налицо. Мы остались до крестин моей старшей племянницы: четыре пары крестных отцов и матерей были ее восприемниками; в первой паре стоял ее прадед. После этого торжества мы уехали в Яхонтово с maman, Огаревым и Феклою Егоровною, а сестра моя от сильных потрясений слегла в постель на полгода; очень может быть, что эта болезнь положила начало той, которая впоследствии свела ее преждевременно в могилу.

В деревне мы наслушались самых разнообразных толков и легенд о наших бывших узниках: не удивлялись тому, что нет моего отца; напротив, не верили, что он свободен, но удивлялись, что Огарев вернулся.

Узнав о нашем возвращении в Яхонтово, казенные крестьяне стали опять наведываться по ночам о том, что сталось с Тучковым? Мы говорили им, что он свободен и скоро будет опять с нами, но они недоверчиво качали головами и тихо утирали слезы; они оплакивали его, как покойника.

Без нас приезжал исправник, рылся в бумагах и книгах отца и увез их полный чемодан; библиотека отца очень пострадала за это время; нам было жаль книг, разных остатков письменных воспоминаний о декабристах; мы придумали спрятать все эти драгоценности в пружины дивана, стоявшего у нас наверху: с неделю старая няня помогала нам переносить наши сокровища по ночам. Мы оторвали у книг крышки и, свернув все трубочками, поместили в диван очень много книг и бумаг; потом, как обойщик, Огарев обтянул пружины холстом, так что ничего не было видно; но моя мать впала в какое-то нервное состояние, ей чудились колокольчики; она входила к нам наверх испуганная, с искаженными чертами лица, говоря бессвязно: «Найдут, найдут!» Напрасно мы пытались ее успокоить. Наше

одиночество тоже действовало на нее: соседи к нам не ездили в то время. Действительно, колокольчик теперь всегда означал какую-нибудь неприятность; приезжал становой пристав или исправник прямо в контору узнавать и записывать, кто из соседей был у нас; вот почему и перестали ездить к нам. Раз после такого нервного испуга моей матери Огарев сказал мне печально: «Пожертвуем книгами и бумагами для спокойствия твоей матери! Я серьезно боюсь за нее; ее нервное напряжение все усиливается». Так было решено и исполнено. Моя мать совершенно успокоилась. В продолжение недели Фекла Егоровна по ночам носила книги и бумаги вниз и жгла их в больших печах.

Наконец два года миновали, и отец мой вернулся к нам; всеобщая радость была беспредельна, но долго отец не мог смотреть на свою библиотеку.

В одну из наших поездок в Москву мы узнали, что Марья Львовна Огарева скончалась; тогда мы поехали в Петербург и там венчались [18]. Впоследствии мы поселились в Симбирской губернии, на Тальской писчебумажной фабрике, и прожили там года два[19]; писчебумажное производство мне очень нравилось, но, к несчастию, фабрика скоро сгорела: говорили, что крестьяне желали, чтобы Огарев возобновил ручную фабрику, как было прежде, и потому подожгли ее[20].

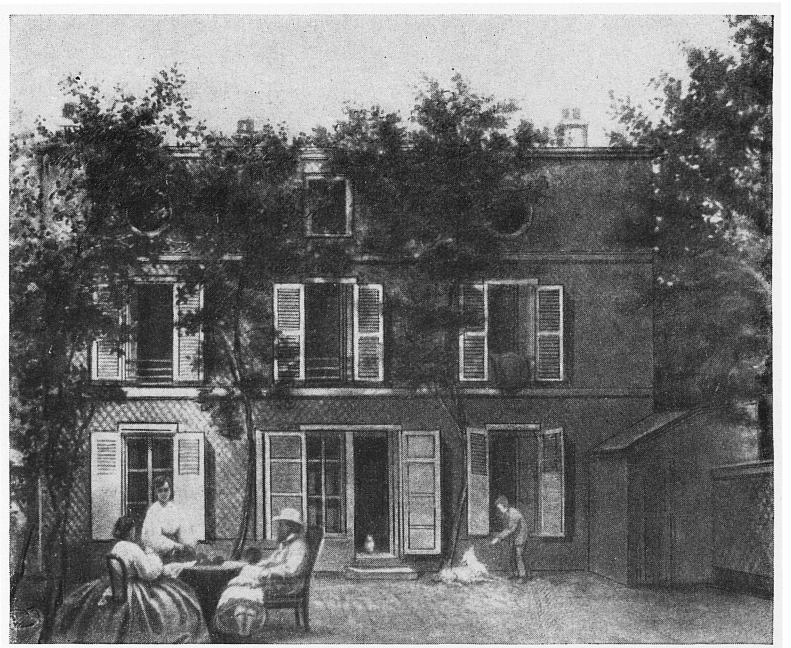
В 1852 году Наталии Александровны Герцен не стало[21], а муж ее не переставал звать Огарева, и потому после пожара фабрики было решено, что мы поедем за границу на неопределенное время.

19 февраля 1855 года наступило новое царствование. Все так радовались восшествию Александра Николаевича на престол, что незнакомые обнимали и поздравляли друг друга на улицах Петербурга, чего очевидцем был Павел Васильевич Анненков, который мне не раз о том рассказывал.

В Симбирской губернии мы познакомились с некоторыми интересными личностями, но тогда еще очень молодыми. Огарев был очень любим всеми этими благородными юношами: Кашперов, композитор и впоследствии директор консерватории в Москве [22], Михаил Николаевич Островский, брат писателя, человек весьма умный, уже тогда обнаруживавший большие способности будущего государственного деятеля[23], Бутковский, прелестный юноша...[24]

Для получения паспорта мы приехали в Петербург, часто видались с литературным кружком, особенно с Иваном Сергеевичем Тургеневым, с Павлом Васильевичем Анненковым, с К. Д. Кавелиным и другими [25].

Не без хлопот получили наконец паспорт на воды, по мнимой болезни Огарева, для подтверждения которой Огарев разъезжал по Петербургу, опираясь на костыль,— но тогда все было по-новому в Петербурге, и для юного правительства, в сущности, было вполне безразлично: едет ли Огарев в деревню, или за границу [26].



Дом в Лондоне, где жил Герцен
(на переднем плане — Герцен в семейном кругу).

С фотографии, 1850-е гг.

ГЛАВА VII

Приезд в Лондон.— Александр Иванович Герцен и его семейство.— Наем квартиры.— Ив. Ив. Савич.— Помощники Герцена: Тхоржевский и Чернецкий.— Типография.— Эмигранты.— Луи Блан.— Маццини.— Готфрид Кинкель и его жена.— Орсини.— Энгельсон и его жена.— Водворение у А. И. Герцена.— Столкновение с Орсини.— Саффи.— Казнь Орсини в Париже.— Воскресные собрания у Герцена.— Перемена квартиры.— Обычный день.— Герцен и его сожители.— Начало издания «Колокола».— Н. П. Огарев.— И. С. Тургенев.— В. П. Боткин.— Доктор Девиль.

1856—1860

В 1856 году, 9 апреля нового стиля, мы переехали из Остенде в Дувр по очень взволнованному морю; я крепилась, чтоб не захворать. Огарев переносил очень легко морские путешествия. Когда пароход остановился перед мрачными, бесконечными скалами Дувра, тускло видневшимися сквозь густой, желтоватый туман, сердце мое невольно сжалось: я почувствовала кругом что-то чуждое, холодное; незнакомый, непривычный говор на английском языке... все поражало и напоминало мне мою далекую сторону, свою семью.

Какая-то толстая англичанка, с саквояжем на руке, бежала к пароходу, видимо боясь опоздать, но, прежде чем спуститься на пароход, она стала расспрашивать всех пассажиров, поднимавшихся по лестнице в город, каков был переезд, тихо ли было море; узнав, что оно было, напротив, очень бурливое, она торжественно воскликнула по-английски: «Не поеду» — и пошла поспешно назад. Моряки и пассажиры смеялись. Мы отыскали свой багаж, взяли ка-

рету и отправились на железную дорогу; тут мы едва успели сдать вещи и занять места, как поезд тронулся с неимоверной быстротой,— это был экспресс: предметы по дороге мелькали и производили неприятное ощущение на непривычные глаза; мне было досадно, что нам не удалось позавтракать, потому что это было необходимо для здоровья Огарева, с которым мог быть припадок от слабости и от нетерпения видеть своего друга. Часа через четыре мы увидали Лондон, величественный, мрачный, вечно одетый в туман, как в кисейное покрывало,— Лондон — самый красивый город из виденных мною; мелкий, частый дождь не умолкал. Взявши багаж и приказав поставить его на карету, мы поспешили сесть в нее и отправились отыскивать Герцена по данному нам адресу доктором Пикулиным: Richmond Chomley-lodge. Но кеб — не железная дорога, и нам пришлось запастись еще бо́льшим терпением; наконец мы прибыли в Ричмонд; несмотря на дождь, город произвел на меня сильнсе впечатление: он весь утопал в зелени, дома даже были покрыты плющом, диким виноградом (brionia) и другими ползучими растениями; вдали виднелся великолепный, бесконечный парк; я никогда не видала ничего подобного! Кеб остановился у калитки Chomley-lodg'a; кучер, закутанный в шинель со множеством воротников, один длиннее другого, сильно позвонил; вышла привратница; осмотрев нас не без явного любопытства, так как мы, вероятно, очень отличались от лондонских жителей, она учтиво поклонилась нам. На вопрос Огарева, тут ли живет мистер Герцен, она обрадованно отвечала:

— Да, да, mister Ersen жил здесь, но давно переехал.

— Куда? — спросил уныло Огарев.

— Где теперь? — переспросила привратница,— о, далеко отсюда, сейчас принесу адрес.

Она отправилась в свою комнату и вынесла адрес, написанный на лоскутке бумаги; Огарев прочел: London Finchley road № 21 Petersborough Villa[1]. Кучер нагнулся над бумажкой и, очевидно, прочел про себя.

— О... о,— сказал он, качая головой,— я отвезу вас в Лондон, а там вы возьмете другой кеб, моя лошадь не довезет вас туда, это на противоположном конце города, а она и так устала, сюда да обратно — порядочный конец.

Мы вздохнули печально и безусловно подчинились его соображениям. Возвратившись в Лондон, Огарев сознался, что желает чего-нибудь закусить наскоро, пока перестав-

ляют наши чемоданы с одного кеба на другой; так мы и сделали. Усевшись в карету, мы опять покатили по звучной мостовой; дорогой мы молчали и в тревожном состоянии духа смотрели в окно, а иногда обменивались одной и той же мыслью: «Ну, а как его и там не будет?» Наконец мы доехали. Кучер сошел с козел и позвонил. № 21 виднелся над калиткой; дом каменный, чистый, прозаичный, находился среди палисадника, обнесенного кругом высокой каменной стеной, усыпанной сверху битым стеклом, и которому эта стена придавала скорей вид глубокой ванны, чем сада. Герцен не мог его выносить и никогда не бывал в нем. Повар Герцена, François, итальянец, маленький, плешивый, на вид средних лет, отворил дверь дома, поглядел на наши чемоданы и запер ее; вероятно, он ходил передавать виденное своему хозяину. Нетерпеливый кебмэн (кучер) позвонил еще сильнее. На этот раз François живо вышел, добежал до калитки, развязно поклонился нам и сказал ломаным французским языком:

— Monsieur pas à la maison*.

— Как досадно,— отвечал тихо Огарев по-французски, и подал мне руку, чтоб я вышла из кареты; потом он велел кучеру снять с кеба чемоданы и внести их в дом; за сим спросил кучера, сколько ему следует, и заплатил. François шел за нами в большом смущении. Войдя в переднюю, Огарев повернулся к François и спросил:

— А где же его дети?

Герцен стоял наверху, над лестницей. Услыша голос Огарева, он сбежал, как молодой человек, и бросился обнимать Огарева, потом подошел ко мне: «А, Консуэла?»[2]— сказал он и поцеловал меня тоже.

Видя нашу общую радость, François наконец пришел в себя, а сначала он стоял ошеломленный, думая про себя, что эти русские, кажется, берут приступом дом.

На зов Герцена явились дети с их гувернанткой, Мальвидой фон-Мейзенбуг. Меньшая, смуглая девочка лет пяти, с правильными чертами лица, казалась живою и избалованною; старшая, лет одиннадцати, напоминала несколько мать темно-серыми глазами, формой крутого лба и густыми бровями и волосами, хотя цвет их был много светлее, чем цвет волос ее матери. В выражении лица было

* —Господина нет дома *(франц.)*.

что-то несмелое, сиротское. Она не могла почти выражаться по-русски и потому стеснялась говорить. Впоследствии она стала охотно говорить по-русски со мной, когда шла спать, а я садилась возле ее кроватки, и мы беседовали о ее дорогой маме. Сыну Герцена, Александру, было лет 17; он очень нам обрадовался. Он был в той неопределенной поре, когда отрочество миновало, а юность не началась. Я была до его отъезда из Лондона его старшей сестрой, другом, которому он поверял все, что было у него на душе.

Первые дни нашего пребывания в Лондоне Герцен запретил François пускать каких бы то ни было посетителей; даже присутствие Мальвиды было ему в тягость: он хотел говорить с нами о всем том, что наболело на его душе за последние годы[3]; он нам рассказывал со всеми подробностями все страшные удары, которые перенес, рассказывал и о болезни и о кончине жены[4].

Часто дети или Мейзенбуг, войдя, мешали нам, прерывали нашу беседу; поэтому он предпочитал начинать свои рассказы, когда они все уходили спать; так мы провели несколько бессонных ночей; утро нас заставало на ногах, тогда мы спешили разойтись и прилечь. Я беспокоилась только за Огарева, но делать было нечего. После, успокоенный, облегчив себя тяжелым воспоминанием, поделившись с нами своими страданиями, Герцен стал опять живым и деятельным. Он ходил с нами по Лондону и показывал нам все, (что его раньше поражало, между прочим, лондонские таверны, где люди отгорожены, как лошади в стойлах, ночные рынки по субботам с смолистым освещением, где одни бедные делают свои закупки и где слышно со всех концов: «Бай, бай, бай»*. Но заниматься Герцен не скоро собрался. Несколько дней спустя нам нашли маленькую квартиру, состоявшую из двух комнат, у M-rs Brus, в двух шагах от дома А. И. Герцена. Кроме помещения, мы пользовались еще правом послать M-rs Brus купить провизию к обеду, а за приготовление она, по английским обычаям, ничего не получала. Нам жилось очень хорошо у этой почтенной особы, но большую часть времени мы проводили в доме Герцена. Там мы встречали эмигрантов почти из всех концов Европы: были французы, немцы, итальянцы, поляки; из русских в то время был один только Иван Иванович Савич, двоюродный брат того студента Савича, который пострадал

---

* «Купите, купите, купите» (*от англ.* buy).

за политический образ мыслей, кажется, когда Герцен был студентом[5], стало быть, очень давно; тем не менее Иван Иванович, потому только, что был ему двоюродным братом, чувствовал себя как бы виноватым перед нашим правительством и потому побоялся возвратиться в Россию и сделался эмигрантом. Много он вытерпел неприятностей и лишений, но когда мы приехали, он жил уроками и уже мало прибегал к помощи Герцена, который безусловно помогал всем эмигрантам. Прежде всех других знакомых Герцена мы увидали двух помощников его, поляков Тхоржевского и Чернецкого; последний заведовал типографией, т. е. и набирал и печатал сам, присылал по почте или приносил корректуры. Он был довольно высокого роста, с темными волосами и небольшой бородой того же цвета и зелеными глазами. Тургенев заметил, с своей обычной наблюдательностью, что левый глаз Чернецкого будто спит и безучастен ко всему окружающему и как будто лишний. Чернецкий был человек без образования и посредственного ума, обидчив и упрям до крайности, что и видно из переписки Герцена о нем. Не раз Александр Иванович говаривал мне, что если б я не заступалась за него, он давно бы с ним разошелся окончательно[6].

Тхоржевский во всем отличался от своего соотечественника, и наружность его была иная: немного пониже ростом и поплотнее Чернецкого, он был блондин с большой, окладистой русой бородой; очень маленькие голубые глаза приветливо смотрели, особенно на наш пол (конечно, в красивых экземплярах), которого он был усердным поклонником. Лоб его продолжался далеко за обычные пределы и переходил в большую плешь, пониже виднелись жидкие белокурые волосы. Как и Чернецкий, он был горячим патриотом, но не симпатизировал с польской аристократией, а потому смотрел довольно безнадежно на польские дела. Вообще, он любил русских, а к Герцену и его семье имел бесконечную преданность, хотя Герцен делал для него не более, чем для других. Тхоржевский имел в Лондоне крошечную книжную лавку в Soho Street City и занимался розничной продажей всех изданий типографии Герцена и давал читать разные французские романы. Он скромно жил барышами с продажи; кроме того, он был вроде кюстода для приезжих русских, которые за его услуги угощали его иногда завтраками с устрицами и бутылкой какого-нибудь вина; платы бы он не взял. По воскресеньям он неизменно обедал у Герцена и исполнял не только все поручения

Герцена и Огарева, но и наши. Все эмигранты собирались к Герцену по воскресеньям; иные, как Боке, например, являлись с раннего утра; и, в сущности, это очень понятно: будничная жизнь их была так тяжела, это была действительная борьба с англичанами из-за куска хлеба,— не мудрено, что они радовались воскресенью, как дети, отпущенные домой. Конечно, между англичанами есть множество прекрасных личностей, но выходцы имели дело с нажившимися мещанами, а это самый антипатичный класс везде, и в особенности в Англии.

Между эмигрантами были замечательные личности, как, например, Луи Блан. Он не бедствовал, зарабатывал порядочно пером, жил скромно и был отлично принят английской аристократией. Луи Блан был корсиканец, очень маленького роста; огромные черные глаза его были исполнены ума и находчивости. Он любил говорить, рассказывать: анекдоты так и сыпались, но в его слоге было что-то книжное, если я могу так выразиться: он слишком хорошо говорил. Луи Блан не бывал у нас по воскресеньям, так же как и Маццини, известный итальянский революционер и глава демократической партии в Италии. Оба они не желали мешаться с простыми выходцами и бывали только в другие дни по приглашению Герцена или по собственной инициативе. Луи Блан поражал необыкновенной памятью и большой начитанностью, особенно в отношении истории и литературы. Когда он в разговоре вспоминал какое-нибудь историческое событие, то обрисовывал его так ярко, с такими подробностями, что, казалось, он был сам свидетелем передаваемого. Маццини был тоже редко образованный и умный человек. Он имел дар привлекать к своей партии мужчин и женщин и располагал ими вполне деспотически, посылая их иногда на неминуемую опасность. В 1856 году Маццини было за сорок лет[7]; он был высокого роста, очень худой, с черными выразительными глазами, которые привыкли повелевать; аскет, он почти не употреблял пищи, а работал очень много: писал в итальянских журналах, иногда в английских, писал разные предписания своим многочисленным адептам и, кроме того, писал теоретические статьи. Раз на вечере у друзей Маццини Герцен, в разговоре с последним, был разного с ним мнения и горячо отстаивал свой взгляд, Маццини тоже спорил с жаром. Ошеломленному такой настойчивостью со стороны Герцена Маццини сделалось чуть не дурно, он задыхался; дамы засуетились около него, подавали воды,

какие-то порошки... Одна англичанка, страстная маццинистка, была короче остальных знакома с Герценом; она отвела его в сторону и сказала ему с упреком:

— Это вы наделали, разве можно так горячо спорить с Маццини, он не может этого выносить!

— Я не знал,— отвечал Герцен, смеясь.

Действительно, Герцен не понимал этого генеральства, важности, напускаемой революционерами: в эпоху самой силы и славы «Колокола» Герцен оставался все тем же непринужденным, гостеприимным, простым, добродушным. Он ничего не представлял из себя и оставался себе верен; это поражало русских не раз. Но это было не потому, чтоб Герцен не понимал своего влияния, своей силы,— напротив, он знал себе цену, но находил эту аффектацию, позирование недостойными сильного ума.

Из немецких выходцев самый замечательный был Готфрид Кинкель. Он занимал кафедру истории в университете, мне кажется, а жена его имела класс пения на дому. Два раза в неделю старшая дочь Герцена ходила туда учиться пению. Кинкель был человек очень высокого роста, широкий в плечах, видный мужчина. За глаза Герцен называл его Геркулесом. Он был так проникнут своим величием, что не мог обратиться к жене за куском сахара во время питья чая без необыкновенной торжественности в голосе, что нам, русским, казалось очень смешно. Жена ему отвечала так же торжественно, подавая сахар.

Раз она очень удивила Герцена, который, сидя у них, заговорил о кончине Гейне:

— Как я рада этой вести,— воскликнула г-жа Кинкель.— Я все боялась, чтоб Гейне не написал пасквиль на моего мужа.

Вот безличное отношение к поэту, который во всем мире стал бессмертен![8]

Эти Кинкели были ближайшие друзья Мальвиды. Вероятно, их семейная жизнь была не вполне счастлива, несмотря на всю их торжественность, потому что, года два спустя, жена Кинкеля бросилась на мостовую из четвертого этажа, оставя четверых малолетних детей. Едва миновал год после ее кончины, как Готфрид Кинкель вступил в супружество с какой-то учительницей, к которой покойная жена его ревновала. Перед свадьбой отца дети его собрались, поплакали вместе и дали друг другу слово никогда не жаловаться на мачеху, что бы ни было, и сдержали слово. Мальвида и

другие друзья Кинкелей из приличия распространяли слух, что покойная г-жа Кинкель бросилась из окна от аневризма; будто она почувствовала такое стеснение в груди, что голова закружилась, и она упала; но эти предположения ничем не подтверждались [9].

Вскоре после нашего приезда в Лондон прошла молва, что отважный итальянский революционер Орсини, заключенный в Австрии в тюрьму, бежал из нее и скоро будет в Лондоне. По этому поводу Герцен вспоминал и рассказывал нам, как год тому назад, на вечере у г-жи Мильнергинсон*, которая только что вернулась из Швейцарии, он слышал от нее, что там был слух, будто Орсини — австрийский агент. Зная лично Орсини, Герцен оспаривал эту бессмысленную сплетню, говоря, что из таких людей, как Орсини, никогда не выходит ни шпионов, ни агентов. Возвратясь домой, Герцен рассказал Энгельсону слышанное им у Мильнергинсон.

— Какая глупая клевета,— говорил Герцен,— человек страдает в тюрьме, а негодяи чернят его.

Энгельсон был очень хорош с Орсини; он возмутился этим слухом, взволновался, бранил Мильнергинсон за распространение подобных толков и наконец выразил надежду, что этому слуху никто не поверит; так они и разошлись спать. Впоследствии разговор этот был забыт. Энгельсон жил в то время с женой у Герцена в доме. Они познакомились еще в Ницце, при них скончалась жена Герцена; в то время Энгельсоны жили тоже в доме Герцена: казалось, что они принимают большое участие в Герцене и его детях, но на деле вышло иначе. Как только им не удалось завладеть всем в доме, как они намеревались, они поссорились с Герценом и переехали из его дома, затая против него страшную ненависть и жажду мести.

Несколько дней после этого разговора, возвратясь с ежедневной прогулки по городу, Герцен сказал нам, что Орсини приехал, что он его видел и что Орсини завтра будет обедать у нас. Я так много слышала о нем, что мне интересно было посмотреть на него.

В то время мы уже жили в доме Герцена; вот как это случилось. Огарев и Герцен пошли однажды вместе в город, я была одна на своей квартире. Вдруг является m-iss Myls, старая горничная, с детьми Герцена. Старшая из них, На-

---

* Жена министра, мащинистка, давала вечера, рауты; муж ее никогда не бывал на ее вечерах. (*Прим. автора.*)

таша, с веселым лицом бросилась ко мне на шею и говорит: «Она* уехала и все вещи взяла». M-iss Myls подтвердила эти слова. Я ничего не понимала и пошла с ними к ним домой, нам встретился их брат Александр. Он шел взволнованный, поднял маленькую Ольгу и поцеловал ее, глаза его были полны слез.

— Зачем это? Зачем это?— говорил он.

Герцен был очень рассержен этой чисто немецкой выходкой.

— Можно было объясниться, обдумать,— говорил он. Идти к ней и просить ее возвратиться он ни за что не хотел[10].

Она стала жить на квартире, а мы переехали к Герцену в дом и простились навсегда с милой M-rs Brus. Но возвращаюсь к своему рассказу.

В назначенный час Орсини явился. Это был чисто итальянский тип: высокого роста, с черными волосами, с черными глазами, с черной небольшой бородой, с правильными, но немного крупными чертами лица. Вероятно, он был еще красивее в итальянском военном мундире, но в Лондоне он был в сюртуке и носил его с тем особенным шиком, с которым все военные носят штатское платье. Когда он говорил, он поражал необыкновенным одушевлением, живостью, горячностью и вместе с тем уменьем остановиться, не высказывать больше, чем хотел. Я расспрашивала его об его побеге из тюрьмы; он охотно передал мне, что мог или хотел сообщить.

— Вы знаете, вероятно, что во всех тюрьмах есть решетки,— говорил он, улыбаясь,— я буду краток, чтоб не надоедать вам моим рассказом. Мне передали пилу,— такая простая вещь, а требует уменья, хитрости и женской преданности. Да, без женщин,— говорил он задумчиво,— никакой побег не совершится. Я выпилил решетку своего окна и вставил ее опять, чтоб незаметно было; а в последний вечер распилил железо своих кандалов; знаешь время, когда сторож не войдет, работаешь, а все думается: а как он вдруг придет не в урочный час? и сделается нехорошо на душе... Мне прислан был сверток: полотняная длинная полоса, крепкая, по которой я мог спуститься; но, должно быть, ошиблись в вышине тюрьмы: я начал спускаться в темную ночь, и мне показалось, что до земли далеко еще, а полоса

---

* M-lle Мейзенбуг. (*Прим. автора.*)

вся— и пришлось наудачу спуститься, как можно легче, или просто упасть на землю. Я почувствовал страшную боль в ноге, но не мог определить: сломал ли я ногу, или только свихнул. Но нельзя было этим заниматься, надо было спешить ко рву хоть ползком. Я не мог вполне стать на ногу, добрался до рва и спустился как мог; потом вышел на дорогу, снял сапог с ушибленной ноги и пустился бежать до условленного места, далеко, где меня ожидало одно преданное существо в экипаже, запряженном парой. И вот, пролежавши недель пять, я цел, невредим и свободен, а во все время бегства я был на волоске от гибели: малейший шорох — и началась бы тревога, зажгли бы огни, стали бы догонять, стрелять... разве мало гибнут удалые головы, которые пытаются самовольно выйти на свободу! Солдаты привыкли стрелять в бежавших, им это нипочем.

Орсини был очень оживлен и любезен. Через неделю он опять нас навестил; рассказы его были всегда очень интересны. Но едва прошло несколько дней после его последнего посещения, как Герцен получил от него довольно странное письмо: выражая дружбу и доверие к Герцену, Орсини просил его, однако, дать ему объяснение на следующий вопрос: правда ли, что он, Герцен, распространял слух, что Орсини— австрийский агент? Он кончал свое послание тем, что ждет ответа до двенадцати часов и вполне верит в благородство и откровенность Герцена. Последний задумался на минуту, как бы недоумевая, откуда и зачем такая страшная клевета? Но он скоро догадался, что этот удар из-за угла нанес Энгельсон.

— А,— вскричал он,— вот она, его месть, которой он грозил! Энгельсон неразборчив на средства, он только основательно предполагает, что Орсини хороший дуэлист; вдобавок он оскорблен, а не я, стало быть, он будет первый стрелять, а уж его пуля не собьется с дороги... Я не буду ему писать в ответ, не стоит, а пойду и расскажу ему откровенно, как все происходило; тогда увидим: если он поверит моим словам — хорошо, а нет, так что ж, мало ли случайностей окружают нас постоянно. Теперь хотя дети не останутся одни, как тогда в Ницце, вдали от родины; теперь я не боюсь за детей, надеюсь на тебя, Огарев.

Последний выразил желание сопутствовать Герцену к Орсини.

В ту минуту как они собирались выйти, вошел Саффи, известный итальянский революционер и самый благородный

и прямой человек из всех выходцев. Он был когда-то любимым учеником Маццини; в 1849 году Гарибальди, Маццини и Саффи (триумвират) управляли революционной партией в Риме, когда французы заняли его. Саффи слушал беспрекословно Маццини и был послан раз из Лондона с каким-то важным поручением от Маццини*. Только по чувству долга Саффи исполнил поручение с большой опасностью для себя, но, отрезвленный насчет этой пропаганды, возвратясь в Лондон, он заявил Маццини, что более не поедет с подобными поручениями, потому что видит их бесполезность.

— Настали другие времена,— говорил он,— надо уметь выждать спокойно, будущее укажет нам другие пути.

Этим протестом он вызвал страшную бурю на свою голову со стороны всех закоснелых маццинистов и потому сблизился с Герценом. Так как он был необыкновенно образованный человек, то получил кафедру истории в Оксфордском университете и отлично читал лекции по-английски, с маленьким итальянским акцентом. Наши показали Саффи письмо Орсини; тогда первый вспомнил, что был тоже у Мильнер-гинсон в тот вечер и может с своей стороны засвидетельствовать, как дело происходило. Он вызвался ехать с ними, и они отправились втроем к Орсини, который питал к Саффи самое глубокое уважение. Орсини их ожидал. Он принял их очень хорошо, но с некоторым оттенком официального тона. Выслушав откровенное и безыскусственное объяснение Герцена, затем подтверждение Саффи, лицо его просияло, он горячо протянул руку Герцену.

— Как я рад,— сказал он,— я так и надеялся, вы этого не могли сказать, простите меня за неуместное сомнение.

Герцен попросил его назвать того, кто был виной всей этой тревоги.

— Не могу,— отвечал Орсини,— да и зачем?

— Однако,— сказал Герцен,— если я отгадаю, вы мне скажете? Эта клевета передана вам Энгельсоном, правда?

Орсини слегка улыбнулся.

Как велико влияние случайностей на крупные события! Если бы дуэль Герцена с Орсини состоялась, вероятно «Колокола» бы не было; не было бы и всех изданий русской типографии в Лондоне[11].

Сначала мы сильно занимались этим происшествием, ра-

---

* За поимку его была обещана награда, а он спокойно ходил по улицам Турина и читал рассеянно это объявление. (*Прим. автора.*)

довались его счастливому исходу, толковали, толковали о нем и сдали его наконец в архив нашей памяти; но Орсини не мог забыть его. Он верил искренности Герцена, тем не менее эта клевета оскорбляла его, не давала ему покоя. Следует полагать, что он подозревал в ней маццинистов, потому что он с ними не ладил, а такое средство употреблялось иногда с противниками. Орсини редко бывал у нас, но и в эти редкие посещения заметно было, что какая-то мысль неотвязчиво преследовала его, но он стряхивал докучную idée fixe* и казался оживленным по-прежнему. Он искал в своем уме блестящего, геройского поступка, который бы служил резким опровержением бессмысленной клеветы; он жаждал самоотвержения для родины, славы, нравственной победы над маццинистами... Он победил и их, но ценой победы была его голова.

Вероятно, и теперь не всеми забыто покушение Орсини с сообщниками на жизнь Наполеона III, кажется в 1858 году. Неудачно брошенные разрывные бомбы в карету Наполеона и под ноги ему повредили многим, но не императору. Орсини и тут не потерялся; раненый осколком бомбы, он вернулся на свою квартиру с подвязанной рукой, резко браня французов:

— Я пошел искать развлечения, а возвращаюсь с подвязанной рукой.

Хозяйка квартиры, добрая старушка, ничего не подозревала и ухаживала за его больной рукой. Он имел английский паспорт и разыгрывал роль англичанина. К его несчастью, сообщники его были без всякого образования и даже без находчивости,— их было трое,— они разбрелись по разным углам после происшествия; один из них ходил по трактирам, видимо разыскивая Орсини. Полиция арестовала его и допросила; он объяснил, что искал друга своего, англичанина, и даже дал его адрес.

Тогда полиция явилась в квартиру Орсини; при обыске нашлись у него бомбы; хозяйка не верила своим глазам.

После долгого заключения (кажется, с месяц) Орсини был приговорен к смертной казни, а также и товарищ, искавший его. Он писал к Наполеону, но не просил о помиловании, он писал только о милой родине. В день казни — это было зимой — рано поутру вывели Орсини и товарища его на площадь. Приговоренные шли босиком и под черным покры-

---

* навязчивую идею (*франц.*).

валом, как за отцеубийство. Орсини шел с полным обладанием духа. На эшафоте он хотел сказать что-то, но барабаны забили, и красивая голова его скатилась... Имя его, как отдаленный гул, пронеслось по Европе...

Мне помнится, что мы провели не более полугода в Petersborough Villa. Александр Иванович Герцен охотно менял не только квартиры, но и кварталы: ему скоро были заметны все неудобства занимаемого дома; ему становились невыносимы даже все те же лица в омнибусах, отправляющихся постоянно по одному направлению: в центр города и обратно. Вдобавок, Petersborough Villa имела еще одно большое неудобство. Этот дом состоял из двух квартир, вполне одинаковых, с одной смежной стеной. Как я уже говорила, по воскресеньям у нас собирались разные изгнанники: Чернецкий с Тхоржевским обязательно, немцы, французы, итальянцы. Иногда кто-нибудь из гостей приводил нового, случайного посетителя. Мало-помалу все оживлялись, кто-нибудь начинал играть на фортепиано, иногда пели хором. Дети тоже принимали участие в пении, раздавался веселый гул, смех, а за стеной начиналось постукивание, напоминающее, что в Англии предосудительно проводить так воскресные дни. Герцен по этому поводу приходил в сильное негодование и говорил, что нельзя жить в Англии иначе, как в доме, стоящем совсем отдельно. Это желание вскоре осуществилось. Александр Иванович поручил своему приятелю Саффи в его частых прогулках по отдаленным частям города приискать для нас отдельный дом с садом. Когда Саффи нашел, наконец, Tinkler's или Laurel's house, как его звали двояко, он пригласил Александра Ивановича осмотреть этот дом вместе с ним; они остались оба очень довольны своей находкой [12].

Laurel's house был во всем противоположен Petersborough Villa. Снаружи он скорее походил, под железной крышей, окрашенной в красную краску, на какую-нибудь английскую ферму, чем на городской дом, а со стороны сада весь дом был плотно окутан зеленью, плющ вился снизу доверху по его стенам; перед домом простиралась большая овальная луговина, а по сторонам ее шли дорожки; везде виднелись кусты сирени и воздушного жасмина и другие; кроме того, была пропасть цветов и даже маленькая цветочная оранжерея.

Милый дом, как хорошо в нем было, и как все, чем жили оба друга, развивалось быстро и успешно в то время!

С старшею дочерью Герцена каждый день мы делали два букета, помещая посредине большую белую душистую лилию; один букет был для гостиной, другой — для комнаты Огарева.

От калитки до входной двери приходилось пройти порядочное расстояние; двор был весь вымощен дикарем[13], направо была пустая конюшня, а над ней — сеновал и квартира садовника.

Мы переехали в свое новое помещение и хорошо в нем разместились. Герцен мог ездить в Лондон по железной дороге, станция которой находилась в двух шагах от нашего дома. А когда Александр Иванович опаздывал, он мог сесть в Фуляме в омнибус, который за Путнейским мостом каждые десять минут отходит в самый центр Лондона.

Герцен вставал в шесть часов утра, что очень рано по лондонским обычаям; но, не требуя того же от прислуги, он читал несколько часов у себя в комнате. Ложась спать, он тоже подолгу читал; а расходились мы вечером в двенадцатом часу, а иногда и позднее, так что Герцен едва спал шесть часов. После обеда он оставался большею частью дома и обыкновенно читал вслух по-французски или по-русски что-нибудь из истории или из литературы, понятное для его старшей дочери, а когда она уходила спать, то читал для сына книги, подходящие к его возрасту. Герцен следил за всеми новыми открытиями науки, за всем, что появлялось нового в литературе всех стран Европы и Америки. В девять часов утра в столовой обыкновенно подавался кофе. Герцен выпивал целый стакан очень крепкого кофе, в который наливал с ложку сливок; он любил кофе очень хорошего достоинства. За кофеем Александр Иванович читал «Теймс», делал свои замечания и сообщал нам разные новости. Он не любил направления «Теймса», но находил необходимым читать его каждое утро. Окончив чтение «Теймса», он уходил в гостиную, где занимался без перерыва до завтрака. Во втором часу в столовой был приготовлен завтрак (lunch), который состоял из двух блюд: почти всегда из холодного мяса и еще чего-нибудь из остатков вчерашнего обеда. На столе стояли кружка pal al* и бутылка красного вина или хереса. Герцен очень любил pal al и пил его ежедневно. Огарев опаз-

---

* светлого пива (*англ.*)

дывал к кофею; когда он сходил наконец в столовую, Герцена уже не было там. Но в завтрак все собирались, дверь была отворена в сад, дети убегали резвиться на свежий воздух, а большие оставались одни. Тут друзья толковали о своих занятиях, о статьях, которые предполагали написать, и пр. Иногда один из них приносил оконченную статью и читал ее вслух.

Вскоре после нашего переезда в этот дом однажды Огарев после lunch'а сказал Герцену при мне:

— А знаешь, Александр, «Полярная звезда», «Былое и думы» — все это хорошо, но это не то, что нужно, это не беседа со своими,— нам нужно бы издавать правильно журнал, хоть в две недели, хоть в месяц раз; мы бы излагали свои взгляды, желания для России и проч.

Герцен был в восторге от этой мысли.

— Да, Огарев,— вскричал он с оживлением,— давай издавать журнал, назовем его «Колокол», ударим в вечевой колокол, только вдвоем, как на Воробьевых горах мы были тоже только двое,— и кто знает, может, кто-нибудь и откликнется![14]

С этого дня они стали готовить статьи для «Колокола»[15]; через некоторое время появился первый номер этого русского органа в Лондоне. Трюбнер (немец, книгопродавец в Лондоне), который постоянно покупал и брал на комиссию все издания Герцена, взял и «Колокол». Он разослал его повсюду, и скоро узнали и в России об его существовании. В это время Иван Сергеевич Тургенев приезжал из Парижа[16]. Огарев и Герцен сообщили ему радостную новость и показали даже ему первый номер «Колокола»; но Иван Сергеевич ничуть не одобрял этого плана. Как писатель тонкий, с редкими дарованиями, с необыкновенно изящным вкусом, он радовался изданию «Полярной звезды», «Былое и думы»; но, всегда далекий от политических взглядов и стремлений, он не допускал мысли, чтоб два человека, изолированно стоявшие в Англии, могли вести оживленную беседу с своей отдаленной страной, могли найти в себе, что сказать, могли понять, что ей нужно.

— Нет, это невозможно,— говорил Иван Сергеевич,— бросьте эту фантазию, не раскидывайте ваших сил, у вас и так много дела: «Полярная звезда», «Былое и думы», а вас только двое.

— Уж теперь дело начато, надо продолжать,— отвечали они.

— Удачи не будет и не может быть, а литература много потеряет,— возразил горячо Иван Сергеевич.

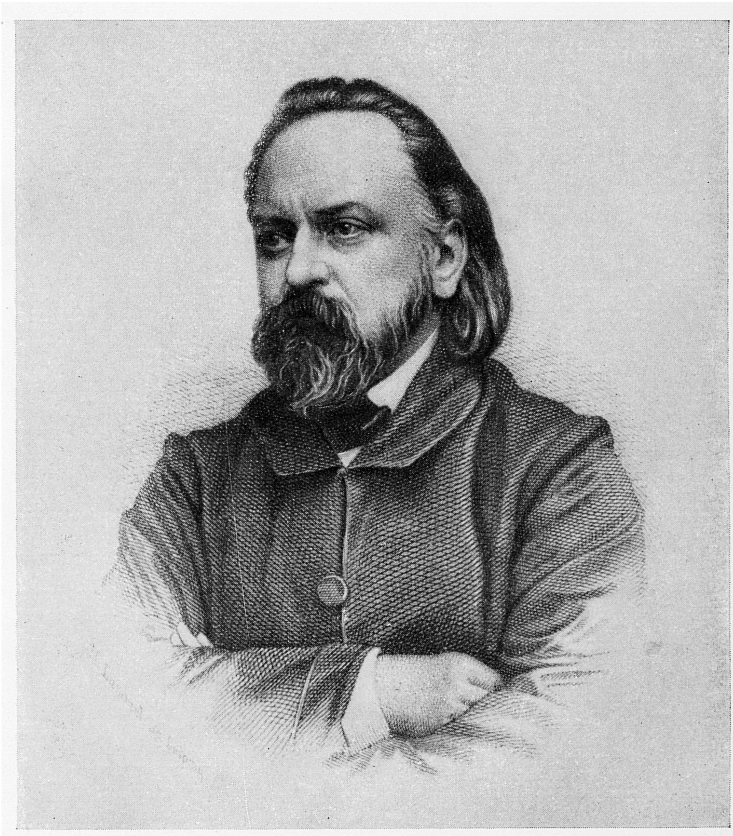
Но друзья не послушали его совета: было ли это предчувствие, что «Колокол» разбудит дремоту многих и сам найдет себе сотрудников, или это была просто какая-то настойчивость с их стороны.

В это же время приезжал к нам, вместе с Тургеневым, Василий Петрович Боткин, автор «Писем из Испании». Я знала его по рассказам Герцена, по эпизоду «Basile et Armance»[17], но должна признаться, что он мне показался еще более оригиналом, чем я думала. Ни о чем он не говорил без пафоса, без аффектации; к тому же он был великий гастроном и, так сказать, умилялся перед блюдами, которые ему особенно нравились. Выходил совершенный контраст с нашей семьей, где не находилось охотника даже заказывать обед ежедневно. François сам придумывал блюда и приготовлял их к обеду в восемь часов вечера. Когда что-нибудь было особенно вкусно, мы все хвалили, а замечания делал один Герцен, и то весьма редко.

После lunch'a Герцен и Огарев отправлялись гулять, каждый по своим вкусам и наклонностям. Герцен доезжал до многолюдных улиц и там ходил пешком, заглядывая в ярко освещенные магазины, и на улице он многое замечал и наблюдал. Он входил в разные кофейные, спрашивал большею частью очень маленькую рюмку абсента и сифон сельтерской воды, и прочитывал там всевозможные газеты. Впоследствии доктора говорили, что сельтерская вода в большом количестве небезвредна для организма.

Возвращаясь домой, Герцен нередко привозил те закуски или сои, выбор которых он не любил доверять вкусу François. Он часто тоже привозил нам что-нибудь особенно любимое нами: омар или какой-нибудь особенный сыр, иногда кирасо или лакомства для детей: сухие фрукты или сушеные вишни. Когда Александр Иванович бывал очень весел, он любил заставлять нас всех отгадывать, кого он встретил в Лондоне. Я так приглядела к его подвижным, выразительным чертам, что могла всегда назвать особу, виденную им; поэтому он стал меня исключать из числа отгадывающих, и я оставалась всегда последней.

Выходя после завтрака из нашего мирного предместья «Fulham», Огарев шел отыскивать еще более пустынные и уединенные места для своей прогулки. Он жил сам в себе, люди ему мешали, но он их любил по-своему, особенно жа-



А. И. Герцен.
С гравюры Лемме́ля, середина 1850 гг.

лел и был до крайности ко всем снисходителен. Инстинктивно он удалялся от людей; но когда судьба его сталкивала с ними, он был так добродушен и непринужден, что, конечно, никто из его собеседников не воображал, насколько они все были ему в тягость. Герцен, напротив, любил людей, и хотя иногда и сердился, что кто-нибудь не вовремя пришел, увлекался впоследствии и был весьма доволен. Общество было ему необходимо; он боялся только скучных людей.

В воскресенье все в Англии запирается. Весь Лондон превращается в какой-то огромный шкап: магазины, булочные, кофейные, кондитерские, даже мелочные лавки — все заперто. На улицах царит безмолвие, только в парках движение, да и то не как в будни. Кое-где вдали виднеются проповедники, а вокруг — густые толпы народа, слушающие с напряженным вниманием и в глубокой тишине. Дети чинно гуляют, обручей никто не катает, мячики не летают в воздухе — все это раздражало Герцена. Он не любил по воскресеньям выходить со двора и принужден был прятаться от бесцеремонных посетителей, которые с утра являлись к нам в дом на целый день. В такие дни он дольше работал, а я и старшие дети занимали в саду скучных гостей. Мало-помалу начинали собираться и нескучные люди, звонок не умолкал; тогда и Герцен наконец являлся к нам. Как войдет, все изменится, оживится: польются занимательные разговоры, споры, новости интересного свойства, большею частью политические. Герцен в своем кругу был тем, чем солнце бывает относительно природы. Александр Иванович был вообще очень хорошего здоровья. Он говорил всегда, что умрет ударом. Раз он сильно простудился; у него сделался страшный жар и колотье в боку; мы оба с Огаревым очень перепугались и послали тотчас за нашим доктором, другом-изгнанником Девилем. Последний очень любил Герцена, бывал по несколько раз в день во время его болезни и менее чем в неделю поставил его на ноги. Две ночи мы просидели над больным в страшной тревоге, боясь оставить его на минуту.

ГЛАВА VIII

«Колокол».— Приезжие в Лондон русские: барон Андрей Ив. Дельвиг, князь Владимир Александрович Черкасский.— «Рыцари промышленности».— Купцы.— И. С. Аксаков.— Русский крестьянин.— Профессора: Каченовский и П. В. Павлов.— Ив. Ив. Савич, его поездка из Лондона в С.-Петербург и вывезенные оттуда впечатления.— Свербеев.— Декабрист князь Сергей Григорьевич Волконский.— Случай с Мих. Сем. Щепкиным.— Художник Иванов.— Бахметев на пути к Маркизским островам и его приношение.

«Колокол» продолжал издаваться, успех его все возрастал. Иногда приезжали русские студенты, ехавшие учиться в Германию. Не зная ни слова по-английски, они ехали в Лондон дня на два нарочно, чтобы пожать руки издателям «Колокола». Они привозили рукописи, которые, впрочем, начинали доходить до Герцена и путем почты из Германии. Вероятно, русские путешественники сдавали их на почту в разных германских городах. Содержанием рукописей были иногда жалобы на несправедливые решения суда, или разоблачение каких-нибудь вопиющих злоупотреблений, или желание какой-нибудь необходимой реформы,— обсуждались чисто русские вопросы. Герцен и Огарев часто читали вслух присланные статьи, и когда они, по выраженным в них взглядам, не могли быть напечатаны в «Колоколе»,— издавались отдельно маленькими брошюрками под названием: «Голоса из России» [1].

В это время русские стали приезжать все чаще в Лондон для свидания с Герценом. Тут были и люди, сочувствовавшие убеждениям двух друзей хоть отчасти, как ‹барон Андрей Иванович Дельвиг› [2], князь Долгоруков,

Черкасский и много других, всех не вспомнишь; но были и такие, которые приезжали только из подражания другим. Вообще, в наступившее царствование все, что силой удерживалось при Николае I, ринулось за границу, как неудержимый поток. Ехали учиться в Германию или Швейцарию, ехали советоваться с докторами в Вену, Париж и Лондон, и наконец ехали потому, что это было теперь дозволено каждому. Помню один странный случай, который нас очень поразил.

Один приезжий русский офицер, по имени Раупах, рассказывал, как он бежал из Крыма, потому что там страшные злоупотребления. Через неделю он поселился недалеко от нас и пришел с француженкой, которую рекомендовал как свою жену. Они были оба очень любезны; но меня неприятно поразило, что оба нападали на наше юное правительство*: при моей горячности я не могла не остановить их. «Удивляюсь,— сказала я,— вашим жалобам на царя; насколько я знаю, строгости в это время относились только к недобросовестным личностям, которые сами заслуживали кару».

После этого Раупах не возобновлял этого разговора. Уходя, он пригласил Герцена и Огарева на обед, который был великолепен, по отзыву наших. Раупах имел всю обстановку очень богатого человека. Через некоторое время, развертывая русскую газету, Герцен прочел, что офицер тот бежал из Крыма, захватив с собой ящик с полковой суммой; кража была крупная. Раупаха уже не было в Лондоне, он уехал в Америку.

В этом же доме был у нас посетитель в том же духе, как Раупах, но почему-то Герцен принял его один в гостиной, так что прочие члены семьи не видали его. Он поразил Герцена своим щегольским, безукоризненным костюмом и палевыми перчатками. Был раза два у Герцена и назвал ему свою фамилию (теперь не помню ее). Он рассказывал Александру Ивановичу, что намерен пожить в Лондоне, чтоб заняться изучением какого-то вопроса; но это показалось не серьезно Герцену, потому что этот господин не расспрашивал, как осуществить этот план, а говорил о будущих занятиях весьма неопределенно. Два месяца спустя Герцен прочел в «Тайме», что этот господин арестован за делание в Лондоне фальшивых русских ассигнаций и приговорен судом к каторжной работе, кажется, на десять лет.

---

* В начале царствования Александра II не было никаких преследований за политический образ мыслей. (*Прим. автора.*)

Герцен был в большом негодовании, что подобные личности старались сблизиться с ним. Но трудно было ему быть осмотрительным с новыми знакомыми, потому что все русские приезжали без рекомендации и большею частью вполне не известные ему. Господин в палевых перчатках напоминает мне забавный анекдот Луи Блана. Однажды в Лондоне является к нему незнакомый господин, который представляется как французский изгнанник, потерпевший за родину, и просит его высокого покровительства. Лицо его было крайне несимпатичное; он бойко, развязно сказал свое имя. Луи Блан, знавший имена многих второстепенных революционных деятелей, не мог вспомнить этого имени и высказал это просящему. «В каком же деле вы были замешаны?» — спросил он.— «О! не трудитесь вспоминать,— отвечал его собеседник,— вероятно, вы никогда и не слышали моего имени, хотя я тоже протестовал против общественных законов, собственности и пр.,— я был приговорен за кражу со взломом... и бежал!» — Луи Блан не мог удержаться от смеха в глаза протестующего.

Приезжали к Герцену и «крем» купечества и промышленности, между которыми помню г-на и г-жу Каншиных. Он казался вполне бесцветной личностью и приехал с женой отчасти для ее здоровья, отчасти — чтоб посмотреть на Герцена. Она была высокая, видная, полная молодая женщина с мелкими, красивыми чертами лица, вероятно неглупая, но страшно занятая собой.

Приезжали и люди вполне порядочные, развитые, сочувствовавшие Герцену. Между ними один только в эту эпоху меня глубоко поразил своей благородной, немного гордой наружностью, цельностью, откровением своей натуры. Это был Иван Сергеевич Аксаков. Он знал Герцена еще в Москве. Тогда они стояли на противоположных берегах. Читая во многих заграничных изданиях Герцена о разочаровании его относительно Запада, Аксаков, вероятно, захотел проверить лично, ближе ли стали их взгляды, и убедился, что они — деятели, идущие по двум параллельным линиям, которые никогда не могут сойтись...

В продолжение нескольких дней Герцен и Аксаков много спорили, ни один не считал себя побежденным, но у них было обоюдное уважение, даже больше, какая-то симпатия, какое-то влечение друг к другу; так они и расстались бойцами одного дела, но с разных отдаленных точек[3].

Раз, часов в десять утра, раздался звонок, на который

никто не обратил внимания, кроме Герцена, который, слыша свое имя, произнесенное много раз по-русски, и обычный ответ François: «Monsieur pas à la maison» *, положил конец этому диалогу, попросив незнакомца войти в гостиную. Перед Герценом стоял небольшого роста человек, лет тридцати пяти, в русской синей поддевке, из-под которой виднелась красная рубашка, в шароварах и русских сапогах, с мелкими, но некрасивыми чертами лица. Небольшие серые живые глаза бойко всматривались в Герцена.

— Это вы, Александр Иванович,— сказал он наконец,— я тебя узнаю по карточкам.

Герцен был в восторге от этого нового посетителя; он позвонил и велел François позвать Огарева и нас всех. Это был настоящий крестьянин, теперь не помню, из какой губернии. Он пробыл у нас с неделю; мы не знали, чем занять дорогого гостя, так мы все обрадовались, увидав русского крестьянина. Но в сущности в нем мало было хорошего. Он ничем не интересовался, кроме разгула, показывал мужчинам фотографическую карточку, где он был представлен у ног какой-то красавицы. Герцен дал ему сына в проводники по Лондону, чтоб он мог осмотреть хоть бегло все, что особенно замечательно в городе. Напрасно мы ждали их до полночи и дольше, наши туристы не являлись. Герцен был весьма недоволен этим: его сыну никогда не случалось ночевать вне дома. Уходя спать, Герцен сказал François: «Когда бы мой сын ни позвонил, скажите ему, чтоб он зашел ко мне!» Потом мы все разошлись по своим покоям. На другой день, часов в одиннадцать, виновные позвонили. Герцен принял крестьянина довольно холодно и сказал ему, что он напрасно не прислал Сашу хоть поздно вечером. Крестьянин принял добродушно-лукавый вид и стал уверять, что побоялся беспокоить поздно вечером, но что они ночевали в его номере. Саша упорно молчал, потупив голову. Потом крестьянин нам сам рассказывал, что он уже сидел в Клиши ** за долги, что он любит развеселое житье и не знает сам, когда попадет в Россию! Зачем он приезжал в Лондон, осталось тоже для нас загадкой.

Когда, по обычаю, изгнанники собрались у нас в воскресенье, все с непритворным восхищением смотрели на настоящего русского крестьянина, который опрокидывал

---

* «Господина нет дома» (*франц.*).

** Тюрьма в Париже. (*Прим. автора.*)

в рот содержимое целой рюмки водки и даже находил, что рюмка очень мала. Иностранцы восклицали с ужасом: «Ah, le malheureux, mais il se brûlera est-ce qu'on boit ainsi l'eau de vie!» * Но замечали с удовольствием, что никакого вреда не последовало русскому крестьянину; напротив, он любезно улыбался, и глаза его весело блистали.

Когда он ходил по лондонским улицам, мальчишки бегали за ним, дивясь его костюму и крича: «Русский!» А он бросал им горсть серебра, снимал картуз и кланялся им с улыбкой[4].

Между приезжими из России были также и люди науки. Помню двух профессоров, которые прочли даже несколько лекций в нашем доме: Каченовского[5] и Павлова[6]. Последний был, кажется, профессором истории в Киевском университете. Это была умная, даровитая личность, но, вероятно, надломленная гнетом той эпохи, которую так ярко характеризует Никитенко в своем дневнике[7]. Лекции Павлова были превосходны, увлекательны; но в разговоре он производил тяжелое впечатление психически больного. Он был мрачен и говорил постоянно о том, что за ним следят и что это его ужасно утомляет. Сначала Герцен старался его разуверить в этом, говоря, что в Англии это немыслимо; однако он вскоре заметил, что это была мания у Павлова. Последний прожил довольно долго в Лондоне, жалуясь постоянно на преследования русского правительства, и под этим впечатлением оставил Англию. Полагаю, что он недолго прожил в своей ипохондрии, но когда он мог оторваться от воображаемой действительности, он говорил увлекательно об исторических моментах, великолепно разработанных им.

Не могу вспомнить теперь, с кем приезжал в это время еще очень молодой профессор А. Н. П<ыпин>. Герцен уже знал его по его статьям; он был приятно поражен прекрасной, симпатичной наружностью молодого профессора. Сын Герцена сопровождал его по Лондону и с удивлением рассказывал о том, что молодой ученый предпочитал шумным удовольствиям большого города разговаривать с трехлетним ребенком квартирной хозяйки и от души смеялся его выходкам. Слушая этот рассказ, Герцен сказал сыну: «Что ты говоришь, Саша, меня вовсе не удивляет; выражение его

---

* «Что он делает, ведь он обожжет себе глотку!» (*франц.*)

лица прекрасно, в нем сказывается высоконравственная чистота»[8].

Воспоминания толпятся в беспорядке в моей памяти; хочу рассказать об Иване Ивановиче Савиче, о котором я уже говорила и который невольно возбуждал такой юмор в Александре Ивановиче. В это время денежные обстоятельства Савича стали поправляться. Он не давал уже уроков всего на свете, как прежде: французского, немецкого языков, рисования, чистописания, истории и не знаю чего еще. Мало-помалу он сделался комиссионером по части каменного угля, покупаемого нашими пароходами. Дела его пошли хорошо; он уже не ел сомнительной пищи, продаваемой на лотках, и не питался одним картофелем, как бывало. Бедные изгнанники! Они все изведали этих блюд; только самые даровитые и настойчивые из них завоевали себе наконец достойную их деятельность. Так сделали профессор медицины Девиль, Саффи, Таландье и некоторые другие.

Савич сблизился с несколькими англичанами, с которыми имел теперь дела, и часто благочинно проводил с ними праздники, а у нас редко бывал по воскресеньям; поэтому мы были крайне удивлены однажды его ранним появлением в воскресенье. Даже в его наружности произошла некоторая перемена: он имел вид чинный и немного сдержанный, очевидно, выработанный не без труда для англичан. Но как только разговорится с соотечественниками, не может утерпеть, чтоб минутами не подниматься на кончики пальцев или не припрыгнуть иногда, как каучуковый мячик. Герцен никогда не мог говорить с ним серьезно или победить в себе непреодолимое желание потешиться над ним: все в Савиче возбуждало в нем насмешливое расположение духа, даже прическа. У Савича были тонкие темные волосы, которые плохо слушались гребня и как-то странно торчали.

В это утро Иван Иванович Савич застал нас в столовой, мы собирались завтракать и ждали только Огарева. Поздоровались, поговорили; потом Герцен окинул беглым взглядом всю фигуру Савича и стал уверять его шутя, что он по наружности стал чистый англичанин, только прическа еще не промышленного англичанина.

— Позвольте мне, дорогой Иван Иванович, дотронуться до вашей головы,— сказал Герцен.

Савич был тоже в хорошем настроении, он нагнул немного голову к сидящему за столом Герцену.

— Боже,— воскликнул последний, слегка прикасаясь пальцами до головы Савича,— ведь это не волосы, право, Савич, это мездра! Как это должно быть тепло,— продолжал он серьезно.

Но Савич, обидевшись, выпрямился и сказал в ответ:

— Вы, Александр Иванович, насмешник; вы над всем смеетесь. Вот Николай Платонович, он добрый, добрый... а вы насмешник, над всем смеетесь...

— Нет, право, только над тем, что смешно,— возражал Александр Иванович, едва удерживаясь от смеха.

В дверях показался Огарев. Савич радостно бросился к нему, целуя его, по своему обычаю, в плечо.

— Вот он, — говорил восторженно Савич, — добрый, милый, любящий, ни над кем не насмехается.

— Я хотел, милый Николай Платонович, поговорить о важном для меня деле с вами обоими, но с ним невозможно,— говорил Савич, указывая с досадой на Александра Ивановича. Последний имел вид школьника, пойманного на месте преступления. Огарев посмотрел на него с упреком.

— В чем же дело?— спросил Николай Платонович у Савича.

— Пойдемте в сад,— отвечал наш соотечественник,— я вам все обстоятельно расскажу.

— Да что вы, господа, позавтракаемте прежде, ведь лучше потом предаться сердечным излияниям,— возразил Герцен.

Но Огарев, увлекаемый Савичем, был уже в саду и не слыхал последних слов Александра Ивановича, который не начал завтракать без ушедших. Мы сидели за столом и невольно поглядывали на разговаривающих в саду. Они ходили вдоль всего сада тихими шагами, возвращаясь к дому и опять удаляясь от него; видно было, что разговор был весьма серьезный. Огарев внимательно смотрел на Савича, который горячо что-то рассказывал; иногда, увлекаясь, он забегал вперед; тогда Огарев поневоле останавливался. Видно было, как Савич то хлопал его по плечу, то поднимался на кончики пальцев, то слегка припрыгивал; наконец они пошли скорыми шагами и вошли в столовую.

— Александр,— сказал Огарев,— Иван Иванович желает с нами посоветоваться; в двух словах, вот в чем дело. По своим делам ему нужно бы съездить в Россию, но, как ты знаешь нерешительный характер Савича, он немного опасается; по-моему, нечего, это хорошее дело; что ты скажешь?

— Конечно, хорошее,— согласился Герцен,— но прежде позавтракаем, а после за стаканом эля или вина поговорим обстоятельно.

После завтрака, оставшись одни, они перешли к практической стороне вопроса; говорили, что Савич должен съездить к посланнику и спросить его, может ли он (Савич) получить паспорт для поездки в Россию. Оказалось, что Савич был уже у посланника, что тот обещал справиться в России о том, есть ли что-нибудь против почтенного гражданина всей Российской империи Савича, и велел ему побывать через месяц за ответом.

— Я был у посланника,— вскричал Савич,— ответ получен, препятствий нет никаких, но я боюсь, можно ли верить?..

— Да чего вы боитесь?— возразил Герцен с нетерпением.

— Как чего, вам легко говорить,— вскричал живо Савич,— мой двоюродный брат...

— Знаю, знаю, да вам-то что,— отвечал, смеясь, Александр Иванович.— Ах, Савич,— продолжал он, шутя,— возьмите паспорт, а я бы с ним съездил вместо вас в Петербург; только жаль, что наши прически не совсем сходны, у меня почти ничего нет на голове, а у вас лес, мездра; посмотри, Огарев, ведь это прелесть.

— Ну, будет вам, Александр Иванович, вы все смеетесь; впрочем, вы москаль, а я хохол, москали и хохлы всегда друг над другом смеются,— говорил Иван Иванович, стараясь сохранить хорошее расположение духа.

Наконец Савича так ободрили, что он решился ехать в Россию и простился с нами.

— А жутко,— говорил он, останавливаясь в дверях.

— Полноте, не вернитесь опять с полдороги,— кричал ему вслед Герцен.

Недель шесть спустя, Иван Иванович Савич вернулся из Петербурга. На другой день поутру он явился к нам. Несмотря на неурочный час его посещения, мы все собрались слушать его рассказы о Петербурге. Он казался в восторге, обнимал то Герцена, то Огарева; целовал их в плечо то того, то другого. Останавливался, отходил подальше и издали как будто любовался ими. «Да,— говорил он таинственно,— я там только узнал... да, да...»

— Что вы там узнали? — спросил Герцен.— Вы меня озадачиваете. Не поручили ли вам наблюдать за мной, что вы так на меня смотрите?

— Нет, не то, вы все шутите,—отвечал Савич, и, подойдя к Герцену, он сказал ему вполголоса: — Там я узнал, кто вы.

— А здесь не знали, вот что! — возразил Александр Иванович, смеясь.

— Да, не знал! Там я узнал, что вы — великий человек! — воскликнул Савич с одушевлением.

Сделалось неловкое молчание, но Герцен первый прервал его:

— Полноте, Савич, расскажите лучше, что делается в Питере, что говорят.

— Да, да, я сам хотел рассказать, да не умею, не знаю, с чего начать; ну, так и быть, начну с моего приезда.

Приехал я в Петербург, давно там не был, и нашел большие перемены. Остановился в гостинице, отдохнул, смыл дорожную пыль и отправился к нашему корреспонденту, господину Р., который принял меня очень радушно, просил даже переехать к нему, но я из деликатности оставил все-таки номер за собой; впрочем, я в нем только ночевал. Господин Р. помог мне разыскать тех из моих родственников и знакомых, которые оказались в Петербурге. Он меня записал гостем в разных клубах, возил в оперу, в русский театр и прочее, у меня не было ни одной свободной минуты. По средам вечером у господина Р. собиралось много посетителей, он меня познакомил со всеми. У моих родных и давнишних приятелей были обеды для меня и для коротких знакомых и приемные дни, то есть вечера, на которые собиралось, как всегда у нас, пестрое общество: чиновный мир, военные, крупные индустриалы и интеллигенция, как теперь говорят, и со всеми я знакомился. Все обращались со мной очень любезно и внимательно везде на вечерах. Многие обменивались со мной визитными карточками и просили к себе. Но везде, поговорив со мною об Англии, преимущественно о Лондоне, все поодиночке спрашивали о вас с необыкновенным интересом. Я не приготовился к подобным вопросам и сначала так оробел, что просто... не сердитесь на меня, голубчик Александр Иванович, отказался от вас... говорю: «Помилуйте, я коммерческий человек, где мне с такими людьми знаться, как он»,— боюсь и имя-то громко сказать. Все улыбнулись и отошли в сторону, наконец и господин Р. начал меня ободрять наедине: «Что вы, Иван Иванович, не потешите этих господ? Им интересно от вас слышать о нашем изгнаннике; вы, вер-

но, боитесь шпионов,— будьте покойны, эти господа их сами боятся: ведь сознайтесь, Иван Иванович, вы знаете Герцена? Ну, не лукавьте хоть со мной»,— говорил он убедительно. И я сознался ему, только под большим секретом. Поехал домой и один подумал еще, что делаю величайшую глупость, что тут нет ничего опасного. На следующий день, не помню, у кого это было, я сознался, что знаю вас, даже коротко знаю. Что тогда было — и не знаю, как рассказать,— говорил Савич, одушевляясь все более,— все подходили ко мне, человека по три зараз — не более,— вероятно, чтоб меня не пугать.

— Милый Иван Иванович, скажите, как он смотрит, доступен? — говорил один.

— Очень просто себя держит,— отвечаю,— принимает очень радушно, как истинный русский.

— Ах, Иван Иванович,— говорит другой,— как вы счастливы, как бы охотно с вами поменялся; и вы видите его, когда хотите?

— И мне бы небезвыгодно поменяться, ваше превосходительство,— отвечаю с почтительной улыбкой.

Другой, еще важнее, подходит и, право, со слезами на глазах, похлопывая меня по плечу, говорит: «Вы знаете ли, кто Герцен, милый Иван Иванович?»

— Кажется, надворный советник,— говорю я робко.

— Великий человек! Вот кто он! — изволил сказать его сиятельство и отошел, чтобы скрыть свое волнение.

И все стали меня приглашать наперерыв, и везде только об вас и разговору; меня на руках носили и все из-за вас, дорогой Александр Иванович. Ну, и наслушался я там диковинных анекдотов о вас. Пожалуй, вы не поверите, а все это истина.

— Что же такое? — спросил Огарев.

— Много рассказывали, много изумительного,— сказал Савич.— Говорили, например, что было приказано преследовать некоторые дела, неправильный ход которых был обличен в «Колоколе»; верите ли вы этому? А между тем это правда! Дело князя Кочубея с управляющим, в которого князь выстрелил, наделало много шума, с тех пор как подробный рассказ этого дела появился в печати[9]. Все удивляются, что в Лондоне известно то, о чем в Петербурге еще не слыхали. Незнакомые ваши друзья и почитатели просили меня передать вам на память от них некоторые безделицы, долженствующие напоминать вам родину: серeб-

ряный лапоть (пепельница), золотой бурачок для марок,— последний, кажется, от Кокорева, который тоже восхищен вашей деятельностью,— чернильницу из серого мрамора, большую вазу из горного сибирского кристалла*. Эти последние вещи сделаны в Сибири, и те, которые делали их, знали, для кого они назначены. Каково! — вскричал Савич.— «Поднесите ему эту чернильницу от русских, гордящихся им,— говорили мне, отдавая ее,— чтобы он более писал; мы все ждем появления «Колокола» с нетерпением, наши взоры обращены к Альбиону. Скажите ему, что в административных сферах говорят об освобождении крестьян, это его порадует, и в этой важной мере есть и его участие»,— продолжал Савич.

— Я недаром ездил в Петербург; дела делами, а ведь я бы ни за что не поверил всему этому, если б сам не был очевидцем такого горячего энтузиазма к вам.— И, говоря это. Савич поднялся на кончики пальцев.

— Мне говорили еще,— продолжал Савич,— и заметьте, все люди, достойные полного доверия и уважения, занимающие важные места, что раз в «Колоколе» был помещен рассказ о весьма некрасивом поступке одного придворного (я забыл имя). Последний номер «Колокола» подается государю, то есть положен на его письменный стол. Когда NN увиделся с государем в продолжение дня, он спросил его величество, обратил ли он внимание на рассказ в последнем номере «Колокола» относительно такого-то придворного? Государь отвечал, что этого нет или не заметил, и взял последний номер «Колокола», лежащий на письменном столе. NN нашел в своем номере место, о котором говорил его величеству. Они сличили оба номера «Колокола», которые оказались тождественные; только в экземпляре государя рассказ о придворном был выпущен. «Ваше величество,—сказал NN,—и в Петербурге «Колокол» издается, но только исключительно для вашего величества». И оба улыбнулись, но государь был недоволен, открывши такой наглый обман.

— Говорят,— продолжал Савич,— что лица, занимающие высокие посты и пользовавшиеся большим доверием государя, испросили у его величества позволение получать

---

* Вещи, о которых идет речь, находятся у сына Герцена, равно и картина, подаренная его отцу русским художником [10]. (*Прим. автора.*)

«Колокол», в котором находятся иногда нужные для них сведения, и государь не раз разрешал эти просьбы[11].

В числе желающих получать «Колокол» для служебной пользы был между прочими мой дядя Павел Алексеевич (младший), тогда московский генерал-губернатор; государь согласился на его желание.

Раз был странный случай у дяди за обедом, на котором присутствовало много посторонних лиц. Какой-то господин (по-видимому, отчаянный катковист) стал громко нападать на Герцена и Огарева. Слыша его неприличную выходку, Тучков сказал: «Я не знаю Герцена; что же касается до Огарева, то я бы вас просил не говорить о нем в таких выражениях в моем присутствии, потому что он мне племянник». Урок был хорош, господин этот никогда более не возобновлял подобного разговора.

Мой дядя был прямой, откровенный человек. Он любил государя Александра Николаевича и относился к нему с полной искренностью. Перед назначением дяди в Москву царь хотел назначить его в Варшаву, но дядя убедительно просил его величество избавить его от этого высокого поста.

«Моя мать полька,— говорил Тучков,— там я буду чувствовать себя в ложном положении, государь; лучше желаю служить вам в России, где вы назначите».

В эпоху, о которой я говорю, сын Свербеева навестил Герцена. Свербеев приезжал с женой, дочерью декабриста Трубецкого[12]. Декабристы были тронуты, что Герцен первый заговорил о них. Дети их стали приезжать к Герцену из чувства признательности, а из самих декабристов Герцен видел, кажется, только князя Волконского в Париже, не помню в каком году; только слышала, что они показались друг другу очень симпатичными[13].

Вскоре после посещения Свербеева был у нас Николай Михайлович Щепкин[14], и потому я не могу вспомнить, который из них рассказывал Герцену странный случай, бывший с Михаилом Семеновичем Щепкиным.

Дирекция московского театра поручила последнему получить в Петербурге следующие ей деньги от казны. Приехав в Питер, Щепкин не замедлил заняться данным ему поручением, но недели проходили за неделями, а денег он не получал. Ему назначали дни, часы; он аккуратно являлся, но администрация придиралась к какой-нибудь неисполненной формальности, чтоб остановить следуемую уплату.

Щепкину наскучило проводить время так бесцельно; он потерял терпенье и сказал наконец: «Если я завтра опять не получу денег, то мне остается только обратиться в «Колокол» и ехать обратно в Москву».

Важный чиновник, выслушав это заявление, просил его очень мягко не делать этого, уверяя его, что он завтра же получит деньги. Но Щепкин не верил этому обещанию, слышанному им столько раз; однако он на другой день в назначенный час явился и, к своему великому удивлению, получил тотчас все деньги[15].

Я слышала много таких рассказов, но большую часть из них перезабыла.

Когда минул год нашему пребыванию в Лондоне (весной 1857 года), Огарев получил через русское посольство вызов в Россию. На эту бумагу он отвечал статьей в своей газете, говоря, что остается за границей, потому что чувствует, что может приносить более пользы своему отечеству оттуда, чем в пределах империи. Полгода спустя мы прочли в русских газетах, что Огарев изгоняется навсегда из пределов России[16].

Между многими русскими художниками, занимавшимися в Италии, был замечательный живописец Иванов. Он провел полжизни безвыездно в Риме, работая, если не ошибаюсь, двадцать восемь лет над одной картиной*, которой он принес немало жертв, живя в страшной бедности, тогда как с его талантом он мог бы много заработать[17].

Когда он задумал вернуться в Россию, он сперва приехал в Лондон, нарочно чтоб повидаться с Александром Ивановичем Герценом, и привез ему в подарок фотографию с своей картины, уже отправленной в Петербург, где он намеревался поднести ее государю Александру Николаевичу[18]. Судя по этой фотографии, это должна быть замечательная картина; она давно уже в Румянцевском музее. В ней были представлены необыкновенно живо разнообразные типы еврейского племени. Некоторые лица были очень красивы и выразительны, особенно Иоанн Креститель. Но фигура Иисуса, видневшаяся вдали, производила мало впечатления. Русские, видевшие эту картину и понимающие живопись, передавали Герцену, что, кроме изящных контуров всех фигур, дышащих истиной, картина Иванова замечательна еще необыкновенно ярким колоритом. Ива-

* «Явление Иисуса Христа Иоанну Предтече». (*Прим. автора.*)

нову было уже за пятьдесят лет; он казался очень добродушен, но привычка к одиночеству и к усидчивой работе придавала выражению его лица какую-то сосредоточенность и задумчивость; вообще, он был молчалив. Его привела в Лондон давнишняя, заветная мысль. Так как внимание русского общества в то время было всецело привлечено к Герцену и к лондонским изданиям, Иванов постоянно слышал о Герцене даже от художников и вообразил, что Герцен может один разъяснить ему мучающую его задачу. Вот в чем она состояла.

— В продолжение нескольких веков христианской религии идеалы ее были руководящей мыслью искусства: оно воспроизводило все выдающиеся моменты ее истории, она была оплотом искусства,— говорил Иванов, удрученный, убитый как бы кончиной близкого ему человека,— теперь же все изменилось, общество стало равнодушно к религии, мистическая сторона ее ослабла; какая же новая идея займет покинутое место, что будет ныне одушевлять искусство,— говорил он, бросая на Герцена вопрошающий взгляд,— на что оно будет опираться, где новые идеалы?

Герцен слушал его внимательно; наконец он ответил ему:

— Ищите новые идеалы в борьбе человечества за идею свободы, за человеческое достоинство, за его постоянное совершенствование, за вечный прогресс; вот где должна быть нынешняя руководящая мысль для искусства; тут тоже есть и жертвы и мученики,— воспроизводите выдающиеся явления этой мрачной истории[19].

Но Иванов не был убежден, не был вполне доволен этим решением вопроса; он хотел иного, и, вероятно, оставил этот мир, не додумавшись до своей заветной мысли.

Герцен был необыкновенно рад великому художнику; даже страдание его, истекающее из отвлеченной мысли, было очень симпатично Александру Ивановичу. Иванов провел около недели в Лондоне и не раз обедал в Laurel-hous'e; но, кроме того, Герцен пригласил его на обед в какой-то хороший лондонский ресторан. Александр Иванович был мастер заказывать обеды, придумывать что-нибудь особенное. Например, он всегда заказывал один из двух характеристических английских супов: из черепахи или из бычачьих хвостов, которые были новостью для русских путешественников[20].

Александр Иванович взял особую комнату в ресторане. Кроме Иванова, тут были: Тхоржевский, Чернецкий и не

помню кто из русских путешественников, находившихся тогда в Лондоне, и все наше семейство. Обед был очень оживлен; помню, что все были в очень хорошем настроении и очень одушевлены. Были горячие тосты за благо России, за ее преуспеяние, процветание, за русских художников, и много других тостов.

В этот же год приезжал в Лондон молодой человек, по фамилии Бахметев; кажется, он был уроженец Симбирской губернии. Некрасивый, робкий, молчаливый, он казался жалким, одиноким, заброшенным. Только гуляя вдвоем с Герценом, он разговорился наконец. Рассказал ему, что он уехал навсегда из России, что все там безотрадно, безнадежно; а главное, он уехал от родных, он не мог вспомнить о них спокойно и говорил: «Только желаю уехать подальше, подальше от родных».

Потом он расспрашивал Герцена о цели, для которой Александр Иванович печатает «Колокол» и прочие издания. Герцен отвечал ему в коротких словах, что это была с детства его и Огарева заветная мысль: служить своей родине, и вот в Лондоне эта мечта наконец осуществилась.

— Так это не торговое дело? — спросил Бахметев.

Герцен не мог сдержать улыбки.

— Типография мне стоит в год десять тысяч франков,— отвечал он,— иногда мои издержки окупаются, а иногда наоборот; это для меня довольно безразлично, потому что я свободно могу располагать такой суммой.

— Извините, что я вас так расспрашиваю,— сказал Бахметев,— это потому только, что если типография не коммерческое предприятие, то я хочу вам оставить двадцать тысяч франков на ваши издания и другие общие дела. Вот видите,— продолжал Бахметев,— у меня всего пятьдесят тысяч, вам оставлю двадцать тысяч, а тридцать тысяч возьму с собой и уеду на Маркизские острова, где буду в коммуне жить по-братски с людьми.

— Не делайте этого,— возразил Герцен с жаром,— не уезжайте на Маркизские острова, осмотритесь прежде, вы увидите сами, каковы и здесь люди. Не спешите, ведь и тут не все безотрадно и безнадежно; какое братство,— вас ограбят и убьют; и мне не давайте этих двадцати тысяч франков, мне решительно их не нужно. Может, со временем вам встретится человек, который будет в них нуждаться для какого-нибудь полезного дела, а у меня хватает средств на типографию.



Н. П. Огарев.
С гравюры, конец 1850-х гг.

Но Бахметев был настойчив, упрям, он ни иоты не переменил в своем решении и говорил резко и в то же время сквозь слезы, как ребенок: «Не делайте мне возражений, это давно мною решено. Вы не имеете права отказать в принятии двадцати тысяч франков от меня, ведь я даю их на полезное дело, обещайте взять их».

Но Александр Иванович сказал, что без Огарева ничего не может решить. На это Бахметев отвечал, что будет на другой день в Laurel-hous'e, чтоб получить окончательный ответ от Герцена.

По возвращении домой Герцен, после обеда, долго толковал с Огаревым о предложении Бахметева. Николай Платонович смотрел на пожертвование Бахметева несколько иначе, чем Александр Иванович.

— По всему, что ты говоришь, Александр,— сказал Огарев,— видно, что Бахметев имеет настойчивый характер. Он решил употребить на общее дело почти половину своего состояния; по мне, лучше тебе взять эти деньги, чем кому-либо другому.

— Если я возьму их,— отвечал Герцен,— то с тобой вместе и с тем, чтоб употреблять на общие дела только проценты, а капитал сберегу для него, если он когда-нибудь вернется; ведь с его неопытностью его наверное оберут, хоть бы сам-то уцелел. Однако я постараюсь отклонить его от его безумного предприятия.

На другой день, часа в четыре, Бахметев приехал к нам в Laurel-hous'e. Сначала Герцен оспаривал его проекты, представлял ему всю их несостоятельность, старался его убедить, что его мечты неосуществимы, что едва ли он найдет нынче таких чистых личностей, которые, как первые христиане, откажутся от блага мира сего и будут жить в братской любви друг к другу. Но Бахметев не допускал никакой критики, а сказал только в ответ:

— Это давно решено, Александр Иванович... Если я ошибаюсь, то мне одному будет худо, и потому не стоит об этом рассуждать, а лучше порадуйте меня, скажите, что вы согласны взять эти двадцать тысяч франков, о которых мы с вами вчера говорили.

— Хорошо,— сказал Герцен,— я возьму их, но только вместе с Огаревым и с тем, чтоб употреблять на общие дела только проценты, а капитал будет храниться для вас у Ротшильда на случай вашего возвращения. Вы увидите, что я вам правду говорил, но вы молоды, немного самона-

деянны, не хотите слушать советов. Забыл вам сказать, что мы вам напишем расписку и оба подпишемся.

— Зачем, зачем,— вскричал Бахметев,— мне не нужно никакой расписки, я вам верю.

Но Герцен возразил, что иначе не возьмет денег, и расписка, подписанная обоими друзьями, была вручена Бахметеву, который на другой день поехал с Герценом в лондонскую контору дома Ротшильда*. Там деньги Бахметева были обменены на английское золото; приказчики банка бросали проворно золото на весы и скатывали его свертками. Никогда никто не проверял этой операции; вследствие этого приказчики были немало удивлены, заметя, что Бахметев пересчитывает каждый сверток, и глядели на него с вопросительной улыбкой. Наконец Герцен сказал ему, что это не принято и что банки никогда не обсчитывают. Видя всеобщее внимание, обращенное на него, Бахметев послушал Александра Ивановича и перестал проверять аккуратность банка. За исключением двадцати тысяч**, которые он вручил Герцену, наш соотечественник, войдя в свой номер, уложил все свертки в большую простыню, в которой находились его белье и пожитки. Потом завязал простыню накрест двумя узлами, но заметно было, что в простыне есть что-то очень тяжелое. Видя это, Герцен предложил Бахметеву купить саквояж, на что последний ни за что не согласился, уверяя, что это ненужная роскошь.

С мучительным чувством опасения за него, Герцен взял для него билет на железную дорогу и проводил его в дальнее и, по неопытности, небезопасное путешествие.

С тех пор мы ничего не слыхали о нем. Вероятно, предположения Герцена сбылись, и бедный Бахметев был ограблен и убит, может быть даже прежде, чем достиг Маркизских островов[21].

---

* Капитал Герцена находился в парижском доме Ротшильда, и все счеты производились с этим банком. (*Прим. автора.*)

** Герцен отправил их немедленно в парижский дом Ротшильда и до 1868 года употреблял только проценты на общие дела. (*Прим. автора.*)

ГЛАВА IX

Жизнь в Лондоне.— Ворцель.— Саффи и его бракосочетание.— Юноша А. А. Герцен.— Дворовые князя Ю. Н. Голицына в Лондоне.— «Записки императрицы Екатерины II».—Домашний обиход.—Прислуга.— Б. Н. Чичерин.— Переезд в Park-house, за Путнейский мост.— Дома в Лондоне и их внутреннее устройство.— Домашние приключения.— Князь Юрий Николаевич Голицын и его концерты.— И. С. Тургенев и его «Фауст».— Прием посетителей.— Доктор Девиль.— Фурьеристы.— Европеус с женой.— Г. Е. Благосветлов.— «Записки княгини Екатерины Романовны Дашковой» в русском переводе.— Сергей Петрович Боткин. — Александр Серно-Соловьевич.

1856—1860.

Я мало рассказывала еще о замечательных личностях разных эмиграций, с которыми познакомилась в Лондоне.

Между прочими вспоминаю всеми глубоко уважаемого и любимого польского эмигранта Ворцеля. Вероятно, после революции 30-го года он покинул Польшу; там он оставил громадные поместья, за его отсутствием доставшиеся его малолетним сыну и дочери. Впоследствии сын поступил в русскую службу, почему Ворцель никогда не поминал о нем. Небольшого роста, худощавый, с умным, выразительным лицом, он казался весь поглощен заботами о своем отечестве, о нуждах соотечественников-эмигрантов. Он был главой польской демократической партии в Лондоне. Редко образованный, начитанный, очень симпатичный, с изящными, привлекательными манерами, Ворцель казался старее, чем был; так эта жизнь, полная всяких лишений и жертв, кладет свою печать на эмигрантов.

Ворцель ничего не требовал и не получал от своих детей: он жил уроками математики, которую знал в совер-

шенстве. Года через полтора после нашего приезда в Лондон по расстроенному здоровью, по упадку сил Ворцель был вынужден прекратить свои занятия. Он был очень дружен с Мацциии, вождем итальянской демократической партии, и пользовался большим уважением со стороны английских революционеров; имел даже друзей между ними. Некоторые из них поддерживали Ворцеля, когда уроки математики прекратились. Они поместили Ворцеля на квартиру к г-ну Тейлеру, который весьма симпатизировал уже сильно больному вождю польской демократии. Тейлер окружил Ворцеля возможным комфортом и доставил ему медицинскую помощь. Получая на все нужные для больного издержки деньги от его английских друзей, а иногда и от Герцена, он старался скрыть от Ворцеля, что последний живет на чужой счет. Быть может, Ворцель и догадывался, но ему нечего было делать, болезнь не позволяла ему зарабатывать, как прежде; тогда он делился каждой копейкой со своими соотечественниками. Впрочем, пламенный польский патриот и страдалец недолго пролежал. Его болезнь заключалась преимущественно в глубоком отчаянии относительно родины. Эмиграция тоже не могла его радовать: он видел в ней (как и во всех эмиграциях) бездействие, зависть, клеветы; утешительного ничего не было.

Герцен любил беседовать с Ворцелем; он стал часто навещать его. Чувствуя близкую разлуку, Герцен желал показать умирающему все уважение и симпатию, которые всегда питал к нему.

Ворцель был глубоко признателен за эти почти ежедневные посещения. Когда мы узнали, что Ворцель скончался, Герцен, Огарев и я пошли с ним проститься. Он лежал в гробу на высокой скамье в своей крошечной комнате, из которой мебель была вынесена. Вид этой пустой комнаты, печальный, кроткий облик покойника — все производило удручающее впечатление; невольно думалось: «Вот где этот пылкий ум успокоился, отказался от невольных надежд, которыми жил и которые в нем боролись с глубоким отчаянием!» По нашему славянскому обычаю, я поцеловала в лоб Ворцеля, и мы поспешили выйти на свежий воздух: нам было всем тяжело, и всего тяжелее было сознание, что он умер далеко от родины,— последние минуты изгнанников должны быть ужаснее многих десятков лет, проведенных в изгнании. На другой день были похороны Ворцеля. Герцен и Огарев проводили в рядах польской демократии

последнего ее вождя. С тех пор она не имела ни главы, ни единства, по крайней мере в Лондоне[1].

Саффи продолжал посещать нас, приезжая из Оксфорда по субботам и оставаясь до воскресенья вечера. Рассказывая нам о жизни Саффи, Герцен передавал нам, что он много лет назад был очень влюблен в одну молодую девушку из английского аристократического дома и хотел на ней жениться. Крауфорд, отец молодой особы, называемой Жеоржиной, был английским посланником в Италии в продолжение двадцати лет; Жеоржина родилась во Флоренции, провела там детство и первые годы молодости, и хотя говорила отлично по-английски, но душой была итальянка. В 1848 году она познакомилась с Мацциии и уверовала в его взгляды на всю жизнь, сделалась страстной итальянской патриоткой и не менее страстной деисткой*. Видясь у знакомых с Мацциии, Жеоржина обратила внимание на его молодого друга и сподвижника, Орелио Саффи, который часто сопровождал его. Молодые люди понравились друг другу и даже позже почувствовали взаимную симпатию, но Жеоржина предвидела большие препятствия к их счастию со стороны отца. Действительно, Крауфорд оказался непреклонен: он находил невозможным брак с иностранцем, вдобавок, с революционером; что касается до аристократического происхождения, то Саффи тоже принадлежал к аристократии своей страны и носил титул графа, но, относясь с отвращением ко всем аристократическим отличиям, он подписывал: «Граф Саффи» только на деловых бумагах и вообще никогда не поминал о своем аристократическом происхождении. Годы проходили, а Крауфорд не смягчался. Саффи терял терпение, ссорился с своей невестой, иногда не бывал в доме Крауфордов в продолжение целого года. Жеоржина называла это малодушием и все ждала согласия отца. В нашем доме произошло примирение Саффи с его невестой. Сначала мать приехала с старшей дочерью, чтоб познакомиться со мной; Герцена они давно знали, встречали его с Огаревым у Мацциии, у Мильнергинсон; изредка Герцен бывал и сам у Крауфордов. Жеоржина стала ездить к нам с сестрой. Она была весьма образована и начитана, знала хорошо латинский и греческий языки. Цель их посещения, конечно, заключалась в надежде встретить у нас Саффи и

---

* Мацциии проповедовал деизм. Его девиз был: «Dio e il popolo» («Бог и народ»). (*Прим. автора.*)

прийти с ним к какому-нибудь заключению. После многих свиданий между ними в нашем доме разнеслась хорошая весть: хотя и очень неохотно, Крауфорд дал свое согласие на брак меньшей дочери с Саффи. Несмотря на двадцать девять лет, Жеоржина была очень симпатична: у нее были тонкие, правильные черты лица, темно-синие глаза ее были исполнены ума и смотрели приветливо.

По случаю ее брака я видела настоящую английскую свадьбу. Старшая дочь Герцена, тогда лет четырнадцати, была приглашена в качестве demoiselle d'honneur *; всего было десять очень молоденьких девиц, которые в белых платьях и белых вуалях должны были сопровождать невесту в английскую церковь. Жеоржина была тоже в белом легком платье, с вуалем на голове,— это было воспоминание Италии; в Англии девушки венчаются в шляпах, и сопровождающие их девицы — тоже в шляпах. Имея с детства отвращение к праздникам, я должна была, однако, уступить настоятельной просьбе Жеоржины и быть на ее свадьбе. В назначенный день, в десять часов утра, я поехала к Крауфордам с маленькой дочкой Герцена Ольгой; там собралось уже очень много посетителей. Крауфорд, в черном фраке, встречал каждого гостя у дверей салона; вид его был холодный и сосредоточенный, как всегда. Мать и сестра невесты, всегда разговорчивые и очень предупредительные, казались озабочены и печальны — разлука с Жеоржиной была для них очень тяжела. Наконец невеста, совсем убранная, явилась в гостиную в сопровождении приглашенных девиц. Саффи тоже приехал с несколькими друзьями; в гостиной находились еще братья невесты: старший Эдуард, высокий, красивый мужчина, который впоследствии наследовал майорат и заседал в палате лордов; из остальных братьев один был военный, другой искатель деятельности, которой не нашел; оба они более или менее бедствовали. Жеоржина с сестрой тоже ничего не получили от родителей; старшая осталась девицей. Впоследствии какая-то тетка оставила им обеим по пяти тысяч франков. В это время Саффи тоже ничего не имел, он был изгнанник и жил только жалованием, получаемым от Оксфордского университета. Брак Жеоржины был основан не на расчете, а на обоюдной симпатии и на решимости вместе нести крест жизни. Много лет спустя Саффи получил в на-

* шаферицы (*франц.*).

следство от дяди маленькое поместье с домиком возле города Форли, где и поселился с семейством.

Возвращаюсь к моему рассказу: когда все были в сборе, Крауфорд подал руку невесте и повел к карете; за ним все общество спешило на крыльцо,— экипажи подвезли нас всех к церкви; Крауфорд ввел дочь под руку и проводил ее до места, где стоял уже жених, поклонился ему и отошел. Пастор спросил жениха и невесту, согласны ли они на этот важный шаг в жизни? Выслушав их ответ, сказал им краткую наставительную речь, надел им кольца и благословил их: невеста стала на колени, жених последовал ее примеру. Помолясь мысленно, они встали, и Саффи повел жену под руку к выходу. Они отправились записывать брак в гражданском ведомстве, потом возвратились в дом невесты, прямо наверх: там был приготовлен для них небольшой завтрак. Жеоржина надела дорожное темное платье; вероятно, родные прощались с ними наверху. Но гости, которых было очень много, толпились в двух смежных салонах; столы были покрыты яствами, фруктами, сластями и винами всех возможных сортов, недоставало только одного—места; было ужасно тесно, только несколько пожилых дам сидели, молодые дамы, мужчины кушали стоя, короткие знакомые и родственники угощали, подавали шампанское, все пили за счастие и благополучие молодых, поздравляя родных. Потом сделалось движение в толпе гостей; все поспешили к выходной двери: молодые спускались по лестнице к ожидающему их экипажу; гости, стоя в дверях, обменивались с ними поклонами, поздравляли их, более близкие к ним жали им руки.

Я забыла сказать, что незадолго до этой свадьбы Герцен решился отправить своего сына в Женеву; ему хотелось, чтоб молодой человек, живя отдельно от семьи, приобрел немного независимости в чистом, почти горном воздухе швейцарских городов и продолжал уже самостоятельно более серьезные занятия. Во время посещения в Лондоне разных вольных курсов А. А. Герцен был всегда первым на экзаменах, получил серебряную медаль и золотую и разные лестные отзывы от читающих лекции. Не помню всех предметов, изученных им, но знаю, что он особенно занимался естественными науками, физикой, химией, и к рождению Герцена делал, вместо сюрприза, наглядные опыты, читал нам лекции с очень ясными толкованиями, которыми его отец оставался очень доволен. Когда Герцен

отправил сына в Женеву, он послал его к известному натуралисту Карлу Фогту, с которым был коротко знаком еще в Ницце. Пробыв с полгода в Женеве, А. А. переехал в Берн, в дом старика Фогта, отца знаменитого натуралиста. Там А. А. поступил в университет и, мне кажется, пробыл в нем года четыре, постоянно переписываясь с отцом, который в письмах постоянно напоминал о занятиях, о чтении.

Приятель Герцена, доктор Девиль, всегда говорил, что это необыкновенное счастие для А. А. иметь такого требовательного отца. Раза два А. А. приезжал повидаться с семьей; это была большая радость, особенно для его старшей сестры, которая очень тосковала после его отъезда; вообще, отсутствие его придавало какую-то тишину всему дому.

Однажды Герцен получил по городской почте письмо на русском языке, очень оригинальное, очень безграмотное — от дворовых людей князя Юрия Николаевича Голицына. Последний отправил служащих прямо в Англию, а сам, по их словам, ехал в Лондон через Константинополь; на это, говорили они, у него были причины. Его прислуга, состоявшая из пяти человек, пришла в отчаяние: князя еще нет, денег нет, кредита нет, и все они ни слова не знают по-английски. Но мир не без добрых людей: как-то они узнали про Герцена, что он живет в Лондоне, богат, добр, жалеет людей и пр. Все это было выражено в письме; читая это послание, Герцен много смеялся, но тотчас отправился в Лондон, разыскал писавших, поместил их в дешевый пансион, дал им денег на необходимые издержки и поручил их Тхоржевскому, к которому они могли обращаться в случае недоразумений. Эти простые люди, успокоенные Герценом, ободрились, сердечно его благодарили и спокойно дождались князя Юрия Николаевича Голицына, который прибыл только два месяца позже [2].

В это время приехал к Александру Ивановичу один русский, NN. Он был небольшого роста и слегка прихрамывал. Герцен много с ним беседовал. Кажется, он был уже известен своими литературными трудами. Теперь, когда его уже нет на свете, я могу открыть тайну, которую знаю одна, могу рассказать о причине, которая его привела в Лондон. После его первого посещения Герцен сказал Огареву и мне: «Я очень рад приезду NN, он нам привез клад, только про это ни слова, пока он жив. Смотри, Огарев,— продолжал Герцен, подавая ему тетрадь,— это записки императрицы Екатерины II, писанные ею по-французски;

вот и тогдашняя орфография — это верная копия». Когда записки императрицы были напечатаны, NN был уже в Германии, и никто не узнал об его поездке в Лондон. Из Германии он писал Герцену, что желал бы перевести записки эти на русский язык. Герцен с радостью выслал ему один экземпляр, а через месяц перевод был напечатан Чернецким; не помню, кто перевел упомянутые записки на немецкий язык и на английский; только знаю, что записки Екатерины II явились сразу на четырех языках и произвели своим неожиданным появлением неслыханное впечатление во всей Европе. Издания быстро разошлись. Многие утверждали, что Герцен сам написал эти записки; другие недоумевали, как они попали в руки Герцена. Русские стремились только узнать, кто привез их из России, но это была тайна, которую, кроме самого NN, знали только три человека, обучившиеся молчанию при Николае I [3].

Я забыла сказать относительно характера Герцена, что он был очень впечатлителен: вообще светлого, даже иногда веселого и насмешливого расположения, он мог, под каким-нибудь неприятным впечатлением, сделаться внезапно мрачным. Такое настроение вызывалось особенно часто его рассеянностью, которая в ежедневных мелочах жизни все возрастала; что касается до дел по типографии, даже по денежной части, по всем вопросам, относящимся до разных личностей, он никогда ничего не забывал и был очень аккуратен. Когда он отправлялся после завтрака в Лондон, казалось, он думал обо всем: готовые письма и корректура — все было под рукой, он прощался с веселым видом, но, минут пять спустя, раздавался ужасный звон: это был Герцен, но уже с мрачным взглядом и раздражительным голосом. «Я все забыл,— говорил он с отчаянием,— а теперь поезд уйдет, пока я пойду опять на железную дорогу».

— Да поезжай в омнибусе,— говорил ему сын, невольно улыбаясь над его отчаянием.

Все бросались искать, бегали в салон, где он писал, в его комнату и возвращались иногда без успеха: нет ни писем, ни корректуры! Оказывалось иногда, что они в его кармане; к несчастию, карманов было много в его сюртуке и в плаще, надетом сверху от лондонской пыли,—тогда Герцен еще более сердился и принужден был идти через Фулямский мост в контору омнибусов; когда Герцен, подходя к ней, видел удаляющийся омнибус, приходилось там ждать десять минут до отхода другого омнибуса.

Раз мне случилось быть в Лондоне с Герценом для каких-то покупок. Он обратил мое внимание на молодого негра, который в одной изорванной блузе и нижнем платье отметал грязь перед нами под проливным зимним дождем. Негр поклонился Герцену и попросил у него милостыню. Александр Иванович дал ему медных денег и сказал мне: «Нам нужен служащий, не взять ли нам этого негра, Жоржа?» — «Что же,— отвечала я,— это доброе дело». Герцен, не забыл этого намерения. Через несколько дней, встретив опять Жоржа, Александр Иванович спросил у него, не желает ли он поступить к нам в дом? Жорж ужасно обрадовался этому предложению; тогда Герцен написал карандашом несколько слов к Тхоржевскому и дал эту записку Жоржу. Побывав несколько раз в бане по распоряжению Тхоржевского и надев платье, присланное Герценом, Жорж явился к нам настоящим джентльменом. Ему объяснили, в чем состояла его должность: убирать салон и столовую и отворять входную дверь, когда слышался звонок; эта последняя обязанность была самая затруднительная — надо было узнать людей, иным никогда не отказывать, другим назначать часы, когда Герцен был свободен, после lunch'а всех принимать и пр. Понемногу Жорж привык ко всему и очень изрядно исполнял возложенные на него обязанности. В нашем доме было постоянно три человека служащих: повар François, девушка, убирающая комнаты и прислуживающая за столом, потом горничная постарее, которая водила детей гулять и на уроки и чинила белье всех домашних.

François (итальянец) был помощником повара, когда Герцен жил в Ницце. Он имел довольно неприятные свойства, например, он не умел говорить ни на каком языке, даже по-итальянски говорил плохо, так что надо было много труда или привычки, чтоб понимать его речь, составленную из смешения английского языка с патуа * итальянского; вдобавок François не умел ничего купить и платил за все вдвое; но для Герцена он был живым воспоминанием былого, потому-то он и взял его с собою из Ниццы, когда переселился в Англию с сыном.

Сколько раз Герцен мне рассказывал, что François ездил на пристань встречать Луизу Ивановну **, когда

---

* Местное народное наречие. (*Прим. автора.*)

** Мать Герцена. (*Прим. автора.*)

случилось на пароходе то страшное несчастие, в котором погибли мать и сын Герцена. Александр Иванович стоял с женою у ворот своего дома, ожидая появления коляски, которая должна была привезти дорогих путешественников. Завидя пустую коляску, они вскричали в один голос: «А где же они? Где наши?» François быстро сошел и приблизился к Герцену. «Их нет!» — сказал он, отвернувшись от Герцена, чтоб скрыть свое смущение; но последний слышал дрожание, слезы в его голосе. Натали побледнела и тихо сказала, прижимаясь к плечу мужа: «Александр, я чувствую, что никогда их не увижу более!» В ответ на это Герцен, стараясь успокоить ее, сказал, что это какое-то недоразумение и что он сам сейчас же поедет на пристань; но внутри ему было очень тяжело, он чувствовал какой-то щемящий страх; потом он шепнул François: «Тушите огни в саду и уберите игрушки с прибора Коли», сел в ту же коляску и уехал. Для бедного Коли были приготовлены разные сюрпризы, а его не было уже в живых![4]

Мне кажется, что я уже описывала наружность François: маленького роста, с крупными чертами лица и добродушными глазами, на вид ему было за сорок лет. До поступления к нам Жоржа у нас была housemaid* Марайя, очень свежая и красивая издали, но вблизи немного рябоватая. Она ходила всегда в светлом, чистом ситцевом платье, а на маковке носила очень кокетливо маленький кружок из кружев, знак ее служебных обязанностей. Все английские хозяйки заставляют своих служанок носить на голове это кружево во избежание недоразумений. Марайя была кроткая и сдержанная, как все английские горничные, которые держат себя с достоинством и очень далеко от господ; поэтому я очень мало знала ее и не имела бы ничего о ней сказать, но тут пред нашими глазами разыгрался роман, которого мы вовсе не заметили: старый François влюбился в молоденькую Марайю и решился на ней жениться, хотя он почти не говорил по-английски, а она вовсе не понимала по-итальянски. Для этого François отпросился у Герцена съездить в Италию будто бы повидаться с родными, но на самом деле, чтоб испросить позволения у отца жениться на англичанке. Вернувшись, он объявил Герцену о своем намерении, женился и уехал с женою на родину. Вот почему у нас произошла перемена: Жорж поступил на место Марайи, а

---

* горничная (*англ.*).

Jules поваром вместо François. Жоржу все нравилось в нашем доме, только он не ладил с маленькой Ольгой, которая была большая проказница: когда стол был накрыт, свечи зажжены и Жорж нес какое-нибудь горячее блюдо, Ольга подкрадывалась и тушила свечи, и Жорж оставался с миской или с блюдом в руках в совершенной темноте. Жорж, который был дитя не менее Ольги, в подобных случаях приходил в неописанный гнев и грозил изломать все игрушки маленькой шалуньи. Так он провел у нас месяцев восемь или девять; в конце этого срока он вошел однажды к Герцену поутру и стал просить расчета. Александр Иванович, очень удивленный этой выходкой, спросил, чем он недоволен, что хочет уйти? «О нет, мастер,—отвечал Жорж,—я всем доволен, но я соскучился по морю, я уже год на земле; будет, теперь надо опять на море,— я скучаю, отпустите меня, а то я сделаю какое-нибудь несчастие!» Герцен был вынужден согласиться на его просьбу. Уходя, Жорж говорил ему: «Я вами доволен, я опять приду когда-нибудь».

В Laurel-hous'e мы вздумали с Огаревым сделать представление для детей; это было до отъезда А. А. в Женеву. Я сшила две красные рубашки: для Герцена и для Огарева. А. А. надел какую-то шубу наизнанку, представляя медведя, а Огарев, в красной рубашке, изображал водильщика. Красная рубашка очень шла к Николаю Платоновичу: с его большой русой бородой и кудрявой головой он был настоящий русский крестьянин. Герцену, напротив, русская рубашка вовсе не пристала: он казался в ней каким-то иностранцем. Не думая, чтоб это могло быть ему очень неприятно, я высказалась ему очень резко на этот счет, и Герцен никогда не надевал более красной рубашки.

В этом же доме навестил нас один молодой русский, Б. Н. Чичерин; но прежде надо сказать несколько слов об его отце. Николай Чичерин принадлежал отчасти к московскому кружку, хотя жил более в Тамбовской губернии; он был знаком с Грановским, Герценом и особенно с Кетчером. Я слышала о нем, как об очень достойном человеке, от дяди моего Антона Аполлоновича Жемчужникова. Дядя был сосед и друг Чичерина, которого очень ценил. Осенью 1857 года старший сын Чичерина — юноша, на которого многие возлагали такие горячие надежды, окончив курс в Московском университете блестящим образом, вздумал навестить в Лондоне приятеля своего отца. Я была нездоро-

ва, не выходила из комнаты и потому ни разу не видала его, но слышала о нем отзывы Герцена и Огарева. Сначала Чичерин им очень понравился большим развитием, познаниями, блестящим умом, но вскоре они разочаровались в нем и поняли, что очень расходятся с ним во всех серьезных вопросах: он был бюрократ и доктринер. Чичерин провел более недели в постоянных спорах с Огаревым и Герценом. Герцен и Огарев, хотя очень далекие от славянофильства, находили, что Россия должна идти новыми, своими путями; они смотрели на свое отечество с любовью и упованием, а он не хотел или не мог понять их взглядов. Отношения их обострились в последние дни.

— Нет,— говорил Герцен, — мы в нем ошиблись, его ум вредный...

Когда он уезжал из Лондона, Герцен и Огарев старались расстаться с ним беззлобно; Чичерин тоже как будто желал оставить их под хорошим впечатлением, но едва он достиг Парижа, как прислал Герцену полемическое письмо с резким требованием, чтоб оно было напечатано в ближайшем номере «Колокола». Тон этого письма, дерзкий, вызывающий, очень рассердил Герцена; он был оскорблен, возмущен, что почти близкий, юноша, приехавший к нему по преданию семьи отца, мог говорить с ним, как с врагом[5].

Герцен отписал горячий ответ и разъяснил, подтвердил свои взгляды и недоразумения Чичерина. Я очень жалела, что не могла присутствовать при этих весьма интересных спорах между Чичериным и нашими, но в это время совершилось самое важное событие всей моей личной жизни: рождение моей старшей дочери[6]. Желая в этой части моих воспоминаний по возможности не касаться до моей внутренней жизни, я бы прошла и это происшествие молчанием, но я вспоминаю одну странную случайность: дня за два до упомянутого события доктор Девиль находился почти постоянно в нашем доме; во второй день, около одиннадцати часов вечера, раздался звонок, который меня страшно поразил по какому-то предчувствию.

— Какой странный звонок,—воскликнула я,— monsieur Deville, кто бы это мог быть? Если это моя мать из России, вы ей позволите войти ко мне?

Девиль никого не пускал ко мне, кроме г-жи Шане (акушерки).

— Да разве вы ожидаете вашу матушку? — спросил доктор.

— Нет, но мне кажется, это должна быть она, — отвечала я.

— Это, наверно, ваша housmaid, которую посылали за пивом,— возразил Девиль,— так как поздно, она не оставила калитку открытой, вот ей и пришлось звонить; но я все-таки пойду вниз и удовлетворю ваше любопытство.

Через четверть часа Девиль возвратился в сопровождении моей матери.

— Так как вы удивительно умеете отгадывать, я не мог отказать себе в удовольствии привести вам вашу мать,— сказал мне весело доктор[7].

Герцен находил, что наш дом тесен, и потому нанял вскоре неподалеку (в Фуляме), за Путнейским мостом, дом, называемый Park-house,с большим садом, за которым простирался довольно большой огород[8]. Моя мать переехала с нами в этот дом и провела у нас недель шесть. Хотя Park-house имел в некоторых отношениях много преимуществ перед Laurel-hous'ом, я все-таки жалела оставленный нами сад, в котором было гораздо более цветов, чем в саду Park-hous'a. В нашем новом помещении на той стороне дома, которая была обращена к саду, была крытая галерея во всю длину дома, размеры которого были очень велики; там мы проводили большую часть дня. Внизу помещалась кухня, комнатка для мытья посуды и другая, крошечная, с полками, куда вымытые тарелки ставились на ребро и никогда не вытирались, а быстро сохли от теплого воздуха. Эти прибавочные отделения к кухне находятся во всех английских домах; вообще, Герцен говорил всегда, что существует такое однообразие в расположении комнат и даже в расстановке мебели в английских домах, что он мог бы с завязанными глазами найти любой предмет, любую комнату[9]. Кроме кухни, внизу было еще помещение для мужской или для семейной прислуги. В первом этаже находились очень большая столовая и гостиная, разделенная на две половины; в одной Герцен писал, в другой, заперев дверь в упомянутую половину, можно было в необходимом случае принять кого-нибудь постороннего; дальше, через коридор, была небольшая комнатка, пониже остальных, где Наташа Герцен (старшая дочь его) брала уроки. Во втором этаже были: моя комната, детская и большая комната, где помещались обе дочери Герцена; в третьем этаже находились спальни Герцена и Огарева, комнаты их были очень плохо меблированы; над ними в последнем этаже жили горничные.

Прислуги в Park-hous'е было четыре человека потому что взяли еще горничную для черной работы; а по субботам, как и во всех английских домах, брали поденщицу (cheerwoman), которая мыла и скоблила все в доме, даже наружное крыльцо. Маццини рекомендовал Герцену хорошего повара-итальянца, Тассинари, революционера и горячего итальянского патриота, с семейством. Г-жа Тассинари, француженка, жила с детьми внизу и сначала не занимала никакой должности. Jules заменил негра Жоржа. Тассинари был лет пятидесяти, полный, свежий на вид, несмотря на седые волосы и длинную белую бороду; у него было умное, выразительное лицо и черные большие блестящие глаза. Действительно, он очень хорошо готовил, и Герцен был доволен им, но так как и на солнце есть пятна, то и в Тассинари был большой недостаток: ревность или зависть,— хотя и грустно сознавать это, но эти два чувства как-то очень близки. Зависть его была особенно возбуждена горничной, которая, в качестве няньки моей маленькой дочери, находилась очень много с нами. Он постоянно придирался к ней, не давая ей завтрака поутру, когда она опаздывала к звонку, и пр. Еще в Laurel-hous'е у нас была средних лет немка, Трина, которая читала с детьми по-немецки и водила их гулять. Она была у нас более полгода и, казалось, привыкла ко всем нам. Jules сказал мне раз:

—Как жаль нашу бедную Трину, madame, прошедшее воскресенье она взяла у вас денег в жалованье и ездила к сестре в омнибусе, там в тесноте у нее вынули эти деньги.

— Что же она мне ничего не сказала об этом?— спросила я.

— Да она стесняется, должно быть,— отвечал Жюль.

Я пошла к Огареву, к Герцену и набрала такую же сумму, которую и вручила Трине. Последняя благодарила, но казалась сконфужена и не поднимала глаз. Я думаю, что это была ловкая выдумка с ее стороны. Вскоре после этого случая Трина вдруг занемогла острым ревматизмом, ни один член не двигался; когда до нее дотрагивались, она вскрикивала; сначала ей наняли сиделку и пригласили доктора, но вскоре она сама стала просить, чтоб ее поместили в больницу. Герцен нанял для нее омнибус, ее снесли с большим трудом на матрасе и отвезли шагом в больницу. Через несколько месяцев она выздоровела и снова поступила к нам. В это время мы собирались переезжать из Laurel-hous'а; тогда у Жюля пропали серебряные часы, и он недо-

умевал, кто мог их взять, и более всего подозревал садовника и его жену. Мне были очень неприятны эти подозрения, но у меня не было никаких положительных данных, которыми бы я могла убедить Жюля, что он ошибается. Мы жили в Laurel-hous'e около двух лет, садовник был все тот же, и никогда ничего не пропадало. В Park-hous'e Трина продолжала навещать сестру свою, которая имела, кажется, булочную; она даже стала проситься ночевать у сестры, так как мы жили далеко; это было крайне неудобно для меня, но я выносила это потому, что была очень довольна ею.

Раз, в то время как Трина была у сестры, Тассинари вошел в столовую с очень озабоченным видом.

— Madame,— сказал он,— вчера приходили из москательной лавки, где мы делаем забор для дома; они ведь содержат тоже тяжелую почту, т. е. рассылают по городу посылки.

— Да, так что же? — спросила я.

— Сейчас увидите,— отвечал наш повар,— знаете ли вы этот адрес, madame? — спросил он, подавая лоскуток бумаги с каким-то адресом.

— Это имя Трининой сестры,— сказала я, бросив беглый взгляд на записку, поданную мне поваром.

— Нам дают знать,— продолжал Тассинари,— что на этот адрес бывают очень частые отправки из Park-hous'a и часто что-то звенит в посылках. Ящик все тот же, оттуда идет пустой, отсюда с вещами... Я велел задержать последний ящик, отправленный вчера на этот адрес; не желаете ли поглядеть, что в нем, madame?

— Конечно, нет,— отвечала я с живостью,— разве можно открывать чужие ящики? Это Трина что-нибудь посылает сестре, — сказала я действительно очень наивно для моих лет; но мысль, что она могла украсть, не приходила мне даже в голову; вдобавок, я полагала, что это опять какая-нибудь придирка Тассинари. Тассинари улыбнулся. «Так я спрошу m-r Herzen?» — и постучался в комнату, где занимался Герцен. Последний выслушал и дал ему позволение принести ящик. Тассинари торжествовал: он живо явился с ящиком, ловко вскрыл крышку и стал выбирать вещи с сияющим лицом: тут были гардины, ленточки, детские рубашечки, чайные ложки и, не помню, что еще. Я стояла ошеломленная.

— Герцен,— сказала я, — неужели Трина могла ...— и не договорила.



Н. А. Тучкова-Огарева
с дочерьми Герцена Татой и Ольгой.
С фотографии, конец 1850-х гг.

Герцен посмотрел на меня с каким-то состраданием, ему жаль было мое разочарование.

— Могла, — сказал он.

Он приказал Тассинари уложить все вещи опять в ящик и поставить его в другую половину гостиной, потом отпустил Тассинари.

— Когда Трина вернется домой,— сказал А. И., — покажи ей этот ящик; увидим, какое она даст объяснение. Конечно, дело очень просто и ясно, но вот что имеет особенную важность: по английским законам мы обязаны преследовать вора законным порядком, иначе подлежим сами большому штрафу, а я ни за что не предам суду никакого вора. Пусть едет в Германию, тем более, что мы не можем дать ей аттестата, а не предав ее суду, не имеем права отказать ей в аттестате.

Долго не возвращалась Трина, вероятно, поджидая посланный ею ящик; наконец она явилась ко мне в гостиную с извинениями о своем продолжительном отсутствии, но, увидав на столе ящик, ужасно побледнела и замолчала. Выслушав ее признание, что она поступила дурно только один раз, именно вчера, я передала ей совет Герцена возвратиться в Германию, на что она тотчас же согласилась и дня через три оставила наш дом, так же как и ирландка (housemaid), которая была с ней заодно и относила ящик в москательную лавку[10].

Этот инцидент был для нас всех очень неприятен — мы грустно толковали о нем, когда раздался звонок: из окна видно было, как отъезжала от крыльца открытая щегольская коляска, запряженная двумя серыми в яблоках лошадьми. Вошел высокий, широкоплечий, полный мужчина, о котором Жюль доложил с почтением: «Prince Golitzin». Князь Юрий Николаевич, который поражал красивыми чертами лица, ловко представился Герцену и очень любезно благодарил его за оказанную помощь его служащим. Он выразил надежду, что их знакомство не ограничится этим визитом, что Александр Иванович тоже посетит его и что они будут часто видеться. Все внешнее было безукоризненно хорошо в Юрии Николаевиче, исключая того, что он немного заикался; но между князем Голицыным и издателями «Колокола» было мало общего, поэтому, хотя Юрий Николаевич и бывал у нас довольно часто, вероятно от скуки, Герцен и Огарев редко уступали его просьбам быть у него. Однажды он пригласил их обедать в назначенный

день; там они увидели барышню, увезенную князем из России. Она была высокая, стройная, с красивым, симпатичным лицом. Князь, знакомя их, представил ее как свою невесту; в самом деле, он намеревался жениться на ней. Герцен удивлялся, как в Лондоне князь сумел устроиться по-русски, даже нашел дом (как будто в Москве) с воротами, которые гостеприимно были настежь открыты день и ночь, с утра стояла у крыльца пара серых коней, запряженная в коляску. Но через год или полтора весь этот блеск исчез. Юрий Николаевич скоро прожил все, что привез из России, и вошел в неоплатные долги. Истощив свои средства, князь Голицын решился дать несколько концертов. Он был страстный любитель и большой знаток музыки: его титул, необыкновенная красота, грация, искусство, с которым он дирижировал оркестром,—все это привлекало многочисленную публику на его концерты, которые были оригинальны великолепным выбором пьес и прелестным исполнением и производили фурор в Лондоне; англичане и особенно англичанки были от них в небывалом восторге; другого эти концерты обогатили бы, а князя скорее вводили в издержки. Помню, что Юрий Николаевич был так внимателен, что настоял, чтобы я была хоть раз на одном из его концертов. С трудом я решилась оставить свою маленькую дочь, спящую, на попечении Наташи Герцен и поехала в Ковен-Гарден, где происходили концерты. Вспоминаю с восторгом до сих пор слышанные мною вариации на тему «Камаринской» Глинки и девятую симфонию Бетховена с женским хором в 400 голосов: это было великолепно; князь дирижировал необыкновенно хорошо, со всеми малейшими оттенками страстного и понимающего музыканта. Зала была полна, изумление, восхищение читались на всех лицах.

Говорят, что по выходе из Ковен-Гардена Юрий Никлаевич заказывал ужин для всех музыкантов, а дамам-певицам подносил по букету, так что, кроме убытков, князь ничего не получил от своих успехов [11].

Скоро пришлось князю Юрию Николаевичу расстаться с его избалованными слугами, которые рассчитывали лучше жить в Лондоне, чем жили в России, и предъявляли князю невероятные требования. Тогда Юрий Николаевич пригласил Герцена для разбирательства его с ними. Александр Иванович рассказал об этом подробно в записках, напечатанных в посмертном издании. Уже давно князь

отпустил своих серых неугомонных коней; он стал ездить в омнибусе, а потом стал просто ходить пешком; он даже несколько похудел. Наконец его посадили в тюрьму за долги; так как он обязался по контракту дирижировать оркестром в Креморн-Гардене, то из тюрьмы его возили туда с полицейским и тем же порядком обратно в тюрьму. Русские, навещавшие князя, рассказывали, что к нему приезжал зять Бахметев и предлагал уплатить все его долги, кажется двести тысяч франков, с одним условием: возвратиться тотчас в свою семью, в Россию. «Н-н-н-ни-когда»,— отвечал Юрий Николаевич, хотя он нежно любил своих детей и скучал о них. Герцен немало предостерегал Юрия Николаевича, что жизнь очень дорога в Лондоне: не держа экипажа, не бросая зря денег, только с типографией, Александр Иванович проживал пятьдесят тысяч франков, составлявшие его ежегодный доход; в число трат входила единовременная помощь каким бы то ни было эмигрантам или знакомым нуждающимся: можно смело сказать, что он никогда не отказывал, никогда не вспоминал о том, что давал, а считал это обязанностью. По этому поводу он нам рассказывал случай, который был с ним до нашего приезда в Лондон. Между немецкими эмигрантами он встречал, хотя и очень редко, одного выходца, по фамилии Нидергубер. Впоследствии Герцен слышал, что Нидергубер — шпион австрийского правительства. Александр Иванович обратил мало внимания на этот слух, потому что Нидергубер к нему не ходил, а только на улице раскланивался с ним. Раз, поздно вечером, в квартире Герцена раздался звонок, вошел Нидергубер. Александр Иванович немало удивился этому безвременному посещению и холодно спросил, что ему угодно? «Спасите мою жену, — сказал вошедший с волнением,— она должна родить, а в доме нет ни дров, ни пищи, ни денег — ничего. Нечем будет заплатить доктору, я сам два дня уже ничего не ел». Герцен молча подал ему пятьдесят франков. Нидергубер ужасно извинялся и благодарил. Несколько месяцев спустя, немецкие эмигранты решили не допускать Нидергубера присутствовать при собраниях эмиграции, так как нашли доказательства его виновности. Тогда Нидергубер, зеленый от гнева, воскликнул: «Положим, что я шпион, но хорош же ваш хваленый русский революционер Герцен: он знал, что я шпион, а дал пятьдесят франков, когда моя жена родила! Что вы скажете на это?» После немцы спрашивали у Александра

Ивановича, правда ли, что он давал денег Нидергуберу? Герцен отвечал, что как ни гадок был ему Нидергубер, однако он находил, что не имеет права отказать в помощи женщине в такую роковую для нее минуту[12]. Главная черта в характере Герцена была доброта, жалость к людям, на которых он большею частью смотрел, как на несовершеннолетних.

В то время приезжал Иван Сергеевич Тургенев; каждый год он приезжал в Лондон на несколько дней; тогда он привез своего «Фауста», только что написанного. Я рассказывала в отрывке «Воспоминания об И. С. Тургеневе», как он читал у нас это произведение и не мог простить Огареву слишком резкий тон замечаний по этому поводу[13]. Когда он навестил Герцена в Park-hous'e, то чистосердечно сознался, что ошибся, отсоветывая издавать «Колокол», и сам передавал множество анекдотов, подтверждавших влияние и силу «Колокола».

В эту эпоху приезжало столько русских, что прислуга делала постоянно ошибки; наконец Герцен распорядился, чтоб всех русских приезжих впускали в отдельную половину гостиной, куда я приходила узнавать, кто именно приехал, надолго ли в Лондоне и пр. Те, которые приезжали только на день или два, нарочно, чтоб передать рукописи, должны были видеть его немедленно, желая сообщить ему многое на словах; тогда Александру Ивановичу приходилось оставлять свои занятия. Когда бывали из России люди, уже известные Герцену лично или по их трудам, он бесконечно радовался им и бросал для них свои обычные труды; в таких случаях я звала его тотчас к приезжим, но большею частью говорила ему имена и проч., иным сама назначала свободный час Герцена, в два или три часа пополудни. Тогда, посидев с посетителем, Герцен предлагал ему отправиться вместе в Лондон, потому что воздух и движение были необходимы для Александра Ивановича после усидчивой работы. Герцен старался, чтоб русские не бывали у нас по воскресеньям, потому что собиралось иногда так много гостей, что трудно было ручаться, чтоб не проник шпион к нам в этот день; но не легко было уговорить русских быть осмотрительнее: они все-таки часто бывали и в воскресенья и часто без нужды были очень откровенны со всеми и называли свои фамилии, тогда как все наши говорили постоянно русским или полякам, знакомя их с приезжими русскими: «Наш соотечественник, имя не помню или не слыхала»; зна-

комя их с иностранцами, мы говорили: «Un compatriote, le nom de famille est trop difficile à prononcer, trop barbare pour des oreilles occidentales, appelez le par son nom de baptême: M-r Alexandre ou quelque autre nom» *.

Мне кажется, ни один человек не пострадал от неосторожности Герцена или его семейных. Он никогда не соглашался дать записку своей руки к кому-нибудь в Россию, не любил тоже давать свои портреты, уверяя, что это ненужная неосторожность. К несчастию, не могу сказать того же о Михаиле Александровиче Бакунине; позже, когда он явился в Лондон, им совершались очень необдуманные поступки, последствия которых были весьма печальны: он напоминал ребенка, играющего огнем [14].

Я уже упоминала имя нашего доктора Девиля, скажу о нем несколько слов.

После coup d'état ** 1851 года и возвращения Наполеона III Девиль за участие в сопротивлении новому властелину Франции был схвачен и посажен со многими другими на корабль, который должен был отвезти их в ссылку (кажется, в Кайенну). Корабль находился еще у английских берегов, и так как Девиль был тогда уже профессором медицины и был очень любим студентами, то они подали прошение Наполеону о том, чтобы его, вместо ссылки в Кайенну, высадили на английский берег; лондонский ученый мир тоже взволновался по этому поводу и тоже просил за него Наполеона, который согласился на их общее желание.

Странно, что при всем внимании, обращенном в Англии на Девиля, никто не облегчил ему затруднения, окружая его со всех сторон в этой незнакомой для него стране. Он вынужден был опять держать экзамен, чтоб получить право лечить в Англии. Кроме того, он отправлялся ежедневно в больницу, там доказал свое знание и заслужил всеобщее уважение, но, несмотря на то, на каждом шагу англичане старались вытеснить иноземца, и сначала Девилю было в Лондоне и голодно, и холодно, и бесприютно. Наконец он завоевал себе сносное положение, трудился и никому ни в чем не был обязан, но зато у него осталось навсегда неприязненное чувство к англичанам. Когда я с ним познакомилась, он был уже известен в Лондоне, получал до трид-

* «Наш соотечественник, фамилия очень трудная, дикая для ушей европейца,— называйте его по имени, Александром, или как-нибудь иначе» (*франц.*).

** государственного переворота (*франц.*).

цати тысяч франков в год, жил хорошо и держал карету в одну лошадь. У нас он был годовым доктором, сам вел счет своим визитам, и когда Герцен, в конце года, спрашивал, сколько он ему должен, Девиль глядел бегло в записную книжку и назначал очень умеренную сумму, которую нужно было уплатить, не говоря, что его счет очень скромен, ибо тогда он вовсе бы рассердился и, пожалуй, перестал бы к нам ездить. Иногда он обедал у нас с прочими эмигрантами в воскресенье. Однажды, улучив удобную минуту, я спросила доктора, нашел ли он себе новую квартиру; из-за своей маленькой дочери меня очень беспокоила неизвестность адреса доктора. К моему удивлению, Девиль мне странно отвечал: «Вы знаете, что я изгнанник, — сказал он, — за мной следят, поэтому я езжу в своей карете в отдаленный конец города, а там беру извозчика и еду в противоположную сторону; так дело не делается скоро. Я видел много домов, но ничего не кончил, тайная полиция мне ужасно мешает. Когда выберу дом и остается только подписать контракт, являются вдруг небывалые препятствия. Подпишу контракт, тогда и сообщу вам мой новый адрес»,— сказал он в заключение. Таксе тщательное наблюдение тайной полиции за человеком, который был исключительно занят медицинской практикой, было немыслимо и составляло чистую фантазию доктора. Я рассказала Герцену о своем разговоре с ним и спрашивала, смеясь, не принимает ли Девиль и меня за агента полиции? Сначала Герцен много смеялся над этим, а потом сказал серьезно:

— Девиль и мне не говорит, на какой дом решился, хотя, очевидно, квартира уже избрана, вероятно, в центре города для его практики; но, право, я думаю, он с ума сходит; он и всегда был странный, вдобавок он фурьерист: у этих фурьеристов ум за разум заходит, голова набита параграфами и готовыми выводами, в которые они веруют безусловнее, чем христиане в евангелие, — хочешь, после обеда я заведу его на эту тему? — Действительно, Герцен завел спор, о котором говорил вперед, и Девиль закидал его цитатами, параграфами, нумерацию которых он не позабыл; оказалось, что Девиль знал книги Конта и Фурье наизусть.

Вспоминаю, что около этого времени из России приезжал Европеус с женой. Он был тоже страстный фурьерист. В какое-то воскресенье Герцен познакомил его с Девилем; тогда было очень интересно слушать их разговоры, наполненные

цитатами, параграфами; споры, опровержения, подтверждения — все было выхвачено целиком из книги Фурье и лилось рекой. Герцен мало вступал в этот спор, а скорее наслаждался им. Когда бойцы утомлялись, Герцен подогревал их разговор, пускал брандер,—как он говорил,— и они опять принимались рассуждать и спорить. Европеус был очень умный человек, но до того занят Контом и Фурье, что забывал о настоящем России; рассеянный во всех вопросах, он казался сосредоточенным только на важных и отвлеченных материях. Жена его была англичанка; конечно, мы не успели узнать ее хорошо, но она была симпатична, казалась умна, даже остроумна. Позже, когда мы находились раз в Торкее летом, она приезжала и туда, чтобы повидаться с Герценом; мне нравились в ней сдержанный английский характер и теплое чувство к родине ее мужа, что очень редко встречается в иностранках. Именно по этому чувству к России она относилась с большой симпатией и благоговением к Герцену. Если ее нет уже на свете, я могу передать ее рассказ. Возвращаясь однажды в Россию после краткого пребывания в Англии, она была арестована и отправлена в Петербург, в III Отделение. Там ее допрашивали:

«Была ли она в Англии?»

«Была»,— отвечала она.

«Не была ли у Герцена?»

«Конечно, была»,— отвечала г-жа Европеус.

«Почему была у Герцена?»

«Потому что он известный, даровитый писатель. Как же быть в Лондоне и не видать Герцена?» — прибавила она наивно.

«Разве она не знает, что он государственный преступник?»

«Никогда не слыхала,— был ответ,—а слышала, что он умный, ученый, даже обедала у него и считала это за большую честь, за большое счастие...»

Так ее и выпустили наконец [15].

Тогда приезжало много русских, особенно весной и летом. Помню Григория Евлампиевича Благосветлова; он был средних лет, по-видимому добрый, честный человек, но такой молчаливый, что я не слыхала, для какой цели он пробыл довольно долго в Лондоне,— помнится, года два. Он занимался переводами, за которые Герцен платил ему; кроме того, давал уроки русского языка старшей дочери Герцена, за что тоже получал вознаграждение. Вспоминаю

теперь, что он изучил в это время английский язык и перевел с английского «Записки Екатерины Романовны Дашковой», которые состояли из двух больших томов и представляли необыкновенный интерес; я читала их с увлечением по-английски [16]. Около этого времени приезжал Сергей Петрович Боткин с его первой женой; это было вскоре после их свадьбы. Сергей Петрович желал видеть Герцена по преданию московского кружка, и хотя был в то время весьма застенчив, однако был и тогда очень симпатичен. Он много рассказывал Герцену о Пирогове, о Крымской войне, о баснословных злоупотреблениях, о краже, простиравшейся до корпии, которую продавали тайно французам и англичанам. Сергей Петрович произвел на Герцена славное впечатление; впоследствии Александр Иванович следил с гордостью и любовью за его успехами и не ошибся в своих ожиданиях. Несмотря на то, что Герцен и Боткин подолгу не видались, отношения их не охладились. Сопровождая больную императрицу, Боткин давал знать Герцену о своем прибытии на Запад, даже сообщал ему, как распределено его пребывание за границей.

В последний раз они виделись в Париже в конце 69-го года[17], перед роковым известием о болезни старшей дочери Герцена, известием, которое имело такое решающее действие на болезнь Герцена.

Мы остановились тогда в четвертом этаже Grand Hôtel du Louvre. Как-то вечером раз Боткины нас навестили; она была уже очень больна, ее поднимали на время в наш этаж. Мне помнится один интересный разговор того вечера Герцена с Боткиным — о петербургских немцах. Боткин жаловался, что, несмотря на свое твердое, упроченное положение, ему ужасно трудно доставлять места или определять молодых русских медиков, хотя бы они были вполне достойны, потому что везде, как муравьи, проникают немцы, поддерживают друг друга и вытесняют русских. Ненавидя Россию, они питаются ею, как пиявки человеческою кровью.

Между многими русскими, посетившими Герцена в Parkhous'е, нельзя пройти молчанием одного, тогда еще очень молодого человека, Александра Серно-Соловьевича. Он очень понравился Герцену: видно было, что, несмотря на свою молодость, он уже много читал и думал; он был умен и интересовался всеми серьезными вопросами того времени. Не могу вспомнить, куда наши уезжали тогда на весь день;

помню только, что им никак нельзя было сгаться дома, а Серно-Соловьевич желал воспользоваться этим днем, чтоб видеть зоологический сад. Я поехала туда с детьми Герцена и с своею малюткою. Серно-Соловьевич сопровождал нас и осмотрел очень тщательно весь сад. Он был очень мил и внимателен с детьми. Серно-Соловьевич пробыл в Лондоне еще несколько дней, в продолжение которых видался постоянно с Герценом и с Огаревым, к которым относился с большой теплотой и уважением. В то время дурные качества его дремали, или не было еще тех обстоятельств, которые вызвали их наружу. Позже мне придется еще говорить о нем, во время нашего пребывания в Château de la Boissière, близ Женевы. Больно вспоминать, как такой умный, развитой человек погиб вдали от родины из самолюбия, зависти и тоски, не принеся никакой пользы своему отечеству; но я не столько должна говорить о нем, чтобы уяснить себе его личность, сколько потому, что в отношении к нему проявились так резко в Герцене присущие ему чувства великодушия, доброты и жалости, доходившие до невероятной степени[18].

ГЛАВА X

Николай Серно-Соловьевич. — Железнодорожники. — В. И Кельсиев.— Марко-Вовчок.— Случай у Трюбнера.— А. А. Краевский.— Н. Г. Чернышевский.—Князь П. В. Долгоруков.— М. Л. Михайлов.— Русские дамы.— Дрезден.— Сатины.— Т. П. Пассек. — Марко-Вовчок.— Грековы.— В Швейцарии.— Профессор Фогт и его семья.

Несколько месяцев после отъезда Александра Серно-Соловьевича из Лондона явился к Герцену его старший брат, Николай Серно-Соловьевич [1]. То был человек совершенно иной: занятый исключительно общими интересами, быть может, он был несколько менее даровит, менее интеллигентен, чем его младший брат, но он имел большой перевес над ним в других качествах: он был необыкновенно прямого характера; в нем были редкое благородство, настойчивость, самоотвержение, что-то рыцарское, почему Герцен с первого свиданья прозвал его: «Маркиз Поза»[2].На открытом, благородном лице его читалось роковое предназначение: можно ли было уцелеть такому прямому существу, упрямо, беззаветно преданному своим убеждениям, в то трудное время, которое наступило после освобождения крестьян, после попытки польского восстания? Тогда появился «Великоросс»; нам передавали, что его нашли у Николая Серно-Соловьевича; после допросов он был сослан в Сибирь. Весть об его дальнейшей участи не дошла до Герцена[3]; младший брат его, Александр, успел уехать или бежать в Швейцарию.

В то время как мы жили еще в Park-hous'e, приезжали к Герцену два русские семейства, т. е. два товарища по занятиям в постройке железных дорог, каждый с женой; у одного из них была премиленькая дочка Лёля, лет четы-

рех. Эти соотечественники нас очень радовали, напоминая нам живо Россию пением под фортепьяно русских песен; маленькая, черноглазая Леля в русском костюме плясала под звуки песен. Герцен и Огарев стояли взволнованные, грустные и обрадованные в то же время: они мысленно переносились на родину, и прошедшее воскресало для них... Эти несколько светлых дней, проведенных в Лондоне этими двумя семействами, долго вспоминались нами; мы как будто в те дни побывали в России[4].

В это же время приехал из России Василий Иванович Кельсиев с женой, Варварой Тимофеевной[5]. Последняя была прямая, простодушная женщина, вполне преданная мужу. Он был умный, самолюбивый и нерешительный. Кажется, он получил место в Ситху, чтоб прослужить там шесть лет, и ехал туда на корабле, который бросил якорь для стоянки близ английского берега. Кельсиева взяло раздумье, и он решился не ехать в Ситху, а отправиться в Лондон; приехав в столицу Англии, он узнал о Герцене и написал к нему, прося у него работы; тогда Александр Иванович пригласил его к себе на свиданье. Прежде чем придумать найти ему работу, Герцен желал узнать его лично, чтоб сообразить, чем он мог заняться. Кельсиев явился в назначенный день, разговорился с Герценом о многом и, между прочим, рассказал Александру Ивановичу, как он ехал в Ситху, а остался в Англии. Александр Иванович не одобрял мысль эмиграции.

— Соскучитесь без дела,— говорил он Кельсиеву,— русские здесь все, как отрезанный ломоть.— Но Кельсиев объявил, что это дело решенное и что он ни за что не поедет в Ситху. Кельсиев был филолог, мне кажется; он взялся перевести библию на русский язык. Когда перевод этот явился в печати и в России было дозволено переводить библию, Кельсиев с жаром, со страстью занялся этим делом. Кроме того, он давал уроки русского языка Наташе Герцен, так как Благосветлова уже не было в Лондоне; таким образом, Кельсиев стал жить в Лондоне своим трудом, хотя и очень бедно.

Переписываясь довольно часто с Александром Ивановичем, Тургенев прислал ему однажды малороссийские повести Марка-Вовчка, которые привели Герцена в неописанный восторг[6]. Иван Сергеевич писал, что автор этих рассказов, г-жа Маркович,— очень милая, простая, некрасивая особа, и что она намерена скоро быть в Лондоне.

Действительно, г-жа Маркович не замедлила явиться в Лондон с мужем и маленьким сыном[7]. Г-н Маркович казался нежным, даже сентиментальным, чувствительным малороссом; она, напротив, была умная, бойкая, резкая, на вид холодная. Посидев в салоне, мы вышли в сад; их маленький сын обрадовался саду, бросился на лужайку и стал валяться по ней; мать останавливала его, отец защищал:

— Маша,— говорил он нежно жене,— он восторгается природой, воздухом, оставь его.

— Но он может восторгаться природой,— отвечала она резко,— и не пачкая рубашку.

Она рассказывала Герцену, что вышла замуж шестнадцати лет, без любви, только по желанию независимости. Действительно, Тургенев был прав, она была некрасива, но ее серые большие глаза были недурны, в них светились ум и малороссийский юмор, вдобавок она была стройна и умела одеваться со вкусом. Марковичи провели только несколько дней в Лондоне и отправились на континент, где я их впоследствии встретила, кажется в Гейдельберге [8].

Едва Марковичи оставили нас, как Герцен получил из Петербурга письмо, которое ужасно поразило нас всех: ему сообщили, что у книгопродавца Трюбнера находится шпион между приказчиками, а именно поляк Михаловский[9]. Являясь за книгами к Трюбнеру, русские обращались предпочтительно к Михаловскому, потому что он немного говорил по-русски; они просили сообщить им адрес Герцена. Михаловский с готовностью спешил вручить им написанный для них желаемый адрес и вместе с тем старался в разговоре выведать имя посетителя, что вовсе не представляло затруднений, так как русские ужасно доверчивы и необдуманны. В конце письма было сказано, что Михайловский, набрав порядочное количество имен, подал донос, приложив список, русскому посланнику в Лондоне; последний отправил все прямо к государю. К счастию, государь, не прочитав, бросил список в камин [10]. Это происходило до возмущения в Польше; тем не менее Герцен решил удалить Михаловского из лавки Трюбнера. Для этой цели Герцен, Огарев, Тхоржевский и Чернецкий собрались и отправились все вместе к Трюбнеру. Герцен сообщил последнему причину их появления; тогда Трюбнер попросил Герцена и его друзей в соседнюю комнату, где все сели и куда был вызван Михаловский. Последнему были предложены разные вопросы по поводу его поведения относительно рус-

ских и доноса, сделанного им русскому посланнику; Михаловский растерялся, ужасно побледнел, стал говорить несвязные речи, но оправдаться никак не мог.

Отозвав Трюбнера в сторону, Герцен рассказал ему, как он узнал о проделках Михаловского, и просил Трюбнера не держать его долее, если он хочет продолжать иметь книжные дела с ним (Герценом). Тогда издания Александра Ивановича расходились очень хорошо, поэтому Трюбнер пожертвовал Михаловским для Герцена. Наконец Михаловский встал и сконфуженно удалился, говоря: «У нас всегда называют шпионом всякого, кто имеет новое пальто».

— Да обидьтесь! — кричал ему вслед Чернецкий. Но тот не повернул к нему головы и вышел из лавки. Трюбнер казался удивлен, что под глазами происходили вещи, о которых он не имел ни малейшего понятия и которые известны и Герцену и в Петербурге. В то время он боготворил Герцена до такой степени, что заказал Грасу (немцу-скульптору) сделать бюст Герцена. Грас лепил его, когда мы жили в Laurel-hous'e, бюст очень похож, и Трюбнер украсил им свою лавку[11].

Около этого времени у Герцена был Андрей Александрович Краевский. Едва ли можно думать, чтоб Краевский приезжал в Лондон по сочувствию к деятельности Герцена, а скорей по тому неотразимому влечению, которое в то время несло всех русских к британским берегам: труднее плыть против течения, чем по течению. Об этом свидании нечего рассказывать, кроме того, что Герцену было приятно вспоминать с Краевским о многом из былого[12].

Некоторое время спустя, явился в Лондон человек, о котором говорила чуть не вся Россия, о котором мы постоянно слышали, который много писал, о котором постоянно упоминали в печати, которого не только хотелось видеть, но хотелось узнать ... Это был Николай Гаврилович Чернышевский. До его посещения кто-то (не помню именно кто) приезжал от него из России с запросом к Герцену; вот в чем состоял этот запрос: если издание «Современника» будет запрещено в России, чего ожидали тогда, согласен ли будет Герцен печатать «Современник» в Вольной русской типографии в Лондоне? На это предложение Герцен был безусловно согласен. Тогда Чернышевский решился ехать сам в Лондон для личных переговоров с Александром Ивановичем.

Как теперь вижу этого человека: я шла в сад через зал неся на руках свою маленькую дочь, которой было немного более года; Чернышевский ходил по зале с Александром Ивановичем; последний остановил меня и познакомил с своим собеседником. Чернышевский был среднего роста; лицо его было некрасиво, черты неправильны, но выражение лица, эта особенная красота некрасивых, было замечательно, исполнено кроткой задумчивости, в которой светились самоотвержение и покорность судьбе. Он погладил ребенка по голове и проговорил тихо: «У меня тоже есть такие, но я почти никогда их не вижу».

Кажется, Герцен и Чернышевский виделись не более двух раз. Герцену думалось, что в Чернышевском недостает откровенности, что он не высказывается вполне; эта мысль помешала их сближению, хотя они понимали обоюдную силу, обоюдное влияние на русское общество...[13] Вести, привезенные Чернышевским, были неутешительны, исполнены печальных ожиданий. Насчет издания «Современника» они столковались в несколько слов: Чернышевский обещал, если нужно будет, высылать рукописи и деньги, нужные на бумагу и печать; корректуру должны были держать Герцен и Огарев, потому что Чернецкий не мог взяться за поправки типографские по совершенному незнанию русского языка. Когда печатали второе издание номеров «Колокола», я держала корректуру, потому что это было очень легко: набирая с печатного, Чернецкий делал весьма мало ошибок[14].

Однажды Герцен получил из Парижа письмо по-русски: почерк был незнакомый, рука твердая: это было послание от князя Петра Владимировича Долгорукова. Он писал, что оставил Россию навсегда и скоро будет в Лондоне, где намерен поселиться, слышал много о Герцене и надеется сойтись с ним при личном знакомстве. Молва гласила, что князь Петр Владимирович Долгоруков оставил Россию потому, что правительство не назначило его министром внутренних дел, и вознамерился отомстить тем, которые навлекли на себя его гнев.

Наконец князь Петр Владимирович Долгоруков прибыл в Лондон и был у Герцена[15]; наружность его была непривлекательна, несимпатична: в больших карих глазах виднелись самолюбие и привычка повелевать, черты лица его были неправильны; князь был небольшого роста, дурно сложен и слегка прихрамывал, почему его прозвали:

«le bancal»*. Не помню, на ком он был женат, только жил постоянно врозь с женой и никогда о ней не говорил. Герцен не чувствовал к нему ни малейшего влечения, но принимал его очень учтиво и бывал у него изредка с Огаревым. Через несколько месяцев князь Долгоруков начал печатать свои записки[16] и в них сводил свои личные счеты, по совести или нет — ему одному известно. Он был ужасно горяч и невоздержан на язык в минуту гнева, что впоследствии обходилось дорого его самолюбию; когда ему давали отпор на его выходки и удалялись от него, скучая один, он кончал тем, что извинялся и желал только, чтоб его простили. Помню, что он постоянно ездил к нам, когда мы позже жили близ Лондона, в Теддингтоне. Раз, в воскресенье, у нас обедало несколько человек, между которыми были князь Долгоруков, Чернецкий и Тхоржевский; это было после варшавских происшествий; разговорились, толковали о происшествиях того времени... Вдруг князь Долгоруков дерзко стал говорить о сумасбродстве поляков и грубо кричать, по своему обыкновению, когда он выходил из себя. У Герцена голос был громкий и звучный, но он имел привычку говорить, не возвышая голоса, исключая очень хорошего расположения духа; тут он не выдержал и гневно закричал:

— Я не позволю в моем доме нападать на Польшу, это тем неделикатнее, что эта страна побеждена и что за этим столом сидят поляки.

Это происходило после обеда, мужчины сидели еще за столом, а я с другими дамами перешла в гостиную, где стояло фортепьяно; сама я лично ничего не слыхала, а рассказываю со слов Герцена. Через несколько секунд в гостиную вошел князь Долгоруков; он взял шляпу и трость, в которой скрывался кинжал и которая всегда была при нем; потом вежливо раскланялся и ушел, не подав мне руки, что меня несколько удивило; но вскоре пришел Герцен и подробно рассказал ссору с князем Долгоруковым.

Последний долго не ездил к нам, потом извинился перед Тхоржевским и Чернецким и написал Герцену письмо, в котором просил извинить его глупую выходку против поляков, и опять стал ездить к нам[17].

Тхоржевский сопутствовал иногда князю Долгорукову в его маленьких экскурсиях в море или в окрестностях Лон-

---

* кривоногий (*франц.*).

дона и уверял, что с характером князя Долгорукова трудно было найти какое-нибудь удовольствие или отдохновение в этих прогулках: каждое ничтожное происшествие, каждое неточное исполнение его желания приводило князя в неописанную ярость. Раз они были где-то у моря, взяли в гостинице комнату, встали поутру в самом хорошем расположении духа; к завтраку, к несчастию, им подали черствого хлеба (надо заметить, что англичане считают черствый хлеб здоровее и предпочитают его свежему, потому что из черствого легче резать тонкие ломти, которые они намазывают маслом и едят в большом количестве за вечерним чаем). Князь Долгоруков страшно рассердился, заметя черствый хлеб на столе, вскочил, взял хлеб и, выбежав в коридор, бросил его со второго этажа вниз; прибежал швейцар, сбежались ве́теры (половой, или гарсон); для выдержанного английского характера поступок русского князя был необъясним. Они обратились с соболезнованием к Тхоржевскому, спрашивая серьезно, не бывает ли еще других припадков с его спутником? Рассерженный выходкой князя и расспросами слуг, Тхоржевский объяснил категорично на ломаном английско-польском языке: «Prince very cross gentleman»*.

Возвращаясь к нашей жизни в Park-hous'e, вспоминаю, как раз вечером Жюль доложил Герцену: «Trois russes, deux messieurs et une dame»**. Это были Шелгуновы и М. Л. Михайлов. Кажется, они были у нас только два раза, потому что очень спешили оставить Англию. Шелгунов и особенно Михайлов очень понравились Герцену,— эти люди казались понимающими и вполне преданными благу России, но Ш⟨елгуно⟩ва не произвела у нас хорошего впечатления и никому не была симпатична; в ней было что-то эгоистическое, грубое, от нее веяло материализмом в самой неприглядной форме[18]. Приезжали иногда и дамы одни. Я ездила к морю в Каус с моей маленькой дочерью и ее няней. По возвращении в Лондон Герцен мне рассказывал об одном посещении во время моего отсутствия: приехала одна русская аристократка, на вид лет пятидесяти, и представилась Герцену, говоря скоро: «Дочь адмирала, вдова генерала, мать генерала, такая-то», кажется, Бибикова. Герцен с трудом удержался от смеха[19].

---

* «Князь очень сердитый господин».

** «Трое русских: два господина и дама» (*франц.*).



Н. А. Тучкова-Огарева.
Рисунок карандашом Н. А. Герцен, 1859 г.

Мальвида фон-Мейзенбуг жила все это время то на квартире, то у разных приятельниц, но она мечтала о независимой жизни, о поездке в Париж, в Италию, где она никогда не была. Она предложила Герцену взять с собой его меньшую дочь, Ольгу, и погостить с ней у г-жи Швабе, которая имела великолепное поместье в Англии[20]. Она была вдова богатого банкира и имела многочисленное семейство. Герцен согласился на предложение Мальвиды; а так как г-жа Швабе поехала на зиму в Париж, то Мальвида попросила Герцена отпустить Ольгу с ней в Париж, где их пребывание не могло стоить очень дорого, потому что они должны были жить у г-жи Швабе; в сущности это был отвод. Мальвида вскоре переехала на отдельную квартиру с маленькой Ольгой.

В то время я получила из России письмо, в котором меня извещали, что моя сестра едет со всеми детьми в Германию для свидания со мной; тогда я поспешила собраться в путь с своей маленькой дочкой, с Наташей Герцен, которую я должна была отвезти в Дрезден к Марии Каспаровне Рейхель, урожденной Эрн. Кроме того, с нами ехала m-iss Johanna Turner, которая поступала к моей сестре; последняя желала увезти ее с собой в Россию для того, чтобы приучить детей к английскому языку[21].

Мы доехали до Дрездена без особенных происшествий, за исключением того, что на какой-то таможне с нас взяли восемь франков штрафа за шелковую материю, которую Наташа Герцен везла в подарок какой-то родственнице своей бабушки, Луизы Ивановны; тогда я переложила иначе все вещи в Наташином чемодане, и после того мы благополучно достигли Дрездена, чему Наташа немало удивлялась: как более опытная путешественница, чем она, я не клала ничего подозрительного по краям чемодана, но в средину, а таможенные чиновники слишком ленивы, чтобы выбирать все до дна из чемоданов.

Приехав в Дрезден, мы тотчас отправились к Марии Каспаровне Рейхель, но я ничего не помню из этого первого посещения, потому что едва мы успели обменяться с ней несколькими словами, как она сказала, что сестра моя, Елена Алексеевна Сатина, уже в Дрездене; тогда, взяв мою маленькую дочь за руку, я поспешила к двери, забыв о всех присутствующих; потом воротилась, чтоб спросить, в какой гостинице она остановилась. Тогда послали за извозчиком; m-iss J. Turner, я и моя малютка сели в коляску и

поехали в указанную гостиницу; никогда путь не казался мне так долог, как в этот раз! Наконец мы доехали, вошли в гостиницу и свиделись после многих лет разлуки, после многих перемен, особенно в моей жизни. Мы обнимали друг друга со слезами на глазах; дети сестры окружили меня и мою малютку: хотя она в то время говорила только по-английски, однако понимала русскую речь, потому что я постоянно говорила с ней на родном языке. Зять мой, Николай Михайлович Сатин, был тоже очень взволнован и обрадован нашей встречей. Зная, что я должна была ехать с Наташей Герцен, он принял м-iss Turner за нее и горячо обнял и расцеловал ее, так как он был в юности дружен с ее отцом; на лице m-iss Turner выразилось недоумение, смущение... Я догадалась, в чем дело, и поспешила объяснить ей, что зять мой, наверное, принял ее за Наташу Герцен. Николай Михайлович не замедлил извиниться в своей ошибке пред смущенною m-iss Turner. Вскоре к нам присоединилась и виновница этого недоразумения, Наташа Герцен, с г-жой Рейхель; тогда им рассказали про этот странный qui pro quo, и все мы не могли удержаться от смеха и много смеялись над этим странным случаем[22].

Оставя Наташу Герцен на попечение Марии Каспаровны Рейхель, мы вскоре отправились с сестрой, Еленой Алексеевной Сатиной, и со всеми нашими детьми в Гейдельберг, где я слыхала, что местоположение очень красиво, а жизнь недорога; вдобавок, Гейдельберг в то время не представлял многолюдного стечения туристов, и мы могли вести жизнь самую уединенную. Николай Михайлович Сатин воспользовался этим временем, чтоб съездить в Лондон, навестить старых друзей, Герцена и Огарева, которых он горячо любил и которыми он был тоже любим[23]. С поступления в Московский университет они почти не расставались, а когда ссылка их раскидала по России, они часто переписывались; впоследствии собрались в Москве, примкнули к кружку Станкевича, когда последнего уже не было в живых, и сплотились в тесную кучку профессоров и литераторов, известных под именем московского кружка западников, в противоположность кружку московских славянофилов.

В Гейдельберге я впервые увидела Татьяну Петровну Пассек, которая, слыша, что я нахожусь с сестрой тоже в Гейдельберге, пришла сама к нам и была со мной, с первого раза, как с близкой[24]. Она мне рассказала о своем родстве с Герценом, о своей дружбе с ним и с Огаревым; впрочем,

все это было мне давно известно. Она звала меня к себе, и я каждый день бывала, как у родственницы, с своей маленькой дочерью. Тогда Татьяна Петровна переживала трудное время. Она приехала в Гейдельберг со всеми детьми, которые были уже юношами; я их видала, но мне мало приходилось разговаривать с ними. Старший, Александр, красивый, привлекательной наружности, напоминал отца, по словам Татьяны Петровны. Он был кандидат Московского университета; Татьяна Петровна, вообще, редкая мать, любила его до безумия, гордилась им, мечтала везти его в Лондон показать Герцену... мало ли планов, надежд было в ее горячем сердце относительно ее первенца! Судьба готовила ей иное: ее Александр, страстно увлеченный одной особой, М<аркови>ч, вдруг отдалился от матери, которая передавала мне ежедневно свои страдания и опасения за любимого сына, за ее дорогого Сашу. Последний оставил навсегда прежде горячо любимую мать и уехал в Париж с предметом своей страсти, там года через два тревожной жизни он угас от грудной болезни, как его отец; предчувствие не обмануло сердце матери! Вот почему Татьяна Петровна мало говорит о нем в своих воспоминаниях: сердце исстрадалось за него! Между соотечественниками, навестившими в Гейдельберге сестру Елену Алексеевну, припоминаю Грекова с женой, Ириной Афанасьевной: она была родственница Станкевичу и давно, еще в Москве, коротко знакома с моей сестрой, в доме которой я имела удовольствие видеть ее лет десять тому назад. Ее наружность была необыкновенно симпатична, хотя нельзя было назвать ее красивой; выражение ее лица было исполнено доброты, приветливости. Кроме того, к ней влекло меня и всех знающих ее потому, что у нее был замечательный музыкальный талант: редко чистый, мелодичный, сильный голос, контральто, что для меня и для всех понимающих музыку — выше лучшего исполнения на любом инструменте. Я любила слушать ее, особенно когда она пела страстные и грустные малороссийские песни; из всех этих мотивов меня поразила одна заунывная песня, начинающаяся словами: «Вы простите, мои детки». Это была любимая песня Тимофея Николаевича Грановского; в грустном, тяжелом настроении духа нельзя было дослушать ее до конца, так как она потрясала все фибры человеческого существа.

Как редко-светлое явление между людьми, Ирина Афанасьевна недолго радовала окружающих своей симпатич-

ной натурой, своим задушевным, глубоко потрясающим пением. Вскоре после ее замужества доктора запретили ей петь, или, лучше сказать, много петь,— вовсе не петь было для нее все равно, что не жить: доктора нашли в ней какое-то расположение к аневризму. Когда ее, по обыкновению, обступали все, прося спеть еще что-нибудь, она отвечала: «Нет, будет, будет, мне не велят много петь, сердце что-то не в порядке». Года два после нашего свидания в Гейдельберге, в Москве состоялся какой-то концерт, устроенный любителями музыки; Ирина Афанасьевна принимала тоже в нем участие. Она запела своим звучным, симпатичным голосом; вдруг голос ее оборвался, и она склонилась; все бросились к ней, но она уже не дышала... Между присутствующими находился медик, который сказал:

— Все кончено, это разрыв сердца.

Греков был неутешен; всем тяжело было сознание, что ее голос смолк навсегда: он, как птичка, вырвался из клетки, взвился, залился последней песней и исчез бесследно...

Г-жа Маркович (Марко-Вовчок) была тоже в то время в Гейдельберге; она приходила ко мне несколько раз с какой-то соотечественницей, фамилию которой я не могу припомнить; потом я встретила г-жу Маркович еще один раз с мужем и с маленьким сыном. Господин Маркович казался очень озабочен и печален; на добродушном лице его читалось глубокое уныние: он собирался обратно в Россию с нежно любимым ребенком и старался склонить жену к возвращению на родину, но она была непоколебима: решила остаться одна за границей и привела в исполнение свое намерение...

Еще до моего отъезда из Лондона Герцен получил от сына письмо, которым был очень огорчен и встревожен: Александр Александрович находился в Берне, имел комнату и стол в доме старого профессора Фогта и влюбился в его внучку Э<мму> У<рих>, которая жила тогда у бабушки. Александр Александрович просил у отца позволения жениться на этой девушке, которой было только шестнадцать лет. Герцен находил, что сын его тоже слишком молод, чтобы решиться на такой важный шаг; вдобавок, на дне души его таилась задушевная мысль, что сын его, если женится, то непременно на русской; ту же мечту он питал и относительно дочерей, но ему не дано было увидеть осуществление своих желаний относительно детей. Долго переписываясь

с сыном по этому поводу, наконец он уступил просьбам А. А. и согласился на брак с Э<ммой> У<рих>.

Ее семейство жило в Америке, но вскоре оно приехало для свидания с родными в Швейцарию. Мать и отец Э<ммы> охотно согласились на выбор их дочери, потому что знали Герцена и имели к нему беспредельное уважение. Провожая из Берна семейство невесты, которое пробыло в Европе более полугода, А. А. заехал к нам в Гейдельберг и познакомил меня с своей невестой.

Вернувшись из Лондона, зять мой, Николай Михайлович Сатин, стал собираться обратно в Россию и вскоре простился с нами. Мы поехали его провожать на дебаркадер железной дороги со всеми детьми, которые, расставаясь ненадолго с отцом, весело кричали ему в пять голосов: «Прощай, папа, прощай». Воодушевленная всеобщим волнением, моя дочь повторяла тоже: «Прощай, папа, прощай, папа». Какая-то русская нянюшка подошла к ней и сказала: «Позвольте мне поцеловать вашу ручку за то, что вы так мило прощаетесь с своим папой».

Вскоре мы покинули Гейдельберг для морских купаний; нам посоветовали ехать в Блакенберг, тихое место, без малейших удобств, потому мало посещаемое туристами; в Блакенберге была одна только гостиница, цены на пищу и комнаты были очень высокие, так как конкуренции вовсе не было; поэтому мы решились взять маленькую квартиру, в которой и разместились, хотя и не без тесноты. Купанье мне не нравилось; надо было пройти по камням большое пространство до моря, может с четверть версты. На английских берегах купанье гораздо привлекательнее, ближе и лучше обставлено: приезжие пользуются хотя деревенским комфортом, а в Блакенберге было слишком много всяких лишений и неудобств; однако мы и не думали переменить место с такой большой семьей: дети то ловили в море медуз и приносили показывать их нам, то, вооруженные лопаточками, забавлялись, роясь в камнях и песке. Сестра Николая Михайловича Сатина, Настасья Михайловна Стравинская, приехала в Блакенберг для свидания с нами. Она была с мужем и с трехлетним ребенком — сыном ее любимой племянницы. Так как Стравинские приехали ненадолго, то остановились в гостинице, куда мы заходили каждый день за ними, чтоб идти вместе к морю на каменистый берег.

Помню, что в Блакенберге моей дочери минуло два года; в этот день мы были удивлены и обрадованы приездом на-

шего старого знакомого, Павла Васильевича Анненкова, который был в Лондоне и взялся свезти мне письма и игрушки от наших для моей маленькой дочери.

Мы вспоминали с Анненковым 1848 год, наше пребывание в Париже во время июньских дней; вспоминали и о тогдашних близких знакомых, о Наталье Александровне Герцен, которую он тоже очень любил и ценил, как я.

Скоро, незаметно пролетело время нашего свидания с сестрой, и пришлось расстаться и с ней; сестре нужно было до холода возвратиться домой: тяжело, полно печальных предчувствий было это последнее прощание... более мы не видались... По отъезде сестры я почувствовала страшное одиночество, оставшись с моей малюткой, и решилась съездить посмотреть Швейцарию, так как я никогда там не была; вдобавок, там учился А. А. Герцен. Пробыв некоторое время в живописной Лозанне, где я много гуляла по роскошным садам и восхищалась совершенно новой для меня природой, которая имела на меня умиротворяющее, успокаивающее влияние... стада рогатого скота, мирно пасясь по лугам и звеня колокольчиками различных тонов, гармонировали с остальным,— пастух собирал скот своим особенным пением и игрой на флейте, кажется, или на каком-то другом инструменте. Позже я отправилась в Женеву, где встретилась с А. А. Герценом и семейством его невесты. Они все были со мной, как с будущей родственницей, и требовали, чтоб я принимала участие в их экскурсиях с моей малюткой. А. А. уговорил меня ехать в Берн, куда он скоро возвратился для своих занятий. Он нашел мне большую комнату, кажется со столом, и написал, чтоб я приезжала, что все готово. Тогда я отправилась в Берн и поселилась там на некоторое время. А. А. познакомил меня со всеми членами семьи Фогтов: во-первых, со стариками, у которых он жил. Старый профессор Фогт был в то время лет семидесяти, высокого роста, худощавый и довольно молчаливый, но с весьма умным выражением в лице. Несмотря на свои преклонные годы, он имел больницу под своим ведомством и ежедневно посещал ее, занимаясь ею очень серьезно. Жена его была довольно высокая, твердая, полная женщина; по чертам ее лица видно было, что в молодости она была хороша собой; у нее был природный ум, но она не получила никакого образования. Она была энергичного и прямого характера и потому иным не нравилась. Менее всех ладил с нею ее первенец, ныне известный натуралист, Карл Фогт. Он обви-

нял мать в деспотизме во времена его юности и потом остался на всю жизнь убежден, что она самое неуживчивое существо; под этим впечатлением я с ней познакомилась, но скоро оно сменилось чувством симпатии и благодарности, потому что с первого моего посещения г-жа Фогт сердечно полюбила мою малютку и, к удивлению всех ее родственников, давала ей забавляться разными безделицами и позволяла ей даже делать беспорядок, а сама разговаривала со мной,— но бывало, что она прерывала наши беседы, чтоб поиграть с ребенком; иногда они накидывали платки на палки в виде знамени и обе танцевали с ними, делая в то же время разные энергичные возгласы. У г-жи Фогт было в Берне очень много внуков и внучек, но она к ним не чувствовала никакой симпатии, и когда они заходили к ней, она не знала, что с ними делать, и в виде любезности предлагала им каждый раз умыться, потом отсылала их домой. Г-жа Фогт любила исключительно ту внучку, которая была обручена с А. А. Герценом и которой в то время не было в Берне.

Мне иногда приходило в голову, что ей должны наскучить мои частые посещения; тогда я пропускала день, но г-жа Фогт тотчас присылала ко мне А. А. узнать, здоровы ли мы и почему не были у нее; я откровенно объяснила причину и потом, по ее желанию, ходила к ней ежедневно.

Мне случалось засидеться у Фогтов и обедать или ужинать у них; их образ жизни был самый простой, пища самая незатейливая: тогда все собирались в столовую, где стоял огромный, круглый стол — «исторический стол», как говорили Фогты; все блюда ставились прямо на стол, средина которого вертелась при малейшем прикосновении; каждому можно было брать, что ему нужно, без посторонней помощи; этот стол был сделан по соображению профессора Фогта, когда дети его были небольшие и все находились еще дома, а обстоятельства профессора не позволяли иметь прислугу. Когда он женился, он ничего не имел, кроме ничтожного жалованья, жена его тоже. Она любила рассказывать, как привязывала своего Карла шалью крепко себе на спину и готовила кушанье, мыла белье, словом, исполняла все домашние работы с ребенком на спине. Впоследствии, когда у нее было уже несколько детей, она была вынуждена брать помощницу на несколько часов в день. У нее было всего восемь человек детей: четыре сына и четыре дочери. Я видела Карла Фогта, адвоката Эмиля Фогта и замечательно хорошего доктора Адольфа Фогта; Густава Фогта, меньшего, я

видела только раз на семейном празднике Фогтов, но я не желала с ним познакомиться, потому что слышала из верного источника, что он ненавидит русских. Трех дочерей старушки Фогт я тоже знала, четвертая не приезжала из Америки, но сказать о них ничего не могу; они, как и снохи г-жи Фогт, были немки, деятельные в узкой сфере обыденной жизни, и только. Помню, как раз А. А. зашел ко мне и сказал, что он послан г-жою Фогт, чтоб просить меня принять участие в их семейном празднике, на который собиралась исключительно вся родня Фогтов. Раз в год Фогты нанимали в гостинице просторную залу, музыкантов, заказывали ужин. В этот день собрание было торжественно, потому что праздновали золотую свадьбу профессора Фогта. А. А. говорил мне, что старушка Фогт будет очень недовольна, если я откажусь, как будто показывая отчуждение от их семьи; убедил меня согласиться и, уходя, сказал, что зайдет сам за нами. Итак, мне пришлось присутствовать при немецком празднике. Все меня радушно приняли, особенно г-жа Фогт; когда музыканты заиграли вальс, старый профессор обвил стан своей подруги, и они кружились в такт, ловко, не уступая ни в чем молодым; потом молодежь занялась танцами, а взрослые и старые — разговором; из молодых один А. А. не танцевал, потому что в отрочестве ему не пришлось практиковаться в этом искусстве, а позже уж не хочется учиться таким пустякам. Этот праздник изображал для меня какую-то человеческую пирамиду, внизу которой стоял старый профессор с милой и симпатичной старушкой, а выше их — дети с женами, племянники, внуки, внучки... Я глядела на эти довольные, простодушные лица, все они близкие друг другу... а я, как я почувствовала себя одинокой на этом празднике! Если б можно было, кажется, я убежала бы, чтоб избавиться от неприятного чувства, которое он возбуждал во мне,— а старушка Фогт приглашала меня так настойчиво, чтоб сделать мне удовольствие. Намерения и последствия! «Как это противоположно иногда»,— подумала я, но в это время глаза мои опустились на мою маленькую дочь... и я поняла, что все это вздор, что я не одна, что я счастливая мать.

После ужина, поблагодарив амфитрионов этого импровизованного праздника, я удалилась наконец с своей маленькой дочерью, которая удивляла всех уменьем держаться непринужденно и не слишком смело в чуждой для нее среде; она спокойно наблюдала за всем, что происходило кругом, и

не просилась домой, как делают иногда чересчур избалованные дети. А. А. вызвался нас проводить домой по пустынным улицам Берна, объятого сном.

Недели через две после этого праздника кто-то постучал в мою комнату: «Herein!»* — сказала я, думая, что это кто-нибудь от старушки Фогт или из какой-нибудь лавки; но, к моему удивлению, я увидела перед собой Николая Серно-Соловьевича. Он рассказал, что, узнав, что я нахожусь в Берне, нарочно приехал из Женевы, чтоб спросить, нет ли у меня писем или поручений в Лондон, так как он собирался туда через несколько дней. «Пойдемте посидеть на террасу,— предложила я,— там лучше, чем в этой пасмурной комнате». Мы вышли и сели на скамью; дочь моя забавлялась, собирая цветы и травы; была поздняя осень, я слегка дрожала. «Зачем вы так легко одеваетесь,— сказал Серно-Соловьевич,— ведь, право, холодно». — «Я забыла в Лондоне зимний манто, а покупать не стоит»,— отвечала я. Мы разговорились о России; радовала только надежда на освобождение крестьян, а в остальном мало было утешительного. Серно-Соловьевич ехал в Лондон, а оттуда... домой...[25]

— Вы ошибаетесь, слишком мало перемен,— возразил он. На его вопрос, буду ли писать в Лондон, я отвечала: «Я недавно писала: скажите, что вы меня видели, расскажите о нашем разговоре». Так мы расстались. В то время я видела Серно-Соловьевича в последний раз.

---

* «Войдите!» (*нем.*)

ГЛАВА XI

Переезд в Лондон.— Новое помещение.— Несостоявшаяся свадьба А. А. Герцена.— Русский шпион.— Доктор Девиль.— И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой.— Известие в Лондоне об освобождении крестьян в России.— Похороны «Колокола».

Вскоре прислали из Лондона теплую одежду для меня и для моей малютки, и я решилась оставить Швейцарию и возвратиться в Лондон, несмотря на холод. Когда я пришла по обыкновению к г-же Фогт и стала ей рассказывать о моем намерении ехать в Англию зимой, она покачала головой. Ей не нравился этот проект; кроме того, она привыкла к нам, особенно к моей малютке, и ей жаль было расстаться с нами.

— Нет,— говорила она,— по-моему, не так надо бы сделать: вам следует остаться здесь зиму, а весной Огарев или Герцен приедет за вами.

— Но это немыслимо,— возражала я,— Огарев страдает такой болезнью, которая не позволяет ему ехать одному; а Герцен едва ли рискнет проехать через Германию, а через Францию ему тоже нельзя ехать. Стало быть, никто за мной не может приехать, и лучше, чтоб я ехала сама.

Я привела в исполнение это крайне необдуманное намерение, и, к счастию, моя дочь вынесла без болезни переезд из Швейцарии в Лондон через Париж, куда мне писали заехать к Мальвиде Мейзенбуг, с которой жила маленькая Ольга Герцен. Моя малютка имела к ней большую привязанность, и все наши хотели, чтоб дети свиделись хоть ненадолго.

Переезд в Англию был труден, потому что было необыкновенно холодно. Наконец мы приехали вечером в Лондон.

Герцен и Огарев встретили меня на железной дороге; моя маленькая дочь их узнала, и обоюдная радость была бесконечна [1].

Кеб, взятый нами у дебаркадера, остановился перед домом, стоящим отдельно; это был Orseth-house (Westburn terrace Wybleton). В этот дом переехали без меня [2]. Наташа Герцен находилась дома, и с ней вроде наставницы была англичанка miss Reeve, очень умная и образованная девушка средних лет. Читая некоторые сочинения Герцена, которые были переведены по-английски, miss Reeve написала Герцену сочувственное письмо и таким образом познакомилась с ним.

Orseth-house был дом в пять этажей, окруженный глубоким рвом. Внизу была кухня с принадлежащими к ней помещениями и с комнатой для повара. В следующем этаже находилась столовая и возле две просторные комнаты, где жили miss Reeve и Наташа. Оба эти этажа были ниже улицы. В третьем помещались: передняя с входной дверью с улицы, рабочий кабинет Герцена, очень просторный и большой салон, где стояло фортепиано, было два камина и только два окна; салон был не очень светел. Наверху находились три комнаты. В самой большой жил Огарев, потому что эта комната служила ему также рабочим кабинетом; рядом моя комната, где я жила с моей малюткой, и далее комната Герцена. Выше, т. е. в пятом этаже, были комнаты для женской прислуги, невысокие, маленькие, но светлые и чистые. В каждой стояла железная кровать, стул, столик, умывальные принадлежности.

Вскоре после моего возвращения в Англию к нам приехал Александр Александрович Герцен с своей невестой и с ее семейством. Она провела недель шесть у нас в доме, а родные ее жили отдельно. Я только потому упомянула об этом событии, что оно обрисовывает так хорошо характер Герцена. Хотя он был очень недоволен предстоящим браком, но когда Э<мма> У<рих> приехала к нам с женихом, Герцен принял ее очень радушно, обращался с ней очень ласково, словом, был с ней как с дочерью. Родители ее возвращались в Америку, мы их просили оставить Э<мму> у нас в доме, чтоб она привыкла к строю, к взглядам семьи; это было тем возможнее, что Александр Александрович ехал в морское путешествие с Карлом Фогтом на целые шесть месяцев. Но мать не согласилась на это предложение, говоря, что у нас нет никого строгого в доме и что мы Э<мму> непременно

избалуем; и Э<мма> должна была сопровождать своих родителей в Америку. Так как жених и невеста были очень молоды, время, разлука охладили их чувства, и брак этот не состоялся.

Герцен мне рассказывал, что во время моего отсутствия г-жа О'Конелль, занимающаяся живописью и вовсе незнакомая ему, написала ему письмо и спрашивала его, не согласится ли он дать ей пять сеансов, потому что она очень бы желала сделать его портрет. Когда он пришел первый раз, она приняла его очень любезно, сказала ему, что много слышала о нем и, занимаясь живописью, желает сделать его портрет для потомства. Каждый раз, как Герцен приходил, оканчивая сеанс, она благодарила его, говоря, что это большая честь для нее. Это была женщина лет пятидесяти. Дальнейшая участь портрета Герцена, сделанного ею, мне неизвестна [3].

Когда мы жили в Orseth-hous'e, русские почти ежедневно являлись к Герцену; не мудрено было проникнуть и шпиону. Помню, как к нам приехал один господин, по фамилии Хотинский, который рассказывал, что будто был на днях на русском корабле, где моряки, узнав, что он был уже у Герцена, сделали ему овацию. Хотинский остался ночевать на корабле, и ему, вместо подушки, положили под голову «Полярную звезду» и «Колокол». Когда я сошла вечером в гостиную, мне пришлось тоже протянуть руку Хотинскому: но какое-то предчувствие подсказало мне, что его следует остерегаться. Отвечая уклончиво на его вопросы относительно присутствующих соотечественников, я передала Герцену мои опасения. Он отвечал на это: «Действительно, лицо его очень несимпатично». Несколько дней спустя, получено было из Петербурга письмо, в котором предупреждали Герцена, что г-н Хотинский, о котором шла речь, служит в Третьем отделении. Узнав обо всем этом, итальянские революционеры поручили двум лицам из своей среды постоянно и повсюду следовать за г-ном Хотинским, которому этот бдительный надзор, вероятно, не понравился, потому что он вскоре окончательно оставил Англию [4].

По возвращении моем в Лондон время шло обычным порядком; каждое воскресенье собирались эмигранты разных стран и некоторые неосторожные соотечественники. Наш доктор Девиль бывал чаще, чем прежде, и казался очень предупредителен, что было совсем не в его характере. Раз Герцен собирался на вечер с Наташей, кажется, к Мильнер-

гисон. Это случилось при Девиле, который, слыша, что Герцен посылает Жюля за каретой, предложил свою, и так настоятельно, что Герцен наконец согласился воспользоваться его любезностью. Уступая просьбам Девиля, Герцен сел с Наташей в карету, а Девиль сел на козлы, возле кучера. На другой день мы посмеялись над переменой в характере Девиля. Несколько дней позже, кажется в ближайшее воскресенье, Девиль был опять у нас и в разговоре со мной выразил надежду, что и я поеду когда-нибудь прогуляться в его карете с Наташей и с моей малюткой и что он намерен заказать четырехместную карету, вместо двухместной, для того чтоб нам было просторнее сидеть в ней. Он сказал, что желает иметь желтую карету. На эти слова Огарев возразил, что, по его мнению, желтый цвет нейдет для экипажа. Тогда Девиль пристально посмотрел на Огарева, ища какой-то тайный намек в этом безразличном замечании.

Девиль становился все страннее, по моему мнению, и втайне я начинала находить, что желтый цвет идет к нему.

Вскоре Девиль нас еще более удивил: он имел объяснение с Герценом и просил руки его дочери, тогда еще очень молоденькой девочки, тогда как Девилю было за сорок лет. Крайне удивленный этим предложением, Герцен благодарил его за честь, но отвечал, что Наташа так молода, что и не думает о браке.

После этого объяснения болезнь Девиля стала еще резче обозначаться. Мы кончили тем, что велели Жюлю не принимать его; но Девиль дарил и упрашивал прислугу, и Жюль, не понимая, как важно в иных случаях послушание, впускал Девиля, подвергнув раз жизнь Герцена опасности.

Однажды утром резко позвонили; это был Девиль. Увидав его в передней, Герцен попросил его в салон. «А,— сказал Девиль,— я узнал, что вы дома, сегодня утром я хотел было вас убить, потом хотел застрелиться, теперь раздумал,— продолжал он, целуя Герцена.— Вы, может, не верите, взгляните, вот заряженный револьвер». Он его вынул из кармана и показал Александру Ивановичу.

— Теперь я опять добрый, счастливый и хотел бы видеть всех людей счастливыми.

Насилу Герцен уговорил его возвратиться домой.

В то время Юрий Николаевич Голицын очень бедствовал, но был на свободе; не помню, был ли он выпущен на

поруки. Я сказала Огареву,что желала бы познакомиться с приехавшей с ним Юлией Федоровной, потому что она была очень одинока и должна была вскоре родить. Она мне очень понравилась своим музыкальным талантом и приводила меня в удивление, играя Бетховенские сонаты наизусть. Мы разговорились об ее положении, и я спросила, кого она намерена пригласить в качестве доктора, так как в Англии ученых акушерок тогда не было. Она отвечала мне, что Юрий Николаевич хотел пригласить Девиля, потому что с англичанином ей невозможно было бы объясняться.

Мне было весьма неприятно слышать это, но я не решалась высказать ей мои опасения относительно Девиля и слишком мало ее знала, чтоб давать ей советы. Я сказала только Юлии Федоровне, что для себя намерена пригласить Пристлея.

Вскоре, испросив у Наполеона III позволение о въезде в Париж для свидания с больной дочерью Ольгой, Герцен отправился с Наташей в Париж[5]. Во время его отсутствия мне доложили раз, что его спрашивает французский аптекарь Жозо. Я велела ответить, что Герцен в Париже; тогда Жозо попросил меня принять его по важному делу. Я пригласила его в салон; он сел против меня, извиняясь, что обеспокоил меня.

— Я знаю,— сказал он после обычных приветствий,— что ваше семейство в дружеских отношениях с нашим уважаемым доктором Девилем, а потому осмеливаюсь спросить, не замечали ли вы или кто-нибудь из ваших что-нибудь странное за последнее время в нашем уважаемом друге?

Я молчала, обдумывая, как отвечать на такой неожиданный вопрос. Поняв, вероятно, мое затруднительное положение, Жозо продолжал:

— Будьте уверены, что это останется между нами. Видите, я буду тоже вполне откровенен с вами. Несколько недель тому назад у моей служанки заболела нога так сильно, что она не могла почти ступить. Когда доктор Девиль заехал по обыкновению в аптеку, я попросил его взглянуть на больную и прописать ей лекарство, на что он согласился очень охотно, осмотрел ногу и прописал рецепт. Проводив и поблагодарив доктора, я отправился в аптеку с рецептом и там развернул его. Это был набор слов по-латыни, из которого не выходило никакого смысла. Через несколько дней является в аптеку посланный от больного с подобным же рецептом, подписанным доктором Девилем. Что же мне делать!?

Мы обязаны исполнить немедленно предписание медика, а предписания доктора Девиля бессмысленны, вредить же репутации доктора разглашением моих замечаний я не желал бы; доктор Девиль такой прекрасный человек. По всему этому я желал спросить у вас, не замечал ли господин Герцен или господин Огарев что-нибудь странное, особенное в их приятеле, докторе Девиле?

Я отвечала, что действительно странности доктора Девиля в последнее время обратили внимание обоих друзей, что они предполагают какую-то внезапную болезнь у доктора и что в настоящее время доктор Девиль нас более не пользует. Жозо сказал, что, стало быть, его предположения оправдались, встал и раскланялся.

На другой день поутру, но уже не рано, явился князь Юрий Николаевич Голицын и просил меня навестить Юлию Федоровну, если можно, тотчас. В пять часов поутру, рассказывал князь Голицын, он ездил сам за Девилем, который обещался быть немедленно у больной; однако время шло, а его все не было. Наконец, в исходе девятого часа, он явился с каким-то господином, на вид очень порядочным и хорошо одетым, и, к удивлению Юрия Николаевича, прошел с ним прямо в спальню Юлии Федоровны. Голицын поклонился незнакомцу и спросил его:

— Вы, вероятно, тоже доктор?

— О нет,— отвечал тот с каким-то отчаянием в голосе,— я вовсе не медик; проводите меня, пожалуйста, отсюда, пока доктор не смотрит на нас; я вам расскажу, как я сюда попал.

Юрий Николаевич исполнил желание говорящего. Когда они вышли в сад, незнакомец сказал ему:

— Я шел задумчиво по Regent street, двухместная карета меня обгоняет, мужская голова высовывается из кареты, и незнакомый мужчина в очках зовет меня по-французски. «Mcnsieur, monsieur,— кричал мне господин из кареты,— во имя чести, я требую, чтоб вы остановились». При этих словах я поспешно подошел к остановившейся карете. «Чем могу быть вам полезен?» — спросил я. «Поедемте со мной, не отказывайтесь, вы все узнаете после; вы должны быть моим свидетелем, нам некогда терять время; во имя чести, поедемте!» Я сел в карету, и мы приехали сюда; более я ничего не знаю; прощайте и извините мой неуместный визит,— сказал незнакомец, кланяясь, и удалился.

— Юлия Федоровна,— говорил князь Голицын,— хотела о чем-то спросить доктора, но он ее не слушал, он говорил ей: «Попробуйте мои волосы; не правда ли, как они мягки, а это потому, что я читаю библию, что и вам советую делать».

Видя, что Девиль не занимается больной, а только беспокоит ее своими пустыми речами, я пригласил его напиться со мной кофе. Когда мы вошли в столовую, все было уже на столе. Доктор сел, рассеянно пил, потом спросил:

— Князь, что мы пьем?

— Кофе,— отвечал я, улыбаясь его рассеянности.

— Вы меня отравили,— вскричал он,— я сейчас же об этом заявлю полиции!— встал и уехал.

— Не знаю,— говорил смеясь Юрий Николаевич,— доносил ли он полиции на меня, или нет. Что же с ним? Он в самом деле с ума сошел; жаль его, он был хороший доктор и прямой человек. Однако я заговорился,— прибавил князь Голицын,— надо сходить поскорей хоть за английским доктором; будьте так добры, посидите немного у нас, вы хоть будете переводчицей, а то Юлия ни слова не знает по-английски.

Я пошла к ним и взяла свою малютку, которая играла весь день в их саду с своей няней. Вечером я сходила домой, чтоб уложить свою маленькую дочь, потом возвратилась к Юлии Федоровне. Добрая miss Reeve обещала никуда не отлучаться до моего возвращения. В полночь у Юлии Федоровны родился сын; поздравив ее, я поспешила отправиться домой. Князь Голицын проводил меня, но, к счастью, мы тотчас встретили полицейского, которого я просила достать мне карету, чтоб вернуться поскорей домой. Полицейский поднес к губам свисток и издал пронзительный звук. Вскоре послышался стук приближающейся кареты. Когда она подъехала, он меня усадил в нее и сказал, сколько следует заплатить.

После последних похождений Девиля у князя Голицына для всех знакомых доктора было несомненно, что он психически болен. Но, несмотря на это, он продолжал ежедневно принимать больных, пока не случилось какому-то горячему лорду заехать к Девилю, чтоб попросить его дать ему что-нибудь от зубной боли. Девиль окинул его насмешливым взглядом и сказал:

— Я вам совсту надеть кринолин.



А. И. Герцен.
С фотографии С. Л. Львова-Львицкого, 1861 г.

Лорду не понравилась такая неуместная шутка, он пришел в неописанный гнев и довел до сведения начальства, что доктор Девиль сошел с ума, а между тем принимает ежедневно больных.

Последствием этого заявления было то, что ежедневный прием больных у Девиля прекратился. Вскоре слухи о болезни доктора дошли и до его брата, который просил, чтоб брат его, доктор Девиль, был освидетельствован, а на имущество его было бы наложено запрещение. Когда несколько докторов съехались в квартире Девиля для освидетельствования его и прибывшие стали задавать ему разные вопросы, Девиль лукаво улыбнулся.

— Господа,— сказал он,— вы приехали свидетельствовать меня; я помню, мне приходилось тоже делать то, что вы делаете нынче, задавать те вопросы, которые вы мне ныне предлагаете. Ну что же, спрашивайте, я буду отвечать.

Доктора сконфузились и стали опровергать его догадки, но доктор Девиль стоял на своем:

— Зачем вы хотите меня обманывать, это бесполезно; я глубоко убежден, что вы приехали меня свидетельствовать, потом наложить арест на мое имущество, а меня засадить в клетку, в очень приятное заведение.

Действительно, все эти предположения сбылись. Доктора Девиля отправили с полицейским во Францию, где тот должен был сдать его в дом умалишенных.

Оригинально, что сам Девиль учил полицейского, к кому обращаться и как его сдать. Вскоре Девиль окончил там жизнь[6].

По возвращении из Парижа Герцен рассказывал очень много о декабристе Волконском, который показался ему очень симпатичен[7]. Двоюродный брат Герцена, Левицкий, сделал тогда превосходную фотографию с Герцена в сидячем положении, облокотившегося на стол. Фотография эта уцелела у меня; я думаю, она очень известна в России.

После долгих лет разлуки в Париже Герцен впервые встретился с своей кузиной, Татьяной Петровной Пассек. Он много передавал о своем свидании с ней; говорил, что Яковлевы дурно поступили с ней, что они завладели ее частью; потому, когда Татьяна Петровна Пассек нуждалась в деньгах, он давал ей, сколько она хотела, и никогда не спрашивал обратно. В мнениях он очень расходился с другом юности. Татьяна Петровна Пассек была религиозна и

находила в монархическом правлении спасение для своей родины.

Они спорили горячо, каждый крепко отстаивая свои убеждения, и расстались с улыбкой, сознавая, что только могила умиротворит их крайние взгляды, но что, пока они живы, они будут борцами противоположных лагерей[8].

Вскоре после приезда Герцена из Франции к нему приехали гости, которые нас всех очень интересовали: Иван Сергеевич Тургенев и Лев Николаевич Толстой. Первого мы знали давно, привыкли к его капризам и маленьким странностям; последнего мы видели в первый раз.

Незадолго до отъезда из России Огарев и я читали с восторгом «Детство», «Отрочество», «Юность» Толстого, его рассказы о Крымской войне. Огарев постоянно говорил об этих произведениях и об их авторе.

Приехав в Лондон, мы спешили поделиться с Герценом рассказом о новом, необыкновенно даровитом писателе. Оказалось, что Герцен читал уже многое из его сочинений и восхищался ими. Особенно удивлялся Герцен его смелости говорить о таких тонких, глубоко затаенных чувствах, которые, быть может, испытаны многими, но которые никем не были высказаны. Что касается до его философских воззрений, Герцен находил их слабыми, туманными, часто бездоказательными.

«Толстой у нас в доме»,— думали мы с Наташей, и спешили в гостиную, чтоб взглянуть на замечательного соотечественника нашего, которого читала вся Россия. Когда мы вошли, граф Толстой о чем-то горячо спорил с Тургеневым. Огарев и Герцен тоже принимали участие в этом разговоре. В то время (в 61-м году) Толстому было на вид около тридцати пяти лет; он был среднего роста, черты его лица были некрасивы, маленькие серые глаза исполнены какой-то проницательности и задумчивости. Странно только, что вообще выражение его лица никогда не имело того детского добродушия, которое виднелось иногда в улыбке Ивана Сергеевича и было так привлекательно в нем[9].

Когда мы вошли, начались обыкновенные представления. Конечно, Толстой и не воображал, с каким трепетом мы пожали его руку и не говорили даже с ним, а только слушали его разговоры с другими. Он ездил к нам ежедневно. Спустя несколько дней, стало очевидно, что как писатель он гораздо симпатичнее, чем как мыслитель, потому что он был иногда нелогичен; сторонник фатализма, он часто имел горячие

споры с Тургеневым, в которых они говорили друг другу весьма неприятные вещи. Когда споры прекращались и Толстой был в хорошем настроении, он пел, аккомпанируя себе на фортепиано, солдатские песни, сочиненные им в Крыму во время войны:

Как восьмого сентября
Нас нелегкая несла
Горы занимать, горы занимать...—

и другие подобные песни [10].

Слушая его, мы много смеялись, но, в сущности, было тяжело слушать о всем, что делалось тогда в Крыму,— как бездарным генералам вручалась так легкомысленно участь многих тысяч солдат, как невообразимое воровство достигло высших пределов. Воровали даже корпию и продавали ее врагам, а наши солдаты терпеливо умирали.

В 61-м году, незадолго до освобождения крестьян, раз Герцен получил по городской почте письмо от русского, который просил позволения представиться ему. Письмо это было написано просто, но с достоинством, и не без орфографических ошибок. Герцен отвечал, как всегда, что рад видеть русского. Вскоре явился молодой человек и объяснил, что он крестьянин с. Промзина, Симбирской губернии, по фамилии Мартьянов. Он был высокого роста, стройный блондин, с правильными чертами лица, выражение которого казалось немного холодным, насмешливым и исполненным собственного достоинства. Он занялся какими-то переводами и прожил в Лондоне довольно долго. Сначала Герцен относился к нему несколько недоверчиво, но вскоре характер Мартьянова так обрисовался резко, что немыслимо было подозревать его в шпионстве. Мартьянов отличался необыкновенно прямым нравом и резко определенным воззрением: он веровал в русский народ и в русского земского царя.

Вообще, Мартьянов не был особенно разговорчив, но иногда говорил с большим увлечением.

Он любил детей, часто разговаривал с моей малюткой и, уезжая, подарил ей на память черные бусы из высушенных семян какого-то кавказского растения. Я сберегла ей эти бусы, и она, уже большая, носила их и хранила.

Грустно сознавать, что этот вполне верноподданный русский погиб. После освобождения крестьян, польских демонстраций и русского умиротворения Польши Мартьянов решился возвратиться в Россию. На границе он был задержан и сослан в Сибирь. За что, он не знал [11].

Но я забегаю вперед, а мне придется говорить еще о нем.

Слухи об освобождении крестьян наконец подтвердились, перестали быть слухами, сделались истиной, великой и радостной правдой. Читая «Московские ведомости» в своем рабочем кабинете, Герцен пробежал начало манифеста, сильно дернул за звонок; не выпуская из рук газету, бросился с ней на лестницу и закричал громко своим звучным голосом:

— Огарев, Натали, Наташа, да идите скорей!

Jules первый прибежал и спросил:

— Monsieur a sonné? (Вы звонили?)

— Je ne sais pas, peut-être, mais que diable, Jules, allez donc les chercher tous, vite-vite; qu'est-ce qu'ils ne viennent pas? (Может быть, но что же они не идут? Идите скорее, отыщите всех.)

Жюль смотрел на Герцена с удивлением и удовольствием.

— Monsieur a l'air bien heureux (У вас очень веселый вид),— сказал он.

— Ah! Diable, je crois bien (Да, я думаю), — отвечал рассеянно Герцен.

В одну минуту мы все сбежались с разных сторон, ожидая что-то особенное, но по голосу Герцена скорей хорошее. Герцен махал нам издали газетой, не отвечал на наши вопросы о том, что случилось; наконец вернулся в свой кабинет, и мы за ним.

— Садитесь все и слушайте,— сказал Герцен — и стал нам читать манифест. Голос его прерывался от волнения; наконец он передал газету Огареву и сказал:

— Читай, Огарев, я больше не могу.

Огарев дочитал манифест своим спокойным, тихим голосом, хотя внутри он был не менее рад, чем Герцен; но все в нем проявлялось иначе, чем в Герцене.

Потом Герцен предложил Огареву идти вместе прогуляться по городу: ему нужно было воздуха, движенья. Огарев предпочитал свои уединенные прогулки, но на этот раз он охотно принял предложение своего друга. В восемь часов вечера они вернулись к обеду. Герцен поставил на стол маленькую бутылку кирасо; мы все выпили по рюмке, поздравляя друг друга с великой и радостной вестью.

— Огарев,— сказал Герцен,— я хочу праздновать у себя дома, у нас, это великое событие. Быть может,— продолжал он с одушевлением,— в нашей жизни и не встретится

более такого светлого дня. Послушай, мы живем как работники, все труд, работа,— надо когда-нибудь и отдохнуть и взглянуть назад, какой путь нами пройден, и порадоваться счастливому исходу вопроса, который нам очень близок; быть может, в нем и наша лепта есть.

— А вы,— сказал он, обращаясь ко мне с Наташей,— вы должны нам приготовить цветные знамена и нашить на них крупными буквами из белого коленкору, на одном: «Освобождение крестьян в России 19-го февраля 1861 года», на другом: «Вольная русская типография в Лондоне» и проч. Днем у нас будет обед для русских, я напишу статью по этому поводу и прочту ее; эпиграф уже найден: «Ты победил, Галилеянин»[12]. Да, государь победил меня исполнением великой задачи. На русском обеде я предложу у себя в доме тост за здоровье государя. Кто бы ни отстранил препятствия, которые замедляли шествие России к своему совершенствованию и благосостоянию, он действует не против нас. Вечером будут приглашены не только русские, но все иностранцы, сочувствующие этой великой реформе, все, которые радуются вместе с нами.

Наконец день праздника был назначен. Начались приготовления: шили флаги, нашивали слова по-английски, готовили плошки, разноцветные стаканчики для иллюминации дома. Услыша о намерении Герцена праздновать освобождение крестьян, князь Голицын вызвался написать квартет, который назвал «Emancipation»*, и исполнил его у нас в день празднества.

В назначенный день с утра было не очень много гостей, только русские и поляки. Между прочими Мартьянов, князь Петр Владимирович Долгоруков, граф Уваров; Тхоржевский приехал позже всех; помню, мы были все в салоне, когда он вошел.

— Александр Иванович, не веселый праздник, в Варшаве русские льют кровь поляков! — сказал Тхоржевский, запыхавшись.

— Что такое? — вскричал Герцен.

— Не может быть! — кричали другие.

Тхоржевский вынул из кармана фотографические карточки убитых, только что полученные им из Варшавы.

— Там были демонстрации,— рассказывал Тхоржев-

---

* «Освобождение» (*франц.*).

ский,— поляки молились на улицах; вдруг раздалась команда, русские выстрелы положили несколько человек коленопреклоненных.

Все окружили Тхоржевского, рассматривали карточки убитых. Герцен был бледен и молчалив. Лицо его омрачилось; беспокойное, тревожное, грустное выражение сменило спокойное и светлое.

Жюль доложил, что обед подан. Все спустились в столовую, на всех лицах заметно было тяжелое настроение. Обед прошел тихо. Когда подали шампанское, Герцен встал с бокалом в руке и провозгласил тост за Россию, за ее преуспеяние, за ее благоденствие, совершенствование и пр. Все встали с бокалами в руках, горячо отвечали, провозглашая другие тосты, и чокались горячо. У всех сердце усиленно билось... Герцен сказал краткую речь, из которой помню начало: «Господа, наш праздник омрачен неожиданной вестью: кровь льется в Варшаве, славянская кровь, и льют ее братья-славяне!» Все стихло, все молча уселись на свои места.

Вечером дом был освещен; флаги развевались на нем; князь Голицын дирижировал квартет в салоне. По приглашению Герцена в «Колоколе» собрались, кроме русских и поляков, итальянские эмигранты с Маццини и Саффи; французские, между которыми выделялись Луи Блан и Таландье; немцы, англичане и много незнакомых поляков и русских.

Минутами казалось, что Герцен забывал о варшавских событиях, оживлялся. Раз даже стал на стул и с одушевлением сказал: «Новая эра настает для России, и мы будем, господа, в России, я не отчаиваюсь; 19-е февраля великий день!» Ему отвечали восторженно Кельсиев и какие-то незнакомые соотечественники. Было так много народу на этом празднике, что никто не мог сесть. Даже кругом нашего дома стояла густая толпа, так что полицейские во весь вечер охраняли наш дом от воров.

Какой-то фотограф снял вид с нашего дома, освещенного, украшенного флагами. На крыльце виднелась фигура князя Юрия Николаевича Голицына. Эта фотография находилась на оболочке напечатанного квартета «Emancipation» князя Голицына. Один экземпляр сохранился у меня, но он был отобран вместе с книгами на русской границе[13].

Несколько дней после этого празднества Герцен написал статью под заглавием: «Mater dolorosa», в которой выражал

сочувствие к пострадавшим полякам, и напечатал ее в ближайшем № «Колокола»[14].

Прочитав эту горячую статью, Мартьянов пришел к Герцену и сказал ему:

— Похоронили вы, Александр Иванович, сегодня «Колокол», нет, уж теперь вы его не воскресите, похоронили.

Итак, первый удар «Колоколу» был нанесен самим Герценом тем, что он показал сочувствие к пострадавшей Польше. Самолюбие было оскорблено, и все мало-помалу отвернулись от лондонских изданий. Второй удар «Колоколу» был нанесен позже Михаилом Александровичем Бакуниным. Однажды после обеда мы сидели все вместе, когда почтальон позвонил, и Герцену подали огромное письмо. Оно было от Бакунина, который писал из Америки, описывал свое бегство из Сибири, сочувствие к нему в Америке.

ГЛАВА XII

Приезд Бакунина в Лондон.— Посланные жонда.— Нефтали.— Неожиданная встреча.— Потебня.

Бакунин выражал надежду быть скоро в Лондоне и помогать обоим друзьям в их пропаганде, содействовать, сотрудничать в «Колоколе» и проч. Дочитав письмо, Герцен задумался и сказал Огареву:

— Признаюсь, я очень боюсь приезда Бакунина, он, наверно, испортит наше дело. Ты знаешь, Огарев, что о нем говорил в 48-м году, не помню, Косидьер или Ламартин: «Notre ami Bacounine est un homme impayable le jour de la Révolution, mais le lendemain il faut absolument le faire fusiller, car il sera impossible d'établir un ordre quelconque avec un pareil anarchiste»*.

Огарев был согласен с Герценом и думал тоже, что Бакунин не удовлетворится их пропагандой, а будет настаивать на деятельности по образцу западных революционных явлений. Вдобавок, Бакунин на Западе всегда представлялся защитником Польши. Герцен и Огарев тоже сочувствовали Польше в размере ее испытаний, но они не сочувствовали аристократическому характеру поляков, их отношению к низшему классу и пр. Что касается до Бакунина, то он ничего не видел, не задавался никакими вопросами.

Я очень хорошо помню первое появление Бакунина в нашем доме; вот как это произошло[1].

---

* «Наш друг Бакунин — неоцененный человек в день революции, но на следующий день надо непременно велеть его расстрелять, потому что с таким анархистом немыслимо учреждение какого бы то ни было порядка» (*франц.*).

Был девятый час вечера, все сидели за столом, а я по нездоровью обедала в той же комнате, лежа на диване. Услыша сильный звонок, Жюль побежал к входной двери наверх и через несколько минут возвратился в сопровождении посетителя; это был Михаил Александрович Бакунин. Не помню, говорила ли я раньше об его наружности. Он был очень высокого роста, умное и выразительное лицо; в его чертах было много сходства с типом Муравьевых, с которыми он состоял в родстве. При появлении Бакунина все встали. Мужчины обнимали друг друга, Герцен представил Бакунину детей и Мейзенбуг, которая случайно обедала с нами. Поздоровавшись со всеми, Бакунин подошел ко мне. Вспомнил о нашем свидании в Берлине незадолго до дрезденских баррикад, где он был взят и передан австрийцам.

— Нехорошо лежать,— говорил он мне с оживлением,— выздоравливайте, надо действовать, а не лежать.

Бакунин сел тоже за стол, обед стал очень оживлен. После Бакунин нам рассказывал о своем заключении в Австрии. Хотя я говорила уже о том, но хочу передать, насколько помню, его рассказ.

Прикованный к стене в подземельном тюремном замке, он дошел до такой тоски, что решился на самоубийство и стал глотать фосфор со спичек. Но эта мера была неудовлетворительна: причинив себе боли в желудке, он все-таки остался жив. Года через полтора или два такого существования, раз ночью,— рассказывал Бакунин,— он был пробужден непривычным шумом. Двери шумно отворялись и запирались, замки щелкали; наконец шаги идущих приблизились, разные начальники вошли в тюрьму: смотритель тюрьмы, сторожа и какой-то офицер. Бакунину приказали одеваться. «Я ужасно обрадовался,— говорил Бакунин,— расстреливать ли ведут, в другую ли тюрьму переводят, все перемена, стало, все к лучшему. Меня повезли в закрытом экипаже на железную дорогу и посадили в закрытый вагон с крошечными окнами. Вагон этот, вероятно, переставляли, когда нужно было менять поезда, меня не выводили ни на одной станции.

Чтоб подышать свежим воздухом, я придумал просить поесть, но это не привело к желанному результату, мне принесли поесть в вагон. Наконец, мы добрались до конечной цели нашего путешествия. Меня вывели скованного из темного вагона на ярко освещенный зимним солнцем дебарка-

дер. Окидывая беглым взглядом станцию, я увидел русских солдат, сердце мое дрогнуло, и я понял, в чем дело.

Ну, поверишь ли, Герцен, я обрадовался, как дитя, хотя не мог ожидать ничего хорошего для себя. Повели меня в отдельную комнату, явился русский офицер, и началась сдача меня, как вещи; читали официальные бумаги на немецком языке. Австрийский офицер, жиденький, сухощавый, с холодными, безжизненными глазами, стал требовать, чтоб ему возвратили цепи, надетые на меня в Австрии. Русский офицер, очень молоденький, застенчивый, с добродушным выражением в лице, тотчас согласился на обмен цепей. Сняли австрийские кандалы и немедленно надели русские. Ах, друзья, родные цепи мне показались легче, я им радовался и весело улыбался молодому офицеру, русским солдатам. «Эх, ребята,— сказал я,— на свою сторону, знать, умирать». Офицер возразил: не дозволяется говорить. Солдаты молча и с любопытством поглядывали на меня. Потом меня посадили в закрытый экипаж вроде курятника, с маленьким отверстием вверху. Ночь была очень морозная, а я отвык от свежего воздуха. Вы знаете остальное; я писал, что был посажен в Петропавловскую крепость, потом в Шлиссельбургскую, что Николай Павлович приказал мне написать рассказ о всех моих действиях за границей. Я исполнил его желание и в конце моей исповеди прибавил: государь, за мое откровение, простите мне мои немецкие грехи. По воцарении Александра Николаевича я был сослан в Сибирь; эта благодатная весть застала меня в Соловецком монастыре. В Сибири мне было очень хорошо. Муравьев — умнейший человек, он меня не теснил, но пословица справедлива: как волка ни корми, а он все в лес глядит. Хоть и совестно, а пришлось и друзей обмануть, чтоб вырваться на волю».

Однако предчувствие Герцена скоро начало оправдываться. С приезда Бакунина польская струнка живей забилась в Вольной русской типографии. Сначала Бакунин помещал в «Колоколе» свои статьи; но, заметив вышесказанное направление, Герцен предложил ему печатать свои статьи отдельными брошюрами или печатать в изданиях, называемых «Голоса из России», потому что взгляды их расходились, а Герцен не желал печатать в «Колоколе» те статьи, с которыми внутренно не был вполне согласен. Главное несчастие заключалось в том, что взгляды Огарева и Бакунина были как-то ближе, и последний возымел большое влия-

ние на первого. А Герцен всегда уступал Огареву, даже когда сознавал, что Огарев ошибается.

В то время русские еще много приезжали, но более с упреками, с замечаниями относительно симпатии к Польше и заступничества за нее. На эти нападения Герцен отвечал резко, что гуманность — его девиз, что он всегда будет на стороне слабого и что он не может ценой неправды купить сочувствие соотечественников. В тот же год, т. е. в 1861 году, приехал из России доктор, по фамилии Нефталь, с женой. По чертам его лица можно было угадать, что он еврей; впрочем, он и не скрывал своего происхождения. Он был очень знающий медик, следил постоянно за наукой, и в его практике были совершенно новые приемы. Но я сознаюсь, что отнеслась к нему несколько скептично, потому что не имела случая видеть сама его знание на практике. Заметно было, что Нефтали живут особенно уединенно. Нефталь бывал у нас часто, а жена его все собиралась сделать мне визит. Не придавая ни малейшей важности визитам, я подумала, что она, вероятно, очень занята маленьким ее ребенком, за три месяца до того явившимся на свет, и потому я поехала первая к ней. Когда мой кеб остановился у дома, в котором Нефтали занимали несколько комнат в нижнем этаже, заметно было, что какая-то закутанная фигура осматривала подъехавший экипаж и сидящую в нем. Потом мне отперли дверь, и г-жа Нефталь меня очень любезно приняла. После моего посещения вскоре она стала присылать к нам с няней своего ребенка, который ежедневно гулял в парке с моими детьми. Но сама г-жа Нефталь все обещала и откладывала свой визит к нам. Наконец Герцен пригласил ее с мужем отобедать у нас. Нефталь спросил только, кто еще будет из знакомых. Герцен отвечал отрицательно, забыв, что звал князя Долгорукова. В назначенный день Нефтали приехали. Перед обедом я сидела с г-жой Нефталь наверху в салоне, и мы недолго беседовали там, как раздался звонок, и вскоре появился князь Петр Владимирович Долгоруков. Я немедленно познакомила князя с г-жой Нефталь. Они пожали друг другу руку, и завязался общий разговор; потом Петр Владимирович спросил у меня, где мужчины. Я отвечала, что они сидят внизу. Тогда князь встал, чтобы идти к ним в столовую; почтительно раскланиваясь с г-жой Нефталь, он сказал ей, что будет иметь честь представиться к ней на днях. Г-жа Нефталь, как светская женщина, была тоже необыкновенно любезна с князем; но когда он уда-

лился, она с трудом перевела дух и, обмахиваясь платком, сказала: «Я боялась, что мне сделается дурно, я вам все расскажу». Я поспешила позвонить и велела подать свежей воды. Когда г-жа Нефталь выпила стакан воды и оправилась немного, она мне сказала следующее: «Вот почему я к вам не решалась ехать, я боялась какой-нибудь встречи, особенно с князем Долгоруковым, я чувствовала, что я его встречу здесь. Сколько раз он у меня обедал, ведь я была замужем за его двоюродным братом и... бежала с Нефталем... я была очень несчастна в замужестве... вероятно, князь меня узнал так же хорошо, как я его, но какой такт, какая деликатность с его стороны...»

С тех пор князь Долгоруков бывал часто у г-жи Нефталь, обедал у них, восхищался их сыном. Это был действительно замечательный ребенок: очень большой для своего возраста, смуглый, кудрявый, с огромными черными глазами, он мог бы служить прекрасной моделью для изображения Иоанна Крестителя в детстве. Отец его, как сказано выше, был еврей красивой наружности, а мать — грузинка из царственного дома грузинских князей. После нашего отъезда на континент в 1864 году Нефтали уехали навсегда в Америку, где Нефталь приобрел большую славу как медик[2].

Между прочими соотечественниками, приезжавшими к Герцену, помню Об<руче>ва. Он мало говорил; казалось, всматривался в деятельность издателей «Колокола». Вскоре он сблизился с Огаревым и усердно помогал ему в изложении нужд народа в брошюре под названием: «Что нужно народу». Наружности он был довольно симпатичной, среднего роста, широк в плечах, носил огромные усы, напоминавшие наружность покойного короля Италии Виктора-Эммануила. Об<руче>в прожил довольно долго в Лондоне и в то время относился очень сочувственно к Герцену и Огареву[3].

Позже явились в Лондон сыновья Ростовцева[4]. Старший первый приехал к Герцену. Он был брюнет, высокого роста, очень симпатичной наружности. Он сказал Герцену, что приехал к нему по поручению отца, который, умирая, завещал своим сыновьям съездить в Лондон и сказать Герцену, что он сознает себя виновным в прошлом, и, желая смыть это пятно, трудился день и ночь над проектом освобождения крестьян и надеется, что Герцен тоже отпустит этот грех молодости ввиду его сердечного раскаяния[5]. Герцен был глубоко тронут этим поступком; он это высказал сыну покойного и тепло пожал ему руку[6].

Около этого же времени явился в Лондон один молодой натуралист, Борщев. Он был страстный естествоиспытатель. Кажется, он мало занимался внутренним политическим строем России, но энергично работал в своей сфере и ждал только от науки всех благ для человечества. Он был весь поглощен исследованиями, наукой. В молодости Герцен тоже много и горячо занимался естественными науками и потому, быть может, отнесся с большой симпатией к Борщеву и не переставал говорить, что он был бы счастлив, если б судьба послала его дочери такого мужа, как Борщев. Но Борщеву и Н. А. не суждено было встретиться на жизненном пути[7].

Одно лето мы провели в Торкее (в Девоншире)[8]. Мальвида Мейзенбуг приехала туда из Италии с Ольгой, я из Лондона с Наташей и моей малюткой. Огарев и Герцен только навещали нас, но не могли жить постоянно в Торкее, потому что обстоятельства требовали их присутствия в Лондоне,— дела Вольной русской типографии и прием соотечественников, которые приезжали для свиданья с издателями «Колокола» и привозили много материала для типографии. В это лето Татьяна Петровна Пассек вздумала навестить Герцена[9]. Она приехала в Лондон и телеграфировала ему; тогда он поспешил оставить Торкей и встретил ее на железной дороге. Мы все ей очень обрадовались; она имела какой-то дар привлекать к себе людей своей мягкостью и чисто русским добродушием. К несчастию, она пробыла у нас очень недолго. Скоро Мальвида Мейзенбуг собралась и уехала в Италию с обеими дочерьми Герцена; дорогой они заехали в Ниццу, где была похоронена жена Герцена. Оттуда Наташа (старшая дочь Герцена) написала мне в Лондон, рассказывая о своих воспоминаниях, относящихся до кончины ее матери. Это письмо было напечатано Т. П. Пассек в одном из томов «Из дальних лет»[10].

В бытность Бакунина в Лондоне между приезжими из России помню одного армянина по имени Налбандов. Он был лет тридцати, некрасивый, неловкий, застенчивый, но добрый, неглупый, полный сочувствия ко всему хорошему. Он обладал большими средствами, как заметно было и как мы слышали раньше от его товарища С. Окончив курс, кажется в Московском университете, он путешествовал для своего удовольствия, был в Китае; по возвращении в Россию слышал о «Колоколе», о Герцене и решился побывать в Лондоне. Когда он приехал в первый раз к Александру Ивановичу, он едва мог говорить от замешательства.

Однако потом, обрадованный радушным приемом Герцена, бывал очень часто у нас. Бакунин им окончательно завладел; каждый день ходил с ним по Лондону и настоял, чтоб Налбандов сделал свою фотографическую карточку. Это желание было исполнено очень оригинально: Налбандов снял свою карточку, сидя спиной с газетой в руках. Этот странный человек прожил месяца два в Лондоне, совершенно довольный своим пребыванием в Англии и не принимая никакого участия в делах русской пропаганды. Однако на возвратном пути в Россию он был арестован и посажен в какую-то крепость на востоке, где, вероятно, его позабыли. Он погиб от неосторожности Бакунина, который расхвалил его в письме к кому-то из своих родных в России. Письма Бакунина, конечно, вскрывались на почте. Было дано знать на границу, и Налбандов поплатился за дружбу с Бакуниным. Мы никогда не слыхали более об участи этого вполне хорошего и достойного человека[11]. Грустно признаться, что не один Налбандов пострадал от неосторожности Бакунина. Последний в письмах имел какую-то чисто детскую невоздержанность на язык. Я не говорила еще о том, что до освобождения крестьян приезжали три члена жонда, т. е. подпольного правления в Варшаве; между ними помню имя Демонтовича. Они приезжали затем, чтоб заручиться помощью Герцена[12]. Увидав их, Бакунин начал было говорить о тысячах, которые Герцен и он могут направить куда хотят. Но, слушая Бакунина, они вопросительно смотрели на Герцена, который сказал откровенно, что не располагает никакой материальной силой в России, но что он имеет влияние на некоторое меньшинство своим словом и искренностью.

Сначала Герцен убеждал этих господ оставить все замыслы восстания, говоря, что не будет пользы: «Россия сильна,— говорил Герцен,— Польше с ней не тягаться. Россия идет путем постепенного прогресса; пользуйтесь тем, что она выработает. Ваше восстание ни к чему не поведет, только замедлит или даже повернет вспять ход развития России, а, стало быть, и вашего. Передайте жонду мои слова. В чем же может состоять сближение между нами? — продолжал Герцен.—Жалея Польшу, мы не можем сочувствовать ее аристократическому направлению; освободите крестьян с землею, и у нас будет почва для сближения».

Но посланные жонда молчали или уклончиво говорили, что освобождение крестьян еще не подготовлено в Польше.

Тогда Герцен возразил, что в таком случае не только русские не будут им сочувствовать, но что и польские крестьяне поймут, что им не за что подвергаться опасности, и примкнут в конце концов к русскому правительству, что позже и произошло в действительности.

Так посланники и уехали обратно, не получив от Герцена никаких обещаний[13].

После варшавских волнений и во время мероприятий со стороны русского правительства для усмирения покоренной страны приехал к Герцену русский офицер Потебня, который оставил свой полк, но продолжал жить в Варшаве, где он являлся во всех публичных местах то в статском платье, то в одежде ксендза или монаха. Иногда он сталкивался со своими сослуживцами по полку, но никто не узнавал его. Потебня был блондин, среднего роста, симпатичной наружности. Герцен и Огарев его очень полюбили и уговаривали остаться в Лондоне, но он не согласился. Говорили, что он влюбился в польку и перешел на сторону поляков. Он приезжал несколько раз в Лондон; в последний раз он говорил: «Я не буду стрелять в русских, рука моя не поднимется».— «Оставайтесь с нами»,— возражал Герцен. «Нельзя»,— отвечал он с печальной улыбкой.

Потебня был необыкновенно ласков с детьми. Моя старшая дочь, тогда четырех лет, очень полюбила его. Присутствуя часто при разговорах, но занятая своими игрушками, казалось, она ничего не замечала. Однако мы были раз поражены ее словами, обращенными к Потебне. Это было в последний вечер, проведенный им в Orseth-hous'e. Молодой офицер посадил ее на колени и о чем-то говорил с ней. Вдруг она сказала: «Милый Потебня, не уезжай, останься у нас».— «Нельзя,— отвечал он,— но я скоро приеду, я ведь недалеко еду, на юг Франции».— «О нет,— сказала она,— ты едешь в Польшу, тебя там убьют».

Тогда Герцен вскричал: «Нас не слушаете, послушайте хоть голоса ребенка, который вам делает такое тяжелое предсказание»[14].

Но Потебня был непоколебим в своем решении и уехал в Польшу на другой же день. Русская пуля сразила его вскоре.[15]

ГЛАВА XIII

«Великоросс».— Михайлов.— «Земля и воля».— Экспедиция Бакунина в Швецию.— Приезд Бакуниной в Лондон.— Неизвестный шпион.— Guénot de Mussy.— Отъезд Кельсиева в Тульчу.— Вопрос трех русских.— Гончар.— Отъезд Кельсиевой в Тульчу.— Гарибальди в Лондоне.— Наш праздник.

Возмущение в Варшаве принесло ожидаемые плоды. Началась реакция; из Петербурга приходили неутешительные вести, там появилось общество «Земля и воля». Огарев и Бакунин приняли предложение быть членами этого общества, но Герцен сильно против этого восставал. «Мы стоим отдельно,— говорил он им,— наша программа известна, нам смешно быть членами какого бы то ни было общества». В Петербурге издавались листки под заглавием «Великоросс». Общество было возбуждено, особенно молодежь, везде были обыски. При обыске у Михайлова был найден листок «Великоросса» и улики, доказывавшие, что Михайлов сам печатал эти листки. Он был сослан в Сибирь.

Польское восстание не было еще подавлено, и Бакунин решился принять в нем участие. Это было необходимое последствие всей его многолетней пропаганды в пользу Польши. Хотя он был в высшей степени образованный, начитанный, обладал большими познаниями и блестящим, находчивым умом, великолепным даром слова, но при всем том в нем была детская черта — слабость: жажда революционной деятельности во что бы то ни стало. Так как Герцен постоянно смеялся над его конспираторскими страстишками (как он их называл), то Бакунин перед отъездом из Лондона обратился ко мне с просьбой писать под его диктовку какую-



Н. А. Тучкова-Огарева с дочерью Лелей.
С фотографии, 1862—1863 гг.

то запутанную азбуку, для того чтобы я могла разбирать его телеграммы и сообщать их обоим друзьям. Относясь к нему с большим уважением, я исполнила с готовностью его желание, но, разумеется, все это было совершенно лишнее, и я ни одной шифрованной телеграммы не получала и не разбирала.

В то время поляки везде искали возбудить к себе сочувствие. Наконец они набрали в Лондоне человек восемьдесят волонтеров из эмигрантов всех наций и наняли пароход, который должен был их высадить (не помню где), откуда волонтеры прошли бы в Польшу[2]. Странно было то обстоятельство, что Ж., представитель жонда в Лондоне, и польские эмигранты обратились за наймом парохода именно к той компании, которая вела крупные дела (продажа угля) с Россией. Бакунин отправился с этой экспедицией. Под предлогом, что нужно запастись водой, капитан бросил якорь у шведских берегов. Тут простояли двое суток; на третий день спросили капитана, скоро ли в путь; тогда он объявил, что далее не пойдет. Тут волонтеры подняли шум, гвалт, но ничего не могли сделать с упрямым капитаном. Бакунин отправился в Стокгольм для принесения жалобы на предательство капитана. Он слышал, что брат короля очень образованный и либеральный, и надеялся через его содействие заставить капитана продолжать путь. Однако надежды Бакунина не осуществились. Общество в Стокгольме было очень образованно, горячо сочувствовало всему либеральному. Бакунин во все время был очень хорошо принят братом короля и чествуем обществом как русский агитатор 48-го года. Ему беспрестанно давали обеды, делали для него вечера, пили за его здоровье, радовались счастью его лицезреть, но ничего не помогли относительно капитана. Прочие эмигранты решились на отважный поступок: наняли лодки и продолжали трудный путь. Вдруг поднялась страшная буря, и все эти несчастные смельчаки погибли в бесполезной борьбе с разъяренной стихией.

Пока Бакунин проживал в Швеции, надеясь, что соберут вторую экспедицию, жена его явилась из Сибири в Лондон[3]. В то время меня не было дома; я была в Осборне с детьми по совету доктора Guénot de Mussy, которого мы приглашали для детей после удаления Девиля. Guénot de Mussy оставил Францию в 48-м году, сопровождая бежавшего короля Людовика-Филиппа, и с тех пор делил изгнание Орлеанского дома и был медиком высокопоставленных

изгнанников. Я обязана вечной признательностью этому достойному медику, который, приглашенный мною в важных случаях, всегда вылечивал детей и, кроме того, давал мне для них гигиенические советы, которые были мне необыкновенно полезны. Так и в этом случае. Он советовал недели на три ехать к морю, чтобы укрепить здоровье старшей дочери после скарлатины и спасти меньших от возможной заразы, переменив в то время обои в комнате, где хворала моя дочь. Меньшие действительно не подверглись этой ужасной болезни, которая и нынешней зимой производит опустошение в крестьянских семьях по всей нашей округе. Приезжая во время болезни кого-нибудь из малюток, Guénot de Mussy сказал мне однажды: «Сегодня среда, обыкновенно я провожу этот день в Орлеанском замке, но я пожертвовал своим долгом, чтобы успокоить вас. Мы, медики, видим много матерей, но таких, которые исключительно живут для своих детей, не часто. Вот почему я приехал сегодня и не хотел отложить до другого дня».

Помню, что в то время Герцен мне писал в Осборн о необыкновенном случае, бывшем в нашем доме в мое отсутствие.

Какой-то приятель Василия Ивановича Кельсиева возвращался в Россию и непременно желал взять с собой несколько номеров «Колокола» и портреты Герцена. Последний очень протестовал против этого, говоря, что это безумие, что «Колокол» евреи достают и в России, а портреты— вздор, из-за которого не стоит рисковать. Но Кельсиев настоял, и приятель его унес портреты и «Колокол», говоря, что в его чемодане двойное дно, которое вовсе не заметно.

Позже Герцен получил из Петербурга неподписанное письмо, в котором было сказано, что когда N (приятель Кельсиева) пошел домой с портретами и «Колоколом», один из гостей прошел прямо на телеграфную станцию и донес, что N везет «Колокол» и портреты и чтобы осмотрели двойное дно его чемодана. На границе двойное дно чемодана было тотчас вскрыто, вещи вынуты, а N задержан.

Что сталось с ним впоследствии, неизвестно.

«Кто же был этот неизвестный шпион?» — думал Герцен с своими окружающими. Припоминали всех, кто был в это воскресенье в Orseth-hous'e, и не могли никак добраться до истины. Все были люди почтенные, верные; кто же погубил N — так и осталось тайной навсегда. Было еще

странное происшествие во время моего пребывания у моря. Однажды Герцен сидел за письменным столом, когда Жюль доложил ему, что его спрашивает очень молоденькая и хорошенькая особа.

— Спросите имя, Жюль, ведь я всегда вам говорю,— сказал Герцен несколько с нетерпением.

Жюль пошел и тотчас вернулся с изумленным выражением в лице.

— Eh bien,— сказал Герцен.

— M-me Bacounine! Comment, monsieur, pas possible?*— говорил бессвязно Жюль, вероятно мысленно сравнивая супругов. Герцен слышал, что Бакунин женился в Сибири на дочери тамошнего чиновника-поляка; «не она ли уж явилась», — подумал Герцен. Поправя немного свой туалет, он пошел в гостиную, где увидел очень молоденькую и красивую блондинку в глубоком трауре.

— Я жена Бакунина, где он?— сказала она.— А вы — Герцен?

— Да,— отвечал он,— вашего мужа нет в Лондоне.

— Но где же он?— повторила она.

— Я не имею права вам это открыть.

— Как, жене!— сказала она обидчиво и вся вспыхнула.

— Поговоримте лучше о Бакуниных. Когда вы оставили его братьев, сестер? Как бишь называется их имение? Вы были у них в деревне — как зовут сестер и братьев?.. Я все перезабыл, перепутал...

Бакунина назвала их деревню и вообще отвечала в точности на все вопросы. Бакунины ей помогали достать паспорт и средства на долгий путь.

Это был со стороны Герцена чисто экзамен, сделанный ей, чтобы убедиться, что она не подосланный шпион. Наконец Герцен поверил, что она действительно жена Бакунина, и предложил ей переехать в наш дом и занять пока мою комнату. Позвав мою горничную, Герцен сказал ей, чтобы она служила Бакуниной, что было затруднительно только потому, что Бакунина не знала ни одного слова по-английски.

Но все-таки Герцен не открыл Бакуниной, где находится ее муж, что ее очень оскорбило и оставило в ее душе следы какого-то неприятного чувства против Александра Ивановича.

---

* — Г-жа Бакунина! Неужели? (*франц.*)

Когда я вернулась из Осборна, Бакунина переехала уже на ту квартиру, где жил до отъезда ее муж. Мы с ней хорошо познакомились, но она более всего сошлась с Варварой Тимофеевной Кельсиевой. Она рассказывала последней многое из своей жизни и о своем браке. «Мне гораздо более нравился один молодой доктор,— говорила она,— и, кажется, я ему тоже нравилась, но я предпочла выйти за Бакунина, потому что он герой и всегда был за Польшу. Хотя я родилась и выросла в Сибири, я люблю свое отечество, ношу траур по нем и никогда его не сниму».

В ней было много детского, наивного, но вместе с тем и милого, искреннего. В то время мы получили от Бакунина телеграмму на мое имя такого содержания: «Наталья Алексеевна, поручаю вам мою жену, берегите ее». Впрочем, вскоре он вызвал ее в Швецию, и мы большим обществом проводили ее на железную дорогу, отправляющуюся в Дувр.

Перед отъездом из Лондона Бакунина позвала нас всех обедать и угощала польскими кушаньями, очень вкусными и которым особенно радовались наши друзья-поляки, Чернецкий и Тхоржевский. Последний был большой поклонник женской красоты, и если бы обед был и плох, да хозяйка красива, он все-таки был бы в восторге.

Приезжая в Лондон, русские иногда поминали о маленькой русской колонии, состоящей из выходцев-раскольников, которые оставили Россию, кажется, при Петре III, и приютились в Турецкой империи. Они основались в местечке, названном ими Тульчей. Кажется, они не платили податей Порте, но должны были ей помогать против врагов, исключая России, и имели выбранного начальника, который, хотя и простой крестьянин из некрасовцев, являлся ко двору в Константинополь и носил ордена, пожалованные Оттоманской Портой. В то время начальником некрасовцев был Гончар, о котором я еще буду говорить, потому что познакомилась с ним лично, когда он навестил Герцена в Теддингтоне. Эти рассказы о Тульче сильно заинтересовали Кельсиева. Василий Иванович Кельсиев был человек талантливый и самолюбивый; он скучал в Лондоне без определенного дела, занимаясь только переводами, иногда уроками. Он понял наконец, что Герцен был прав, когда отсоветовал русским эмигрировать из их отечества. Вдруг Тульча показалась издали Кельсиеву обетованной землей. Он решился ехать туда — сначала один, а потом намерен был

вызвать жену свою, безмолвную и преданную спутницу, которую пока оставил с маленькой дочкой Марусей на нашем попечении. Герцен не мог убедить Кельсиева подождать и узнать пообстоятельнее о Тульче. Кельсиев был горячий и упрямый. Раз решившись на что-нибудь, он не допускал никаких возражений. Жена его, кроткая и восхищенная его умом, никогда не опровергала его фантазии. Итак, он уехал в Тульчу[4].

Мы собирались уже оставить Лондон, потому что Герцен находил удобнее и дешевле жить в то время в окрестностях Лондона. В пятнадцати минутах по железной дороге от Лондона было местечко, называемое Теддингтон и состоявшее из длинной улицы, где были раскинуты загородные дома с большими роскошными садами позади домов и частые домики с различными маленькими лавками для удобств занимающих большие дома. Там Герцен нашел довольно просторный дом с большим садом, куда мы и переехали все, также и Варвара Тимофеевна с Марусей[5]. А типографию перевезли в домик тоже с садом, отстоявший от нашего не более как на десять минут ходьбы. Туда перебрался Чернецкий с своей сожительницей, Марианной; детей у них не было.

Наш новый дом имел только одно большое неудобство: за ним была какая-то фабрика, и часто в саду пахло растопленным салом. Но доктор, навестивший нас в Теддингтоне, уверял, что это совершенно безвредно для детей, и потому мы смиренно выносили эту неприятность. Из нашего интимного кружка один Тхоржевский остался в Лондоне, зато он приезжал в Теддингтон по крайней мере два раза в неделю, отчасти по делам, отчасти по привычке к нашему семейству, которого он был как бы необходимым членом. Он имел к Герцену и ко всем нам бесконечную преданность, которую доказал даже после кончины Герцена.

Перед нашим отъездом из Лондона Герцена раз посетили трое русских. Они казались еще очень молоды, едва кончившие курс в каком-то университете. Герцен был так поражен их разговором, что не спросил их имена, а, впрочем, говорил позже, что и не жалел об этом. Вот что он рассказывал о свидании с ними: они начали с того, что рассказывали Герцену, как с польского восстания стали теснить учащихся, как все светлые надежды России мало-помалу померкли. Конечно, Герцен слышал уже обо всем этом; он возразил:

— Что же делать, надо выждать; когда реакция пройдет,

тогда Россия опять будет развиваться и исполнять свои исторические задачи.

— Но это долго,— возразил один из них,— в молодости терпенья мало; мы приехали затем, чтобы слышать ваше мнение: мы хотим пожертвовать собой для блага отечества и для того решились на преступление...

— Не делайте этого,— возразил с жаром Герцен,— это будет бесполезная жертва, и она поведет к еще большей реакции, чем польское восстание. Обещайте мне честно оставить эту мысль; помните, что этим поступком вы принесете только большой вред отечеству. Возьмите любую историю, и вы найдете в ней подтверждение моих слов.

Они сознались в незрелости их мысли и уехали убежденные. Итак, катастрофа 1881 года была отодвинута на восемнадцать лет[6].

В Теддингтоне однажды Герцен получил из Парижа русское письмо на клочке бумаги, очень нечетко и странно написанное, в котором было сказано, что такого-то числа Гончар, начальник некрасовцев[7], будет на дуврском дебаркадере для свидания с Александром Ивановичем, которому Гончар желает здоровья и всех благ земных. Герцен понимал, что Гончару, как раскольнику, будет трудно в нашем доме относительно пищи, и потому велел Жюлю сделать обед преимущественно из свежей рыбы, омаров и пр.

На следующий день в назначенный час Герцен поехал в Лондон на дуврский дебаркадер и там встретил Гончара; они тотчас узнали друг друга[8]. Гончар, может быть, видел фотографические карточки Герцена, но последний не видал, конечно, карточек Гончара.

Вечером они прибыли в Теддингтон. Гончар был небольшого роста, лет пятидесяти на вид, некрасивый, украшенный турецкими орденами. Он был очень сдержан и малоречив, особенно в первый вечер. В его чертах соединялось выражение добродушия и хитрости; можно было поручиться, что этот человек никогда не проговорится. Небольшие серые глаза его были исполнены ума и некоторого лукавства. Он скоро привык к нам и стал разговорчивее. В оборотах его речи было что-то восточное.

Сначала мы посидели немного в гостиной; скоро Огарев вернулся с обычной прогулки; ждали только его появления, чтобы подать обед. Горничная доложила, что суп на столе. Мы перешли в столовую и сели за стол, но бедный Гончар с брезгливостью раскольника посматривал на постные блюда

и наконец решился выпить стакан молока с белым хлебом. В продолжение всего его пребывания в Теддингтоне молоко и хлеб были единственной его пищей. Впрочем, он казался очень равнодушен ко всему материальному. Он не говорил, зачем приехал, даже наедине с Герценом, но последний понял, что Турция начинала теснить некрасовцев, и они желали бы скорее получить поддержку от революционной партии, чем от русского правительства, к которому относились недоверчиво и которого даже побаивались, и желали убедиться, располагает ли партия Герцена какой-нибудь материальной силой, или нет. Конечно, Герцен никого не обманывал и не преувеличивал свое влияние в России, и Гончар мог убедиться, что ничего особенного не могло выйти из его поездки. Но все-таки он был доволен узнать русского, о котором поминалось иногда в газетах всей Европы и которого политические изменения могли выдвинуть легко вперед[9].

Меня, как хозяйку дома, Гончар называл постоянно «старухой», хотя в то время мне не было и тридцати пяти лет. Он был очень дружелюбен ко мне и к детям. Когда он пожелал идти в русскую типографию, я вызвалась показать ему дорогу, и старшая моя дочь побежала за нами. Ей было около пяти лет, но Гончар находил, что она мала, чтоб идти за нами пешком, и нес ее на руках туда и обратно.

Кельсиева много расспрашивала его о своем муже. Гончар хвалил его, но говорил, что он не нашел себе еще дела и принимается то за ту, то за другую работу. «Возьмите меня с Марусей,— сказала Варвара Тимофеевна умоляющим голосом,— ведь это было бы для нас такое необыкновенное счастье; где мне одной доехать до него».

Гончар, добродушный и жалостливый, тотчас согласился взять их с собой.

Помню, что Герцен гладил Марусю по голове и говорил ей ласковые речи, а в голосе его слышны были слезы. Ему жаль было этого бедного, слабого ребенка, которого судьба уносила далеко от нас, не знаю зачем. Обыкновенно Герцен помогал всем; он дал Варваре Тимофеевне нужные деньги на дорогу, и она уехала с Марусей под покровительством Гончара. Она трогательно прощалась с нами и так просто, сердечно благодарила за все.

Жалею, что я утратила письма Варвары Тимофеевны и ее мужа из Тульчи. Бедные! Много они там настрадались и нагляделись на многое. Помню, что Варвара Тимофеевна говорила в одном письме: «Вы не имеете понятия об узкости

здешней жизни; люди (а не дети) ссорятся за склянку, говорят с искаженными лицами о том, чья собственность какая-нибудь склянка!» Позже Василий Иванович писал о своем полном разочаровании. Между прочим, говорил: «Нас человек пять эмигрантов, между которыми и один офицер. Дела нет, существовать трудно; иногда я хожу на поденщину на железную дорогу, работа трудная. Но что тут за интеллигенция? Вечером собрались у одного из товарищей и долго толковали о безвыходном нашем положении, об удручающей тоске. В конце вечера офицер стал просить веревку у одного из нас, ему отвечали грубой шуткой: «Не повеситься ли вздумал?» Не помню, дали ли ему, или нет, но он ушел, а мы и не заметили этого. Поздно, когда пошли домой, один из нас хотел взять палку от собак и для того зашел под сарай, и вдруг закричал: «Идите сюда скорей!» Все бросились к нему. Офицер висел на перекладине и покачивался. Мы разрезали узел и сняли его, но он был уже безжизненный труп! И, подумав, кто-то из нас сказал: «А ведь умно сделал, право!»[10]

Позже Василий Иванович писал мне, описывая последние дни жены, которая во время холеры находилась в больнице с детьми; она умирала чахоткой[11]. «В больнице сжалились над нами,— писал Кельсиев, — и дали нам ширмы, которыми мы отгородились от остальных больных. Жена мне напомнила наше обоюдное обещание не скрывать друг от друга приближение смерти. «Скажи правду,— говорила умирающая,— что со мной, это смерть?» — «Смерть, мой друг, смерть»,— отвечал я». И действительно, ее скоро не стало[12]. За ней последовал мальчик, родившийся в Тульче. Василий Иванович рыл могилы и хоронил своих; никто ему не помогал в его хлопотах об усопших. Дней через пять после смерти матери и Марусю холера унесла. «Если б она осталась жива, я добыл бы шарманку, посадил бы себе на спину Марусю и дошел бы пешком до вас, там бы и оставил ее»,— говорил Василий Иванович в последнем своем письме из Тульчи.

Впоследствии, когда он писал свои замечательные статьи об евреях (я забыла, под каким псевдонимом), Герцен узнал его по слогу[13].

Вскоре после нашего переселения в Теддингтон совершилось событие, о котором говорили во всех газетах. Приглашенный мацциниевской партией, Гарибальди собирался посетить Англию; но прежде чем окончательно ре-

шиться, он письменно спросил английского министра: приятно ли это будет английскому правительству? Последовал благоприятный ответ. Спустя непродолжительное время (кажется, в лето 1863 года)[14] Гарибальди исполнил желание своих друзей. Прежде чем рассказать, что мне известно о пребывании Гарибальди в Лондоне, нужно сказать несколько слов о взаимных отношениях Маццини с Гарибальди, с этим героем, которому удивлялись две части света: Европа и Америка.

В наш век не было личности более любимой и оцененной всеми народами, чем личность этого простого рыбака, родившегося в Ницце. Маццини был старее его; развитой, образованный, начитанный, высокого ума, больших познаний человек, Маццини с 48-го года, еще молодой, но уже фанатик, стоял во главе республиканского движения. Гарибальди, Саффи и другие — все были добровольно подчинены ему; вот что и приучило Маццини никогда не слышать возражений. Однако позже влияние это много потеряло своей силы после многочисленных неудач, когда Маццини был вынужден сам искать себе приют в гостеприимной Англии. Впрочем, он и там не оставался в бездействии. Он беспрерывно посылал людей почти на верную гибель и сам подвергался часто страшной опасности. Он возвращался в свое отечество переодетый то католическим священником, то монахом, то итальянским воином. В кармане он имел постоянно несколько паспортов, чтоб успокоивать тревожную полицию. По этому поводу Маццини раз передавал мне о своих странствиях из Англии в Италию. Маццини было легче, чем кому-либо другому, укрываться, потому что он был одинаково популярен в замках итальянской знати и в самых бедных лачугах. Однажды он находился у весьма бедного крестьянина. Последний сказал Маццини, что вся полиция на ногах и разыскивает его. Боясь навлечь ответственность на этого преданного крестьянина, Маццини живо собрался и вышел в поле. Вскоре он заметил полицейского, который осматривал его продолжительно и наконец подошел к нему:

— Давайте паспорт,— сказал он грубо.

— Паспорт?— повторил Маццини, прикидываясь удивленным,— да ведь я просто гуляю, иду недалеко.

— Все равно, давайте паспорт,— повторил полицейский.

Маццини вынул свой бумажник и, порывшись в нем, подал ему паспорт.

— Хорошо,— сказал полицейский,— дайте еще другой.

— Как другой,— возразил Маццини с удивлением,— разве имеют по два паспорта?

— У вас только один!— воскликнул радостно бдитель порядка.

— Разумеется,— отвечал Маццини.

— Ну, так идите с богом; я думал, что вы Маццини, нам сообщено, что у Маццини всегда три паспорта.

И полицейский спокойно удалился.

В другой раз Маццини находился в замке преданных ему людей. Вдруг хозяйка дома говорит ему, расстроенная, что она только что узнала, что его ищут; подозревают, что он в замке, и хотят окружить замок со всех сторон. Что делать? Они взглянули в окно и увидели, что действительно множество солдат и полицейских расположилось кругом замка.

— У меня явилась внезапно блестящая мысль!— вскричала хозяйка дома, и, обратившись к слуге, она приказала сказать кучеру, чтоб он немедленно заложил лошадей в дорожную карету. Маццини понял, в чем состояла блестящая мысль хозяйки. Он прилепил черную бороду с усами и бакенбардами. Когда карета была подана, Маццини подал руку высокопоставленной соотечественнице и храбро прошел к карете мимо всех полицейских, которые приняли его за мужа уважаемой владелицы замка и почтительно поклонились.

Возвращаясь к Гарибальди, я должна сказать, что всего более удивлялись той простоте, с которой он совершал геройские подвиги, и совершенному его бескорыстию.

Выгнав последнего Бурбона с неаполитанского престола, он мог бы сделаться главой в этом королевстве. Нет, он не берет ничего для себя, он желает только единства Италии и подносит эту двойную корону Виктору-Эммануилу, не прося, не желая никакого вознаграждения. Когда он был ненужен отечеству, он умел, положив оружие, стушеваться в частной жизни; но и там он остается необыкновенным человеком.

Кто не слыхал сотни рассказов, касающихся его отваги и беспредельного самоотвержения? Но тем не менее между ним и Маццини произошло какое-то охлаждение, и их примирению, этому важному событию в революционном мире, было суждено совершиться в нашем доме. Но надо рассказать по порядку.

Маццини желал приезда Гарибальди, потому что полагал, что при популярности последнего ему не трудно будет набрать денег у англичан для совершения дальнейших революционных планов Маццини. Гарибальди согласился на доводы и просьбы маццинистов.

Когда мы прочли в газетах день приезда Гарибальди, Герцен предложил мне ехать с ним в Лондон, чтоб видеть въезд Гарибальди. Огарев не поехал с нами, потому что толпа действовала на него удручающим образом. Действительно, без преувеличения, это был царский въезд! Велик английский народ, когда отдается своим симпатиям! Он, который обыкновенно кажется таким сдержанным, холодным,— в дни этих проявлений, я чувствую, нельзя не любить этот народ более всякого другого.

По улицам, ведущим к дебаркадеру (расстояние в несколько верст), в который должен был прибыть Гарибальди, все было покрыто народом. Экипажи с трудом проезжали, и то шагом. Балконы и окна были убраны коврами и цветами; у колонн, на выступах домов, везде, где было возможно, приютились люди в самых разнообразных позах: иные держались одной рукой и висели над толпой, они чуть не падали. На всех лицах видно было выражение какого-то напряжения, нетерпеливого ожидания. Везде, где можно было, были устроены подмостки, и я стояла тоже на каких-то подмостках, и стояла уже четыре часа, а Гарибальди все не было. Боясь оставить детей на такой неопределенный срок, я вернулась в Теддингтон, а Герцен дождался появления Гарибальди.

ГЛАВА XIV

Приезд Гарибальди в Лондон.— Праздник в Теддингтоне.— Печальные последствия. — Весть о кончине моего дяди Павла Алексеевича Тучкова.— Тяжелое раздумье.— Борнмаус.— Возвращение в Лондон.

Возвратясь домой после восторженной встречи Гарибальди, Герцен был очень взволнован. Хотя он видел не раз многочисленное стечение народа, но никогда он не замечал такого единства и одушевления в выражении всех присутствующих. Вот что я помню из его рассказа.

Он долго еще дожидался. Наконец, сделалось движение в толпе, и вдруг пробежал по ней гул на далекое расстояние: «Едет!»[1] Потом наступила полнейшая тишина.

Все глаза устремились в ту сторону, откуда раздавался далекий звук приближающихся экипажей. Наконец вдали показались коляски и кареты. В первой коляске сидел Гарибальди с кем-то из сопровождающих его. Он был одет, как всегда, в традиционном сером плаще, накинутом сверх красной блузы с морским воротником и широкими рукавами. Блуза была заправлена в панталоны, или, лучше сказать, в широкие шаровары. На шее был платок, завязанный простым узлом (как завязывают всегда матросы) спереди; на голове круглая серая шляпа. Замечательно, что во все время своего пребывания в Лондоне Гарибальди являлся в этом костюме на все обеды и вечера, даваемые в его честь английской чопорной аристократией.

Но возвращаюсь к моему рассказу. При появлении Гарибальди в толпе раздались со всех сторон дружные возгласы: «Vive Garibaldi! Well come in England!»* Многие

[1] «Да здравствует Гарибальди! Добро пожаловать в Англию!» (*англ.*)

бросились к коляске и целовали плащ Гарибальди; другие выпрягли лошадей из коляски. «Зачем это, зачем»,— говорил Гарибальди, но его не слушали. Раздался визг раздавленной в толпе собаки. «Бедная, — сказал Гарибальди,— я причина ее конца, как это досадно».

Вместо лошадей люди с восторгом повезли на себе своего почетного гостя к той гостинице, где он должен был остановиться. Многочисленная толпа провожала его и долго стояла под его окнами, радостно и громко приветствуя его. Гарибальди вышел на балкон и сердечно благодарил. В этот день Герцен едва успел пожать руку Гарибальди, потому что последний, сильно потрясенный неожиданным, горячим приемом англичан, нуждался в совершенном покое. Герцен не видал народного вождя в продолжение нескольких лет и нашел в нем большую перемену[2]. Гарибальди постарел и слегка прихрамывал.

На другой день Герцен и Огарев с утра уехали вместе в Лондон для свидания с Гарибальди. Просидели у него довольно долго, но говорить с ним от души обо всем, что их интересовало, было немыслимо; разговор их ежеминутно прерывался. Гарибальди докладывали, что такие-то желают представиться ему, что он зван к такому-то на обед, на вечер туда-то; подавали ему письма, поздравительные и пригласительные телеграммы из множества городов Англии. И все эти вопросы он должен был обсуждать и на все диктовать ответы своему секретарю, назначать дни и проч. В его свите нашлись распорядители, которые направляли его, куда они хотели (вероятно, Гарибальди по привычке и по мягкости характера не мог освободиться от их влияния). Эти приближенные старались преимущественно, чтоб Гарибальди не отказывался от приглашений аристократии, которая, если верить молве, заметя необыкновенное влечение народа к итальянскому вождю, желала, так сказать, украсть Гарибальди у него, самым обаятельным образом прикрывая это насилие симпатией.

В отеле, где стоял Гарибальди, с утра гремела музыка; дирижировавший оркестром считал за особенное счастье и честь играть для Гарибальди. Каждый день были назначены часы для приема желающих видеть народного героя. Музыка, не умолкавшая ни на минуту, придавала еще более торжественности этим приемам. В дверях стоял швейцар, громко провозглашавший фамилии тех лиц, которые проходили в дверь, чтоб представиться Гарибальди. Послед-

ний привставал с дивана, кланялся — и ему кланялись; иные жали ему руку и обменивались с ним несколькими словами. Он не успевал опуститься на диван, как слышался другой возглас, и другой посетитель занимал место предыдущего.

И так в продолжение почти всего дня; живые китайские тени! Во время представления один англичанин буквально вырвал у Гарибальди палку, на которую последний привык опираться, и заменил ее щегольской тростью в золотой оправе. Напрасно Гарибальди отказывался от обмена, англичанин настоял. Вообще, англичане бывают очень настойчивы, когда решаются завладеть какой-нибудь редкостью. Гарибальди было очень неприятно, и он нехотя подчинился насилию, жалея о своем привычном костыле.

Друзья Гарибальди расположились в другой комнате и тихо беседовали о том, где же и когда состоится явное, официальное свидание Гарибальди с Маццини.

— Ведь это чад, угар!— восклицал вполголоса один из них.

— Бедный Гарибальди, да он мученик здесь; что общего между ним и английской аристократией,— подхватил другой.

Сидя в этом обществе, Герцену пришла мысль звать к себе Гарибальди. У нас бы он, наверное, встретился с Маццини — и произошло бы наконец между ними это явное сближение, которое должно было иметь такое серьезное влияние на сторонников этих народных вождей. Кроме того, Герцен думал, что хорошо, что народный герой, заслуживший такую всеобщую симпатию, посетит дом русского изгнанника.

Едва прием оканчивался, как окружающие Гарибальди напоминали ему, что он уже принял приглашение на обед к такому-то лорду. Гарибальди не возражал, но со вздохом объявлял, что он готов исполнить свое обещание, хотя и чувствовал большую усталость.

Мне очень хотелось взглянуть не на Гарибальди (его я надеялась видеть у нас), а на народные восторги. Они действительно не охладели во все время пребывания Гарибальди в Лондоне. С этой целью я поехала в Лондон с Герценом. Когда Гарибальди ездил по городу, навещая своих друзей или знакомых, толпа, узнав его, бежала за ним до цели его поездки и оставалась там до его выхода[3].

Наконец в одну из своих ежедневных поездок в Лондон

Герцен привел в исполнение свое намерение пригласить Гарибальди отобедать в Теддингтоне. Но в окружающих Гарибальди он встретил большое сопротивление своему плану; республиканская известность Герцена очень мешала в глазах этих тайных реакционеров. Они стали доказывать генералу (как они называли Гарибальди), что он не может успеть быть в Теддингтоне. Генерал приехал всего на пять дней, и всем дням расписание было уже сделано; но на этот раз Гарибальди удивил всех своей настойчивостью. «Герцен давнишний друг,— сказал он,— как бы то ни было, я буду у него».

— Но карета не может поспеть...— начал было один из его клевретов.

— Не беспокойтесь о карете,— возразил Герцен,— я приеду в карете за Гарибальди, и мы вместе отправимся в ней в Теддингтон.

Так это и устроилось вопреки воле распорядителей.

Собираясь в Теддингтон, Гарибальди поручил кому-то из более важных приближенных, не помню кому именно, кажется своему доктору, узнать у английского министра, не будет ли неприятно английскому правительству, если он примет приглашения, присланные ему рабочим классом из разных промышленных городов Англии.

Теперь мне остается рассказать о нашем празднике.

Получив обещание Гарибальди быть непременно в Теддингтоне в условленный день, Герцен отправился к трактирщику Кюну и заказал ему обед к назначенному дню. Этот заказ потребовал много времени, потому что Герцен желал выбрать сам несколько итальянских блюд; а Кюн, необыкновенно польщенный, что выбор Герцена пал именно на него, предлагал и то и другое, был многоречив и вместе так весел и забавен, что Герцен с трудом удержался от смеха и вырвался наконец от Кюна, говоря, что вполне доверяет ему во всем. Потом Герцен заехал к Тхоржевскому, дал ему несколько поручений для нашего обеда и рассказал ему о назначенном дне для праздника в Теддингтоне. Очень радуясь успеху Герцена, Тхоржевский сказал, что приедет в этот день с утра, чтоб помочь в чем-нибудь по дому. Оттуда Герцен заехал к Маццини, рассказал ему подробно о борьбе с окружающими Гарибальди и о своей победе над ними. Маццини был очень доволен, что все так уладилось. Герцен дал ему полное право приглашать из итальянской эмиграции всех, кого он сам желает видеть в Теддингтоне. Маццини

был в очень хорошем расположении духа. Он радовался, что увидит Гарибальди запросто и без всяких официальных помех. Герцен сказал ему, что звал Саффи с женой, встретя их у Гарибальди, и расстался с ним, спеша домой.

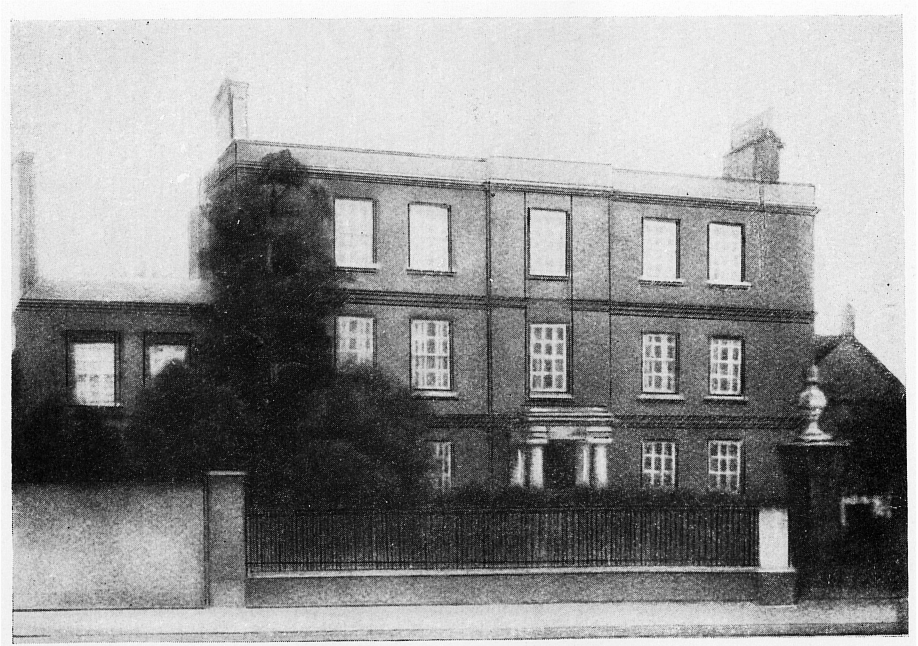
Чернецкий, как ближайший наш сосед, пришел вечером по делам типографии и, услыша весть о нашем обеде, сбегал прийти пораньше с Марианной, которая могла много мне помочь в распоряжениях по хозяйству.

Помню, что в день праздника, взглянув в окно рано поутру, я увидела огромную фуру, ехавшую с железной дороги прямо к нам. Фура была послана Кюном, который отправил к нам все, что нужно было для приготовления обеда у нас: всевозможные провизии, закуску, дессерты, вина, купленные самим Александром Ивановичем, и между которыми помню белую марсалу, долженствовавшую напомнить дорогому гостю о родине его, Ницце, откуда и она была. Разумеется, были присланы и повара и прислуга.

Приглашенные были большею частью итальянцы, англичанки-мацциністки и несколько поляков. Русских, кажется, не было, потому что в то время не было приезжих из России в Лондоне. Какой-то итальянский патриот, кондитер или повар, уже очень старый, просил, как милости, у Герцена позволения приготовить дессерт. Он сделал мороженое: на красной скале был представлен шоколадный конь и на нем всадник, у которого вместо знамени было в руке (лионской работы) изображение Гарибальди, тисненное серым и красным шелком. Вечером, когда мы усталые расходились по своим комнатам, Герцен снял с мороженого изображение Гарибальди и сказал мне: «Спрячь его в воспоминание нашего праздника; мне грустно только, что старших детей не было тут в этот день!»[4]

Этот снимок, несмотря на мои переезды и скитания, сохранился у меня до сих пор.

День праздника был для меня совершенно испорчен одной неприятной случайностью. Встав рано в этот день и напившись наскоро кофе, я присутствовала при завтраке детей, а потом сошла вниз и стала приводить все в порядок: расставляла мебель с горничной, как мне казалось удобнее, убирала забытые детские игрушки и пр. Огарев имел привычку вставать гораздо позже всех в доме и пил кофе один; но обыкновенно, услыша, как он звонит в столовой, чтоб Жюль подал ему горячий кофе, Герцен сходил к нему с «Теймсом» в руке и передавал ему новости, толковал с ним



Дом в Теддингтоне, близ Лондона, где в 1863—1864 гг. жил Герцен.

о типографии и оставался почти во все время с ним. В этот день Герцен ночевал в Лондоне и должен был приехать только в шестом часу с Гарибальди. Поэтому Огарев пил кофе один; моя старшая дочь, тогда пятилетний ребенок, побежала за ним в столовую. При ней случилось то, чего я всегда боялась: Огарев вдруг упал в припадке эпилепсии. Он был в продолжение всей жизни подвержен этим припадкам. Малютка этого никогда не видала; вероятно, испугалась и со слезами побежала искать меня. Ей встретился Жюль; удивленный ее слезами, он стал ее расспрашивать, но она отвечала только, что ей нужно меня, а чтоб он шел скорее в столовую к Огареву. Оказавши последнему нужную помощь, Жюль позвал меня; тогда моя дочь уже не плакала. «Бедный папа,— сказала она мне на ухо,— он упал». Испуганная ее смущенным видом, я взяла ее за руку и ушла с ней в поле, чтоб развлечь и успокоить ее. Мысль о празднике совершенно вылетела у меня из головы. Когда мне показалось, что она спокойна, мы вернулись домой. Гости уже начинали съезжаться; Марианна хлопотала с Жюлем в столовой, расставляя вазы с фруктами, цветы; дети играли в саду.

В шестом часу парная карета подъехала к садовой калитке. Толпа народа, вероятно, из Теддингтона и окрестных мест, узнав, что ждут к нам Гарибальди, спешила за своим любимцем и со всех сторон окружила экипаж. Некоторые лица движением толпы были вытеснены с улицы в садовую калитку. Герцен вышел первый, ему жали руки; одна дама даже поцеловала его в плечо. Когда Гарибальди, опираясь на новую трость, ступил на мостовую, раздался радостный возглас: «Vive Garibaldi, well come!» Гарибальди снял шляпу и кланялся во все стороны; выражение его кроткого лица было исполнено любви и радости; он был из народа и искренно радовался народным восторгам.

Когда Гарибальди в сопровождении Герцена вошел в дом, Маццини вышел ему навстречу, и они дружески пожали друг другу руку. Начались представления некоторых лиц, неизвестных еще Гарибальди; потом обмен приветствий со всеми. Вошли в гостиную, но не успели в ней хорошенько разговориться, как вошел Жюль и доложил, что кушанье подано. Герцен так распорядился потому, что знал, что Гарибальди не мог долго оставаться у нас. За обедом Гарибальди казался очень доволен, даже весел. «Как мне хорошо у вас, Герцен,— говорил он,— тут нет ни этикета, ни стес-

ненья; кругом друзья, итальянцы. Даже в выборе блюд и вин я узнаю внимание друга Герцена; он хотел напомнить мне мою родину». Когда подали марсалу, Гарибальди встал с бокалом в руке. Лицо его просияло присущим ему выражением любви и кротости. «Была печальная эпоха,— сказал он,— когда Италия, скованная, дремала, чувствуя свое бессилие; один человек не спал: этот человек — Маццини, мой учитель; он разбудил нас, я пью за его здоровье!»

Тогда все зашумело, загремело, все встали с своих мест, чокались, говорили с оживлением, у многих были слезы на глазах. То, чего так пламенно желала партия Маццини, совершилось публично. Потом было сказано немало речей, и Россию не забыли. Ей предсказывали блестящую будущность, провозглашали тосты за осуществление всех этих пожеланий. Потом перешли опять в гостиную. Там стояло уже мороженое, о котором я говорила. Старик итальянец, подавший его, схватил руку Гарибальди и прильнул к ней губами. Он крепко жал ее обеими руками и говорил сквозь слезы, что он сражался в Неаполе с Гарибальди. Последний обнял старика и улыбнулся ему своей особенной улыбкой. Старик удалился, сказав, что теперь может спокойно умереть: желание его увидать еще раз Гарибальди исполнилось наконец.

Вдруг меня вызывают в переднюю. Там стоял хозяин нашего дома. «Пожалуйста, представьте меня генералу»,— говорит он мне. Но я не решаюсь, жалею беспокоить дорогого гостя и боюсь неудовольствия Герцена. К счастию, последний выходит в эту минуту, я передаю ему просьбу доктора Clariton'a. Герцен тоже отказывается исполнить докучную просьбу англичанина. Тогда последний отважно входит сам в салон и представляется Гарибальди и, мало того, просит Гарибальди последовать за ним в сад, чтоб посадить там одно деревцо. Герцен не хотел этого допустить, говорил, что у Гарибальди болит нога; но последний уже встал и сказал с добродушной улыбкой доктору Clariton'у, что он готов исполнить его желание. Я проводила Гарибальди в сад, там уже был Clariton, опередивший нас, и деревцо было уже там, и ямка была готова. С тех пор дом наш стал называться «Garibaldi's-house». Посадивши деревцо, Гарибальди вернулся в гостиную и уселся на диване попокойнее; а дамы окружили его, многие из них стали на колени около него, а я стояла, облокотившись на спинку кресла. Хотя я разделяла их восхищение и симпатию

к Гарибальди, но мне не нравилось это коленопреклоненное положение. Это, видимо, стесняло нашего гостя; он просил дам сесть, но они восторженно отвечали, что им хорошо и что они никому не уступят своих мест.

Мне очень памятен разговор, который завязался тогда. Обращаясь к Герцену, Гарибальди сказал: «Мне так хорошо здесь, так отрадно, сегодня особенно, я так счастлив с приезда в Англию; вообще, мне так хорошо, что я боюсь: мне страшно, потому что такое настроение духа уже два раза в моей жизни сменялось на очень мрачное; так было перед кончиной моей жены Аниты, потом перед кончиной матери, вы помните, Герцен? Подумайте, приезжаю в Англию, и вдруг этот неслыханный прием,— и кто же! Английский народ, которого считают холодным; и он так принимал меня, простого рыбака, моряка. Я понимаю, что это незаслуженно; но после этого всего надо ожидать что-нибудь тяжелое, а то человек забылся бы, сошел бы с ума...»

Это предчувствие не обмануло старого вождя. Едва он успел возвратиться в Лондон, как услышал ответ английского министра. Гарибальди позволяли принять четыре или пять приглашений, не более: находили, что здоровье генерала не позволяет ему так много разъезжать, и пр.

— Но я чувствую себя очень хорошо, как никогда,— отвечал удивленный Гарибальди.

— Нет, генерал, вы заблуждаетесь,— возразил знаменитый врач, присланный от министра,— вам хуже,— прибавил он тихо, почтительно наклоняясь.

Гарибальди задумался; помолчав, он сказал:

— Если я не могу принять всех приглашений, я не приму никаких и готов уехать завтра же обратно.

— Нет, нет, этого не желают, надо пробыть еще несколько дней, уехать так поспешно неловко,— сказал медик.

И Гарибальди подчинился этому требованию и согласился остаться. Опять с утра музыка играет, неутомимые лорды и леди представляются; Гарибальди по-прежнему поднимается и кланяется; но его светлое настроение уже отлетело навсегда; он остался на несколько дней, но уж это не Гарибальди, а автомат.

Газеты наполнены известиями о плохом состоянии здоровья героя и о его скором отъезде на Капреру. Английский народ ловко обманут. Бедняк, узнал ли он хоть когда-нибудь, как его любимец, дорогой гость Англии, дорожил именно его любовью, его призывом, и как герою не позво-

лили отдаться этому чувству счастия? Мрачный, задумчивый, Гарибальди оставил Англию, закутанную в непроницаемые туманы, и возвратился на свой маленький остров, облитый теплыми лучами южного солнца. Прощаясь с Герценом на дебаркадере, Гарибальди сказал ему: «Приезжайте ко мне в гости с семьей, это будет отлично». Посещение Гарибальди не принесло всех плодов, ожидаемых маццинистами. Правда, английская аристократия хотела собрать большой капитал и купить землю в Капрере, чтоб весь остров принадлежал Гарибальди и впоследствии его сыновьям. Но старый вождь, благодаря за предложение, отказался от такого царского подарка. «Не в богатстве будет их счастие,— сказал он,— я приму ваше пожертвование, если вы дадите сумму на нужды нашей матери Италии». Но аристократия, боясь революционного духа, отказала наотрез исполнить желание чтимого гостя[5].

Вскоре после отъезда Гарибальди из Англии Герцен, пробегая по обыкновению газеты поутру, сказал мне: «Вот новость! Твой дядя Павел Алексеевич скончался после трехдневной болезни: разрыв сердца»[6].

Эта весть меня очень поразила; и слышать это, как газетную новость! Я не только жалела дядю, которого любила и уважала, и знала, что деятельность его не бесплодна, но я особенно жалела о моем отце, который горячо любил брата и терял в нем друга. Я не могла думать без ужаса об его горе, и вместе с тем, может быть, суеверная мысль овладела мной. Вот смерть постучалась к нам; теперь надо ждать еще и еще удары; так было в нашей семье, так бывает обыкновенно...

В подтверждение горестной вести получены были наконец письма от моего отца и от тети Марии Алексеевны. Она рассказывала о быстром ходе болезни, о том, что после кончины дяди нечем было похоронить его. Так как жалованье было взято вперед, то вдова его, Елизавета Ивановна Тучкова, возвратила деньги в казну. Тогда Москва показала, как она умела ценить службу и попечение своего бескорыстного генерал-губернатора (вероятно, Москва не часто была избалована такими преданными личностями, как дядя). Город собрал большую сумму (не помню цифры), из которой сделали похороны, поставили памятник, а из остатков соорудили памятник нетленный: две стипендии в Московском университете, именуемые тучковскими стипендиями.

Мы были еще в Теддингтоне, когда в августе или в сентябре нас навестил Альфред Таландье, приятель Герцена и горячий его поклонник. Таландье жил в Лондоне уроками музыки, французского языка, литературы и истории. Но он скучал среди праздных французских эмигрантов и стал искать кафедры, тем более, что он женился, имел уже маленькую дочку, а уроков было недостаточно для семейной обстановки. После многих хлопот и, кажется, при содействии Герцена, он получил наконец место преподавателя французского языка и литературы в военном учебном заведении в Сентгерсе. Иногда Таландье брал отпуск и посвящал все свободное время Герцену, которого любил более всех в Лондоне. Помню, что в этот приезд мы гуляли с ним в поле. Дети мои рвали весело ежевику, покрывавшую сплошными ягодами живую городьбу, а мы, ходя по дороге, беседовали о всем, что было в его отсутствие. Я рассказала ему о своей утрате, говорила ему, что не могу преодолеть в себе какого-то чувства опасения за близких, и спросила, что он думает об этом. Вместо того чтоб меня успокоить, Таландье согласился со мной. По его замечаниям, несчастье редко бывает без повторений. Мы повернули и тихо пошли к дому; дети весело бежали за нами. Впоследствии я не раз вспоминала эту прогулку, этот разговор.

После годового пребывания в Теддингтоне мы провели лето у моря, в Борнмаусе. Туда приехала Мальвида фон-Мейзенбуг с дочерьми Герцена. Тут в последний раз в Англии мы собрались все; но об этом пребывании ничего не могу передать, потому что не было ничего общеинтересного. Вкусивши жизни в Италии, ни Мальвида, ни дети не хотели слышать о какой-нибудь перемене. Иногда Герцен ездил к ним в Италию на месяц или на два; его мечта была, чтоб сын его женился на образованной девушке и чтоб сестры могли жить с братом, но этой мечте не суждено было осуществиться.

По возвращении в Лондон Герцен стал подумывать о перенесении типографии в Женеву, т. е. о переезде на континент. С польского восстания «Колокол» не расходился по-прежнему; из России присылалось меньше рукописей, чем бывало. Это, видимо, огорчало Герцена. «Мы стары,— говорил он,—нигилисты считают нас за реакционеров; пора честь знать, пора заняться какой-нибудь большой работой». Но Огарев не унывал. Он думал, что в Швейцарии будет более приезжих русских, и дело типографии опять закипит.

Пока Герцен и Огарев приводили в порядок все дела, готовясь к отъезду, я поехала в Париж с детьми, думая, что туда легче приехать из России моим родным для свидания со мной. Я не боялась парижского климата для детей, полагая, что Париж и Лондон почти одинаковы в санитарном отношении [7].

Тут разразился над моей головой такой удар, от которого я долго не могла опомниться; в продолжение нескольких лет я все переезжала с места на место и нигде не могла успокоиться [8].

ГЛАВА XV

Жизнь в Монпелье.— Переезд из Ниццы в Женеву.— Русское подворье.— Князь Долгоруков.— Серно-Соловьевич младший.— Переезды.— Ницца.— Оболенские.— Эльзас.— Кольмар.— Пансион для девиц.— В Бебленгейме.

Пятнадцатого декабря 1864 года, в полночь, Герцен и Огарев в сопровождении посторонних личностей, на которых я в то время не обратила внимания, усадили меня с дочерью в вагон поезда, который отправлялся из Парижа на юг. Мы ехали в Монпелье. Иные из провожающих поручали нас кондуктору, другие подавали мне рекомендательные письма к докторам и к разным особам.

С тяжелым сердцем, подчиняясь необходимости, я пускалась в дальний путь одна с ребенком; но я знала, что Герцен не мог нас проводить. Он обещался скоро присоединиться к нам в Монпелье. Доктора настаивали, чтобы мы удалились как можно скорее из Парижа, где свирепствовали смертельные горловые болезни. Известный писатель и журналист Эмиль Жирарден потерял тогда, от этой же болезни, единственную дочь, которая была одних лет с моей.

В самом деле, мы вскоре дождались в Монпелье приезда Герцена. Пользовавший нас доктор Coste, увидав Герцена, весь просиял от восхищения. Через несколько дней он повел вечером Герцена в «Cercle démocratique» *; там многие желали с ним познакомиться, горячо жали ему руки, говорили о его сочинениях. Возвратясь домой и рассказывая об этом теплом приеме, Герцен был очень тронут; в самом

* «Демократический клуб» (*франц.*).

деле, во Франции он пользовался большой популярностью как на юге, так и на севере, среди всех классов населения.

Из Монпелье Герцен ездил в Женеву и, встретясь там с сыном, вернулся с ним в Монпелье. Александр Александрович пробыл со мной дня два и возвратился во Флоренцию.

В конце зимы мы поехали в Канн, а оттуда опять в Ниццу. В Канне мы познакомились с доктором Бернатским, нам его рекомендовали в гостинице, когда моя дочь захворала немного. Бернатский оказался большим поклонником Герцена; он был польский эмигрант, пожилых лет, жил во Франции с тридцатого года и не охладел в своем патриотизме, хотя жизнь его проходила более среди французов. Он был женат на вдове, которая умерла, оставив ему своего сына на воспитание. Герцен видел всю эту обстановку; трудно жилось широкой славянской натуре в узкой мещанской жизни французского bourgeois. Бернатский вырастил и наконец женил этого чужого сына, и вся любовь его перешла к внукам.

Весной 1865 года из Ниццы мы переехали прямо на дачу близ Женевы. Дача эта называлась Château de la Boissière и была нанята для нас, по поручению Герцена, одним соотечественником, г-ном Касаткиным, который жил тут же с семейством во флигеле. Château de la Boissière был старинный швейцарский замок с террасами во всех этажах. Внизу были кухня и службы, в первом этаже — большая столовая, гостиная и кабинет, где Герцен писал; из широкого корридора был вход в просторную комнату, занимаемую Огаревым[1]. Наверху были комнаты для всех нас, т. е. для меня с дочерью, для Натальи Герцен и для Мейзенбуг с Ольгой. Последние приехали из Италии в непродолжительном времени после нашего приезда.

Château de la Boissière стоял в большом тенистом саду; перед домом простирался обширный зеленый газон, окаймленный дорожками, которые спускались вниз до огорода; за садом шла большая дорога в Женеву; по этой дороге, несколько раз в день, омнибусы проезжали из Каружа в Женеву, и это составляло большое удобство для обитателей Château de la Boissière.

Вслед за нами и князь Долгоруков оставил Лондон и переселился тоже в Женеву. Он часто бывал у Герцена. Он был умный и самолюбивый, но, как я уже говорила, совсем других воззрений, чем Герцен, а между тем он имел к по-

следнему странное, непонятное, непреодолимое влечение. Горячий, крутой и деспотический нрав князя создавал ему неприятности на каждом шагу за границей, о чем я уже говорила в главе о лондонской жизни.

В Château de la Boissière, как и в Лондоне, случилось довольно курьезное происшествие с князем Долгоруковым. Меня не было дома, но я помню хорошо юмористический рассказ Герцена о князе Долгорукове и о нашем поваре Жюле[2].

Долгоруков, Вырубов и еще какие-то посетители обедали в Château de la Boissière. Когда встали из-за стола, Долгоруков вышел из залы и хотел отдать какое-то приказание нашему повару. Чтобы дойти до кухни, нужно было сойти несколько ступеней; там князь остановился, услыша разговор, в котором упоминалось его имя: Жюль жаловался громко на князя, говоря, что он доставляет гораздо более хлопот прислуге, чем остальные гости. Вместо того чтоб сделать вид, что ничего не слыхал, и позвать Жюля, Петр Владимирович толкнул дверь и, выхватив кинжал из трости, начал бранить Жюля и кричать, замахиваясь на него кинжалом. Жюль не остался в долгу и поднял руку на князя. Слыша страшный шум внизу и зная беспокойный нрав князя, Герцен, позвав с собой Вырубова, поспешно спустился в кухню, чтобы вовремя остановить разгоряченных, готовых вступить в бой. Герцен схватил за руки Петра Владимировича и попросил Вырубова держать Жюля; князя отвели в столовую; последний был в исступлении от бешенства, схватил графин и разбил его вдребезги об стол, потом взял стул и бросил его так, что он разбился на куски. Герцен смотрел на него молча и в недоумении. Князь задыхался от гнева, наконец он произнес: «Нога моя не будет более в этом доме»,— и уехал.

Но ему невозможно было не видать Герцена, и через неделю он прислал последнему письмо, в котором просил выгнать Жюля за его дерзость к нему. Только по исполнении этой просьбы Петр Владимирович может снова бывать в Château de la Boissière.

На это послание Герцен отвечал, что жалеет о случившемся, но не в его правилах увольнять служащего только за дерзость, тем более, что он считает князя более виноватым, чем Жюля, потому что князя нельзя сравнить по образованию и воспитанию с Жюлем, и потому наконец, что князь сам начал всю эту ссору. «Мы, может быть, иногда

жалуемся на слуг в их отсутствие,— писал Герцен,— но у нас другие интересы, и отношения с прислугой не играют первой роли, а что касается до слуг, то они даже часто изливают свое негодование на нас в облегчение всего тяжелого, что выпало на их долю».

Мало-помалу князь начинал успокаиваться. Он велел своему повару, когда встретит на рынке Жюля, позвать последнего к нему. Жюль закупал провизию к обеду, когда повар князя подошел к нему с княжеским поручением. Жюль последовал за ним, поставил в передней свою корзину и вошел, не без удивления, в кабинет князя. Последний, при появлении Жюля, встал и подошел к нему. Отвечая на поклон нашего повара, князь протянул ему руку.

— Je veux, Jules, me réconcilier avec vous, voulez-vous?* — спросил князь.

— Je veux bien, je veux bien, monsieur le prince, — отвечал весело Жюль,— il ne faut pas se facher toujours**.

— Alors buvons à notre réconciliation ***,— сказал князь, наливая два стакана какого-то хорошего красного вина, и подал один стакан Жюлю. Они чокнулись и выпили.

С тех пор князь Долгоруков стал опять ездить к Герцену и никогда не упоминал о прошлом[3].

Когда мы поселились в Женеве, там было много русских, почти все были нигилисты. Последние относились к Герцену крайне враждебно. Большая часть из них помещалась в русском подворье или в русском пансионе г-жи Ш<елгуновой>, той самой, которая несколько лет до нашего переезда на континент приезжала к Герцену в Лондон с мужем и с писателем Михайловым. С тех пор многое в ее жизни изменилось; муж ее давно уехал в Россию, жил где-то в глуши и постоянно писал в журналах[4], а Михайлов был сослан. В год или два разлуки с Михайловым она не только успела забыть его, но и заменить Серно-Соловьевичем младшим[5].

Я потому позволяю себе говорить об отношениях г-жи Ш<елгуновой> с Михайловым и с Серно-Соловьевичем младшим, что это было в то время всем известно и она этого не скрывала. Интерес не в сплетнях, не в интригах, а в последствиях, о которых я хочу рассказать. Серно-Соловь-

---

* — Я хочу, Жюль, помириться с вами, хотите? (*франц.*).

** — Хочу, хочу князь,— отвечал весело Жюль,— не все же сердиться (*франц.*).

*** — В таком случае выпьем за наше примирение (*франц.*).

евич был моложе ее: горячий, ревнивый, вспыльчивый, он имел с г-жой Ш<елгуновой> бурные сцены, и она стала его бояться. Когда у нее родился сын, то, чтобы покончить все отношения с ним, она решилась окрестить ребенка и отослать его на воспитание к мужу своему Ш<елгунову>. Ч. и Л. помогали в этом, по-моему, бесчеловечном деле: не могу понять, какое право имеет мать, не оставляя ребенка у себя, отнять его у отца? С отъезда ребенка Серно-Соловьевич был вне себя, грозил убить г-жу Ш<елгунову>, врывался к ней в комнату и становился в самом деле страшен. «У меня все взяли,— говорил он с отчаянием,— теперь я ничем не дорожу». Не знаю, как г-же Ш<елгуновой> удалось, для своего успокоения, поместить Серно-Соловьевича в дом умалишенных, но это несомненный факт. Вероятно, друзья Серно-Соловьевича помогли. О Пушкин, ты был прав! Легче обороняться от врагов, чем от друзей[6].

Раз перед вечером мы сидели втроем: Огарев, Герцен и я; вдруг дверь быстро отворяется и вбегает человек с растерянным видом, оглядывается по сторонам, потом падает на колени перед Герценом — это Серно-Соловьевич, я узнаю его.

— Встаньте, встаньте, что с вами,— говорит Александр Иванович тронутым голосом.

— Нет, нет, не встану, я виноват перед вами, Александр Иванович, я клеветал на вас, клеветал на вас даже в печати... а все-таки я у вас прошу помощи, вы защитите меня от моих друзей, они опять запрут меня туда, чтоб *ей* было покойно. Вы знаете, я бежал из сумасшедшего дома, и прямо к вам, к врагу.

Герцен и Огарев подняли его, жали ему руки, уверяли его, что не помнят зла, и оставили у нас, но убедительно просили не ходить туда (к г-же Ш<елгуновой>), где все его раздражало.

Они смотрели на него всепрощающим взглядом, и я думала, глядя на них, что так, должно быть, любили и прощали первые христиане.

Серно-Соловьевич любил детей; он охотно гулял по саду и играл с моей маленькой дочерью. В то время Мейзенбуг не приезжала еще с Ольгой, а Наташа была с братом в Берне, у Марии Каспарсвны Рейхель; вдруг мы получаем от них телеграмму:

«Мы остаемся здесь дольше, потому что у вас Серно-Соловьевич».

Герцен отвечал тоже телеграммой: «Как хотите, Натали не боится, он играет в саду с Лизой».

В первое утро, как Серно-Соловьевич ночевал в Château de la Boissière, мы все рано встали и сошлись в столовой; мы надеялись, что Серно-Соловьевич еще мирно отдыхает на свободе, и все-таки немного тревожились; вдруг является Жюль, неся кофе, и говорит:

— Вы мне велели следить за нашим гостем, но, право, за это никто не возьмется. Был тут все время,— продолжал он озабоченно,— а теперь комната пуста, его нет, m-r Herzen!— сказал он с отчаянием.

Подождавши некоторое время, мы начали уже завтракать, но Герцен был мрачен: «Убьет он ее,— говорил он,— а я себе век не прощу, что не следил сам!»

Вдруг послышались шаги в саду и все приближались, и вскоре Серно-Соловьевич вошел почти веселый в столовую. Он извинился и сказал вполголоса Герцену, что ходил купить хоть бумажные воротники и нарукавники, потому что стеснялся без них завтракать с дамой. Мы почувствовали такое облегчение при его появлении, как будто гора с плеч свалилась.

Но через короткое время Серно-Соловьевич не выдержал, ушел туда, где его раздражали до бешенства, и его опять отвезли в психиатрическую больницу.

Впоследствии он вышел оттуда и тогда примкнул к обществу рабочих социалистов; но успехи его в рабочем классе не удовлетворяли его вполне. Он все-таки чувствовал себя оторванным от родной страны и становился все мрачнее. Он много писал о социализме, но скучал и удалялся от всех. Кажется, в третьем томе сочинений Т. П. Пассек, «Из дальних лет», рассказано с моих слов, как Серно-Соловьевич кончил самоубийством, и каким страшным! Он дал себе три смерти: отравился, перерезал жилы и задохся от разожженных углей в жаровне. Настрадался и вышел на волю![7]

Во время нашей жизни в Женеве г-жа Ш<елгунова> была у нас только раза два, и то не как знакомая, а по делам. Эта госпожа была мне очень несимпатична, и я не могла понять, каким образом она имела влияние на несомненно хороших людей. Из ее пансиона приходили разные лица, более все мужчины; однако я вспоминаю одну очень красивую молодую особу, которая вышла замуж за какого-то очень молоденького князя Голицына, чтоб ехать учиться за границу. Она видела Голицына только в церкви и более

никогда. Тогда была мода на подобные браки, ими шутили, а впоследствии рассказывали, что этот необдуманный брак причинил много горя Голицыну: он влюбился в какую-то девушку — и не мог на ней жениться!

Жизнь в Женеве не нравилась Герцену: эмигранты находились в слишком близком расстоянии от него; незанятые, они имели много времени на суды и пересуды; их неудовольствие на Герцена, неудовольствие, в котором главную роль играла зависть к его средствам, крайне раздражало Александра Ивановича, тем более что его здоровье с 1864 года начинало ему изменять.

Château de la Boissière опустел: я искала одиночества и жила в Montreux с моей малюткой и m-ss Turner *, Мейзенбуг возвратилась в Италию с Ольгой, Герцен с одной Наташей остался в Женеве; из Château de la Boissière он переехал в квартиру на Quai du Mont Blanc, а Огарев поселился в Lancy, почти за городом. Жизнь их не налаживалась, работалось плохо, не было того, что англичане называют home **.

Меня тянуло опять в Ниццу к свежим могилам[8]. Герцен очень любил южную природу; вдобавок, в Ницце у него было много дорогих воспоминаний и могила, которую он никогда не забывал. Вскоре, отправивши Наташу в Италию, он проводил нас до Ниццы и пожил сам в ней.

Волей-неволей, я сделала несколько знакомств для моей дочери: ребенку вредна мрачная обстановка. Она играла ежедневно в публичном саду с детьми, знакомилась короче с некоторыми из них; так и мне пришлось познакомиться с двумя, тремя семействами. Я переговорила с учительницей танцевального класса, и она согласилась бывать у меня два раза в неделю, если я наберу ей несколько учениц. Мне было нетрудно из друзей моей дочери набрать желающих учиться танцевать. Дети стали собираться у нас два раза в неделю. Между прочим, мы познакомились тогда с семейством Гарибальди (троюродного брата знаменитого Гарибальди[9]), которого симпатичные жена и дети остались с нами в дружеских отношениях до моего окончательного отъезда в Россию[10].

В это время Герцен был еще в Ницце[11]. В Ницце он писал много, никто ему не мешал, ходил читать газеты к Висконти, после обеда любил гулять вдвоем с моей дочерью,

---

* Молодая англичанка при моей дочери. (*Прим. автора.*)

** уютом, домом (*англ.*).

а иногда брал ее в театр, забавлялся ее выходками, меткими замечаниями, умом. Тогда он писал для «Недели» статьи под названием «Скуки ради» [12]. Его тешило, что он пишет и печатает в России. Он любил читать написанное перед отправкой. Вскоре Герцен был вызван в Женеву; устроив все для Огарева и для типографии, он вернулся в Ниццу и рассказывал с ужасом об одной страшной истории, которая только что случилась в окрестностях Женевы и наделала там много шума.

В Женеву для воспитания детей приехало семейство генерала Оболенского, т. е. г-жа Оболенская с детьми, учителем, гувернанткой [13]. Что произошло между супругами Оболенскими — неизвестно; может быть, они и желали пожить врозь; только два года после приезда г-жи Оболенской в Женеву вдруг рано поутру женевская полиция врывается в загородную виллу ее и идет прямо в комнаты детей. Заметить надо, что между последними был, кажется, пятилетний ребенок. Полиция бесцеремонно их поднимает с постелей и тащит, даже не давая им времени одеться. Услыша шум в детской, г-жа Оболенская в ночном костюме бросается туда, но полицейский грубо хватает ее за руку и держит. Напрасно дети, сонные, испуганные, стараются высвободиться и бежать к матери: полицейские насильно их уводят [14].

Я еще не рассказала о происшествии, которое случилось в Женеве, когда Герцен находился в Ницце: вдруг получается телеграмма, в которой Тхоржевский извещает о том, что Огарев сломал ногу и вызывает Герцена в Женеву как можно скорее. Меня не было дома, когда принесли депешу. Возвратясь домой, я застала Герцена сидящего на стуле в передней в каком-то оцепенении; я крайне удивилась его смущенному виду и необычному месту. Он молча подал мне телеграмму. Пробежав ее глазами, я сказала ему: «Что же, Герцен, надо ехать поскорее — возьмем таблицу поездов, да надо уложить сколько-нибудь белья, надо торопиться».

Но Герцен сидел молча, как будто не слыша ни моих советов, ни моих предложений. «Я чувствую,— сказал он наконец,— что я его больше не увижу».

Однако мне удалось все уложить, убедить Герцена и проводить его на железную дорогу; я чувствовала, что если можно успокоиться, то только там, при виде самого Огарева Нелегкая вещь была в его годы сломать ногу. Герцен писал тогда, с каким страхом и трепетом он подъезжал

к Женеве, как, увидав на вокзале Тхоржевского, он не имел силы спросить: жив ли Огарев? Наконец Тхоржевский сам догадался сказать, что, кажется, ничего опасного нет в положении Николая Платоновича. Доктор Мейер кость вправил и забинтовал ногу. Огарев вынес эту операцию с большим терпением и мужеством.

Я тщетно искала письмо, в котором Герцен описывал мне это несчастное событие. Помню, что в письме говорилось, что Огарев бродил вечером по отдаленным улицам Женевы, и с ним сделался обычный припадок. Придя в себя, он встал, хотел идти, но не заметил канаву, потому что смеркалось, споткнулся и сломал ногу, от боли ему сделалось дурно; полежав, он опять попробовал встать и не мог; тогда он стал звать прохожих, но никто к нему не подошел. Он лежал на лугу, против дома умалишенных. И эта несчастная случайность была причиной, что никто не отозвался на его зов, а, напротив, все спешили удалиться, полагая, что он вышел из психиатрической больницы.

Видя, что никто не идет, Огарев, с большим присутствием духа, вынул из кармана ножик и трубку, разрезал сапог, потом закурил и пролежал так, кажется, до утра. Рано поутру прошел итальянец, знавший Огарева, и, хотя последний лежал не близко от дороги, итальянец стал всматриваться, а Огарев, заметя это, стал звать его. Тогда итальянец подошел и сказал Огареву, что пойдет за каретой и немедленно свезет его домой, что он и сделал не без труда и боли для Огарева.

Но этот печальный эпизод произошел раньше; впоследствии Огарев мог ходить прихрамывая, и в то время как мы собирались в Женеву, об его ноге уже мало говорилось [15].

Собираясь ехать в Эльзас для осмотра школ и пансионов, мы все-таки решили съездить в Швейцарию для свидания с Огаревым и с детьми Герцена. Тогда Тхоржевский нанял старинный замок Prangins, кажется часа полтора от Женевы; туда съехалось в последний раз все наше семейство: я с дочерью, Мейзенбуг с Ольгой и, кажется, с Наташей. Так как последняя часто переезжала, была то со мной, то с Мейзенбуг, то трудно вспомнить, с кем она приехала на этот раз. Позже и Огарев с маленьким Тутсом [16] присоединились к нам. Последним прибыл в Prangins Александр Александрович Герцен с своей молоденькой женой. Он только что женился тогда, и Терезина его не говорила еще по-французски, так что нам всем пришлось объясняться

с ней по-итальянски, что значительно сокращало наши разговоры. Была великолепная осень; Терезина охотно ходила гулять то с Герценом, то со мной.

Вскоре Александр Александрович поехал с женой в Берн повидаться с Марьей Каспаровной Рейхель и старушкой Фогт. Все принимали молодую чету с большим радушием и симпатией. Возвратившись в Prangins, Александр Александрович стал собираться в Берлин для своих занятий. Он ехал туда на всю зиму и с женой; не помню, ездил ли он во Флоренцию до отъезда в Берлин.

Ольга с Мейзенбуг вернулись в Италию, где они уже так привыкли жить, что нигде более им не нравилось.

Герцен собирался тогда в первый раз в Виши.

Огарев возвратился в Женеву с маленьким Тутсом, который всех нас очень забавлял своей живостью и оригинальностью.

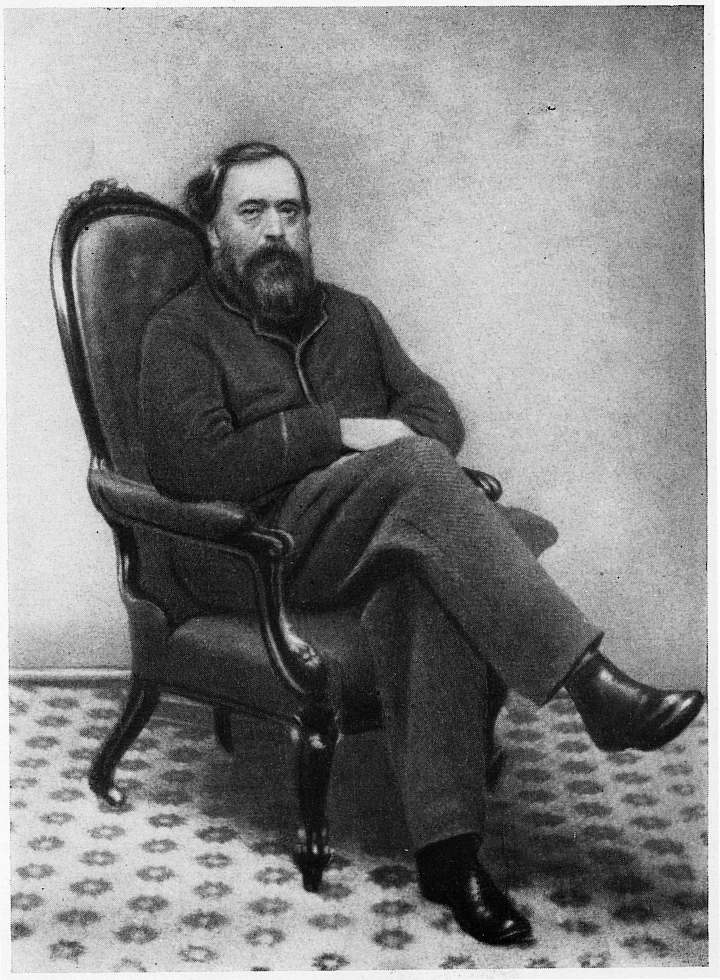
Но прежде чем отправиться в Виши, Герцен поехал с нами в Люцерн. Место это очень живописное, и нам очень нравилось с Наташей, но вскоре Герцена вызвали в Берн к Долгорукову, который, видимо, прощался с жизнью и желал видеть Герцена еще раз. Наташа воспользовалась этим случаем, чтобы побывать у Марьи Каспаровны. Слыша, что Наташа в Берне, Долгоруков просил ее навестить его: он был уже очень болен, безнадежен, и Наташа вынесла тяжелое впечатление из этого свидания.

При князе в то время находился его сын, выписанный им с год тому назад из России.

Тяжелый нрав Долгорукова и тут сказался: больной был постоянно недоволен сыном. Чувствуя себя с каждым днем хуже, он хотел найти виновного в этом ухудшении, подозревал сына и желал, чтобы Герцен был посредником между ними. Роль эта была очень трудная, и Александр Иванович старался уклониться от нее. Самого Долгорукова он знал очень поверхностно, а сына вовсе не знал. Вдобавок, строптивый характер Долгорукова бросался в глаза; нельзя было безусловно верить его подозрениям, а, с другой стороны, сын не внушал Александру Ивановичу ни малейшей симпатии.

Вот что Герцен писал мне в то время[17]:

«Брошюра Серно-Соловьевича[18] до такой степени гадка, что мы не хотим и посылать ее. Заметь, что все здешние кричат против нее (кроме Элпидина и Николадзе), и никто не осмеливается *протестовать*.



Н. П. Огарев.
С фотографии, конец 1860-х гг.

Роман Тургенева[19] очень плох, и он за него получил 5 000 руб. от Каткова, а мы?— презабавно.

Сын Долгорукова приехал. Он умен, в этом нет сомнения.— Но что он? Каков, если в 19 лет отгадать нельзя.

Получила ли Лиза арифметику Лили, а я ей привезу «Voyage»— прелестнейшая шутка. Текст ей надобно объяснить и иные сцены пропускать.

Прощайте.

До сих пор ясно одно из ближайших планов, что без войны ехать в Страсбург легко. Даже, как ты говорила, найти на несколько дней домик близ Огарева, вне Женевы, легко. Далее ясно для меня, что я в Женеве *жить не могу**. До чего мне и это больно[20].

. . . . . .

«Сегодня 6-е и уже 12 часов, а я письма *от 2-го* не имел. От такого дня, который мне дорог двойным горем **.

Я решительно с жизнью здесь сладить не могу, несмотря на твое замечание, что я живу как хотел, причем забыла ты одно, что не вся моя жизнь зависит от порядка и усердия. Конечно, я люблю, чтобы *кухня была в кухне* и шум посуды не мешал бы другим интересам[21]. . . . . .

. . . . . .

На меня находит такая тоска, что я не могу ее скрыть. Куда ни посмотрю — все идет дурно и все исправлять поздно. Огарева из его быта не выведешь. Он согласен на время переехать сюда, но я вижу, что это разрушает его строй. Я заменил бы «Колокол» трехмесячными книжками— и этого нельзя, перед этим нахальством эмигрантов, которые скажут, что мы ослабели под их ударами. В твоих письмах я ищу отдыха — его нет[22].

У Саши фантазия покупать во Флоренции дачи по случаю, на часть своего капитала! Жду подробностей. На две недели не стоит ездить, это вздор».

Возвращаюсь к своим запискам. Кончилось тем, что Долгоруков потребовал от сына, чтобы он немедленно уехал, что Петр Владимирович только тогда будет покоен, когда между ним и сыном будет большое расстояние, и просил

---

* Он не хотел жить в Женеве вследствие грубых столкновений с эмигрантами. (*Прим. автора.*)

** День кончины его жены и похорон моих маленьких детей. (*Прим. автора.*)

Герцена передать это молодому князю. Герцен колебался. Тогда Петр Владимирович сам высказался сыну и очень резко, и жестоко, и, может быть, совсем незаслуженно. Долгоруков позвал Тхоржевского, который по просьбе князя находился тоже при нем, и сказал ему: «Пошлите за нотариусом, я хочу переменить свое завещание, не хочу ничего оставлять сыну; будет с него того, что он получит в России. Я оставил вам 50 000 фр. и все, что в доме ценного: серебро, часы и пр.; теперь хочу вам оставить весь свой капитал, находящийся за границей». Вместо радости князь увидал на лице Тхоржевского смущение: «Зачем, Петр Владимирович, я очень вам благодарен. Зачем менять завещание, это будет несправедливо»,— заговорил он робко.

Князь рассердился не на шутку на Тхоржевского: «Я вам не обязан давать отчет в своих поступках,— вскричал он энергично,— пошлите за нотариусом, я так хочу». Тхоржевский тогда понял, что нельзя раздражать больного, или, верней, умирающего, а между тем он ни за что не хотел перемены в завещании, считая, что капитал должен принадлежать сыну, который лишался наследства только от подозрительности и вспышек отца. Поэтому он решился не входить с князем в споры, а когда Долгоруков вспоминал о нотариусе, Тхоржевский выходил поспешно из комнаты, будто бы для того, чтобы послать за нотариусом, и, разумеется, ничего не предпринимал. Когда Петр Владимирович вспоминал о завещании и спрашивал, почему нотариус так долго не является, Тхоржевский отвечал то, что его дома не было, то, что он обещался скоро прийти; больной успокаивался, а время и болезнь шли своим чередом; другого завещания не было написано благодаря деликатности совершенно бедного Тхоржевского.

Вскоре князь Долгоруков умер[23], но Герцен уехал раньше. Он не мог выносить этой ужасной обстановки подозрений и страданий. Впоследствии Тхоржевский мне говорил, что из серебра и прочих вещей ничего не взял, потому что заметил, что сыну Долгорукова было жаль расстаться с этими фамильными вещами.

Эти годы, т. е. с 1864 года до 1870 года, прошли в таких беспрестанных переездах, что мне трудно вспомнить порядок этих передвижений. Мне кажется, что, отпустивши старшую дочь в Италию (я помню, что ее не было с нами ни в путешествии по Эльзасу, ни впоследствии, когда мы ездили в Голландию и Бельгию), Герцен поехал с нами в Страсбург,

где его ожидал эмигрант поляк, под названием Стелла [24]. Очевидно, это было вымышленное имя; он был полковником на русской службе. Стелла был вполне светский человек, любил рассказывать, умел занимать общество, но о себе он молчал. Он много помогал Герцену осматривать школы,— ясно было, что в Страсбурге можно было устроиться,— но этот город напоминал немецкую Швейцарию, которая не особенно нам нравилась, и потому мы продолжали наш путь к Кольмару, близ которого находится знаменитый пансион в Беблингейме, где человек современной науки, Jean Macé, принимал участие в преподавании. Припоминаю, что Герцен проехал чѐрез Мец и остановился там на день, чтобы дать мне возможность повидаться с старым другом, моей наставницей m-lle Michel. С тех пор как она оставила свое последнее место в доме княгини Трубецкой, m-lle Michel поселилась пансионеркой в большом женском монастыре в Меце. Она была очень уважаема игуменьей и всеми монахинями. Когда я возвращалась из Швейцарии в Лондон с моей маленькой дочкой, я заезжала в Мец для свидания с m-lle Michel, но это было уже давно. Обрадованная возможностью обнять еще раз старого друга, я взяла рано поутру карету и поехала с дочерью в монастырь. Меня встретила привратница Constance, которая с большим огорчением сообщила мне, что m-lle Michel опасно больна и что она так много говорила о желании видеть меня в начале болезни, что едва ли не рискованно будет сказать ей о моем приезде. M-lle Michel лежала в жару. Мне отворили все двери, я могла видеть ее только издали, а она меня вовсе не видала.

Впоследствии, когда она выздоровела совсем, ей сказали о моем посещении. Она была очень огорчена, что не видала меня, и не могла этому вполне верить.

M-lle Michel была далеко недюжинная натура: очень образованная и начитанная, она знала хорошо три языка и литературу, не говоря уже о французской, но и немецкую и английскую. Впоследствии, находясь часто в Италии с семейством княгини Трубецкой, она изучила и итальянский диалект. M-lle Michel было лет 20, когда она приехала в Россию; лица, которым она была рекомендована, поместили ее в Москве гувернанткой к детям богатого немецкого негоцианта Форш. Проживши три или четыре года в этом доме, она поступила гувернанткой к дочерям Екатерины Аркадьевны Столыпиной; там у нее были две ученицы: Мария и

Елизавета Дмитриевны Столыпины. Она пробыла у них около пяти лет и затем, после замужества старшей из Столыпиных, m-lle Michel приняла место в нашей семье, где прожила восемь лет.

M-lle Michel любила рассказывать о том времени, когда жила у Столыпиных: каждую зиму они проводили в Петербурге, а лето в деревне Средникове, близ Москвы. Лермонтов, Михаил Юрьевич, был двоюродным или троюродным братом ее воспитанниц, и потому она часто видала его в доме Екатерины Аркадьевны. Она любила рассказывать о странностях пылкого и горячего характера Михаила Юрьевича, о том, как бабушка Лермонтова просила внука не писать более стихов, живя в постоянных опасениях за него. Внук обещал, чтобы успокоить горячо любимую бабушку, но стал рисовать карикатуры, которые были так похожи и удачны, что наделали много шума в высшем петербургском обществе и больших неприятностей для Лермонтова. Тогда бабушка стала уговаривать его не заниматься более и карикатурами.

— Что же мне делать с собой, когда я не могу так жить, как живут все светские люди? Бабушка просит меня не писать стихотворений и не брать в руки карандаша — не могу, не могу,— говорил он с пылающими глазами.

В доме Столыпиных m-lle Michel очень сблизилась с дочерью поэта Козлова и потом была с ней в постоянной переписке. Козлова из любви к отцу не вышла замуж. Это была даровитая и преданная натура; она посвятила свою жизнь отцу, который был старый, одинокий и, вдобавок, слепой. Из нас двух с сестрой я любила m-lle Michel более, и так страстно в первые годы ее пребывания в нашем доме, что мы обе с ней страдали от этой привязанности; я ревновала ее между прочим к баронессе А. В. Котц, которая в то время жила у нас, чтобы учиться у m-lle Michel французскому языку. Эта девица впоследствии вступила в монастырь и позже сделалась бородинской игуменьей.

В 1848 году мы путешествовали с m-lle Michel, но тогда я и сестра вступили в неприятную фазу освобождения, имели новые, горячие отношения к семейству Герцена. Мы нехорошо, угловато освобождались, и бедной m-lle Michel было не легко перенести эту неприятную для нее эпоху нашего существования, но она и тогда не переставала нас любить. По возвращении в Россию она приняла предложение княгини Трубецкой. Это было последнее ее место. С кня-

гиней она никогда не сближалась, находя ее светской, холодной натурой. Тут у нее были две ученицы; меньшую из них она горячо любила и со всеми своими русскими воспитанницами оставалась во всю жизнь в дружбе и в переписке, но, мне кажется, я была любимая из всех; хотя мнения, взгляды наши были совсем противоположны, но, не разделяя их, m-lle Michel уважала во мне мою искренность, любила и жалела за тяжелую, роковую судьбу.

Хотя m-lle Michel почти никогда не оставляла своего монастыря, но, по странной случайности, я видела ее два раза в Париже в самые тяжелые дни для меня: в 1864 году, когда скончались мои малютки, и в 1870 году, в кратковременную болезнь Герцена[25].

Продолжаю свой рассказ: из Меца мы поехали в Кольмар; это было летом. Герцен, уже больной, очень страдал от жары и бессонницы; аппетита у него не было, может быть от невыносимой духоты. В Кольмаре мы расспросили о расстоянии до Бебленгейма и решились остаться в Кольмаре дня два для отдыха.

Герцен ходил в музей в Кольмаре и брал с собой мою дочь. Когда привратник подал Герцену книгу, где посетители записывали свои имена, Герцен написал свое имя. Привратник машинально следил за пером и читал имя и, вероятно, ожидал какую-нибудь невозможную для французского произношения русскую фамилию; вдруг он взглянул на Герцена и сказал:

— Как, неужели я вижу г-на Герцена, того, который занимался изданием русской газеты в Лондоне? Изгнанника? Неужели?.

— Да, это я,— отвечал Герцен с своей обычной приветливостью.

— Так позвольте мне пожать вашу руку, я так счастлив! — говорил привратник с одушевлением.

— Неужели вы слышали о нашей деятельности? — спросил не без удивления Герцен.

— Вас везде знают и любят во Франции, — возразил тот, — сегодня счастливый для меня день, я его не забуду.

Герцен возвратился домой в светлом расположении: его глубоко трогало всякое изъявление симпатии, особенно со стороны простых людей, тем более что относительно России было какое-то отчуждение с 62-го года: тут были недоразумения с одной стороны, с другой — клеветы. Герцен не принимал никакого участия в польских делах, как это оши-

бочно говорили Т. П. Пассек и другие; он имел к Польше то отношение, которое имел Гладстон к Ирландии, а все же никто не может упрекнуть Гладстона в нелюбви или непонимании Англии *.

На другой день, часов в десять утра, мы взяли коляску и поехали в Беблингейм[26]. Здание пансиона занимает большое пространство, перед пансионом были цветники, а позади виднелся большой сад, за ним прекрасный парк. Нас подвезли к крыльцу того корпуса, в котором помещалась директриса, или, лучше сказать, основательница этого заведения. Теперь не могу припомнить ее имени; очевидно, что это была особенно развитая женщина, понявшая так широко задачу женского воспитания. Нас провели в маленькую приемную; там Герцен вынул свою визитную карточку и попросил горничную передать ее директрисе и сказать ей, что, если возможно, мы желали бы осмотреть пансион.

Директриса не заставила нас долго ждать. Это была худощавая брюнетка, средних лет, небольшого роста, приветливая, живая. В ней виден был тот тип предприимчивых француженок, которые, раз задавшись какой-нибудь целью, неуклонно идут к ней и достигают ее. Эта госпожа NN была с нами очень любезна. Она тотчас спросила Герцена: «Вы тот г-н Герцен, который долго жил в Англии, известный эмигрант?»

— Да, я эмигрант и жил лет двенадцать в Лондоне,— отвечал Герцен.

— О, так позвольте мне послать поскорее за господином Jean Macé, он будет так рад, так счастлив, как я! Какой необыкновенный случай!

И тотчас горничная была отправлена за Jean Macé. Последний вскоре явился сам. Он был небольшого роста, с русыми волосами. Физиономия его ничего не выражала особенного; часто я уже испытывала это странное чувство разочарования или недовольства при виде человека, о котором много слышала,— так было и на этот раз. Я уверена, что Герцен никогда не производил этого впечатления ни на кого; напротив, всегда было заметно, что новый посетитель

---

* Я считаю долгом при каждом случае восстановлять истину, потому что боюсь, чтобы клевета не прошла за истину и чтобы чистый и преданный характер Герцена не исказился в глазах потомства. Я — последний очевидец этой эпохи и потому обязана подтвердить, что знаю верно. (*Прим. автора.*)

был очарован, потрясен, что все ожидаемое им тонуло в том ярком свете, который разливал Герцен на все окружающее.

Масé был в восторге от появления Герцена в Бебленгейме. Он не мог сдержать себя, и восторг этот выразился так ярко, что Герцену было неловко слушать его.

— Нет,— сказал Jean Масé директрисе, на которую он имел, несомненно, большое влияние,— уж вы простите меня, а заниматься сегодня с девицами я не могу; ну, я просто не в состоянии, все мои способности поглощены нашим дорогим посетителем: ведь вы знаете, m-r Herzen не только принадлежит России, он принадлежит Европе, всему мыслящему миру — это звезда! Боже мой, да какое счастье, что вам вздумалось заглянуть в Бебленгейм! Вот сюрприз! — Вы меня амнистировали? — обратился он опять к директрисе с улыбкой, полной уверенности.

Директриса была согласна с ним во всем, он это знал и обращался с ней, как со старым другом.

— Я разделяю ваш восторг,— отвечала она с улыбкой,— и сама не хочу потерять ни минуты из этого знаменательного дня. Так как m-r Jean Масé преподает девицам не один предмет, то это будет для них праздник, и они будут вспоминать, по какому необыкновенному случаю почти не занимались сегодня.

— Ну, отлично,— сказал Jean Масé,— так уж потрудитесь им это объявить, да не забудьте, что наши милые гости на целый день с нами. Да, m-r Herzen,— обратился он к Александру Ивановичу с приветливой улыбкой,— наша глубокоуважаемая директриса покажет вам пансион во всех подробностях, но с одним условием, чтобы вы были наши на целый день, до позднего вечера. Мы вас не отпустим — согласны?

Герцен отвечал, что после такого радушного приема он не имеет ни права, ни желания отказать, и остался охотно с нами, и как этот день быстро промелькнул!

ГЛАВА XVI

Jean Macé.— Опять в Ницце.— Поездка в Голландию и Бельгию.— Виктор Гюго.— Театр.— Приглашение.— Возвращение в Женеву.— Нечаев. —В Париже.— Последнее свидание с С. П. Боткиным.— Поспешный отъезд во Флоренцию.— Возвращение в Париж.

В маленькую приемную подали вкусный завтрак, за которым мы просидели с час в оживленных разговорах, потом нам предложили идти в сад. Герцен шел с Масé, а я с директрисой. Мы часто встречали разные группы институток, весело разгуливающих по саду и парку; при встрече с нами они почтительно приседали. Директриса предложила моей дочери идти забавляться с детьми и поручила ее проходившим мимо воспитанницам. Все девицы имели здоровые и веселые лица и поглядывали на нас с понятным любопытством, так как мы были причиной этого импровизированного праздника. Но вскоре дочь моя возвратилась, соскучившись по нас и особенно по Герцену между совершенно незнакомыми личностями. Тогда директриса предложила мне осмотреть здание пансиона; все было в большом порядке и необыкновенной чистоте. Дортуары были обширные, высокие и разделялись на классы; у каждого дортуара была своя уборная, довольно узкая, но длинная, с мраморным бассейном во всю длину комнаты и со множеством кранов для умыванья воспитанниц; были и ванны и души, но я уже не помню, где они помещались; в одной проходной комнате меня поразило множество деревянных башмаков; директриса объяснила мне, что зимой воспитанницы ходят в них по двору. В материальном и гигиеническом отношении ничего не оставалось желать, в преподавание входили науки, которые прежде не преподавались девицам. На вид так

мало сулящий Масé был замечательным преподавателем и педагогом и, кроме того, по словам директрисы, был очень уважаем и любим всеми воспитанницами. Герцен был поражен мнениями Масé о науке вообще, и о преподавании, и о женском развитии.

Вообще, в этом пансионе не было обыкновенной формалистики и холода, он скорей имел семейный характер. Но одно обстоятельство помешало нам воспользоваться для моей дочери этим прекрасным учреждением: не принимали ни в каком случае полупансионерок, а мы боялись сразу оторвать ее от дорогих ей людей.

Вечером, часов в восемь, мы обедали с директрисой и Масé. Последний много расспрашивал Герцена о французской эмиграции, живущей в Лондоне, но Герцен мало мог ему сообщить о ней. Александр Иванович видал, хотя не часто, Луи Блана, который сам держался в стороне от эмигрантов. Ледрю-Роллена Герцен встречал только на митингах [1]. Александр Иванович считал его благородным, но очень недалеким человеком. Ближе всех французских эмигрантов стоял к Герцену Альфред Таландье, впоследствии депутат (левый) собрания. Герцен очень любил несчастного и даровитого Бартелеми, который до нашего приезда в Лондон так трагически погиб [2]. В своих записках Герцен подробно рассказал об его деле. Ожидать чего-нибудь от французской эмиграции было немыслимо; она стояла много ниже итальянской, у которой был умный и смелый вождь — Маццини.

Масé много говорил о современной жизни Франции, о том, что в царствование Наполеона III все науки, не исключая и военной, пришли в упадок.

— Что будет с нами, если вспыхнет война? — восклицал Масé.

— Но в девятнадцатом столетии войне бы не следовало быть,— возражал Герцен.

— Это правда,— говорил Масé,— а между тем чувствуется в воздухе какая-то близость катастрофы: нельзя это объяснить, но что-то есть...

— Вы правы,— сказал Герцен,— цесаризм Наполеона начинает выдыхаться, в последнее время я все жду чего-то, а, пожалуй, умру не дождавшись.

За обедом пили за счастие и преуспеяние России, пили за здоровье Герцена и желали, чтобы он еще раз посетил Бебленгейм.

Говоря о России, Герцен сказал: «Нам в России не до бойны теперь, нам надо работать над внутренним своим благоустройством, но когда-нибудь Константинополь будет русской столицей, это очевидно для меня. Что туркам делать в Европе?»

Впрочем, это была постоянная мысль Александра Ивановича, что, окрепнувши, Россия прогонит в Азию турок, которые не могут не притеснять окружающих народов, и возьмет Константинополь.

Обед давно был окончен, но разговоры длились. Поздно вечером мы простились с нашими радушными амфитрионами и отправились обратно в Кольмар. На другой день Герцен встретил в café или на улице одного из братьев Шофур *, с которым он был уже знаком. Шофур был очень рад видеть Герцена и звал его к ним обедать в имение близ города. В этом имении они жили все вместе, т. е. несколько братьев с семьями и отец их. Один из братьев был в параличе; он очень желал видеть Герцена, но не мог никуда ездить, а потому, когда брат, вернувшись из Кольмара, рассказал о встрече с Герценом, больной брат воскликнул с большим сожалением: «И ты его не пригласил, и я его не увижу!»

— Пригласил, и ты его увидишь завтра же,— отвечал весело другой Шофур.

На следующий день Герцен поехал в имение Шофуров[3]. Семейство это было очень богато и очень уважаемо в Кольмаре и в окрестностях за демократический образ мыслей из поколения в поколение и за необыкновенную доброту и готовность помогать нуждающимся. Возвратясь поздно вечером в Кольмар, Герцен на другой день рассказывал, что его многое приятно поразило у Шофуров. Имение было превосходно устроено; прелестный парк простирался далеко от дома, к которому вела аллея старых, тенистых деревьев; перед домом с обеих сторон газоны и цветники, на террасах бездна цветов в вазах. Дом был большой, просторный, светлый, в новом вкусе и со всеми возможными удобствами и комфортом. Герцена встретил сам хозяин, отец Шофур. После первых приветствий он рассказал Герцену о разговоре сыновей своих о нем и добавил: «Видеть вас — давнишнее желание нас всех и особенно моего больного сына. Если вы ничего не имеете против этого, я поведу вас прежде

---

* Кажется, у них двойная фамилия, но я не могу ее вспомнить (*Прим. автора.*)

всего к нему в сад, он будет так рад. Бедный, его возят в кресле, он не может ходить». Они пошли в сад, углубились в одну из аллей парка и вскоре увидали издали кресло на колесах, медленно катившееся по другой аллее. Они повернули в ту сторону и пошли навстречу больному, который казался очень рад встрече с Герценом и разговаривал с ним во всю дорогу к дому. Герцен говорил, что его страдальческое и печальное лицо осветилось прекрасной улыбкой при виде того, которого он давно желал видеть. Отец Шофур был в восторге от радости сына. Позже все семейные, в том числе и дамы — дочери, жены братьев Шофур, собрались на террасе, и кресло с больным вкатили туда же. В этом большом семейном собрании поражало необыкновенное единство. Любовь и уважение просвечивали в каждой фразе, которой они обменивались между собой.

— Мне говорили,— сказал Герцен,— что они известны тем, что особенно дружны между собой, но я никогда не встречал семьи, которая бы так поражала своей гармонией; и какая большая семья! Там есть внуки и внучки почти взрослые, и дети всех возрастов, и матери еще нестарые.

Обед был великолепный, вся обстановка показывала, что Шофуры очень богатые люди. После обеда дамы вышли на террасу, а мужчины продолжали сидеть за столом и беседовать, более всего о политике. Они простились с Герценом с горячими изъявлениями симпатии и благодарили его за проведенный с ними день, который,— говорили они,— никогда не изгладится из их памяти.

Вообще, из поездки в Эльзас и Лотарингию Герцен вынес такое впечатление: Эльзас, он находил, с грустью смотрит на направление Франции, на пустые разглагольствования депутатов в палате, и Эльзас не имел и немецких симпатий,— заметно было, что его привлекала отдельная, самостоятельная жизнь, вроде той, которой пользуется Швейцария. После Седана в этих несчастных провинциях от неожиданного, изумительного для нашего времени насилия, развился сильнейший патриотизм к Франции. Первый раз, как Герцен ездил в Виши, он был там один и, кажется, в эту поездку и познакомился с одним из Шофуров. Второй раз, когда он осенью собрался в Виши, он говорил нам с Наташей, что если найдет возможным, то попросит нас приезжать и возьмет для нас комнаты. Получив известие, что он ждет нас, мы поехали втроем в Виши и остались там до конца его лечения. Но порядки лечебного заведения мне

казались очень странными: с утра ничего не подавалось, больные рано отправлялись пить воды и прогуливаться, в десять часов утра был обед в пять блюд и в шесть часов вечера такой же обед. Мне было очень трудно привыкнуть есть мясо с утра, и потому мне одной подавали кофе вместо утреннего обеда. Каждый день за столом подавалась свежая земляника, хотя это было в конце октября; ее называли fraises de quatre saisons *. Больных было очень мало, потому что сезон лечения оканчивался, зато мы много гуляли и читали в Виши; и время проходило незаметно. Но позже наступило ненастье, и тогда мы рады были расстаться с ним.

Помню, что, оставивши Виши, мы доехали все вместе до Лиона. С тех пор как мы переехали на континент, Лион был часто на нашем перепутье; Герцен любил этот старинный, мрачный город; мы останавливались неизменно в «Hôtel de l'Europe». Гостиница эта была очень просторная, нам отводили несколько комнат подряд, в стороне, где не было слышно шума приезжающих и уезжающих; вдобавок, хозяйка, средних лет женщина, с приветливым лицом, заслужила расположение Герцена своей неизменной симпатией к моей дочери. Герцен любил отдыхать в Лионе неделю, иногда и больше. Он ходил ежедневно в разные кофейни читать газеты; ему очень нравился в Лионе рабочий класс, более серьезный и осмысленный, чем в других городах. В этот раз помню, что мы осматривали шелковые фабрики, или, лучше сказать, ткацкие, где рабочие ткали бархат и другие шелковые материи. Герцен с ними разговаривал, конечно, более всего об их производстве.

На этот раз мы скоро расстались; Герцен поехал в Женеву для свидания с Огаревым и для решения разных вопросов по типографии. Мы проводили его на железную дорогу и смотрели вслед поезду, уносившему его от нас, а мы трое продолжали наш путь, цель которого была Ницца. В Марселе мы остановились в пансионе, вблизи моря. Не помню, кто нам рекомендовал этот прелестный уголок. Впрочем, пансион был будто для нас одних, посторонних никого. Здание пансиона было одноэтажное и невысокое, но зато была длинная терраса, где по утрам мы пили кофе. С террасы был великолепный вид на море, из-за утреннего тумана виднелся остров и на нем башни, здания которых своими белыми очертаниями резко выделялись на синеве моря и

* земляника четырех времен года (*франц.*).

неба, когда утренний туман начинал опускаться. Мы заглядывались на эту живую картину и жалели, что Герцена нет уже с нами. Он так понимал и любил природу.

Если и в Герцене допустить пятно, как на солнце, то это должно быть его непонимание музыки. Он любил оркестровую музыку, любил духовую музыку, любил слушать народные гимны, исполненные массами, как Марсельеза или итальянский гимн, восхищался «Камаринской», которую исполнил оркестр в Лондоне под руководством князя Ю. Голицына, любил духовную музыку, исполненную хором, но, вообще, Гайдн, великий своей простотой, разнообразный и гениальный Бетховен, Моцарт и другие отцы музыкальной науки были не совсем доступны Герцену, не поглощали его внимания. Это меня немало удивляло и составляло резкую противоположность с Огаревым.

Мы прожили с неделю в Марселе, уходя с террасы только, чтобы лечь спать. Наши комнатки были рядом и казались нам какими-то уютными кельями. Мы писали в Женеву и говорили, как нам здесь понравилось, но все-таки нам пришлось проститься с нашей террасой и продолжать путь в Ниццу. Здесь мы остановились в «Pension Suisse», содержатель которой был из немецкой Швейцарии; мы взяли две комнаты рядом в rez-de-chaussée* и наверху маленькую комнатку для нашей горничной Елизабеты. Как приехали, мы живо разложили все из своих чемоданов; потом моя дочь стала просить меня идти с ней к m-me Garibaldi повидаться с ее маленькой приятельницей Нини, которая была года на три моложе ее. Вероятно, моей дочери хотелось тоже поскорей увидать нашу Елизабету, жившую в нашем отсутствии у m-me Garibaldi. Хотя очень усталая, я согласилась на ее неотступные просьбы и звала Наташу сопутствовать нам, но она отвечала, что не пойдет с нами, потому что у нее болит голова. Вся семья Герцена подвержена мигрени, поэтому я и не обратила большого внимания на головную боль Наташи и отправилась с дочерью к m-me Garibaldi. Мы просидели там часа два и вернулись в сопровождении Нини и ее матери. Видя, что Наташа в постели, m-me Garibaldi нас скоро оставила. На другое утро я ожидала видеть Наташу совсем здоровою, как бывало после мигрени, но, к моему изумлению, она не могла встать, ее все еще тошнило.

---

* нижнем этаже (*франц.*).

Тогда я послала за доктором Scoffier. Он был уже старик, опытный, спокойный, молчаливый. Внимательно осмотрев больную, пощупав пульс, он нашел, что у нее сильный жар, а против тошноты велел дать сельтерскую воду с лимоном; это удивительно помогло. Жажда ее томила, он позволил ей пить стоявшую во льду воду маленькими глотками и с уверенностью говорил, что она от этого не простудится. Очевидно, он выжидал, лекарств не давал. На третий день высыпала мелкая и частая сыпь, которую Scoffier признал за оспу. Пришлось удалить мою дочь в четвертый этаж с Елизабетой, завтрак ей подавали в комнату, а обедать она ходила одна за table d'hôte и садилась возле англичанки, с которой мы несколько познакомились. Эта госпожа немало удивлялась спокойствию, с которым ребенок подчинился небывалому положению для него. Несколько раз в день моя дочь подходила к нашей двери, спрашивая позволения идти к m-me Garibaldi или гулять с Елизабетой. В то время я радовалась, что оспа к ней не пристала; оставить же Наташу на попечение посторонних я не имела духа; но эта жертва была нелегка. Потом болезнь Наташи пошла своим чередом, но я знала по одному случаю, бывшему еще в России, что оспа и для больших очень опасна: иногда сыпь скрывается, и тогда развивается водянка и наступает неизбежный конец; поэтому я написала Герцену подробно о болезни и говорила, что мне страшно быть одной с Наташей в такую опасную болезнь[4]. Я следила только, чтобы больная не простудилась и не срывала оспин; я не отходила от нее и ночью, хотя добрая старушка m-me Rocca во многом мне помогала. M-me Rocca была вдова, жена бывшего повара Герцена, когда он жил еще в 1850 году в Ницце со всем семейством. Семья Rocca сохранила и до сих пор преданность к Герценам. Когда Наташа была маленькая, она играла с Marie Rocca, дочерью повара, в замужестве Piacentini. Молодая женщина пришла к матери и также для того, чтобы повидаться с больной. В это время Наташа была вся покрыта почерневшими оспинами, лицо ее распухло и было также все в оспинах; оно походило скорей на маску, чем на лицо Наташи. M-me Marie весело шутила с больной над ее безобразием, вдруг схватила со стола маленькое зеркало и, по просьбе больной, показала ей, какая она стала страшная. Не знаю, как я не сумела этого предупредить, но я думаю, что неосторожный поступок Marie оставил тяжелое, неизгладимое впечатление в больной. Она стала задумчива и мол-

чалива; может быть, ей представилось, что она останется навсегда такая безобразная.

Впоследствии доктора говорили, что процесс сыпи простирался и на мозг. Наконец столь желанный помощник явился: приехал Александр Иванович. Действительно, для моей дочери было гораздо лучше с ним: Герцен гулял с ней и даже брал ее к Висконти, куда ходил читать газеты. Но мужчины понимают уход за больными совсем не так, как мы: Герцен изменил по-своему наш порядок, уговорил меня ходить обедать за talbe d'hôte, уверяя, что Наташа может ненадолго оставаться и с m-me Rocca. Скоро Наташе позволено было встать, и мы уже мечтали о ее прогулках с вуалем на лице и сначала в экипаже; но произошла для нас большая неожиданность.

Хозяин гостиницы был очень предупредителен; говорил, что, как швейцарец, он гордится Герценом и почитает за особенное счастие его пребывание в «Pension Suisse», и прочие любезности. И вдруг мы узнаем, что он сдал наши комнаты другому семейству, в котором был ребенок и которое должно было завтра же поселиться в наших комнатах. Мы пришли в ужас и за это семейство и за Наташу. Герцен пошел объясняться с хозяином, но не добился толку.

— Вы отдали наши комнаты, не предупреждая нас? — сказал Герцен.

— Да, но ведь вы всегда в Ницце нанимаете дом, так я поэтому...

— Но как же нам больную перевозить в нежилой дом, ведь это опасно...— говорил Герцен, стараясь быть покойным.

— О, это ничего,— отвечал хладнокровно хозяин.

Герцен махнул рукой на эту неприятную случайность и отправился приискивать скорей дом. Про хозяина он только сказал: «Он или дурак, или злодей».

К счастию, скоро нашелся очень милый домик в саду, недалеко от центра, но, конечно, дом был сыр, потому что стоял запертый в саду. Герцен его тотчас нанял. Мы уложили наскоро наши пожитки и переехали с Наташей: затопили везде камины, чтобы хоть сколько-нибудь вытянуть сырость. Дом был каменный. Ночью все камины потухли, кроме того, который находился в Наташиной комнате: боясь за нее и не желая будить мою изнеженную Елизабету, я всю ночь поддерживала огонь и для того ходила

раза два вниз, в чуланчик, где сложены были дрова. Наташа, к счастию, не простудилась, а, напротив, стала быстро поправляться, а я к утру почувствовала озноб и слегла сама. Герцен послал за Scoffier, который сказал, что, вероятно, и у меня будет оспа, только в легкой форме. И меня приговорили почти здоровую лежать в постели; на третий день в самом деле высыпала редкая оспа на лице и на руках. Опять мне пришлось разлучиться с дочерью. Когда я стала вставать, то могла ее видеть только из окна, играющую в саду.

Marie Piacentini рассказывала нам про свою мать, m-me Rocca, что когда старушка возвратилась от нас домой, то с ней сделался тоже сильный жар, а лицо было красное, но сыпи не последовало, вероятно — от ее преклонных лет.

Несмотря на все жертвы и предосторожности, моя дочь тоже была в оспе, но болезнь была ничтожная,— и так мы все перехворали, за исключением Герцена, которого томил недуг гораздо серьезнее[5].

Наташа была совершенно здорова, только лицо ее не имело прежней ровности и белизны; но это, по словам доктора, должно было пройти постепенно. Наташа, видимо, скучала; общество в Ницце не представляло никакого интереса, а я только искала общества детей для моей дочери. Герцен решился отвезти Наташу во Флоренцию, чем очень ее обрадовал.

После возвращения Герцена из Италии, нужно было переехать куда-нибудь, потому что в Ницце становилось невыносимо жарко. Герцену давно хотелось побывать в Голландии и Бельгии; мы решились ехать с той же целью, как и в предыдущую поездку, т. е. найти город, где возможно было бы жить для Герцена и были бы хорошие школы и пансионы, где бы моя дочь могла быть полупансионеркой. Если бы все это могло найтись в Брюсселе, было бы очень удобно для Герцена, потому что Париж был бы недалек, а Герцен имел к нему большое влечение: парижские демократы, люди науки и литературы — все были так исполнены симпатии к нему, что ему легко было бы устроить себе среду, которая бы во многом удовлетворяла его. В этом отношении Париж лучше Лондона; в последнем иностранец испытывает то же чувство, которое всякому довелось испытать на море: простор, ширь, безбрежность — и полнейшее одиночество...

Не буду описывать нашего путешествия по Голландии и Бельгии, потому что эти страны слишком известны. Относительно школ Брюссель оказался богаче всех других городов, посещенных нами. Мы наняли квартиру помесячно и уже поговаривали о долгом пребывании в этом городе, но вдруг произошла высылка какого-то лица. Бельгии так же, как и французской Швейцарии, постоянно мерещатся французские штыки, оккупация... поэтому она бывает чересчур осторожна. Впрочем, я не могу припомнить подробности дела; только знаю, что оно имело решающее влияние на Герцена, и он после этого происшествия более не думал поселиться тут.

По делам печатания различных переводов его статей Александр Иванович уезжал один в Париж ненадолго, а я оставалась с дочерью в Брюсселе.

Возвратившись из Парижа, Герцен случайно узнал, что Виктор Гюго тоже находится в Брюсселе. Не помню, пошел ли Герцен к нему, или встретился с ним, только он мне рассказывал об этом свидании, потому что первый раз в жизни видел Виктора Гюго [6].

С 1864 года я никогда не бывала в театре; Герцен всегда ходил один или с моей дочерью, стараясь выбрать для нее подходящую пьесу. Не могу вспомнить, какую пьесу давали на этот раз; только помню, что Герцен особенно желал, чтоб я шла тоже с ними, и я подчинилась этому настоятельному требованию. Александр Иванович взял внизу три места; нам было очень хорошо и видно и слышно. Виктор Гюго был тоже в театре, в бельэтаже, в директорской ложе. Увидав Герцена, он послал своих сыновей звать нас в ложу; мы очень благодарили, но не пошли. Однако Виктор Гюго послал сыновей вторично за нами; тогда Герцен мне сказал по-русски: «Нечего делать, надо идти». Вот как мне пришлось совсем неожиданно познакомиться с таким выдающимся писателем, как Виктор Гюго. Признаться, несмотря на мое смущение, я была рада этому случаю, но вместе боялась разочарования, что отчасти и сбылось. Вероятно, я была слишком требовательна: хотела видеть в глазах, в чертах все, что меня поразило, потрясло в сочинениях.

Виктор Гюго был очень любезен. В ложе, кроме его сыновей, находилась бывшая гувернантка его детей, которая сопровождала его повсюду. Через несколько дней Виктор Гюго прислал Герцену приглашение на обед и звал и меня с дочерью. В половине седьмого мы отправились пеш-

ком к Виктору Гюго. Много испытавший тяжелых утрат, поэт-эмигрант тогда еще сравнительно был счастлив,— вскоре после нашего свиданья он схоронил обоих сыновей.

Обед был очень оживлен; Виктор Гюго рассказывал о своем многолетнем пребывании на острове Джерси, где через несколько лет ему удалось ввести вместо денег употребление расписок, чем он мечтал ослабить со временем непобедимую до сих пор силу денег: он давал, например, расписки булочнику (за хлеб); тот, нуждаясь в сапогах, передавал расписку сапожнику, а последний передавал ее за товар и т. д. без всяких затруднений.

— Ведь нам не деньги нужны, а разные предметы торговли,— говорил с жаром Виктор Гюго.

В конце обеда разговорились о России. Я сказала, что Виктора Гюго давно знают и чтут в России, не менее, чем в других странах, и вспомнила, что мой отец был одним из самых горячих его почитателей, между прочим, за то, что Гюго первый говорил печатно об уничтожении смертной казни, и это тогда, когда никто об этом не помышлял. Мой отец был прав, говоря, что Виктор Гюго должен быть весьма гуманен. Я думаю, и теперь в Джерси помнят, как поэт-изгнанник собирал на рождественскую елку бедных детей, наслаждался их неподдельным восторгом и, кроме лакомств, раздавал им еще и игрушки.

Простившись с Виктором Гюго накануне нашего отъезда, мы отправились опять в Женеву. Там на этот раз Герцена ожидали разные неприятности: Бакунин и Нечаев были у Огарева и уговаривали последнего присоединиться к ним, чтоб требовать от Герцена бахметьевские деньги, или *фонд*. Эти неотступные просьбы раздражали и тревожили Герцена. Вдобавок, его огорчало, что эти господа так легко завладели волей Огарева.

Собираясь почти ежедневно у Огарева, они много толковали и не могли столковаться. Рассказывая мне об этих недоразумениях, Александр Иванович сказал мне печально: «Когда я восстаю против безумного употребления этих денег на мнимое спасение каких-то личностей в России, а мне кажется, напротив, что они послужат к бóльшей гибели личностей в России, потому что эти господа ужасно неосторожны,— ну, когда я протестую против всего этого, Огарев мне отвечает: «Но ведь деньги даны под нашу общую расписку, Александр, а я признаю полезным их употребление, как говорят Бакунин и Нечаев». Что же на это сказать,

ведь это правда, я сам виноват во всем, не хотел брать их один».

Размышляя обо всем вышесказанном, я напала на счастливую мысль, которую тотчас же сообщила Герцену. Он ее одобрил и поступил по моему совету; вот в чем она заключалась: следовало разделить фонд по 10 тысяч фр. с Огаревым и выдавать из его части, когда он ни потребует, но другую половину употребить по мнению исключительно одного Герцена. Последний желал этими деньгами расширить русскую типографию, чтоб со временем новые русские эмигранты воспользовались ею, и в то же время ему хотелось дать работу Чернецкому, который не был способен ни на какое другое дело. Чернецкому грозила голодная смерть, и это очень тревожило гуманного и больного Александра Ивановича. Но моя мысль осуществилась только наполовину. Огарев употребил быстро свою часть, и опять приставал, чтоб Герцен дал еще денег по какому-то экстренному случаю; но Александр Иванович не дал ничего из своей части: она была цела, когда он скончался. Впоследствии, после кончины своего отца, Александр Александрович сказал мне:

— Мы честные люди, Натали, и мне не хочется держать у себя эти деньги. Много ли их осталось у нас, ты лучше знаешь эти дела?*

— Десять тысяч франков,— отвечала я.

— Скажи твое мнение,— сказал он.

— Твой отец желал употребить эти деньги на расширение типографии, но так как ты не станешь заниматься русской пропагандой, пожалуй — лучше отдать эти деньги Огареву с Бакуниным; тогда на тебе не будет никакой личной ответственности за них,— сказала я.

Александр Александрович поехал в Женеву и вручил деньги, как было сказано выше. Вскоре бедный Чернецкий занемог очень серьезно и не мог более работать: у него сделался рак в желудке. Одна Наталья Александровна (дочь Герцена) поддерживала его до конца.

Возвращаюсь к моему рассказу о пребывании Герцена в Женеве. На другой день соглашения их с Огаревым относительно фонда Нечаев должен был прийти к Герцену за получением чека. Я была в кабинете Герцена, где он занимался, когда явился Нечаев. Это был молодой человек

* В семье Герцена мы все говорили друг другу «ты». (*Прим. автора.*)

среднего роста, с мелкими чертами лица, с темными короткими волосами и низким лбом. Небольшие, черные, огненные глаза были, при входе его, устремлены на Герцена. Он был очень сдержан и мало говорил. По словам Герцена, поклонившись сухо, он как-то неловко и неохотно протянул руку Александру Ивановичу. Потом я вышла, оставив их вдвоем. Редко кто-нибудь был так антипатичен Герцену, как Нечаев. Александр Иванович находил, что во взгляде последнего есть что-то суровое и дикое. Может быть, на него повлиял рассказ об убийстве Иванова в Петровской академии, о котором в это время много говорили[7].

Пожив некоторое время в Женеве, мы поехали в Париж: французские приятели Герцена и Вырубов очень желали, чтобы он поселился в Париже со всем семейством. Так как последний не вмешивался в иностранную агитацию, то казалось, почему бы Наполеону теснить его, тем более что в эту эпоху (в конце 1869) как-то почва начинала колебаться под ногами смелого захватчика. Я вспоминаю разные события, которые нас поразили в наш последний приезд в Париж: история убийства В. Нуара Петром Бонапартом, которое наделало тогда много шума и вызвало манифестацию во время похорон В. Нуара[8]. Потом вспоминаю не менее поразительный факт: Наполеон председательствовал в камере депутатов и, взглянув на Анри Рошфора, чуть заметно улыбнулся. Рошфор обиделся и сказал громко: «Зачем этот человек улыбается, глядя на меня,— что во мне смешного? По-моему, гораздо смешнее тот, кто во время охоты кладет на свою шляпу кусок свежего мяса, чтобы орел парил над ним». Наполеон был недоволен его выбором, и потому улыбка выразила досаду, презрение к выбору, но ответ Рошфора был, несомненно, услышан многими и нанес большой вред Наполеону. Насмешкой можно убить, особенно во Франции.

На этот раз мы застали в Париже Сергея Петровича Боткина с семейством, чему Герцен очень обрадовался. Сергей Петрович надеялся тогда, что сильный организм Герцена победит диабет; вышло наоборот; но доктора не могут предвидеть роковые случайности, которые имеют иногда такое решающее влияние на болезнь.

Мы остановились в Grand Hôtel, в четвертом этаже. Сергей Петрович был, как всегда, мил и внимателен. В его прекрасной улыбке было столько света и доброты, что я находила его красивым; особенно приятно поражало меня,

когда он останавливал взгляд на Герцене с такой неподдельной любовью и восторгом. Герцен был тоже очень рад свиданью с ним; ему даже становилось лучше при Сергее Петровиче, потому что последний имел ободряющее влияние на Александра Ивановича.

Мы сидели дома в небольшом салоне и почти весело разговаривали о том, что, вероятно, можно будет здесь устроиться; для Наташи здесь будет подходящее и даже интересное общество; относительно образования нечего было и говорить: тут можно было найти все желаемое... Вдруг подали письмо Герцену от его сына, в котором последний говорил, что Наташа очень занемогла, и что он просит отца немедленно ехать во Флоренцию.

Зная здоровую комплекцию дочери, Герцен недоумевал и послал телеграмму, спрашивая, какая болезнь. В непродолжительном времени он получил ответ и молча подал мне телеграмму, потом сказал: «Лучше бы я узнал, что ее нет на свете». В телеграмме было сказано: «Dérangement des facultés intellectuelles»*. Ужасная неосторожность как будто парализовала его. Он сидел в каком-то оцепенении, бледный, и не думал собираться: очевидно, нельзя было отпустить его одного, да и сам он сказал: «Лучше поедем все вместе»[9].

Я живо уложила самые необходимые вещи, и мы, расплатившись в отеле и не успев проститься ни с кем в Париже, поехали наудачу на дебаркадер южных дорог,— там поезда ходят часто. Нам пришлось не ждать, а спешить: Герцен взял билеты, я сдала чемоданы, а моя дочь, тогда лет десяти, взяла в буфете съестные припасы на дорогу и сумела сама расплатиться. Мы ехали безостановочно. Это было очень тяжело для нас всех, но в особенности для ребенка. Как будто понимая важную причину нашей поспешности, моя дочь не жаловалась и с нетерпением желала доехать, чтоб увидать Наташу. Герцен ехал почти всю дорогу молча; внутренняя тревога, нетерпение виднелись на его измученном лице. Наконец мы добрались до Генуи; оттуда Герцен продолжал путь уже один, а мне велел подождать в Генуе вести от него: если больная в состоянии ехать, то Герцен привезет ее сюда и вместе вернемся в Париж; если же доктор предпишет ей пробыть еще некоторое время во Флоренции, то Герцен нам даст знать, и мы отправимся тоже

---

* «Расстройство умственных способностей» (*франц.*).

во Флоренцию. Через день, по предъявлении карточки, нам в почтамте подали письмо и телеграмму. В телеграмме было только сказано — ждать письма, а в письме говорилось, чтоб мы ехали немедленно во Флоренцию. Так мы и сделали. Когда поезд остановился на флорентийском дебаркадере, мы увидали Александра Ивановича с сыном. Они приехали нас встретить, взяли коляску и повезли нас прямо на дачу, купленную Александром Александровичем. Там мы увидали сначала жену Александра Александровича и его первенца, прелестного ребенка, которым Герцен был восхищен; потом мы пошли к больной, она нам очень обрадовалась,— однако Герцен нашел, что для больной и для нас всех удобнее жить теперь в городе, и потому на другой день мы переехали с больной в Hôtel de France, где Герцен взял уже несколько комнат в ожидании нас. Мы провели в этом отеле около двух недель; опять пришлось расстаться с моей дочерью, которую временно я поместила с Мейзенбуг и Ольгой, а сама осталась с Наташей. Из семьи, кроме меня, некому было ходить за ней. Мейзенбуг не бралась ходить за больной, а доверять больную чужим мне не хотелось. Правда, по совету доктора, до моего приезда пригласили одну знакомую, мисс Raymond (негритянку), но она, несмотря на свою опытность, только раздражала больную. Тут нужна была не опытность, а любовь.

Как бы то ни было, мой уход увенчался успехом: больная стала поправляться; мало-помалу сон и аппетит возвращались, но я напрасно искала выражения радости на мрачном лице Герцена: он был убит и не имел силы ни верить, ни надеяться на выздоровление любимой дочери. Он жил в каком-то болезненном выжидании. Доктор позволил больной оставить Флоренцию и ехать с нами в Париж, где есть всякие медицинские пособия еще в больших размерах, чем во Флоренции. С нами ехали моя дочь и Наташа. Александр Александрович один нас провожал. Почему-то Ольга и Мейзенбуг не простились с нами.

На этот раз мы не торопились. Напротив, мы ехали очень медленно. Дорогой мы останавливались несколько раз для отдыха. В Генуе провели день; помню, что тогда Герцен писал во Флоренцию и сказал мне: «Что же сказать Ольге с Мальвидой: звать в Париж или уж оставить их в Италии? Им так не хочется отсюда ехать!» Но я советовала их звать, потому что я видела, что еще нужна больной, а Герцен, так сильно расстроенный и потрясенный, не был в состоянии

заниматься моей дочерью. С больной тоже он не мог быть: ее расстроенные нервы не выносили звучного голоса ее отца.

Мы останавливались еще в Ницце дня на два, потом в Лионе отдыхали и наконец доехали до Парижа, где мы поместились в Pension Rovigau. Но оказалось, что и в пансионе неудобно для больной, а потому в ежедневных прогулках по городу Герцен высматривал просторную квартиру, где бы все могли хорошо поместиться. Вскоре после нашего приезда явились Ольга с Мальвидой, хотя, в сущности, очень неохотно. Им жаль было променять Флоренцию на Париж. Тогда мы переехали в большую квартиру на улице Rivoli, Pavillon Rohan, № 172,— в страшный роковой дом, где тот, который, забывая себя, думал и жил для родины, для человечества, для семьи, вдруг в какие-нибудь пять дней болезни оставил нас навсегда.

ГЛАВА XVII

Болезнь и кончина А. И. Герцена

В 1870 году, января 17-го, в пятницу, во время завтрака, пришел Тургенев[1]. О нем доложили Герцену, которому это показалось неприятным, может быть потому, что во время завтрака. Я поняла это и сказала, что пойду принять его и потом приведу его к Александру Ивановичу. Тургенев был очень весел и мил. Герцен оживился. Затем все перешли в салон, куда пришел Евгений Иванович Рагозин. Вскоре Герцен вызвал Тургенева в свою комнату, где, поговоривши с ним несколько минут, рассказал ему о статье, вышедшей против него в «Голосе»[2]. Тургенев шутил и говорил, что он пишет теперь по-немецки, но что, когда переводят то, что он напишет, Краевский возвращает перевод, потому что не довольно дурно переведено[3]. Они много смеялись. Уходя, Тургенев спросил Герцена:

— Ты бываешь дома по вечерам?

— Всегда,— отвечал Герцен.

— Ну так завтра вечером я приду к тебе.

Перед обедом все разошлись, а Герцен вместе со мной вышел на улицу. Мне нужно было зайти проститься с Рагозиными. Мы вышли вместе в последний раз. Герцен желал, чтоб я съездила к Левицким, и сказал: «Возьми карету и поезжай, это будет скорее».

Мне показалось, что до Рагозиных близко. Я пошла пешком и действительно потеряла много времени, засиделась у Рагозиных и домой вернулась только к обеду.

Первый вопрос Герцена был:

— Была ли ты у Левицких?

— Не успела, завтра непременно поеду,— отвечала я.

Вечером, как всегда, Герцен вышел газету читать. Когда он возвратился, все разошлись по своим комнатам; было около десяти часов с половиной.

— Все наши уже разошлись,— сказал он,— а мне что-то нехорошо, все колет бок. Я для того и прошелся, чтоб расходиться, да не помогло. Пора ложиться спать.

— Дай мне немного коньяку,— сказал он мне.

Я подала ему рюмку коньяку. Он выпил и сказал, что озноб стал проходить.

— Теперь хотелось бы покурить,— сказал он,— но так дрожу, что не могу набить трубки.

— А я разве не сумею,— сказала я; взяла трубку, вычистила ее, продула, набила, даже закурила сама и подала ему. Он остался очень доволен и попросил меня идти спать.

Я прилегла одетая на свою кровать; предчувствие, внутренняя тревога не дали мне заснуть; ночью я слышала, что он стонет и ворочается. Я беспрестанно вставала, подходила к его двери, а иногда входила в его комнату. Увидя меня, он жаловался, что не может спать: бок сильно болел, и ноги ломило нестерпимо. Я разбудила нашу горничную Ерминию (итальянку) и с ее помощью сделала горчичники и приложила сначала к боку, потом к одной ноге, но к другой он ни за что не согласился. Боль стала уменьшаться. Затем начались у него сильный жар и бред. Он то говорил громко, то стонал. Встревоженная его положением, я едва могла дождаться утра. Как только стало рассветать, я зашла к Ольге и попросила ее немедленно отнести телеграмму к Шарко. Последний должен был приехать к нам в пять часов вечера, но, видя положение Александра Ивановича, я боялась так долго ждать. Шарко приехал в одиннадцать часов утра. Герцен ему чрезвычайно обрадовался и рассказал все, что чувствовал. Шарко попросил меня подержать больному руки, а сам стал выслушивать ему грудь.

— До сих пор ничего не слышно,— сказал Шарко.— Впрочем, в первые дни болезни оскультация мало дает. Надобно тотчас же поставить ему вантузы,— сказал доктор,— и давать прописанный мною сироп. Я заеду опять вечером.

Александру Ивановичу поставили банки, как велел Шарко, а вечером он опять приехал.

Между прочим, доктору рассказали о старой болезни Герцена, но Шарко перебил рассказ, сказавши:

— Да у меня у самого диабет. Это мы будем после лечить.

Однако попросил приготовить ему склянку для анализа. С этого дня постоянно брал по две склянки в день.

На другое утро Шарко опять выслушивал грудь больного и сказал:

— Надобно опять ставить вам вантузы. У вас воспаление в левом легком, но это неважно. Воспалено самое маленькое место.

Мне было очень больно, что он сказал это при Герцене, потому что я вспомнила, что Александр Иванович говорил всегда:

— Я умру или параличом, или воспалением легких.

Все изумились неосторожности Шарко.

С этого дня больной каждый раз спрашивал Шарко:

— Воспаление распространяется?

Шарко отвечал:

— Нисколько.

В понедельник больному стало немного лучше: ему поставили шпанскую мушку. Она не натянула. Доктор велел поставить другую, повыше. Та немного соскользнула и произвела мелкие пузырьки. Снимать мушку мне помогал Вырубов. Наташа, хотя и была со мной днем, но, сама больная еще, мало могла помогать. Ольга же редко входила к отцу; она находилась с Мейзенбуг в комнатах, отдаленных от комнаты Александра Ивановича. Когда Вырубов сел подле больного, он нашел его очень взволнованным. Александр Иванович сказал ему:

— Меня держат, точно помешанного, не сообщают никаких новостей. Скажите мне, отдали ли Рошфора под суд или нет?

— Отдали,— отвечал Вырубов.

— Сколько голосов?

— Двести тридцать четыре.

— Против скольких?

— Против тридцати четырех [4].

Жар спадал. На следующее утро доктор остался очень доволен. Несмотря на это, провожая его, я спросила:

— Не вызвать ли сына Герцена?

— Если понадобится, я вам скажу, но до сих пор не вижу ни малейшей опасности.

Во вторник доктор нашел, что жар усилился, а когда приехал вечером, то сказал:

— Сегодня вечером даже пульсация не возвысилась. Это шаг вперед. Если завтра пойдет так же, то я положительно скажу вам цифру.

У всех нас воскресла надежда.

Ночью на среду в Герцене возобновилось такое сильное волнение, что он не мог найти себе места, сердился и беспрестанно говорил:

— Боль нестерпимая, боль нестерпимая.

Послали за Шарко, по-видимому, он не ждал этой перемены и, осмотревши больного, сказал:

— Теперь можете выписать сына: если он приедет понапрасну, то может только порадоваться с нами.

Затем велел поставить больному на грудь шпанскую мушку и уехал.

Герцен согласился с трудом и говорил:

— Они делают все вздор.

Тогда я была не в состоянии размышлять и критиковать действия Шарко, у меня хватало только сил исполнять его приказания, теперь же я вполне согласна с Александром Ивановичем...

На следующий день Шарко приехал в полдень.

Жар не убавлялся. Герцен дышал тяжело.

С того времени, как доктор узнал, что у Александра Ивановича диабет, он велел ему давать, как можно чаще, бульон, кофе, крепкий чай, малину; но, несмотря ни на что, силы больного падали. Спать он не мог. Ему стали давать пилюли против бессонницы. Он засыпал, но отрывочно, и во сне бредил.

Вырубов, который был у нас во время второго визита Шарко, по отъезде доктора сказал:

— Не лучше ли сделать консультацию?

И когда приехал Шарко, то спросил у него, не полезно ли это будет. Шарко отвечал:

— Я понимаю ваше положение, но не нахожу надобности в консультации. В болезни господина Герцена нет ничего спорного. У него поражено левое легкое, и если сил хватит снова refaire* то, что уже исчезло, тогда он спасен. Сверх всего, я должен сказать вам, что диабет очень мешает. В пять часов я опять буду у вас, располагайте мной. Против консультации ничего не имею.

---

* восстановить (*франц.*).

По отъезде Шарко Вырубов предложил привести друга своего, доктора Du Brisé, на консультацию. Шарко мы долго ждали; наконец он приехал и, по-видимому, был не совсем доволен присутствием другого доктора. Надо было предупредить больного, я вышла к нему и сказала с веселым видом:

— Здесь Вырубов со своим другом Du Brisé. Я бы очень желала знать его мнение о твоем лечении.

— Но что скажет Шарко? — спросил Герцен.

— Шарко согласен.

— В таком случае, скажи Вырубову, что я очень рад, а Шарко, что очень огорчен.

Он мог еще шутить.

Доктора вошли.

Вырубов помог мне поддержать больного, и Du Brisé выслушал его грудь, и когда, по моей просьбе, хотел сказать при больном несколько утешительных слов, Шарко перебил его и стал утверждать, что большая часть легкого поражена. Я не допустила его продолжать и, обратясь к Герцену, сказала:

— Monsieur Шарко находит, что у тебя меньше жара.

Сказав это, я взглянула на Шарко так энергично, что он подтвердил мои слова.

Герцену прописали пилюли с хинином и мускусом.

Консультация кончилась ничем. Du Brisé подошел ко мне с изъявлением, что все сделано хорошо, следует только продолжать.

Я предчувствовала, что консультация кончится ничем.

В среду, накануне кончины Александра Ивановича проходила по нашей улице военная музыка. Герцен очень любил ее. Он улыбнулся и бил в такт по моей руке. Я едва удерживала слезы. Помолчавши немного, он вдруг сказал:

— Не надобно плакать, не надобно мучиться, мы все должны умереть.

А спустя несколько часов, он сказал мне:

— Отчего бы не ехать нам в Россию?

В этот день в нашей семье был разговор, не послать ли за Огаревым. Вырубов не советовал, вероятно потому, что Огареву так трудно было переезжать; но я все-таки настояла, и ему телеграфировали[5].

Ночь эту больной провел беспокойно, поминутно просыпался и просил пить. В четыре часа он стал так тревожен, что не мог более спать, и как-то торжественно сказал мне:

— Ну, доктора — дураки, они чуть не уморили меня этими старыми средствами и диетой. Сегодня я сам себя буду лечить. Я знаю лучше их, что мне полезно, что мне надобно. Я чувствую страшный голод, звони скорей и прикажи, чтобы мне подали кофе с молоком и хлебом.

— Еще слишком рано, еще нет и пяти часов,— сказала я.

— Ах, какая ты смешная,— возразил на это весело Александр Иванович,— зачем же ты так рано оделась?

Я ничего на эти слова не возражала. С первого дня болезни я не ложилась спать. Я вошла в комнату Наташи и сказала ей, что больной требует хлеба и пр., а Шарко строго запретил все это.

Герцен позвал нас обеих с нетерпением.

Я позвонила и заказала café complet.

Вскоре принесли черный кофе, но хлеба нигде не могли достать, так как было слишком рано, и в доме вчерашнего не было. Мы попросили гарсона достать как-нибудь. Больной не верил нам и думал, что мы боялись дать ему без позволения доктора. Наконец принесли немного молока и крошечный кусочек хлеба. Мы подали ему, он выпил немного молока, а хлеба есть не стал; говорил, что хлеб очень дурен.

— Теперь,— сказал он, — дайте мне скорее умыться и одеться. Погрейте рубашку и фуфайку. Я хочу вымыться и переменить белье до приезда Шарко. Я хочу поразить его.

Больной волновался. Мы уступили ему. Перемена белья его ужасно утомила. Наташа позвала Моно, который постоянно находился в доме, как короткий знакомый Мальвиды и Ольги. Моно помог поднять его и надеть фуфайку. Герцен сказал ему несколько приветливых слов. Когда Шарко приехал, больной встретил его, как и всегда, очень дружески.

— Я пил кофе,— сказал он доктору,— вымылся одеколоном и переменил белье.

Шарко все одобрил.

— Теперь хочу есть,— продолжал Александр Иванович,— чувствую, что мне это необходимо.

— Едва ли вы в состоянии будете есть рябчика,— заметил доктор.

— Можно жевать и не глотать,— сказала я, боясь, чтобы его слова не произвели дурного впечатления на больного.

Герцен и доктор согласились. Я побежала в Palais Royal за рябчиком и за вином; это было близко от нас, и там можно было наверное все найти. Уходя, я слышала, как Александр Иванович сказал Наташе:

— Бери карандаш и пиши телеграмму.

Вот она:

«Tchorzevsky. 20. Route de Carouge.

Grand danger passé. Mécontent des médecins comme partout. Demain tâcherai d'écrire.

Jeudi 20 Janvier 1870»*[6].

Когда принесли рябчика, Наташа нарезала его кусочками и кормила отца. Он жевал и выплевывал, но, видимо, уставал. Ольга помогала сестре. Вскоре он попросил всех выйти и дать ему заснуть, но едва все уходили, он звал опять и говорил, что его бросили одного. Сон был тревожен и мало-помалу перешел в бред с открытыми глазами. За его кроватью висело зеркало, в которое виднелось окно. Это зеркало мало-помалу стало занимать его и наконец беспокоить.

— Как это мы два месяца живем здесь и не знали, что здесь все на виду и что тут все дамы? — сказал Герцен.

Я успокаивала его, говоря, что в комнате никого нет и что это не окно, а зеркало.

Но, по-видимому, он уже понимал неясно. Мы с Наташей завесили зеркало черной шалью; это его успокоило. Но, несмотря на это, он все-таки тревожно смотрел на карнизы и все хотел что-то схватить руками, а иногда показывал пальцем куда-то вдаль. Беспокойство его усиливалось. Поутру он говорил доктору, что желает перейти в другую комнату. По отъезде Шарко он велел достать все, во что бы переодеться, и хотел встать.

— Эта комната не моя,— говорил он,— это комната в пансионе Ровиго. Я встану и взгляну, куда выходят окна: на улицу или на двор.

Настало время обеда, Наташа не хотела идти без меня, и потому мы вышли все; едва сели в столовой, как Ольга, заметя мое беспокойство, сказала мне, что пойдет посмотреть, не нужно ли чего больному, и выбежала из комнаты;

---

* «Тхоржевскому. 20. Route de Carouge.

Большая опасность миновала. Недоволен врачами, как всюду. Завтра постараюсь написать. Четверг. 20 января 1870» (*франц.*).

но это не могло меня успокоить. Я встала и пошла к больному. Наташа последовала за мною. Мы застали больного в большом волнении, глаза его беспокойно блуждали по комнате. Он потребовал свой портфель (который все время лежал под его подушкой). Наташа подала. Дрожащими руками он открыл его, пересчитал ассигнации и отдал его опять Наташе, говоря:

— Положи все в шкап, запри и ключ отдай Натали.

Потом стал беспокоиться о своих часах.

— Что, если мои часы украли? — говорил он.— Как мне тогда быть?

— Не беспокойся,— сказала я,— часы твои в шкапу.

По-видимому, он не слыхал этого. И стал говорить по-немецки.

— Быть может, ты желаешь видеть Мейзенбуг? Не позвать ли ее? — сказала я.

— Что ты,— отвечал он,— она давно умерла, ты позабыла.

Наконец беспокойство больного достигло крайних пределов. Он был уверен, что возле его комнаты все дамы, и требовал объяснить им, что он не может встать. Чтоб успокоить его, я уходила в другую комнату, но он не верил.

— Нет, ты не так скажешь,— говорил он,— я сам пойду.

Наташа села у его кровати и тихо клала его ноги на постель, когда он спускал их, чтоб уйти.

Я села по другую сторону и также старалась удержать его, целовала его руки. Он смотрел на все равнодушно. Наташа не знала еще, что означает желание уйти.

Когда Наташа встала и вышла на минуту из комнаты, то он сказал твердо:

— Ну, Натали, не удерживай меня более, пусти...

— Куда же ты хочешь идти? — спросила я.

— Я хочу уехать только отсюда,— отвечал он.

— Подождем, мой друг, до утра,— отвечала я,— Ольга и Лиза еще спят, а как проснутся, мы поедем все вместе.

— Нет,— возразил он,— до утра мне ждать нельзя. Да и зачем брать Лизу? Ведь мы никуда не едем. Пусти же меня.

— Нет, одного не пущу, возьми и меня с собой,— сказала я.

— Дай руку, если хочешь. Пойдем и предстанем перед судом господа.

Когда бред усиливался, он кричал кому-то наверх:

— Monsieur, arrêtez l'omnibus, je vous en prie, ou une voiture à quatre places. Pardon, madame, que je ne me léve pas, j'ai des jambles rhumatismales. Pouvons-nous profiter de votre voiture, monsieur, cela ne vous fâche pas?* Пусти меня, Натали, никто не хочет приехать последним.

— Подождем Лизу,— сказала я.

— Нет, не удерживайте меня. Я боюсь, чтобы Ольга и Мейзенбуг не сделали скандала, тогда весь Париж узнает, им нечем будет платить. Надо поскорее взять омнибус...

И он кричал сильным голосом:

— Arrêtez-vous Pavillon Rohan 249**.

Он продолжал разговор с каким-то господином, сидящим наверху:

— Monsieur, me voyez-vous de là haut, moi je vous vois très-bien d'ici***. Какие огромные агенты теперь, я давно его знаю, ездил с ним в омнибусе.

Затем он стал просить шляпу. Я отвечала, что шляпа в шкафу. Тогда он стал собирать одеяло и делать форму шляпы. Руки у него дрожали. Он передал мне одеяло, говоря:

— Натали, держи. Я возьму наши вещи и пойдем. Возьмем с собою Тату. Я готов.

Затем он опять требовал омнибус или карету. Дыхание становилось все труднее и труднее, слова менее ясны, он перестал говорить.

Время было за полночь.

Вероятно, жажда его мучила. Он несколько раз хотел взять в рот одеяло.

Я поняла, что он хочет пить, и сказала Тате:

— Дай ему выпить с ложечки.

Раза два он взял охотно, потом не мог или не хотел.

Он дышал все тяжелее. Моно помог положить его повыше, чтоб он мог легче дышать. Затем позвали Ольгу и Лизу, которые также спать не могли.

---

* — Сударь, возьмите, пожалуйста, омнибус или четырехместную коляску. Извините, сударыня, что я не встаю: у меня в ногах ревматизм. Можем ли мы, сударь, воспользоваться вашей коляской, если это вас не обеспокоит? (*франц.*)

** — Остановитесь в Pavillon Rohan, 249 (*франц.*).

*** — Сударь, видите ли вы меня с высоты? Я вас отсюда очень хорошо вижу (*франц.*).



Улица Риволи в Париже, на которой Герцен жил последние месяцы своей жизни.
С литографии, 1860-е гг.

Все встали кругом его кровати; Тата держала его левую руку. Взоры Александра были обращены на нее. Я держала его другую руку. Ольга и Лиза стояли возле кровати за Татой, Мейзенбуг позади, а Моно у ног. Пробило два часа. Дыхание становилось реже и реже. Тата попробовала дать ему пить, но я сделала ей знак, чтоб не тревожить его. Дышал он тише, реже. Наконец наступила та страшная тишина, которую слышно. Все молчали, как будто боясь нарушить ее.

— C' est fini*,— сказал Моно.

Дети выбежали в другую комнату. Моно подвел ко мне мою дочь. Я погладила ее по голове и поцеловала. Я думала о Тате и как будто забыла обо всех, потом вскрикнула:

— Герцен умер! Герцен умер!

Слова эти казались мне дики, я к ним прислушивалась. Я обняла Лизу и сказала:

— И навсегда мы одни.

Тата бросилась к нам, обняла нас и сказала: «Я никогда с вами не расстанусь!»

---

* Кончено (*франц.*).

1871 год

Боюсь, что не успею рассказать все, что хотелось бы передать, я чувствую приближение старости, часто мной овладевает какая-то апатия, инерция... поэтому решаюсь записывать, хоть отрывочно, что вспоминается.

После кончины Герцена, я совсем было решилась остаться в Париже для воспитания моей дочери, по совету Вырубова. Перемена в моих планах подготовила, быть может, в будущем те роковые обстоятельства, которые впоследствии разразились над моей головой страшным ударом, закончившим мою личную жизнь[1], затем осталась не жизнь, а служба: служба близким и дальним, служба убеждениям и воспоминаниям. Но надо сказать прежде, что побудило меня изменить мое намерение основать свое жительство в Париже: вскоре после кончины А. И. Герцена старшая дочь его Наташа поехала в Женеву с Тхоржевским для свидания с Н. П. Огаревым; там находились в то время Бакунин, Нечаев и много других, менее замечательных сообщников-революционеров. Бакунин и Огарев знали о недавней болезни Наташи, болезнь которой едва начинала проходить и в которой ей постоянно мерещились самые драматические сцены из революции: во время болезни ее страдания были так сильны, так живы, что я сама настрадалась, глядя на нее. Тем не менее эти господа решились, с странной необдуманностью, вовлечь ее в революционные бредни их партии. Видя в больной богатую наследницу части состояния Герцена, Бакунин не задумался пожертвовать ею для *дела*, забывая, что именно революционная обстановка могла угрожать ей рецидивом болезни. Бакунин делал это не из личной жадно-

сти к деньгам; он не придавал им никакого значения, но он любил революционное дело, как занятие, как деятельность, более необходимую для его беспокойной натуры, чем насущный хлеб.

Наташа возвратилась к нам в Париж молчаливая, исполненная таинственности, и объявила нам, что намерена поселиться в Женеве близ Огарева. Ее брат, А. А., и я были поражены не только ее решением, но и ее загадочным видом и ее задумчивостью. Со слезами на глазах А. А. просил меня ехать с ней в Женеву и не оставлять ее под исключительным влиянием революционеров. Но просить меня было лишнее, я любила Наташу; ходя за ней в ее двух болезнях, которые, вероятно, не без связи между собой, по словам научных людей, я радовалась, что судьба меня так поставила, что я могла в память Герцена доказать, что люблю его Наташу не менее своей дочери. А. А. и Мальвида фон Мейзенбуг предлагали поместить Наташу в лечебное заведение, ходить за ней им казалось немыслимо, но я, чужая, не согласилась отдать ее на чужое попечение: «Пока ноги двигаются, не оставлю ее». Мой уход увенчался успехом, вскоре она стала поправляться, но ее любящий отец оставил нас, не видав ее здоровую. Это одно из самых тяжелых сознаний моих.

Приехав в Женеву, мы сначала поместились в каком-то маленьком пансионе: общество пансиона было весьма неинтересное, а пища казалась только для вида, питательного в ней ничего не было. По этому поводу, помню, как мы раз смеялись за table d'hôte'ом, когда какой-то молодой человек, вероятно какой-нибудь commisvoyageur, передал мне блюдо с серьезной важностью, говоря: «Permettez-moi, madame, de vous ofrir ces ossements»*, так как мяса не было, а только кости.

Но возвращаюсь к моему рассказу. Каждый день с утра Наташа отправлялась к Огареву и там садилась за письменный стол, ей дали обязанность секретаря общества, и некоторое время она не понимала, что они так же играют в тайны, как дети в куклы. Иногда она уходила с сильной мигренью, я отсоветовала ей идти, но она отвечала, что ей не дозволено пропустить и одного дня; случалось, что ей становилось там еще хуже, она принуждена была бросить работу, прилечь на диван и ночевать у Огарева, а я ее жда-

---

* «Позвольте мне вам предложить эти кости» (*франц.*).—Прислуги было мало, пансионеры сами передавали блюда. (*Прим. автора.*)

ла в большом беспокойстве. Раз, часа через два после ее ухода, мне приносят от нее записку, в которой она говорит, что уезжает на два дня в Берн к Марии Каспаровне Рейхель, давнишнему другу Герцена и его семейства. На третий день она возвратилась и призналась мне, что вовсе не была у Марии Каспаровны, но что Нечаев посылал ее с поручением к какому-то господину, который жил в горах,— ей пришлось совершить трудный путь одной с проводником, ночевать в каком-то пустынном месте у глухой и неприветливой старухи. Ей дали комнатку на чердаке, дверь не затворялась, а хлопала от порывистого ветра. Наташа придвинула к двери какой-то тяжелый комод и тогда прилегла, но заснуть вовсе не могла. Слушая ее рассказ, у меня сердце замирало; я боялась, чтоб все эти волнения и страхи не подействовали на ее нервную, потрясенную болезнью натуру. К счастью, ожидаемых мною последствий не было, она, видимо, поправлялась; в наших беседах я ей доказывала, что все это игра, что, вероятно, никакой надобности не было посылать ее в горы; поручение придумано, чтоб испытать ее храбрость и послушание, а также чтоб заинтересовать ее. Переписываясь с сестрой, Александр Александрович искал тоже ослабить влияние Бакунина, говорил, что считал серьезной пропагандой действия своего отца и Огарева, но у этих революционеров нет никакой задачи, они только играют в революцию [2].

В то время мы занимались печатанием посмертного издания Герцена [3]. Почему-то Нечаев и компания узнали, что в этом томе будет статья о нигилистах [4], и потому я получила по почте из Германии бумагу, озаглавленную «Народная расправа»; послание это, очевидно, было написано в Женеве; в нем запрещалось печатать сочинения необдуманного, но талантливого тунеядца Герцена, и что если я и семья его не послушаемся этого предостережения, то будут приняты против нас решительные меры. Оригинал этой бумаги был отослан мною в редакцию «Русской старины» при жизни М. И. Семевского.

Конечно, мы продолжали печатать, даже с большей энергией. Уведомленный мною об этом загадочном послании Александр Александрович Герцен писал мне, чтоб я сходила к Карлу Фогту, посоветовалась бы с ним и отдала бы ему оригинал на сохранение, так как у меня была верная копия.

Я бывала иногда в семье Фогта, знала его милую жену

и отправилась к ним по совету Александра Александровича, но на этот раз, посидев недолго с m-me Фогт, я сказала ей, что должна переговорить с ее мужем по серьезному делу. Она пошла к нему наверх и скоро возвратилась за мной, говоря, что Карл Фогт просит меня наверх, потому что лежит в страшной мигрени. Он был также подвержен этой болезни, как и вся семья Герцена.

Когда я вошла, Фогт в халате лежал на постели; лицо его выражало нестерпимое страдание, я старалась сжато передать ему в чем дело, рассказала в нескольких словах об угрозах нигилистов; он пришел в большое негодование и был одного с нами мнения, что эти угрозы должны только прибавить энергии в деле издания посмертного сборника, и охотно взял оригинал на сбережение. Так как я не знала, что значит *решительные меры*, то думала, не хотят ли они силой взять рукопись, и вручила ее Фогту[5].

Наташа поправлялась, после болезни хладнокровнее смотрела на революционеров, стала реже ходить к Огареву, реже видать Бакунина и его приверженцев; вследствие этого мы переехали из пансиона подальше и поселились в маленьком домике, который, вероятно, был построен для жильцов, скорей красиво, чем прочно. Домик находился в большом саду; тут же виднелся большой дом, в котором жил хозяин с своим семейством. Надо сказать несколько слов о хозяине, так как он был в своем роде редкостью; я забыла его фамилию, но не забыла его антипатичную фигуру, он был олицетворенный bourgeois* и заслужил репутацию страшного реакционера: среднего роста, замечательно худощавый, он походил на паука или на скелет, держался так неестественно прямо, что, казалось, он проглотил аршин и с тех пор потерял всякую эластичность, гибкость членов; голос его был отрывист, а звуком он напоминал скорей какую-нибудь хищную птицу, чем человеческий голос. Голова его была всегда гордо закинута назад, он носил шляпу (cheminée), и я не раз дивилась, как она не падает с его закинутой назад головы. Он приходил в умиление пред своей собственностью, он лелеял все, что ему принадлежало, и потому страстно любил занимаемую нами квартиру. По крайней мере раз в месяц, а иногда и чаще, он являлся к нам и с любовью осматривал все комнаты, под разными предлогами, а в сущности он не доверял; он хотел видеть,

---

* мещанин (*франц.*).

как мы обращаемся с его собственностью, и давал нам почувствовать, что это все его, что мы тут так, для того только, чтоб собственность приносила доход. Иногда эти посещения были очень смешны, но большею частью они нам надоедали, потому что каждая из нас имела свое дело, а нужно было следовать за ним по комнатам, а иногда и сидеть с ним в гостиной. Тогда я занималась изданием посмертного сборника и, кроме того, занималась переводом на французский язык «Писем из Франции и Италии», а Наташа взяла на воспитание старшего сына своего брата, его звали Тутс; это тот самый ребенок, о котором говорится иногда в письмах Герцена к Огареву и которого мать так трагически кончила свой недолгий век, бросившись в реку в том самом месте, где сливаются воды темно-синей Роны и белой Аръве. Это очень странное зрелище: эти реки долго текут рядом, сохраняя каждая свой цвет, и только позже сливаются совершенно. В Роне есть глубокие пещеры, туда прибило тело несчастной Шарлотты. Когда она приехала из Англии с маленьким Тутсом, ее поместили у Огарева в доме, но скоро Мери стала ревновать ее к Огареву и к своему сыну Генри. Шарлотта любила Огарева как отца; когда она услышала непонятные упреки от Огарева, она поняла, что ее очернила Мери перед ним; она горько плакала в последний день, просила водки у Мери, та дала, а вечером Шарлотта исчезла, это дало повод добродетельной Мери распускать слух, что Шарлотта бросила ребенка на ее попечение и бежала с новым любовником, но Рона отомстила Мери и оправдала несчастную жертву; через четыре года, она выбросила из пещеры на поверхность вод тело Шарлотты, полиция вспомнила исчезновение молодой англичанки из Ланси и пригласила Мери посмотреть на свою жертву: на одной ноге была еще ботинка и в кармане связка ключей. Мери признала ключи и останки покойницы. Неужели сердце ее не содрогнулось от недостойной клеветы[6].

Маленький Тутс был хорошо одарен, но упрям и капризен до невероятности. Нередко бывали забавные сцены между терпеливой теткой и упрямым племянником. Раз он ни за что не хотел идти в школу, и когда тетка сказала, что сама не пошлет его, он объявил, что пойдет непременно, и раскричался на весь дом: ни Наташа, ни я не могли его унять. Я ушла от них; вдруг мне пришла блестящая мысль унять его хитростью. Подождав немного, я опять вошла к Наташе и сказала ей при Тутсе, что хозяин присылал к нам

и велел сказать, что этот ужасный крик так его беспокоит, что он просит нас запереть крикуна в подвал. Выдумка удалась как нельзя лучше: не только Тутс поверил, но и Наташа тоже.

— Неужели это правда? — спросила она меня по-английски.

— Конечно, все — вздор,— отвечала я серьезно, чтоб не разуверить Тутса моим смехом.

Хозяин был такой странный, что можно было всему поверить.

В Женеве мы познакомились с одним соотечественником (из нигилистов). Он оставил Россию несколько лет тому назад, был и в Америке. Он нам нравился тем, что был проще, откровеннее нигилистов. Он сказал нам, что фамилия его Серебренников, но весьма возможно, что эта была вымышленная фамилия. Многие из эмигрантов жили под вымышленными фамилиями.

Тогда уже полиция искала Нечаева, и вот раз во время прогулки Нечаева с Серебренниковым, полицейские напали на них: однако Нечаев успел убежать, а Серебренникова схватили и отвели в тюрьму. В тюрьме Серебренникова допрашивали, записывали его показания; приезжал из Питера какой-то вызванный по телеграфу русский генерал, он читал показания Серебренникова и ходил смотреть на него в тюрьму. Когда его арестовали, Серебренников жил у Огарева; несколько дней после его ареста полицейский является к Огареву, говоря, что Серебренников просит свой sacvoyage с бумагами; Огарев не догадался, что это полицейская уловка, и выдал бумаги Серебренникова. Последний был в отчаянии, когда узнал об этом, потому что в бумагах были письма, имена, он мог многим повредить.

В это время русские эмигранты, не исключая и женщин, много толковали об убийстве Иванова Нечаевым; от самого Нечаева никто ничего не слыхал, он упорно молчал. Эмигранты разделились на две партии: одни находили, что надо подать прошение швейцарскому правительству, убеждая его не выдавать Нечаева и заявляя, что вся русская эмиграция с ним солидарна; другие, наоборот, не признавали никакой солидарности с ним и утверждали, что, не слыша ничего от самого Нечаева, нельзя сделать себе верного представления об этом деле и прийти к какому-нибудь заключению, и мы с Наташей так же думали.

По этому поводу нашли нужным собрать всех эмигрантов и выслушать их мнение. Мы думали, что поговорят и не будет никакого собрания; однако Николай Иванович Жуковский, учивший в то время мою дочь русскому языку, сообщил нам однажды, что собрание эмигрантов непременно будет на днях и что нас собираются тоже звать. Это немало нас удивило, потому что мы отлично знали взгляд нигилистов на наше семейство: они называли нас аристократами, тунеядцами и пр. Однако вскоре нам принесли форменное приглашение, и мы решились идти для курьеза, не придавая никакой важности этому сборищу. Моя дочь, тогда двенадцатилетняя девочка, непременно хотела нас сопровождать, но, к счастию, мне удалось ее разговорить, ей надо было вставать рано, а собрание было назначено в 10 часов вечера и могло продлиться за полночь; мы жили далеко, пришлось бы идти пешком, потому что в такой поздний час в Женеве не нашлось бы экипажа. Потом мне не раз вспоминалось это собрание, и я радовалась, что моей дочери не было с нами.

В назначенный день вечером мы отправились обе и нашли café, в котором должно было происходить заседание эмигрантов. Это была в rez-de-chaussée очень большая зала: во всю длину комнаты помещался стол, покрытый клеенкой, а кругом стулья. В зале находилось уже много знакомых и незнакомых соотечественников; две или три висячие лампы ярко освещали всю комнату и присутствующих; наконец явился и Огарев, и заседание началось. Председателем был, кажется, Мечников. По лицу Огарева я сейчас заметила, что он не совсем трезвый; все сели, Огарев — возле меня, облокотился на мой стул и дремал. Он старался внимательно слушать, что говорилось, но не мог и только изредка, кстати и некстати, говорил: «Пожалейте его, господа, просите за него» (т. е. за Нечаева). Последний ходил взад и вперед по комнате, не подходя к столу и не вмешиваясь в толки эмигрантов; однако его присутствие, вероятно, очень стесняло многих из них. Когда все сели и водворилась тишина, председатель сказал в нескольких словах, в чем заключалась цель собрания и какие вопросы он будет предлагать эмигрантам. «Желательно знать, много ли людей из нашего собрания считают себя солидарными с Нечаевым? Кто не солидарен, пусть поднимет руку». Я подняла руку, Наташа и многие другие. Потом стали обсуждать, нужно ли просить швейцарское правительство, чтоб оно

не выдавало русских политических преступников. Тут стало шумнее и трудно было расслышать, что говорилось: иные внушали, что не нужно говорить об этом, потому что этого не было и не будет никогда. Другие говорили о безотрадном положении Серебренникова. Как доказать, что он не Нечаев: свидетели, выписанные из России, скучают; они начинают сомневаться, не он ли сам Нечаев; бумаги Серебренникова в руках русских шпионов. Как сделать, чтоб освободить Серебренникова, надо спешить придумать что-нибудь, каждый час дорог, его могут выдать на днях.

Говорили, говорили и ничего не решили.

Когда пробила полночь, Мери * пришла за Огаревым. К несчастию, она вовсе не была та кроткая женщина, которую так мило описала Т. П. Пассек, не знавшая ее ничуть. Лицо ее (couprosie) показывало, что она часто заглядывала в бутылку. По ее отрывистой походке, по неровным движениям я догадалась, что она пьяна, и старалась отодвинуть свой стул от Огарева, который ничего не замечал, добродушно улыбался и опять придвигался. Я рада была, когда все встали и начали собираться выходить. Огарев один все еще сидел. Вдруг, раздвигая бесцеремонно толпу, Мери подходит к нам, начинает говорить дерзости по-английски с поднятыми кулаками.

— Господа,— вскричала я в испуге,— что мне делать, я не умею драться.

Тогда Нечаев и другие схватили Мери и повели ее вон. Кто-то из присутствующих подошел к Огареву и предложил ему проводить его домой. Мы стояли с Наташей, обрадованные нашему неожиданному избавлению, но испуганные за Огарева. Передав кому-то Мери, Нечаев опять подошел к нам, и мы обе в один голос стали просить его не оставлять Огарева одного с этой страшной женщиной.

— Нет, нет,— отвечал он,— я поручил охранять его, да что же делать, ему частенько достается, да кто виноват, зачем связался с такой женщиной.

Он не видал моего лица, вуаль моя была опущена; он не знал, какую боль он вызвал, какой упрек мне бросил.

Когда мы вышли, я протянула ему руку на прощание и горячо благодарила за то, что он спас меня от оскорблений.

---

* Известная по запискам Т. П. Пассек[7]. (*Прим. автора.*)

Мы направились домой; Нечаев шел возле нас, говоря, что, так как очень поздно, он проводит нас. На другой день Наташа опять пошла к Огареву, ее занимала участь бедного Серебренникова.

Когда мы по вечерам оставались одни, она расспрашивала меня о моих впечатлениях относительно собрания эмигрантов. Вообще, она всегда более любила расспрашивать, чем высказываться. Я отвечала ей, что для этого собрания не стоило и собираться.

— Какая солидарность,— говорила я,— с человеком, который не настолько уважает эмигрантов, чтоб разъяснить им дело Иванова; вот Серебренникова жаль, надо бы его спасти, я думаю об этом. Карл Фогт член в Grand Conseil, его очень уважают, ему поверят; но только как сделать, чтоб Фогт нам поверил?

— То есть в чем поверил? — спросила Наташа.

— Да разумеется в том, что Серебренников не Нечаев; он подумает, что мы хотим спасти Нечаева.

Несколько дней прошло после этого разговора.

— Нечаеву очень трудно скрываться, его ищут везде,— говорила мне как-то поздно вечером Наташа.

— Что же делать? — отвечала я,— уезжал бы. Поздно, пора спать.

— Нет, посидим еще немного,— возразила она.— Скажи мне, что бы ты сделала, если б Нечаев пришел тебя просить укрыть его? — и она посмотрела на меня со своей милой улыбкой.— Ты скажи? А?..

— Я не знаю,— да где здесь скрывать кого-нибудь, с нашим хозяином вдобавок. Ты знаешь мое мнение о Нечаеве. Бог с ним! Пойдем лучше спать.

— Но если б он пришел тебя просить скрыть его хоть на два, на три дня,— продолжала допрашивать Наташа,— неужели ты бы отказала, Натали, если нет крова над ним?

— Я его не люблю, не уважаю, и он не придет сюда,— отвечала я резко.

Вдруг раздался звонок.

— Как поздно,— говорю я,— кто бы это был, девушка спит.

— Постой, я посмотрю,— говорит Наташа,— а если это он?

Через несколько минут она возвратилась и сказала мне шепотом:

— А ведь это он!

— Как, неужели? — воскликнула я в неприятном изумлении.

— Неужели ты его прогонишь? — говорила она тихо.

— Нет, этого нельзя сделать, но как мне это неприятно,— сказала я.

Подойдя к передней, я увидала Нечаева. Он поклонился и подал мне руку, говоря:

— Позвольте мне остаться у вас два, три дня, не более.

— Хорошо,— сказала я,— но долго здесь нельзя скрываться.

Он вошел, не замеченный прислугой, потому что все спали.

Возле Наташиной комнаты была узкая, пустая комнатка, куда мы сами отнесли матрац, подушку и белье; он сделал себе постель на полу; в Наташиной комнате придвинули тяжелый туалетный стол к двери, которая находилась между этими двумя комнатами; кроме того, из обеих комнат было по двери в маленький коридорчик. Я привязала колокольчик к ножке туалетного стола и сказала Наташе, что, если двинут стол, колокольчик зазвенит, и я прибегу. Мне ужасно не нравилось такое близкое соседство Нечаева с Наташей, но другого помещения не было. Мы разошлись очень поздно и, усталые, крепко заснули. Но через несколько дней, рано поутру, меня разбудил колокольчик, и я бросилась к Наташе.

— Колокольчик зазвенел,— говорила я испуганно.

— Но ведь это в пансионе напротив, ты меня разбудила,—говорила сонная Наташа.

— Ну, извини, я сама очень испугалась.

Нам пришлось сказать только моей дочери о присутствии чужого человека в доме; служащие не знали об этом и не ходили в пустую комнату, где окна были завешены. Под разными предлогами, моя дочь оставляла кушанья будто для себя и относила их Нечаеву. Днем он бывал в комнате у Наташи, к нему постоянно приходил какой-то итальянец-революционер Земперини, который все обещал принести Нечаеву рабочую блузу и корзину, но, в сущности, придет, поговорит и только.

Уже прошла неделя, что Нечаев поселился у нас; я очень желала, чтоб он отправился, но он все откладывал.

Положение Серебренникова становилось очень опасно, и потому я решилась отправиться к Карлу Фогту. На этот

раз я застала его здоровым. Он сидел один в гостиной. Поздоровавшись с ним, я сказала:

— Я к вам, monsieur Vogt, с большой просьбой — вы наша единственная надежда.

— Что такое, опять нигилисты вам угрожают? — спросил он.

— Нет, другое,— отвечала я, — вы слышали об аресте нашего соотечественника Серебренникова, слышали, может, и об ошибке Огарева, который отдал sacvoyage Серебренникова полицейскому. Если Серебренникова выдадут, будет очень плохо и для него и для многих других, потому что в бумагах были письма, имена...

— Да, да,— сказал он,— я кое-что слышал об этом.

— Я бы желала, чтоб вы в Grand Conseil дали честное слово, что Серебренников не Нечаев — вам поверят.

— Понимаю,— сказал он с едва заметной улыбкой,— вы хотите спасти Нечаева и потому говорите, что это не он.

— Нет, действительно это не он, уверяю вас,— возразила я.

— Но какое же доказательство, что это не он? — спросил Фогт.

— Я не могу вам дать доказательств, я только даю вам честное слово, что это не он,— был мой ответ.

— Но если б это был Нечаев, вы бы, вероятно, тоже готовы были сказать, что не он, чтоб его выпустили.

— Это правда, хотя я не из его друзей, и тогда надо бы стараться спасти его; что пользы Швейцарии покрыться таким позорным пятном: выдача политического преступника.

— Где же Нечаев? — спросил Карл Фогт.

— Он скрывается,— отвечала я,— честное слово, он на свободе — я это верно знаю, а доказательств не может быть.

Фогт молчал и сидел задумчиво; с замечательной проницательностью, поднимая вдруг голову и обращаясь ко мне:

— Он скрывается у вас в доме! — воскликнул он.

— Вы отгадали, я не боюсь вам в этом признаться.

— Он вам враг и Герцену тоже, а вы подвергаетесь <опасности>, чтоб спасти его,— сказал он с таким выражением в лице, которого я никогда не видала.

— Ну что ж делать, это правда,— сказала я, вставая,— теперь вы верите и скажете, что Серебренников не Нечаев.

— Да, я сделаю это,— заключил он, протянул мне руку и крепко пожал ее. И мы расстались.

Когда мы сошлись вечером с Наташей, я передала ей разговор с Фогтом и его обещание. Наташа очень радовалась, что дело Серебренникова принимало такой счастливый оборот; через несколько дней мы узнали, что Серебренникова выпустили по вмешательству Фогта.

На другой или на третий день после моего посещения Карла Фогта хозяин наш вздумал осматривать нашу квартиру; я с ужасом вспомнила о Нечаеве и отправилась за ним по комнатам: мы побывали везде, даже в кухне, потом он вошел в коридорчик возле Наташиной комнаты, а я стала спиной к двери, ведущей в пустую комнату, и думала, ни за что не пущу его сюда, но как? Надо что-нибудь придумать наскоро...

Долго хозяин меня продержал у этой двери, рассказывая мне свои планы для переделки дома; я не помню, что я ему наговорила, я была почти в лихорадке; наконец, к моей радости и удивлению, он поклонился, повернулся и ушел, а я подошла к окну и со страхом смотрела ему вслед, боясь, что он вернется назад, что бывало иногда с ним. Наконец я вошла к Наташе, испуганная и не в духе. Наташа смеялась, глядя на меня:

— Что с тобой, на тебе лица нет?

— Еще бы! Я провела очень неприятные минуты у двери Нечаева; ну, что, если б хозяин ее отворил: увидал бы мужчину молодого, постель на полу, окна завешены. Во-первых, что бы он подумал о нас? Хороши эти дамы в трауре! Потом он спросил бы паспорт у Нечаева, нашумел бы и выдал бы его полиции, тут бог знает какие могли бы быть последствия — нет, пора ему оставить и наш дом и Женеву,— вот уж десять дней, как он у нас.

В эту минуту Нечаев вошел.

— Мне кажется,— сказала я, — что вам неудобно более оставаться у нас: хозяин нашего дома ужасный реакционер, он мог сегодня вас выдать, этим нельзя шутить.

— Да вот Земперини все обещает принести мне рабочую блузу и корзину, и я выйду не замеченный никем,— отвечал мне Нечаев.

— Хорош революционер, который не мог в десять дней достать таких пустяков! Да вам куда надо ехать? — спросила я. — Вероятно, вы хотите переехать через озеро и высадиться в Савойе?

— Да, конечно,— сказал Нечаев,— надо удалиться хоть на время.

— Если вы согласны, я вас завтра сама отвезу,— сказала я живо.

Нечаев улыбнулся недоверчиво, и Наташа взглянула вопросительно на меня.

— Это очень просто,— сказала я,— вот увидите, будьте готовы завтра в двенадцать часов.

Я заказала с утра карету с парой хороших лошадей к двенадцати часам. В двенадцать часов карета с прекрасной парой гнедых лошадей стояла у нашего крыльца: хозяйка дома шла с детьми по саду, возвращаясь домой к обеду; увидав экипаж у нашего домика, она подошла ко мне и, поздоровавшись со мной, спросила, кто приехал к нам или кто едет? Мы всегда ходили пешком.

— Я еду,— отвечала я ей спокойно,— доктор мне велел, для здоровья моей дочери, ехать куда-нибудь подальше за город,— вот я и взяла карету.

Удовлетворив свое любопытство, она раскланялась со мной и продолжала свой путь, а я вошла к Нечаеву.

— Вы готовы, карета подана — поедемте,— сказала я торопливо.

Он протянул руку Наташе, простился с ней и последовал за мной.

Прислуга, приняв Нечаева за одного из русских, которые бывали у нас, не обратила на него никакого внимания, тем более что все делалось открыто, днем и без всякой таинственности. Мы сошли втроем, я села с Нечаевым рядом, моя дочь впереди, и мы быстро помчались из Женевы, не помню теперь, в какое местечко, часа за три от Женевы. Когда мы оставили город за собой, я вздохнула с облегчением, хотя я и была уверена, что полиция никак бы не предположила, что Нечаев выехал из Женевы в полдень, в таком красивом экипаже и на таких быстрых конях; мне приятна была почти верная удача, а жутко,— это то чувство, которое, вероятно, испытывают игроки. Часа через три мы доехали до избранного нами местечка. Как водится, кучер подвез нас к единственному трактирчику, где ничего нельзя было найти съестного, но зато оттуда вид на озеро был великолепен. В маленьком садике, окружающем трактир, были цветники и беседки с столами; в праздничные дни тут, вероятно, бывало много посетителей, которые, накатавшись вдоволь в лодках, закусывали незатейливыми швейцарски-

ми блюдами и запивали местным вином. И мы поместились в одной беседке, спросили чего-нибудь поесть, нам подали сыр и белое кисло-сладкое вино.

— Вы мне не верили,— сказала я Нечаеву с торжествующим видом,— а я скорее устроила ваш переезд, чем ваш Земперини.

Я была довольна и смеялась от души.

— Вас не знали, — возразил мне Нечаев,— я очень жалею, что судил о вас, не зная вас.

Но Нечаеву не сиделось, он, видимо, торопился: было так близко от спасенья, потому-то ему и было страшно, и он спешил перебраться на другую сторону. Прощаясь, он мне сказал, что никогда не забудет, что я сделала для него, благодарил и мою дочь за ее попеченье о нем и за уменье в эти годы хранить тайну. Он сел в лодку и долго махал нам платком — и переехал благополучно в Савойю[8].

Зачем он не уехал в Америку, как мы ему часто советовали с Наташей во время его пребывания в нашем доме. В то время я иногда жарко спорила с ним, говорила, что не понимаю нигилистов, что нужно у нас трудиться над реформами, над образованием народа, а они, не знаю, что хотят, и ни до чего не дойдут.

Раз Наташа сидела с ним одна в своей комнате. Нечаев заметил, что она пристально смотрит на его руки, и спросил ее об этом; сначала она не хотела сказать, что думает, но он настаивал.

— У вас пальцы какие-то странные, будто искусанные,— я думала, что это Иванов...— сказала она.

Нечаев не дал ей договорить.

— Какой вздор,— сказал он и стал ходить взад и вперед по комнате, а потом заговорил о другом[9].

Впоследствии Нечаев вернулся опять в Женеву и был взят полицией[10]. Это случилось, когда я находилась с дочерью в горах, Тхоржевский тоже приехал туда, и мы ждали Наташу Герцен; вдруг получаю телеграмму, в которой говорится, что директор полиции желал бы видеться со мной, а я, простудившись, хворала в то время; Тхоржевский советовал отвечать, что, по случаю болезни, не могу его принять; но мне пришло в голову попробовать возбудить в нем человеческие чувства и гордость за родину. Я отвечала, что больна, но могу его принять.

Он приехал, и мы просидели с час вдвоем.

После обычных приветствий он сказал мне:

— Вы знали Нечаева, я желал бы убедиться, его ли мы арестовали? — и положил карточки в разных видах одного лица.

— Я видела Нечаева тому несколько лет и мельком, ведь он не принадлежал к приверженцам Герцена,— я бы боялась ошибиться, есть такие изумительные сходства, нельзя решить такой важный вопрос только по сходству, а если ошибутся, какие гибельные последствия. Я тоже желала вас видеть, чтоб просить вас спасти не только того, который в вашей власти, но и честь вашей родины. Неужели она наложит на себя такое неизгладимое пятно, как выдача политического преступника?

— Но наше правительство,— отвечал директор полиции,— смотрит на Нечаева, как на простого уголовного преступника.

— А все-таки подкладка этого дела политическая,— возразила я,— и неужели Швейцария, страна свободы, унизит себя до выдачи обвиняемого.

— Вероятно. Русское правительство обещало нашему судить Нечаева не как политического преступника,— отвечал он.

Я улыбнулась: волк обещал сберечь овец!

— Пожалуйста,— продолжала я с жаром,— если вам дорога честь вашей родины, дайте средства вашему заключенному скрыться, бежать хоть в Америку, там пока не выдают еще людей; подумайте, это пятно ничем не смоется, оно запишется в историю — пожалейте свободную Гельвецию, она не знает, что делает, она в буржуазной горячке!

Он встал, и мы расстались, не добившись желаемого ни тот, ни другой. Да где было, хоть и высшему полицейскому, понять боль, вызванную во мне возможностью такого падения страны, некогда гордой своей свободой и умением держаться независимо между большими государствами.

Старое Акшено.
20 октября 1894 г.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Мне хотелось записать здесь некоторые подробности, относящиеся до моего возвращения в Россию в августе 1876 года [1].

Я ехала, ни о чем не думая, окончательно пришибленная судьбой, ехала с тем равнодушием, которое, вероятно, испытывают ссыльные, которых переводят с одного места на другое; однако, когда поезд остановился перед русской таможней и я увидела русского солдата, сердце мое вздрогнуло и усиленно забилось: что-то дремлющее во мне проснулось, что-то родное...

Все вышли из вагонов и направились к двери, где у нас отобрали пачпорты; внесли чемоданы в огромную залу с прилавками, на которых поместились вещи пассажиров. В зале было много народу,— и я стояла тут же в своей траурной одежде и шляпке с длинным креповым вуалем. Мое равнодушие оставило меня — я была взволнована; «я опять в России!» — думала я. Громкий голос прервал мои думы:

— Чей пачпорт — Огаревой? — кричал он.

— Мой,— отвечала я довольно громко, и глаза всех пассажиров устремились на меня.

Таможенный чиновник, высокий, худой, с бледным и строгим лицом, закричал:

— Давайте сюда все вещи, чемоданы Огаревой.

И все было мигом поставлено рядом — потребовали ключи, все выбрали: разложили книги, бумаги, литографии, фотографии, немного белья и все. Молодой жандармский офицер подошел ко мне очень вежливо и просил меня войти в дамскую уборную, где женская прислуга должна была осмотреть вещи, которые были на мне. Я отправилась туда и

нашла женщину, которая раздела и опять одела меня. Она подержала мою шляпу в руке, как бы взвешивая, и передала ее мне. Я надела ее и вышла в залу. Тут опять подошел ко мне жандармский офицер и сказал, что он мне сейчас укажет комнату, отведенную для меня, где мне придется провести дня два или три, пока осматривают мои бумаги. Он жаловался на строгости таможенного чиновника, который был несговорчивее его самого.

— Женщина,— сказал он,— ничего не нашла запрещенного у вас, но она говорит, что у вас должна быть какая-нибудь бумага в кармане,— что это за бумага?— спросил он.— Не воззвание ли сына Герцена?

— Нет, даю честное слово. Я еду к престарелому отцу и, конечно, ничего не везу, что могло бы ему причинить неприятности; кроме того, сын Герцена — честный человек и никакой роли в политическом мире не играет. Это последнее письмо моей дочери, и я никому его не покажу, пока жива.

Он больше не настаивал, но сказал с улыбкой:

— Служанке кажется подозрительна ваша шляпа — она думает, что в ней, может быть, зашиты что-нибудь — не прокламации ли?

Я взяла со стола шляпу и подала ему:

— Вы можете приказать ее распороть и опять сшить к моему отъезду, для меня безразлично.

Но моя готовность расстаться со шляпой на время отняла у жандармского офицера всякое желание распарывать ее,— и он положил ее обратно на стол.

Я жила как под арестом, в одной крошечной комнате с видом на двор; за обедом и чаем посылала в соседнюю гостиницу и никуда не выходила. Жандармский офицер навещал меня — спрашивал, не нужно ли мне чего-нибудь, предлагал мне попросить денег на дорогу, если у меня мало, и говорил, что тотчас может выдать,— но я не согласилась: я никогда ничего не просила у правительства, привыкла к пословице: «По одежке протягивай ножки»— и надеялась, что мне хватит. Каждый раз я спрашивала: скоро ли меня выпустят?

Наконец жандармский офицер мне сказал печально, что мне не отдадут ни книг, ни бумаг.

— Как,— вскричала я,— это невозможно — разве можно у меня отнять последнее? Ведь у меня, кроме них, нет ничего!

— Что же делать,— говорил он,— это все таможенный чиновник чудит.

Слушая слова офицера, я задумалась над этим новым ударом.

— О чем вы думаете? — спросил жандармский офицер.

— Я обдумываю...— сказала я.

— Что? — спросил он.

— Хочу телеграфировать царю, что благодарю его за монаршую милость, но не желаю ею воспользоваться,— а уезжаю опять за границу.

— Не делайте этого! — вскричал горячо жандармский офицер.

— Непременно сделаю,— сказала я решительно.— Вы хотите у меня все взять, что у меня осталось,— нет, это нельзя — лучше поеду обратно.

Видимо, офицеру не хотелось этого.

— Я пойду,— сказал он с одушевлением,— постараюсь уладить дело.

Вскоре он вернулся и сказал мне, что бумаги и фотографии мне оставляют и что я могу все уложить, как получу свои вещи обратно, но книг не возвратили [2].

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ

1848—1870

I

Когда мы всем семейством, т. е. мои родители, я с сестрой и гувернантка наша, m-lle Michel, приехали в 1848 году из Рима в Париж, Александр Иванович Герцен писал о нашем приезде Павлу Васильевичу Анненкову, который, как и Иван Сергеевич Тургенев, находился тогда там. Сначала Анненков пришел к нам один; он нам всем очень понравился: его непринужденность, приятное и ровное обхождение со всеми, его готовность нам все показывать в Париже, где он был как дома, приводили нас в восторг. Его помощь была всего чувствительнее в картинных галереях: он понимал живопись, много уже видал галерей за границей и любил объяснять нам особенности картин, которые были у нас перед глазами, но которые бы мы, вероятно, без него не заметили благодаря нашей неопытности. Через несколько дней Анненков привел к нам Ивана Сергеевича Тургенева. Высокий рост Ивана Сергеевича, прекрасные его глаза, иногда упорная молчаливость, иногда, наоборот, горячий разговор, бесконечные споры с Анненковым на всевозможные темы — все это не могло не поразить нас. Капризность его характера не замедлила выказаться в каждодневных посещениях им нашего семейства: иной раз он приходил очень веселый, другой раз очень угрюмый, с иными вовсе не хотел говорить и т. д. У Виардо, говорят, он не позволял себе капризов, с русскими он чувствовал себя свободнее. Многие

за глаза смеялись над продолжительностью его привязанности к Виардо, а я думаю, напротив, что это было его самое лучшее чувство. Какова же была бы его жизнь без него? Мне только грустно то, что Виардо была иностранка, понемногу она отняла его у России. Женщина без выдающегося таланта, без обстановки искусства, неартистическая натура не могла бы ему нравиться надолго. В его произведениях, особенно в «Записках охотника», так виден поэт, что он не мог бы ужиться в другом мире. Для Виардо он покинул Россию, отвык от нее, она становилась все дальше, дальше, будто в тумане; он продолжал писать, но талант его изменился, угасал, как и талант Огарева. На родине с 1849 по 1855 год Николай Платонович Огарев написал более стихотворений и лучших, чем в продолжение всей его жизни за границей [1].

На одного Байрона отсутствие из родины не имело влияния, но он был мировой поэт, к тому же он ненавидел Англию; но как ненавидел? Потому ли, что слишком горячо ее любил, или это была аномалия, как бывает очень редко с детьми, которые не любят своих родителей,— кто нам скажет?

Возвращаясь к Тургеневу, я вспоминаю, как он в это время нам всем казался странен. Он приходил к нам ежедневно, иногда чтоб играть в шахматы с моим отцом, иногда исключительно для меня, с остальными дамами он только здоровался, а дам было много, особенно с возвращения из Италии семейства А. И. Герцена, и все дамы, конечно, замечательнее меня.

Жена Герцена, о которой я много говорила в записках Т. П. Пассек [2], была поэтическая натура и наружности очень привлекательной; Марья Федоровна Корш (сестра Евгения), немолодая уже девица, умная и очень любезная; красивая и еще не старая мать Александра Ивановича Герцена, Луиза Ивановна, и Мария Каспаровна Эрн (ныне m-me Рейхель), тогда девушка, очень умная, веселая, образованная; моя мать, тогда еще довольно молодая и тоже красивая; моя сестра Елена, которую за необыкновенную грацию Наталья Александровна Герцен называла «своим пажем», и я, дурнушка, которую она называла своей Консуэлой или Миньоной Гете.

Тургенев любил читать мне стихотворения или рассказывать планы своих будущих сочинений; помню до сих пор канву одной драмы, которую он собирался написать,

и не знаю — осуществилась ли его мысль: он хотел представить кружок студентов, которые, занимаясь и шутя, вздумали для забавы преследовать одного товарища, смеялись над ним, преследовали его, дурачили его; он выносил все с покорностью, так что многие, в виду его кротости, стали считать его за дурака. Вдруг он умирает: при этом известии сначала раздаются со всех сторон шутки, смех. Но внезапно является один студент, который никогда не принимал участия в гонениях на несчастного товарища. При жизни последнего, по его настоянию, он молчал, но теперь он будет говорить о нем. Он рассказывает с жаром, каков действительно был покойник. Оказывается, что гонимый студент был не только умный, но и добродетельный товарищ, тогда встают и другие студенты, и каждый вспоминает какой-нибудь факт оказанной им помощи, доброты и проч. Шутки умолкают, наступает неловкое, тяжелое молчание. Занавес опускается. Тургенев сам воодушевлялся, представляя с большим жаром лица, о которых рассказывал.

Иногда Иван Сергеевич приносил мне духи «Гардени», его любимый запах; говорил со мною даже иногда о Виардо, тогда как вообще он избегал произносить ее имя; это было для него вроде святотатства. Он написал тогда маленькую комедию «Где тонко, там и рвется», прочел ее у нас и посвятил мне [3].

Когда мы ходили всем обществом гулять по городу, он вел меня под руку, несмотря на то, что он был самый высокий, а я самая маленькая из нашего общества. Раз, когда мы вышли смотреть иллюминацию, Тургенев вдруг почти присел:

— Что с вами? — спросила я с удивлением.

— Ничего,— отвечал он,— я хотел только убедиться, можете ли вы что-нибудь видеть чрез эту сплошную толпу,— иллюминация очень хороша.

Вероятно, убедившись, что мне почти ничего не видно, Тургенев подвел меня к какому-то крыльцу и ввел на верхнюю ступеньку; там действительно я могла вполне любоваться великолепным зрелищем иллюминации в Париже.

Впоследствии мы жили в одном доме с А. И. и Н. А. Герценами в Париже, и потому Тургенев часто заставал меня с сестрой у Наталии Александровны. Часто Александра Ивановича не было дома; тогда Тургенев читал мне что-нибудь, при этом если все сидели вместе, то у Турге-

нева являлись удивительные фантазии: он то просил у нас всех позволения кричать как петух; влезал на подоконник и действительно неподражаемо хорошо кричал и вместе с тем устремлял на нас неподвижные глаза; то просил позволения представить сумасшедшего. Мы обе с сестрой радостно позволяли, но Наталья Александровна Герцен возражала ему:

— Вы такие длинные, Тургенев, вы все тут переломаете,— говорила она,— да, пожалуй, и напугаете меня.

Но он не обращал внимания на ее возражения. Попросит у нее, бывало, ее бархатную черную мантилью, драпируется в нее очень странно и начинает свое представление. Он всклокочет себе волосы и закроет себе ими весь лоб и даже верхнюю часть лица; огромные серые глаза его дико выглядывают из-под волос. Он бегал по комнате, прыгал на окна, садился с ногами на окно, делал вид, что чего-то боится, потом представлял страшный гнев. Мы думали, что будет смешно, но было как-то очень тяжело. Тургенев оказался очень хорошим актером; слабая Наталья Александровна отвернулась от него, и все мы вздохнули свободно, когда он кончил свое представление, а сам он ужасно устал. Когда нас звали с сестрой наверх, Иван Сергеевич или уходил в кабинет Герцена, смежную с гостиной комнатку, или ложился на кушетку в гостиной и говорил мне:

— Возвращайтесь поскорей, а я пока понежусь.

Он очень любил лежать на кушетках и имел талант свернуться даже на самой маленькой.

Наталья Александровна или читала, или занималась с кем-нибудь из детей, а на Тургенева не обращала ни малейшего внимания: он был, как и П. В. Анненков, короткий знакомый в их доме. Анненков имел большую симпатию и глубокое уважение к Наталье Александровне; Тургенев же, напротив, не любил ее, мало с ней говорил, как будто нехотя; нередко случалось им даже говорить друг другу колкости. Я была в странном положении между ними двумя: горячо любя Наталью Александровну, я была, однако, как молодая девушка, очень польщена постоянным вниманием Ивана Сергеевича ко мне, но я оставалась совершенно спокойна, и мысль полюбить его никогда мне не приходила в голову; я не кокетничала, но видела в Тургеневе особенно талантливого и оригинального человека, и мне это нравилось; бывало только иногда

досадно на насмешки дам, которые меня дразнили, называя внимание Тургенева ухаживаньем. Иногда мне хотелось ему высказать, что его постоянное и исключительное ко мне внимание конфузит и навлекает на меня разные маленькие неприятности; но взгляну, бывало, на его большие, прекрасные глаза, которые так добродушно, почти по-детски улыбаются, и промолчу.

Раз мы все сидели, т. е. молодежь, на крыльце, которое выходило в наш садик; был теплый июльский вечер. Анненков и Тургенев тоже были с нами. Вдруг Иван Сергеевич обратился ко мне с вопросом:

— M-lle Natalie, за которого из нас двух вы бы скорее пошли замуж? (разумея Анненкова).

— Ни за которого,— отвечала я, смеясь.

— Однако если б нельзя было отказать обоим? — сказал он.

— Почему же нельзя,— сказала я,— ну, в воду бы бросилась.

— И воды бы не было,— возразил Тургенев.

— Ну,— сказала я, смеясь,— за вас бы пошла.

— А! вот этого-то я хотел, все-таки вы меня предпочли Анненкову,— сказал Иван Сергеевич, глядя на Анненкова с торжествующей улыбкой.

— Конечно,— сказала я,— если и воды нет.

И все засмеялись.

Осенью мы оставили Париж: срок, назначенный для нашего путешествия, оканчивался; Иван Сергеевич пришел проститься и принес мне на память маленькую записную книжечку; где было написано, чтоб я никогда не принимала серьезного решения, не взглянув на эти строки и не вспомнив, что есть человек, который меня никогда не забудет[4].

Мы уехали.

II

Через год или два я услышала, что Ивану Сергеевичу велено жить в его имении в Орловской губернии, где он прожил безвыездно два года. Говорили, что он был сослан за то, что находился в Париже во время июньских дней 1848 года. Тогда были большие строгости[5].

Мой отец (Тучков) был предводителем дворянства в Инсарском уезде; во время нашего путешествия отец был

заменен его кандидатом, но по возвращении он был косвенно удален от своей должности, и кандидат сделался предводителем. Отец находил это удаление незаконным и требовал от министра внутренних дел, чтоб ему было объяснено, почему он заменен, или просил, чтоб его отдали под суд; но все это ни к чему не привело и просьба отца осталась без последствий.

Во время ссылки Ивана Сергеевича Виардо была приглашена петь в Петербурге. Все были очень удивлены, что у нее не хватило мужества навестить Тургенева в его Спасском; не повидавшись с ним, она возвратилась за границу[6].

Впоследствии, уже замужем, я была однажды в Петербурге. Огарев хлопотал о получении заграничного паспорта; наш был первый, выданный в наступившем царствовании Александра II. Кто-то нам сказал, что И. С. Тургенев тоже в Петербурге; мы этому очень обрадовались оба. Сначала Огарев встретился с ним у кого-то из общих приятелей, потом Тургенев явился к нам, мы стояли в какой-то гостинице. Никогда не забуду этой встречи, так мало я ее ожидала.

Когда Тургенев постучал в дверь, я сидела в первой комнате, Огарев был во второй. Он хотел идти навстречу входящему, но Тургенев предупредил его, услышав обычное «войдите». Он вошел, кланяясь мне на ходу и спеша к Огареву.

Дверь была открыта, и я слышала, как он сказал Огареву:

— Ведь вы женаты? На ком?

— На Тучковой,— отвечал Огарев, с простодушным удивлением в голосе,— да вы разве не знаете?

— Познакомьте меня, пожалуйста, с вашей женой,— сказал Иван Сергеевич.

— Да ведь вы, кажется, давно знакомы,— говорит Огарев и зовет меня.

Я встаю, они входят, и я не могла не улыбнуться, протягивая руку этому новому знакомому. Это была какая-то сцена из «Онегина». С этой минуты Иван Сергеевич был действительно новый знакомый.

Зато к Огареву у него была в эту эпоху горячая симпатия. Прощаясь, он говорил ему: «Я не могу так уйти, скажите мне, когда я вас увижу снова, где, назначьте день» и пр.[7]. Мне кажется, все очень горячие чувства

его, кроме к Виардо, не длились долго. Раз он зашел к нам в Петербурге, в отсутствие Огарева, и сказал мне:

— Я хотел передать Огареву поручение Некрасова, но все равно, вы ему скажите. Вот в чем дело: Огарев показывает многим письма Марии Львовны и позволяет себе разные о них комментарии. Скажите ему, что Некрасов просит его не продолжать этого; в противном случае он будет вынужден представить письма Огарева к Марье Львовне куда следует, из чего могут быть для Огарева очень серьезные последствия.

— Это прекрасно,— вскричала я с негодованием,— это угроза доноса en tout forme*, и он, Некрасов, называется вашим другом, и вы, Тургенев, принимаете такое поручение!

Он проговорил какое-то извинение и ушел[8].

Конечно, это объяснение ничуть не способствовало нашему сближению. Из писем Марии Львовны (присланных Огареву по смерти ее) он узнал, что, несмотря на то, что Панаева с поверенным Шаншиевым по доверенности Марии Львовны получили орловское имение для передачи ей, все-таки они ее оставляли без всяких средств к существованию, так что она умерла, содержимая Христа ради каким-то крестьянским семейством близ Парижа...[9]

III

Каждый год раз или два Тургенев приезжал в Лондон. Иногда он бывал очень весел; не могу забыть, как он приехал однажды с каким-то соотечественником из литераторов. Последний вовсе не знал по-французски. Когда стали спрашивать паспорты на французском пароходе, оказалось, что молодой человек запрятал свой паспорт куда-то далеко в чемодан. Тургенев его успокаивал, говоря, что это не беда, спросят имя и проч. и запишут; так и случилось. Услышав, что у молодого русского паспорта нет, гарсон вынул записную книжку и начал делать обыкновенные вопросы:

— Votre nom, prénom, nom de famille?

Молодой литератор бойко отвечал.

— Votre âge? — продолжал гарсон.

---

* по всей форме (*франц.*).

— Cent vingt sept ans,— отвечал скромно наш путешественник. Тургенев кусал себе губы, чтобы не разразиться смехом.

— Comment? — переспросил гарсон, не веря своим ушам.

Молодой литератор уверенно повторил. Тогда улыбка мелькнула на лице гарсона, и он стал пристально осматривать говорящего; в глазах его читалось:

«Diable! Dans ce climat de neige et de glace on se conserve joliment bien. Avec ses 127 ans ce gailliard a l'air d'en avoir à peine 25» *.

И Тургенев хохотал, не стесняясь смущением своего молодого друга, который прерывал его, сконфуженно говоря:

— Это все вы, Иван Сергеевич,— право, вы сами!..

Помню еще один замечательный случай. Это было около 1861 года; кто-то приехал из Парижа к нам и рассказывал, как русские, находящиеся в Париже, собрались на дебаркадере, чтобы приветствовать при въезде в Париж одно высокопоставленное лицо, отправляющееся в кругосветное путешествие. Когда ожидаемый поезд приблизился и ожидаемое лицо вышло, наши соотечественники встретили его с почтительным приветствием, но вместо обычного любезного ответа на оное последовало резкое замечание о том, что неприлично русским дворянам носить бороду. Приветствующие были поражены подобным обращением. Слыша об этом происшествии из достоверного источника, Герцен хотел рассказать это в «Колоколе», но вдруг является Иван Сергеевич и говорит, что приехал затем, чтоб передать Герцену, что его просят не печатать о вышеупомянутом факте: высокопоставленное лицо обещает в продолжение всего своего путешествия воздерживаться от подобных выходок, если Герцен промолчит на этот раз. Это было передано Ивану Сергеевичу князем Н. А. Орловым, служившим посланником в Бельгии. Герцен и высокопоставленное лицо сдержали оба слово.

Однажды Тургенев приехал в Лондон в очень хорошем расположении духа. Он нас забавлял разными рассказами о родине; между прочим, мы были очень заинтересованы

---

* «Ваше имя и фамилия?» — «Сколько лет?» — «Сто двадцать семь».— «Что?» — «Черт возьми, в этой стране снега и льда люди удивительно сохраняются. 127 лет,— а ему и 25-ти не дашь на вид» (*франц.*).

следующим рассказом о государе Николае Павловиче и графе Т... Всем известно, что Николай Павлович предпочитал штатской службе военную службу; особенно терпеть не мог, чтоб оставляли военную службу для штатской. Как-то случилось, что граф Т... оставил военную службу и взял отставку. Кажется, год спустя, находясь в Петербурге, Т... был приглашен к коротким знакомым на многолюдный раут, куда и отправился в простом пиджаке. На его беду совершенно неожиданно явился туда и Николай Павлович. Он прохаживался по залам; его высокий рост позволял ему различать всех и в густой толпе.

Заметив Т..., который был тоже высокого роста, Николай Павлович направился в его сторону. Завидя государя, граф Т... приветствовал его с замиранием сердца, чувствуя себя как бы виноватым перед государем за то, что находился в отставке. Николай Павлович отвечал слегка на его поклон и стал всматриваться в его костюм.

— Ah! mon cher Т..., comme vous voilà affublé! — сказал он с улыбкой,— comment appelez vous cela,— продолжал он, взяв его за рукав.

— Peatjack, votre majesté,— отвечал Т...

— Comment? — переспросил Николай Павлович.

— Peatjack, votre majesté,— повторил Т... с сильным сердцебиением.

— Ce n'est pas mal, mais quelle différence aves l'uniforme militaire *,— сказал государь и проследовал дальше.

Т... вздохнул всей грудью, надеясь, что его приключение окончено. Но, походя немного и милостиво разговаривая с некоторыми лицами, Николай Павлович опять увидал неподалеку Т...

— Ah! Т..., comment s'appelle donc votre costume? — сказал он.

— Peatjack, votre majesté!

— Comment dites-vous? — переспросил Николай Павлович.

— Peatjack, votre majesté, **— отвечал Т... и чувствовал, как крупные капли пота выступали у него на лбу. Казалось, Николай Павлович забавлялся его смущением.

---

* «А, Т...— Как вы разоделись! Как это называется?» — «Пиджак, в.в.».— «Как?» — «Пиджак, в.в.».— «Недурно,— но какая разница с военным мундиром!» (*франц.*)

** «А! Т..., как же называется ваш костюм?» — «Пиджак, в.в.».— «Как?» — «Пиджак, в.в.» (*франц.*).

Походя еще по залам, он опять увидал Т... и пошел к нему навстречу. Бедный граф, завидя государя, хотел ретироваться за колонну, но высокий рост выдавал его, и Николай Павлович отыскал его и там.

— Ah! mon cher Т..., comment appelez vous donc cet habit, j'ai très mauvaise mémoire ce matin,— сказал он.

— Peatjack, votre majesté,— с отчаянием отвечал Т...

— Comment, c'est un mot très difficile à retenir,— переспросил Николай Павлович.

— Peatjack, votre majesté! * — сказал Т..., и едва Николай Павлович проследовал, как граф Т... поспешил оставить раут, обещая себе никогда не попадаться на глаза государю в злополучном пиджаке.

Раз Тургенев приехал к нам вскоре после написания им «Фауста». Он читал его сам у нас, но ни Огареву, ни Герцену «Фауст» не понравился, с той только разницей, что последний делал свои замечания очень сдержанно, тогда как первый критиковал «Фауста» очень резко; с этих пор Иван Сергеевич окончательно потерял всякое расположение к Огареву[10].

Помню, что раз Тургенев приехал в Лондон особенно веселый и милый к Герцену.

— Знаешь ли, что я тебе скажу,— начал он, обращаясь к Александру Ивановичу,— ведь я приехал нынче не один; чтоб тебя лицезреть, один чудак пустился в дорогу, не зная ни одного иностранного слова, и просил меня проводить его до Лондона. Ведь это подвиг? Отгадай — кто это? Вот что,— продолжал он,— может, лучше сначала тебе к нему съездить, может, Огареву не совсем приятно его видеть, были какие-то неприятности...

— Господа,— сказал Александр Иванович,— да уж это не Некрасов ли? Он ведь безъязычен; с чего же он взял, что мне будет приятно его видеть после того, что он через тебя, Иван Сергеевич, передавал Огареву?

— Да ведь он нарочно приехал из России, чтоб повидаться с тобой!

— Может ехать обратно,— сказал Герцен, и был непреклонен. Вообще, за Огарева он оскорблялся гораздо более, чем за самого себя.

---

* «A! Т..., как же называется это одеяние? У меня сегодня прескверная память».— «Пиджак, в.в.».— «Как? Ужасно трудно запомнить это слово».— «Пиджак, в.в.» (*франц.*).



И. С. Тургенев.
С фотографии, конец 1860-х гг.

В продолжение трех дней Иван Сергеевич постоянно уговаривал Герцена увидать Некрасова, но принужден был покориться непреклонной воле Герцена и увезти его обратно, не добившись свиданья[11].

По переезде в Швейцарию мы не видали более Ивана Сергеевича; изредка он переписывался с Герценом. По распоряжению последнего, «Колокол» высылался правильно Тургеневу, Вырубову и некоторым еще, но когда Огарев сломал ногу и Тургенев не осведомился о состоянии его здоровья, Герцен рассердился на Тургенева и не велел высылать ему более «Колокола»; зато, когда мы приехали в Париж в конце 1869 года, Герцен сам смеялся, рассказывая, как при первом свидании Тургенев подробно и долго расспрашивал своего друга о здоровье Огарева.

— Видно, урок был хорош! — говорил Александр Иванович, смеясь.

IV

Во время свидания в Париже, в 1869 году, они разговорились о литературе. Александр Иванович спрашивал, что пишет Тургенев в настоящее время.

— Я ничего не пишу,— отвечал Иван Сергеевич,— меня в России не читают более; я уже стал писать для немцев по-немецки и печатать в Берлине; но вот беда, вздумали переводить, что я пишу, и, поверишь ли,— продолжал он с жаром,— когда в С.-Петербурге Краевскому был подан перевод, то он отдал его обратно переводчику, говоря: «Это нельзя напечатать, это слишком хорошо, вы переведите как-нибудь похуже — я напечатаю». И оба приятеля залились звонким смехом[12].

Тургенев шутил, но внутри ему было больно это отчуждение своих. С двадцатипятилетнего возраста он был избалован судьбой, слава его все росла; впоследствии благодаря переводам Виардо он стал не менее известен и в Европе; перед ним широко растворялись двери лучших салонов Парижа и Лондона, он становился баловнем счастия, как вдруг родная страна отшатнулась, отвернулась от него, и за что? За изящную фотографию нигилизма в России («Отцы и дети»). Он писал, как соловей поет, без намеренья уязвить чье-нибудь самолюбие, он писал, потому что это было его призвание, а русская молодежь

оскорбилась, увидала злую преднамеренность и ополчилась на Тургенева: тяжелое отношение со своими продолжалось несколько лет.

Герцен не любил антиэстетического проявления нигилизма в России и удивлялся негодованию русской молодежи на Тургенева. Он говаривал иногда соотечественникам: «Помилуйте, Базаров — апофеоз нигилизма, нигилисты никогда до него не дойдут. В Базарове есть много человеческого. Чего же им оскорбляться?»

Герцен и Тургенев переживали тяжелое время; оба они находились тогда под опалой общественного мнения в России: Тургенев, как сказано выше, за яркое представление нигилизма; Герцен за соболезнование о Польше. Конечно, по своим взглядам и правилам, А. И. был всегда на стороне более слабых, но он не принимал никакого участия в польских делах; однако были недоброжелательные личности, которые на это намекали, и этого было достаточно, чтоб он был почти всеми оставлен.

Впоследствии для Тургенева все изменилось, к счастью еще при его жизни; он был понят, оценен на родине, и пылкая молодежь спешила сама горячо приветствовать талантливого писателя и старалась загладить свое несправедливое предубеждение против него. А для Герцена заря этого горячего примирения никогда не занялась...

Когда Александр Иванович Герцен занемог своей последней болезнью, Иван Сергеевич навестил его и видел, что Герцену угрожает большая опасность, и все-таки он исчез на несколько дней. Тогда именно Тургенев ходил (только потому, что не сумел отказаться) смотреть казнь Тропмана, которую и описал вскоре в «Вестнике Европы», издание 1870 года[13].

После казни Тропмана Тургенев пришел к нам нервный, почти больной; он провел несколько дней без сна и пищи. Он вспоминал с содроганием о виденном.

— Да,— говорил он,— лучше бы я вам помогал ходить за больным Александром Ивановичем, вот где было мое место; но я жалкий человек, стихии управляют мной. Когда Белинский * умирающий возвращался в Россию, я... я не простился с ним.

---

* Белинский был как бы руководителем Тургенева, восхищался его талантом, направлял его, а иногда выговаривал ему, как ребенку. (*Прим. автора.*)

— Знаю, Иван Сергеевич, вас отозвала Виардо, не сделайте того же и нынче. Вы любите Герцена, а пожалуй, и с ним не проститесь,— сказала я.

— Нет, нет, как можно,— возразил он горячо.

Вырубов почти не отходил от больного; Таландье *, узнав в Англии о кончине Герцена, без денег в ту минуту, заложил часы и поспел к похоронам Герцена, а И. С. Тургенева не было,— он выехал из Парижа![14]

* Впоследствии депутат в палате. (*Прим. автора.*)

ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ, НАПИСАННЫХ ДЛЯ III ТОМА «ИЗ ДАЛЬНИХ ЛЕТ» Т. П. ПАССЕК

ПИСЬМО Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ К Т. П. ПАССЕК

Милая Татьяна Петровна!

Посылаю вам стихи и ноты Огарева, хорошо бы их издать, это даст понятие о разнообразии и стремлениях его богатой натуры.

Сверх своего поэтического таланта, он любил и знал хорошо музыку, прекрасно играл на фортепьяно и фантазировал так увлекательно, что мы по целым ночам заслушивались его игры.

Исполняя желание ваше, сообщаю вам о жизни нашей и Александра по переезде из Англии в Швейцарию.

Мы все оставили Лондон в 1864 году и переехали в Женеву[1]. Через год переместили туда и типографию[2].

«Колокол» год не издавался[3], — его плохо разбирали.

Устроившись в Женеве, Александр, спустя немного времени, стал постоянно путешествовать, отыскивая, где

бы поселиться более по душе. С Огаревым беспрерывно переписывался и часто приезжал в Женеву. Швейцарию и Германию он не любил; Бельгию и Голландию посетил из любопытства; в Виши лечился минеральными водами; в Италию ездил видеться со своими детьми, которые там находились одно время; жил в Ницце, жил в Париже, в Лионе, иногда один, иногда с семейством. В январе 1870 года кончил жизнь в Париже.

Последнее, что он написал, была телеграмма к Огареву в день своей кончины.

Не знаю, сумею ли вам выразить, что было со мною при чтении ваших записок «Из дальних лет». Я не могла от них оторваться, читала дни и ночи, утомленная, как-то светло засыпала. Мне веяло близостью к *ним*.

Все милые образы носились передо мною, то детьми, то юношами. И Натали, которую я так горячо полюбила во время нашей жизни за границей. Никогда не встречала я такой симпатичной женщины.

Как хорошо вы сделали, что писали о них, и как просты, изящны картины деревенской жизни. Яковлевы так хорошо очерчены, что я как будто вижу их всех.

Это дополнение к *его* запискам.

Странно, он хотел, чтобы я писала о Натали; вот и пришлось говорить о ней у вас, которая знала ее с ее детства.

Александр находил у меня о ней поэтическое представление.

Жаль, я не знала, что вы печатаете письма, я бы давно прислала вам некоторые из ее писем[4].

Я пришлю вам все, что имею, и можете печатать или не печатать, как сами найдете, что надобно и что возможно.

Я делаю это по чувству любви моей к Натали и по долгу, без малейшего самолюбия, с полным смирением.

Вы хотели, чтобы я объяснила вам многое о людях, близких вам и мне, и передала бы вам мою печальную жизнь.

Как ни тяжело, исполняю ваше желание и прилагаю вам небольшой очерк нашего семейства и нашего сближения и жизни вместе с семейством Герцена в Риме и Париже.

Страна, омытая темно-синим морем, покрытая темно-синим небом.

А. Г.

Последними днями нашей жизни в Риме заключается часть воспоминаний, начавшихся с детского пробуждения мысли, с отроческого пробуждения на Воробьевых горах.

А. Г.[5]

В 1847 году мы собрались ехать за границу.

Когда был решен наш отъезд, Огарев дал мне с сестрой записочку к жене Герцена — Наталье Александровне, чтобы мы скорее с нею сошлись, не теряя времени на церемонные визиты. Мы были рады ехать, несмотря на то, что нам жаль было оставить деревню, старую няню и Огарева, который любил нас, как детей своего друга. Огарев проводил у нас по несколько дней, бродил с нами, детьми, по лесам, вечером по селу; там садились мы на бревна, слушали песни и любовались на хороводы. Огарев смотрел на нас обеих почти как на детей, с добродушной улыбкой, и всегда был готов исполнять наши желания.

Мы берегли данную нам Огаревым маленькую запечатанную записочку. Если бы она была и не запечатана, и тогда мы не смели бы ее открыть, несмотря на то, что нас очень занимало ее содержание.

За границей мы побывали в Генуе, в Ницце и везде узнавали, что Герцены были и уехали. Наконец мы нашли их в Риме. Вечером, в день приезда, мы уже были у них, и так дружески с ними сблизились, что все время пребывания нашего в Италии были неразлучны...

Никогда я не видала такой симпатичной женщины, как Наталья Александровна; прекрасный, открытый лоб, задумчивые, глубокие темно-синие глаза, темные, густые брови, что-то спокойное, несколько гордое в движениях и вместе с тем так много женственности, нежности, мягкости,— иногда по ее лицу проходила тень грусти; впоследствии я поняла, что было виною этого.

С тех пор стала она близка мне навсегда.

Семья Александра Ивановича в то время состояла из его матери, затем Марии Федоровны Корш, Марии Каспаровны Эрн и детей Герцена. Нам жилось с ними в Италии

прекрасно. Мы вместе осматривали в Риме галереи, разные достопримечательности и пр.; только иногда, к изумлению всех, в это время меня с Натали (так звали все жену Герцена) заставали где-нибудь одних у окна, любующимися превосходными видами или просто горячо беседующими. Я не могла насмотреться на Натали, мне все в ней казалось привлекательно; не могла наговориться с ней; но что писал ей о нас Огарев, я не знала и не спрашивала; узнала это я случайно.

Раз в храме Петра и Павла встретилась я с Марьей Федоровной, которая оперлась на мою руку и, отойдя от остальных, сказала мне тихо:

— M-lle Natalie, как горячо Огарев о вас писал Наталье Александровне, о с о б е н н о о вас. Уж не влюблен ли?

Я в смущении молчала.

— А вы? Он такой славный!

Я чувствовала, что краснею под ее взглядом от неожиданности,— как будто и от радости, и ничего не ответила ей. Мария Федоровна выручила меня, продолжая разговор сама.

Наталья же Александровна никогда даже и не намекала на эту записку, но она полюбила меня глубоко. С Огаревым она была очень дружна.

Если вечер проходил, а мы не являлись, Наталья Александровна писала мне или посылала за нами Александра. Мы были неразлучны. Спустя некоторое время мы и Герцены поехали вместе в Неаполь. Отель наш находился на Кияе, прямо против Везувия. Когда я и Натали вышли на балкончик (в каждой комнате маленький балкончик) и взглянули на море и Везувий — восклицание восторга вырвалось у нас обеих.

— Нет,— говорила я,— это слишком, это какой-то торжественный праздник природы, какое-то ликование! Сюда должны приезжать счастливые,— несчастным здесь будет еще тяжелее.

Дорогой, туда и обратно, я и Натали ехали в неудобном дилижансе, в купе, с нами был маленький Саша, сын Герцена. Хорошо нам было сидеть одним, когда, бывало, после дружеского разговора Натали заснет на моем плече, я не смела двинуться с своей драгоценной ношею. Натали впоследствии вспоминала об этом времени в своих письмах ко мне. На станциях Александр подходил к окну нашего купе и улыбался юной любви моей к его жене.

В Неаполе Александр всегда ходил за table d'hôte под руку со мной, поэтому меня принимали за его жену, а Натали за гувернантку Саши. Это нас очень забавляло.

Я удивлялась, что большая часть наших знакомых считали Натали холодною; я находила, что это была самая страстная, горячая натура в кроткой, изящной оболочке. Эта женщина — сама поэзия, говорила я о ней, как тонко она все чувствует и как верно понимает все художественное, изящное. Из поэтов Натали любила больше всех Лермонтова и Кольцова; их сочинения всегда лежали у нее на столе; в письмах своих она часто упоминала их. Даже накануне кончины ее, когда хотели увести из ее комнаты детей, чтобы они не тревожили ее, она сказала: «Пусть у гробового входа младая жизнь играет»[6].

Я глубоко любила Натали и Александра, и была в восторге от их взаимной привязанности, мне и в голову не могло прийти, что и их союз на время принесет им много горя. Но перед концом союз их снова заблестел и еще ярче прежнего, как солнце перед закатом.

Они были счастливы, насколько возможно человеку быть счастливым.

Раз Александр, во время продолжительной болезни жены, легкомысленно увлекся служившей у них горничной девушкой, но вскоре встревожился этим и тотчас же отдалил ее. Это повело к большим семейным несчастиям.

Раздраженная, отдаленная девушка отомстила ему на всю его жизнь. Собравшись говеть, она пришла просить прощенья у Натальи Александровны, упала ей в ноги и все высказала. Натали жила в полной уверенности в него. Здоровье ее этим было сильно потрясено. Она не могла опомниться долгие годы; ей казалось, что пал не он один, но пали они оба, что идеальный союз их разбился вдребезги. Упрекать, делать сцены было не в ее натуре; она молча уходила в себя и плакала в его отсутствие. Александр не мог понять такой долгой грусти; он любил ее — страдал, огорчался и раздражался[7].

К Натали почти никто не относился равнодушно: ее или любили, или ненавидели,— вернее, ей завидовали.

Она вернулась к нему со всей своей беспредельной любовью, но грусть не оставляла ее до гроба. Это видно на ее последней фотографии, это видно в строках, написанных ею ко мне[8].

Мы первые уехали из Италии в Париж. Там мы застали П. В. Анненкова и И. С. Тургенева. Оба они были очень милы и внимательны с нами. Они показывали нам Париж и забавлялись нашим изумлением европейской жизнью на улицах.

Из гостиницы мы переехали в Елисейские Поля, заняли там третий этаж в доме Фензи, а первый этаж просил взять для него Александр. Во втором этаже жила какая-то семья англичан. Наконец приехали и Герцены. Встреча была самая радостная. Натали заняла комнату под нашею комнатою. Мы провели на веревочке маленький колокольчик из своих окон в окно комнаты Натали. Она позвонит, мы бежим к окну. Нам ее надобно — мы дернем веревочку,— она покажет свою головку в окне. Что за жизнь была — прелесть. Мы только спали врозь.

Однако англичанкам, вдобавок пожилым, не совсем нравились наши русские затеи, и отец наш частенько был на их стороне.

— Надо жить, но и других не стеснять,— говорил он со своей кроткой улыбкой.

В сущности, он один был между нами европеец.

Раз Натали чуть не разошлась со мной.

Мы узнали, что в предместье св. Антония строят баррикады. Герцен, отец наш и Селиванов собрались и пошли туда. Мне очень хотелось идти с ними, но они благоразумно отклонили эту честь. Раздраженная их безучастием, я вошла к Натали и звала ее с собой, но та не решалась оставить детей.

— Еще не знаю, что с Александром будет, да сама уйду,— а дети?.. ты, кажется, о них никогда не думаешь.

Я замолчала, но думала про себя: «Да разве мало детей в Париже. Если бы все родители так думали, все бы сидели сложа руки». Улучив минуту, я осторожно вышла одна на улицу. Сердце сильно билось, вдруг меня догоняет Саша и говорит:

— И я с тобой, Наташа.

— Нет, милый, сегодня не могу тебя взять, нет, иди домой, мама будет беспокоиться о тебе: в Париже стреляют,— баррикады.

Я уговорила его вернуться и пошла одна. Улицы пусты, на Вандомской площади стреляли,— я перешла пло-

щадь с страшным волнением, исполненным восторга и чувства долга. Во всех переулках стояли часовые — дальше меня не пустили, и я должна была идти домой.

Часов в пять Александр и отец вернулись; они хотели зайти за Анненковым и Тургеневым, но их не пустили. Анненков и Тургенев три дня не выходили из своих квартир, и только посылали записки Александру, но записки их с трудом, и то не все, доходили.

Все были встревожены моим долгим отсутствием и хотели идти отыскивать меня, но вскоре я сама появилась, красная от волнения и палящего солнца. Все напали на меня, больше всех Натали. Она уложила меня в постель; уверяла, что у меня жар, села в ногах и читала мне долгую проповедь, как нехорошо быть эгоисткой и легкомысленной. Лицо ее выражало такой гнев, какого я у нее никогда не видала.

Возвратясь из Италии, Александр наткнулся на 15 мая[9], потом осадное положение Парижа и июньские дни.

25 или 26 июня всю ночь слышалась канонада. К утру она умолкла, только по временам трещала ружейная перестрелка и раздавался барабан. Улицы были пусты, по обеим сторонам стояла муниципальная гвардия. На Place de la Concorde был отряд мобили.

Александр и Анненков отправились к Мадлень. По пути их остановил кордон национальной гвардии, пошарили в карманах; спросили, куда идут, и пропустили. Следующий кордон, за Мадлень, отказал в пропуске. Они возвратились к первому, там тоже их остановили.

— Да ведь вы видели, что мы тут шли?

— Не пропускать! — крикнул офицер.

— Что вы шутите, что ли, с нами? — сказал Александр.

— Нечего толковать,— ответил офицер,— берите их.

Их отвели во временную полицию. Там старичок в очках и черном платье, расспросив их, в чем дело, сказал:

— То-то, господа, видите, что значит неосторожность. Зачем в такое время выходить со двора,— умы раздражены, кровь льется. Можете отправиться домой, только не мимо кордона. Я вам дам проводника, он вас выведет в Елисейские Поля.

«Нехорошо было в Париже, нехорошо было и у нас,— говорит об этом времени в своих записках Александр.— Мы слишком много видели, слишком пострадались. Ти-

шина и подавленность, наступившие после ужасов, дали назреть всему тяжелому, запавшему в душу»[10].

Спустя месяц, вечером 26 июня, послышались правильные залпы с небольшими расстановками и барабанным боем.

Это расстреливали...

До осени Герцены были окружены своими. Анненков и Тургенев приходили к ним каждый день. Но все глядело вдаль, все собирались ехать.

— Зачем не уехал и я,— говорил впоследствии Александр,— многое было бы спасено[11].

К ЗАПИСКАМ Т. П. ПАССЕК «ИЗ ДАЛЬНИХ ЛЕТ»

Третий том записок Татьяны Петровны Пассек «Из дальних лет» явился в печати только тогда, когда начертавшая его рука, утомленная, склонилась; Татьяна Петровна опочила от своих трудов, от многострадальной жизни, и ей не дано было порадоваться на свой законченный последний труд, который со временем будет оценен за многое[1]. Но одно только неприятно поражает в этих воспоминаниях... это сопоставление рядом такой личности, как А. И. Герцен, с литературною личностью, во всем противоположною...[2] Но Татьяна Петровна жила воспоминаниями и относилась одинаково ко всем русским деятелям и ко всем взглядам и направлениям; поэтому ошибка эта для нее возможна. Но я берусь за перо, потому что считаю обязанностью восстановить истину там, где покойная Татьяна Петровна, не зная сама сущности дел, писала под влиянием слухов и чужих толков.

Вообще, третий том «Из дальних лет» требовал бы исправленного издания; кроме многочисленных типографских ошибок, в нем встречаются ошибки, даже бессмыслицы, происходящие от неуменья разбирать почерк А. И. Герцена или же просто от незнания французского языка и некоторых научных терминов; вероятно, Татьяна Петровна в последнюю зиму не была в состоянии лично следить за изданием...

Скажу только несколько слов о том, что бросает яркий свет на взгляды и деятельность А. И. Герцена.

Кажется, в 1860 году, когда говорили уже много о скором освобождении крестьян, помню, что раз утром в нашей квартире раздался сильный звонок. Наш повар Jules доложил Александру Ивановичу, что его спрашивают три незнакомые личности, приехавшие издалека для свидания с ним. Герцен же для того чтобы правильно заниматься, имел обыкновение никого не принимать по утрам, но так как Jules уже ввел посетителей в салон, то он сделал на этот день исключение и пошел к приезжим, но вскоре вернулся за Огаревым, и они долго беседовали все вместе. На другой день я видела этих господ, они провели дня три или четыре в Лондоне; это были члены варшавского жонда, посланные подпольным правительством для переговоров с Герценом и для отыскания его поддержки. После Герцен передавал мне разговор с ними. На их просьбы помочь Польше вооруженной силой Александр Иванович отвечал с свойственною ему откровенностью, что он не располагает никакой материальной силой в России, но что, если б это и было, он не стал бы звать своих на междоусобную войну.

— Вся моя сила,— сказал он им,— в слове, в истине, в моем чутье, в одинаковом биении моего сердца с сердцем народа; мы оба с Огаревым жалеем о Польше, но между нами и вами мало общего,— мы посвятили свою жизнь служению русскому народу, а у вас на первом плане далеко не народные интересы. Если я ошибаюсь, докажите мне противное: отпустите крестьян на волю, отпустите их с землею! Тогда между нами будет общее. Оставьте мысль о восстании, много крови прольется даром. Россия сильнее Польши; лучше пользуйтесь тем, что она сделает для себя; возмущением вы не выиграете ничего, но вы затормозите ход развития России.

Посланные жонда возвратились в Варшаву, ничего не достигнувши и давши только неопределенные обещания относительно крестьян.

Советы Герцена не были приняты жондом. Разговор Герцена с членами подпольного правления не есть ли лучшее доказательство того, что он не смотрел на польское восстание, как на имеющее мировое значение для славян (П а с с е к, стр. 138), а как на последний отблеск шляхетской вспышки.

На 134-й странице покойная Татьяна Петровна говорит: «По случаю событий в Польше Герцен написал горя-

чую статью с эпиграфом: «Ты победил, Галилеянин». Это совершенная ошибка: статья эта была написана до происшествий в Варшаве; эпиграф, как видно по смыслу, относится к освободителю крестьян. Глубоко, искренно тронутый освобождением крестьян, Герцен набросал эту статью и собирался прочесть ее русским, а за русским обедом хотел предложить тост за царя-освободителя[3].

Кто мог бы угадать тогда последствия восторженных речей и настроения духа? Но судьба судила другое: перед обедом Тхоржевский принес только что полученные им фотографические снимки с лиц, убитых в свалке на улицах Варшавы во время демонстраций. С этой минуты дух нашего праздника изменился: к радости за освобождение крестьян примешивалось какое-то тяжелое чувство, от которого нельзя было освободиться.

По этому случаю на следующий день Герцен написал горячую статью, озаглавленную: «Mater dolorosa», и едва ли когда-нибудь слог его достигал такой горячности, как в этой статье[4].

На странице 144 записок Пассек сказано: «Руководители этой партии, узнав об этом намерении детей А. И. Герцена, отправили к его сыну письмо с бланком «Народная расправа» с угрозами. Письмо было без подписи».

Посмертное издание полного собрания сочинения А. И. Герцена печаталось в Женеве под моим наблюдением; Н. П. Огарев просматривал корректуру. Александр же Александрович Герцен продолжал жить во Флоренции; поэтому письмо с угрозами и было прислано ко мне. Подлинник его я сообщила в 90-х годах в редакцию «Русской старины».

Тогда я написала А. А. Герцену и пошла посоветоваться с приятелем покойного Александра Ивановича, натуралистом Карлом Фогтом. Последний лежал в страшной мигрени, но, услышав от жены, что я пришла потолковать о деле, принял меня тотчас. Мы решили, что оригинал посмертного издания будет пока храниться у него, а набор будет продолжаться с копии[5].

А. А. Герцен напечатал ответ, о котором говорит Пассек.

Перепечатание всех сочинений Герцена началось по моей инициативе. Переживая трудно описываемое время после кончины А. И. Герцена, я искала работы и горячо схватилась за мысль нового издания его произведений, собрала все, что Герцен когда-либо писал в России и за

границей, сделала список его сочинений в хронологическом порядке и передала весь этот материал г-ну В<ырубову>, который брался за это дело охотно, так как ценил Герцена и все его сочинения, хотя и расходился с ним во взглядах и направлении.

На первые издержки я передала Г. Н. В<ырубову> русский билет внутреннего займа, полученный мною от неизвестного лица для употребления на полезное, и я думала, что не могла сделать лучшего употребления из этих денег; конечно, их было недостаточно для перепечатания всех сочинений Герцена и «Колокола», но тогда же предполагалось получить по тысяче франков с каждого из детей покойного Александра Ивановича, на что они, казалось, были согласны. После моего возвращения в Россию хлопоты по этому изданию перешли от г. В<ырубова> к детям покойного Герцена[6].

Татьяна Петровна говорит, что Огарев сломал ногу на охоте, но он отроду не бывал на охоте. Дело было так: Огарев жил тогда в Женеве; однажды он шел домой середь дня; вдруг с ним сделался обычный нервный припадок, и он упал. Это случилось в конце города, против дома умалишенных. После обморока Огарев встал и пошел было неверными шагами, но, не заметив канавы, оступился, упал вновь и сломал себе ногу,— боль была так сильна, что он лишился чувства. Уже начинало смеркаться, когда он пришел в себя. Он стал звать на помощь прохожих, но все, взглянув на него издали, спешили пройти мимо; очевидно, близость дома умалишенных была виной того, что его приняли за сумасшедшего. Огарев перестал звать, вынул складной нож из кармана и разрезал сапог,— нога начинала уже пухнуть; затем он достал сигару, спички и закурил; так он провел всю ночь! К счастию, рано утром какой-то знакомый проходил мимо него, который подошел к Огареву и, узнав в чем дело, поспешил взять карету и отвез его домой.

Теперь мне остается отвечать на личности, помещенные против меня в III томе «Из дальних лет». Если нужно знать всю семейную обстановку Герцена для его биографии, во-первых, необходимо, чтоб V том его собственных воспоминаний «Былое и думы» был напечатан без сокращений, тем более что Герцен сам этого желал, и я недоумеваю, что затормозило выход в свет лучшей части «Былого и

дум» — этого вполне художественного произведения[7]. Но не столько обидно то, что обо мне говорится, сколь обидно, что умалчивается об остальных; даже местами выходит вовсе непонятно, что это за личности «Туц, Юла» и пр. Если нужно говорить, то все и про всех, говорить, не скрывая ничего.

...Дело вовсе не в нас, а в истине, относящейся до такой крупной в истории русского общества личности, каковою был (независимо от направления) вполне даровитый русский писатель и публицист, покойный А. И. Герцен.

ПРИМЕЧАНИЯ

«Воспоминания» Н. А. Тучковой-Огаревой были впервые опубликованы: главы I—VI — в «Русской старине», 1890, кн. X, стр. 1—80; главы VII—XIV — в «Русской старине», 1894, кн. IX, стр. 63—100, кн. X, стр. 3—45, кн. XI, стр. 3—26, кн. XII, стр. 3—27; главы XV—XVII — в «Северном вестнике», 1896, кн. II, стр. 82—99, кн. III, стр. 107—120, кн. IV, стр. 41—49. Глава «1871 год» была впервые опубликована, с небольшим пропуском в тексте, в журнале «Печать и революция», 1925, кн. V—VI, стр. 160—167, затем в «Материалах для биографии М. Бакунина», т. III, М.— Л. 1928, стр. 218—236.

В 1903 г. «Воспоминания» (главы I—XVII) вышли отдельным изданием, в приложения вошли письма Герцена к Н. А. Огаревой («Из интимной переписки А. И. Герцена»), статья-очерк «Иван Сергеевич Тургенев» (ранее опублик. в журнале «Русская старина», 1889, кн. II, стр. 337—348), заметка «К запискам Т. П. Пассек «Из дальних лет» (ранее опублик. в журналах «Неделя», 1889, № 14, и «Русская старина», 1890, кн. I, стр. 229—232) и «Заметки А. И. Деспот-Зеновича», касающиеся семьи Тучковых.

В 1929 г. вышло в свет новое издание (вступит. статья, редакция и примечания С. А. Переселенкова, «Academia», Л. 1929); в текст этого издания вошли отдельные места из журнальных публикаций, опущенные в издании 1903 г.; были восстановлены цензурные пропуски по сохранившимся корректурным листам и другим материалам, обнаруженным С. А. Переселенковым в ленинградских архивах, в частности в Институте русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР (ИРЛИ). Впервые в состав «Воспоминаний» была включена, по тексту первоначальной публикации, глава «1871 год». В приложениях по сравнению с изданием 1903 г. были напечатаны отрывки из ранней, краткой редакции воспоминаний Н. А. Тучковой-Огаревой, написанной для т. III «Из дальних лет» Т. П. Пассек (СПБ. 1889; первоначально в «Русской старине», 1886, кн. X; 1887, кн. X), и опущены письма Герцена к Н. А. Огаревой и «Заметки А. И. Деспот-Зеновича».

В настоящем издании текст печатается по изданию: Н. А. Тучкова-Огарева. Воспоминания. 1848—1870, изд. М. и С. Сабашниковых, М. 1903, с восстановлением цензурных пропусков. Глава «1871 год», напечатанная в полном виде в сборнике «Архив Н. А. и Н. П. Огаревых», М. 1930, стр. 268—279, в настоящем издании печатается по автографу, хранящемуся в Центральном гос. архиве литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ). В приложения включены статья о И. С. Тургеневе и отрывки, написанные Н. А. Тучковой-Огаревой для т. III «Из дальних лет» Т. П. Пассек: письмо к Т. П. Пассек, «В Италии» (стр. 83—87; первоначально в «Русской старине», 1886, кн. X, стр. 150—151, 154—158), «Эпизод из нашей жизни в Париже» (стр. 88—90; первоначально в «Русской старине», 1886, кн. X, стр. 158—160, в ЦГАЛИ хранится автограф отрывка с более ранней редакцией текста), а также заметка «К запискам Т. П. Пассек «Из дальних лет». Впервые в составе «Воспоминаний» печатается отрывок «Возвращение» (был опубликован в сборнике «Архив Н. А. и Н. П. Огаревых», стр. 279—281).

Подстрочные переводы в тексте в большинстве случаев приведены также по авторизованному изданию 1903 г.

Рукопись глав «Воспоминаний», опубликованных при жизни автора, неизвестна. В ЦГАЛИ хранятся автографы многочисленных отрывков из дневников и мемуаров Н. А. Тучковой-Огаревой на русском и французском языках, в том числе не вошедших в текст журнальных публикаций или отдельного издания записок (см. «Н. П. Огарев. Опись документальных материалов личного фонда», Центр. гос. литературный архив СССР, М. 1950, стр. 14—15). Некоторые из этих отрывков в свое время были опубликованы в сборниках «Русские пропилеи», М. 1917, т. IV, и «Архив Н. А. и Н. П. Огаревых», М. 1930. В настоящем издании в отдельных случаях существенные варианты, имеющиеся в рукописном тексте отрывков по сравнению с печатной редакцией мемуаров, приведены в примечаниях. Там же приводятся варианты ранней редакции «Воспоминаний», напечатанной в т. III «Из дальних лет» Т. П. Пассек, и первоначальных журнальных публикаций.

Преимущественное внимание в примечаниях уделено вопросам, связанным с жизнью и деятельностью А. И. Герцена и Н. П. Огарева.

В примечаниях приняты следующие условные сокращения:

«Р. ст.» — «Русская старина».

«Сев. в.» — «Северный вестник».

Т. П. Пассек, т. II (или т. III) — «Из дальних лет. Воспоминания Т. П. Пассек», т. II, СПБ. 1879 (или т. III, СПБ. 1889).

«ЛН» — «Литературное наследство».

«Б и Д» — «Былое и думы» А. И. Герцена.

ВОСПОМИНАНИЯ

ГЛАВА I

(*Стр. 19—27*)

[1] Стихотворение Н. М. Карамзина (под названием «Любезной в день ее рождения») было впервые опубликовано в сборнике «Мои безделки», 1794, ч. I, стр. 200. Таким образом, оно было написано раньше указываемой Н. А. Тучковой-Огаревой даты. В изданиях сочинений Карамзина стихотворение обычно печатается среди произведений 1793 г. или даже с датой «1793», как в изд. 1820, т. I, стр. 54, изд. 1834, т. I, стр. 55, изд. 1848, т. I, стр. 52; под 1793 г. оно напечатано также в академическом издании «Сочинений Карамзина» с указанием редактора: «Можно думать, что это произведение посвящено Н. И. Плещеевой» (т. I, П 1917, стр. 424). Возможно, что в связи с рождением М. А. Тучковой Карамзин вновь вспомнил написанное им ранее стихотворение.

[2] Н. А. Тучков скончался 30 октября 1812 г.

[3] В 1816—1817 гг. вышли в свет «Сочинения и переводы Сергея Тучкова» в 4-х частях, где были напечатаны его стихотворения и трагедия «Агамемнон», а также переводы Горация, Расина, Вольтера, Руссо.

[4] Первые главы «Записок» С. А. Тучкова были напечатаны в журнале «Век», 1884, № 1—2, затем «Записки» вышли отдельными изданиями в качестве приложения к «Русскому вестнику» (1906) и к газете «Свет» (1908).

[5] Подробнее о семействе Тучковых рассказано Н. А. Тучковой-Огаревой в записках Т. П. Пассек, т. III, стр. 65 и сл.

[6] В «Р. ст.» (1890, кн. X, стр. 4) далее шли две строки точек; очевидно, здесь по цензурным условиям допущен пропуск текста.

[7] См. статью Б. П. Козьмина «А. А. Тучков в деле декабристов»— «Ученые записки» Саратовского гос. университета имени Н. Г. Чернышевского, т. LVI, выпуск филологический, Саратов, 1957, стр. 67—82.

[8] А. А. Тучков, по данным следственной комиссии, «содержался с 19 января сначала на главной гауптвахте, а потом в Главном штабе. По докладу комиссии, 14 апреля высочайше повелено, продержав месяц под арестом, выпустить» (см. «Восстание декабристов. Материалы», т. VIII, Алфавит декабристов, Л. 1925, стр. 189).

ГЛАВА II

(*Стр. 28—40*)

[1] Г. А. Римский-Корсаков, участник Отечественной войны 1812 г., член Союза благоденствия, принадлежал к передовым кругам русского дворянства, был в дружеских отношениях с Пушкиным, Вяземским

и др. «...Я люблю его от души»,— писал Огарев А. А. Тучкову 20 марта 1838 г. («Русские пропилеи», т. IV, стр. 6); см. также о нем в четвертой главе поэмы Огарева «Зимний путь» (1854—1855).

[2] Г. А. Римский-Корсаков был офицером л.-гв. Литовского и затем л.-гв. Московского полков; в 1821 г. в чине полковника вышел в отставку. Причины его отставки лежали значительно глубже, чем это рассказывает далее Н. А. Тучкова-Огарева, и были прежде всего связаны с недовольством, которое вызвало среди передовой части русского офицерства жестокое подавление восстания Семеновского полка (1820).

[3] Комедия А. Н. Островского; была впервые опубликована в журнале «Москвитянин», 1850, март, кн. II.

[4] И. П. Липранди в 1826 г. недолгое время содержался под арестом в связи с делом декабристов; впоследствии выступил с доносом по делу петрашевцев (1849).

[5] В трагедии Софокла «Эдип в Колоне».

[6] Имеется в виду Николай Еремеевич Струйский, пензенский и симбирский помещик, дед поэта А. И. Полежаева.

[7] Это был Л. Н. Струйский, отец поэта Полежаева; суд лишил его дворянства и чина и отправил на поселение в Сибирь, где он в 1823 г. умер.

[8] Это место (ответ Амвросия) по требованию цензуры было опущено в «Р. ст.» и в отд. издании 1903 г.

[9] В апреле 1835 г. Огарев был выслан в Пензенскую губ. под надзор местных властей; ему было тогда 21 год.

[10] Огарев женился на М. Л. Рославлевой 26 апреля 1836 г.

[11] В письме к Т. П. Пассек (конец 80-х годов) Н. А. Тучкова-Огарева рассказывала: «Ог⟨арева⟩ я стала знать лет пяти, видала в детстве и М. Л.—и признаюсь, ни мне, никому у нас она не была симпатична. Ребенком я играла с ним в шахматы, любимая игра моего отца и тоже единственная игра, которую я люблю» («Архив Н. А. и Н. П. Огаревых», стр. 267).

[12] П. Б. Огарев умер 2 ноября 1838 г.

ГЛАВА III

(*Стр. 41—52*)

[1] См. Т. П. Пассек, т. III, стр. 72 и сл. (первоначально «Р. ст.», 1886, кн. X, стр. 151 и сл.). В частности, Н. А. Тучкова-Огарева писала там:

«Скромная с виду деятельность его была полна преданности России и народу. Но, несмотря на то, что он старался защищать слабых только силою законов, это не нравилось, и на него часто делали доносы. Бескорыстие отца мешало врагам погубить его и заставило отступиться. Добрая память о нем сохранилась в народе и до настоящего времени.

В конце 1849 года, я, возвращаясь с Огаревым из Крыма и проезжая по Симбирской или Тамбовской губернии,— не помню,— разговорилась с одним крестьянином о рекрутском наборе. Дело было осенью.

— У нас беда,— отвечал он,— да, впрочем, везде одно и то же; только вот там,— и он указал по направлению к Пензенской губернии,— и есть один человек, который жалеет крестьянина.

Мы взглянули друг на друга.

— Как его зовут? — спросила я с замиранием сердца.

— Тучков,— отвечал он.

Он служил народу искренно, не тщеславясь, и память о нем сохранилась в народе.

Бывают и в настоящее время проявления трогательной, простой любви к нему.

Так, в недавнем времени, ехала я раз на яровой посев; лошадь, привязанная сзади экипажа, рвалась; надо было купить овса. Мне указали крестьянина, который продавал овес. Я поздоровалась с ним.

— Откуда будете?

— Из Долгорукова.

Он быстро взял ведро и принес овса.

— Сколько с меня? — спросила я.

— Ничего.

— Как ничего, разве так можно?

— Да ведь вы из Долгорукова; вы, должно быть, дочка Алексея Алексеевича?

— Да.

— Ну, он мне побольше делал добра, чем это, царство ему небесное.

Насилу я уговорила его взять что-нибудь детям на пряники.

Он вертел нерешительно серебро и говорил про себя:

— С дочки Алексея Алексеевича не надо бы.

Эти слова вызвали радостную улыбку на моем грустном лице» (стр. 75—76).

[2] В записках, опубликованных Т. П. Пассек, Н. А. Тучкова-Огарева писала:

«Дружба Тучкова с несчастными друзьями его молодости не охладела от разлуки. Она отразилась даже на детях его. Когда мы с сестрой в детстве и молодости встречались с уцелевшими и возвратившимися декабристами, то они добродушно, радостно жали нам руки и говорили с светлой улыбкой: это дети Алексея Алексеевича. И мы, дети, чувствовали, что нас любят, что нами интересуются, и нам, деревенским дикаркам, было хорошо и легко с ними» («Р. ст.», 1886, кн. X, стр. 152; ср. Т. П. Пассек, т. III, стр. 73).

[3] Великим князем, с которым у В. С. Норова в 1822 г. произошло столкновение, был Николай Павлович, будущий царь Николай I. См.

об этом эпизоде в статье Огарева «Разбор книги Корфа» (1858). Отмечая, что Норов, привлеченный к суду по делу декабристов, получил наибольшее смягчение наказания, Огарев писал: «Тут Николай оказал великодушие, потому что все знали, что он с Норовым имел личную вражду. На каком-то учении Николай (разумеется, бывши еще великим князем) рассердился, подбежал к Норову с ругательствами и ногою брызнул в него грязью из бывшей тут лужи. Норов, положив шпагу в ножны, ушел и подал в отставку. Император Александр страшно рассердился на этот случай и велел Николаю просить извинения у Норова. Николай исполнил приказание императора, говоря Норову, что и Наполеон иногда ругал своих маршалов. «Мне так же далеко до маршала Франции, как вам до Наполеона»,— отвечал Норов». См. об этом также в «Записках декабриста Д. И. Завалишина», т. II, Мюнхен, 1904, стр. 43—44, «Записках» Д. Н. Свербеева, т. II, М. 1899, стр. 17.

[4] В. С. Норов был осужден к лишению чинов и дворянства и к ссылке в каторжную работу на пятнадцать лет, затем было высочайше «повелено оставить его в работе на десять лет, а потом обратить на поселение в Сибири» («Восстание декабристов. Материалы», т. VIII, стр. 138).

[5] В 1837 г. на Кавказ были переведены из Сибири декабристы М. М. Нарышкин, Н. И. Лорер, А. Е. Розен, А. И. Одоевский и др.

[6] О посещении Нарышкиных в Высоком см. в записках Н. А. Тучковой-Огаревой, опубликованных Т. П. Пассек:

«Однажды, ехавши в Москву, мы всей семьей заехали к одному возвращенному из ссылки полковнику N. Его имение Высокое находилось в шести верстах от Тулы; там собралось несколько возвращенных, по случаю празднования дня рождения хозяина дома. Его добрая, милая жена радушно принимала друзей мужа. Дом их был как дворец — в нем легко было заплутаться; кругом великолепный парк, который, по случаю праздника, был иллюминирован; много наехало гостей из города, много простого народа толпилось в парке; хозяин добродушно посылал всем угощение.

Поздно вечером, когда все утихло, он сел к роялю и играл, а жена его пела, большею частью по-французски, романсы, сочиненные в далеком изгнании. Мы прожили три чудные дня в Высоком. Эти дни навсегда остались в нашей памяти» («Р. ст.», 1886, кн. X, стр. 152, ср. Т. П. Пассек, т. III, стр. 73—74).

[7] Огарев писал Т. Н. Грановскому 17 января 1847 г.: «Если Ал〈ексей〉 Ал〈ексеевич〉 где действительно полезен и гуманен, это при наборе. Честь ему и слава!» («Звенья», I, стр. 113).

[8] Имеются в виду волнения крестьян в селе Знаменское в 1844 г.

[9] Авдотья Перваго действительно страдала расстройством умственных способностей; в 1832—1835 гг. находилась в доме умалишенных, а затем «за помещение в письме к сыну своему дерзких и противо-

законных выражений» была выслана в Вятку, куда прибыла 17 ноября 1835 г., т. е. *после* Герцена (прибыл 19 мая 1835 г.). Вероятно, ее разговор с Герценом был в связи с днем десятой годовщины казни декабристов (13 июля 1836 г.); разумеется, Герцен уклонился от предложения А. Перваго как крайне опасного шага, тем более что болезненное состояние собеседницы было для него очевидно.

[10] Это место (начиная со слов: «Однажды, ехавши из деревни в Москву») было опущено в отд. издании 1903 г., хотя, несмотря на замечание цензуры, входило в текст главы, опубликованной в «Р. ст.» (1890, кн. X, стр. 33—34).

[11] И. А. Яковлев, отец Герцена, скончался 6 мая 1846 г. 19 января 1847 г. Герцен вместе с семьею выехал из Москвы за границу.

[12] Н. П. Огарев находился за границей с конца мая 1841 г. до января 1842 г.; 20 июня 1842 г. он вновь выехал за границу и вернулся в Россию в феврале 1846 г. В свое пензенское имение Старое Акшено он приехал в начале ноября 1846 г.

[13] В записках Т. П. Пассек Н. А. Тучкова-Огарева рассказывает: «Огарев был в числе актеров и, кроме занимаемой роли, устраивал будочку для суфлера; я помню, как перед представлением он вальсировал на сцене с Еленой, потом они распороли немного опущенный занавес, вставили в него лорнет и подглядывали на публику» (Т. П. Пассек, т. III, стр. 77).

ГЛАВА IV

(*Стр. 53—63*)

[1] «Сомнамбула» — опера Беллини (1831), одного из любимых композиторов Огарева.

[2] Более подробно Н. А. Тучкова-Огарева рассказывает о посещениях Огаревым Яхонтова в 1846—1847 гг. в записках Т. П. Пассек, т. III, стр. 77—80:

«Оставаясь у нас, Огарев вставал поздно, приходил к завтраку и до обеда оставался у отца в кабинете; перед обедом они приходили в гостиную, разговаривали и играли в шашки. Огарев после обеда курил и пил долго и много чаю. В десять часов вечера отец уходил в кабинет, толковать с деревенским начальством; иногда уходил с ним и Огарев, особенно если надо было давать медицинские советы; но вскоре возвращался к нам. По-видимому, он, после отца, любил больше всех говорить с нами,— в сущности же он был неразговорчив вообще, но так приветлив и с такой добротой смотрел на нас, что нам становилось легче и веселее при нем. Случалось нам иногда засиживаться с ним так поздно, что матушка или m-me Мишель, побранивши нас, что не ложимся спать, уходили, и мы оставались с ним одни. Бывало, если засидимся долго,

Огарев скажет: «А что, не съесть ли нам чего-нибудь?» Елена тотчас бежала в буфет, приносила что-нибудь холодное, иногда являлась и бутылка красного вина; особенно мы хорошо угощались, если старая няня, она же и экономка, Фекла Егоровна, поворчавши, давала нам от кладовой ключи.

После просьб и хлопот нам позволялось иногда покататься с Николаем Платоновичем в санках.

Отец посвятил Огарева во все наши семейные дела и обстоятельства, как самого близкого человека.

Время шло; развлечения были: отъезды отца, рекрутские наборы, стоны, рыданья баб, наше беспомощное участие, лихорадочное ожидание, кого отдадут, чья семья разбредется завтра.

После каждого набора отец хворал недели по две. Все в доме ходили на цыпочках. Григорий Александрович Римский-Корсаков в такое время сидел у него день и ночь, серьезный, резкий и печальный. Когда Корсаков оставлял больного, мы понимали, что отцу лучше. Огарев в это время незаметно делал все, чтобы нам жилось хорошо, и нам всегда жилось при нем хорошо, даже когда и не видали его, но знали, что он тут.

Он становился для нас ребенком — катался с нами с гор, ездил в санях, сидя на облучке, ходил с нами пешком, рылся в снегу, а когда уезжал, то нам казалось, что мы что-то теряли.

Так наступила весна, приближалось Светло-Христово воскресенье.

Наступила страшная распутица. Огарев был у нас и хотел ехать домой, но отец не пустил его. Мы радовались, что нет проезда. В светлое воскресенье ночью в слякоть все вместе ходили в церковь и разговлялись.

С наступившим теплом, в сопровождении Огарева и двух кучеров, нам позволили ездить верхом.

Однажды Огарев собрался ехать на какой-то большой праздник; мы растерялись. Долго ходили с ним по саду, желая, но не смея спросить, когда он вернется. Мы надеялись, что вот-вот что-нибудь случится и Огарев останется; но ничего не случилось, тарантас покатил по грязной дороге и скрылся под горой.

Мы стояли неподвижно.

— Ступайте домой,— сказал отец,— а я зайду на завод.

Чтобы развлечься, мы пошли к качелям; там было много девушек, почти все наши ученицы *.

Так прошло около двух недель.

В один прекрасный ясный день наша горничная девушка Любаша весело вбежала к нам, говоря: «Вставайте, вставайте, Николай Плато-

---

* Сорок девушек учились у нас по воскресеньям читать, писать и арифметике по ланкастерской системе. (*Прим. автора.*)

нович едут верхом». Мы вмиг были готовы; но Огарев, не входя к нам, прошел наверх, спросил кофе и лег отдохнуть. Чувствуя невозможность заняться чем-нибудь, мы пошли к отцу на завод и все утро ходили с ним по его работам. К завтраку явился и друг наш, и все пошло по-старому.

Вечером ходили мы с Огаревым по деревне; слушали песни крестьян, сидя на бревнах поодаль; любовались хороводами. Иногда подходили к хороводам, раздавали подарки. У нас почти всегда были бусы и ленты в карманах для взрослых и лакомства для детей.

После прогулок по деревне начались прогулки пешком по лесам, так как отец беспокоился, если мы ездили верхом.

Когда нам хотелось гулять, а Огарев был наверху, не смея за ним послать, мы подавали сигнал — аккорд на фортепьяно из «Нормы», чтобы он шел вниз гулять. Огарев тотчас сходил в зал с фуражкой в руках.

Отец был спокоен, когда мы были с Николаем Платоновичем, он вполне понимал его, а в нас видел еще детей. Может, большое расстояние лет между нами и Огаревым было виной, что ни он, ни мы не думали о любви. Часто уходили мы из дому рано поутру, до жары, брали с собой кофейник, бутылку сливок и спокойно шли без дороги и без цели; какое место понравится, тут и садились. Я любила овраги в самом лесу. Овраги эти бывают сплошь покрыты травой, а деревья и кусты со всех сторон, сплетаясь и переплетаясь, образуют почти темный навес. Там мы садились на край оврага, опускали вниз ноги на свежую зелень, разводили огонь и варили кофе.

И было нам так весело, что хотя бы тут и умереть. Иногда, отыскивая новые места, мы забирались так далеко, что попадали в чужие леса. Раз мы так потеряли дорогу, что, выбравшись на свое ржаное поле, от усталости едва узнали его».

[3] Тучковы выехали из Яхонтова летом 1847 г.

[4] О своем пути в Штеттин Н. А. Тучкова-Огарева рассказывает в записках Т. П. Пассек, т. III, стр. 82:

«Первый раз в жизни мы видим море и настоящий пароход. Пароход нам очень нравится, только в каютах какой-то резкий запах отталкивает. Мы осмотрели свое тесное помещение, состоявшее из четырех коек одна над другою, с диваном напротив лестницы, и вышли опять на палубу. Пассажиры нас интересуют, нам бы хотелось узнать, кто, откуда и куда, но чувствуем, что простота здесь не у места. На палубе немцы, англичане и русские. Какой-то англичанин, видя, что мы шатко ходим по палубе, пробормотал сквозь зубы: «Если бы я был представленным, то подал бы им руку». Один из русских, слыша это, улыбнулся,— этот русский был князь Кочубей. Он обратил наше внимание тем, что во время качки был совершенно здоров, в общем салоне играл на фортепьяно, пел и аккомпанировал себе очень мило; слушательницами были только я с сестрой — остальные дамы хворали. Наконец вот и Штет-

тин. Приятно после трехдневного плавания по морю очутиться на земле. Штеттин — маленький, дрянной городишко, но в нем видно было спокойствие, непринужденность, а у нас в то время заметен был безотчетный страх, даже и тогда, когда решительно бояться было нечего».

[5] Об И. П. Галахове см. в «Б и Д»,часть IV, гл. XXIX; Галахов был выведен также в лице собеседника автора в главе «Перед грозой (Разговор на палубе)» в книге Герцена «С того берега».

[6] 23 июня 1848 г. Н. А. Герцен писала Т. А. Астраковой из Парижа о сестрах Тучковых: «Каждая в своем роде хороша, встреча с ними дорога мне, она принесла мне много юности, свежести, наслаждения в мою душу; уж не говоря ни о чем другом, великое счастье любить так, как я их люблю» («ЛН», 63, стр. 379).

[7] О пребывании Тучковых вместе с семейством Герцена в Италии в 1848 г. см. в «Отрывках из воспоминаний» М. К. Рейхель, М. 1909, стр. 53—58.

[8] Эпизод с потерей портфеля в Неаполе был рассказан Герценом в «Письмах из Франции и Италии» (письмо седьмое) и М. К. Рейхель в «Отрывках из воспоминаний» (стр. 58—60).

[9] Начиная со слов: «—Алексей Алексеевич,—вскричал он»,—текст, по требованию цензуры, был опущен в «Р. ст.» и в отд. издании 1903 г.; вместо него в журнальном тексте шли четыре строки точек (стр. 44); в отд. издании 1903 г. пропущенный отрывок был заменен текстом: «— Вы выиграли пари,— кричал он с лестницы,— вот и шампанское. Республика провозглашена во Франции!» (стр. 50.)

[10] Начиная со слов: «Мы всегда принимали участие»,— текст, по требованию цензуры, был опущен в «Р. ст.» и в отд. издании 1903 г.

[11] Начиная со слов: «Когда мы вышли из церкви»,— текст, по требованию цензуры, был опущен в «Р. ст.» и в отд. издании 1903 г.

[12] Начиная со слов: «В это время ко мне»,— текст, по требованию цензуры, был опущен в «Р. ст.» и в отд. издании 1903 г.

[13] См. рассказ Герцена об итальянских событиях этого времени в «Письмах из Франции и Италии» (письма пятое — восьмое) и в «Б и Д» (часть V, «Западные арабески» — «Сон»).

ГЛАВА V

(Стр. 64—74)

[1] Как известно, впоследствии Гервег сыграл роковую роль в семейной жизни Герцена. См. об этом в «Б и Д», часть V, «Рассказ о семейной драме».

[2] Начиная со слов: «Вскоре наше внимание»,— текст, по требованию цензуры, был опущен в «Р. ст.» и в отд. издании 1903 г.

[3] См. рассказ Герцена об июньских днях 1848 г. в Париже в «Письмах из Франции и Италии» (письмо двенадцатое) и в книге «С того берега» (глава «После грозы»).

[4] Имеется в виду «Эпизод из нашей жизни в Париже» (см. стр. 297—299 наст. издания; впервые опубликован в «Р. ст.» 1886, кн. X, стр. 158—160; Т. П. Пассек, т. III, стр. 88—90, в составе главы «Во Франции и в России»).

[5] Об обыске в квартире Герцена в июне 1848 г. см. также в «Б и Д», часть V, «Западные арабески» — «В грозу». Разумеется, об обыске у А. А. Тучкова Герцен в своих мемуарах умолчал.

[6] Тучковы уехали из Парижа в августе 1848 г. См. рассказ Герцена об их отъезде в «Б и Д», часть V, «Рассказ о семейной драме» («Приметы»).

[7] Огарев и Н. А. Тучкова-Огарева уехали из России в середине марта 1856 г.

[8] О возвращении Н. А. Тучковой-Огаревой на родину в августе 1876 г. см. на стр. 273—275 наст. издания.

[9] О «теоретическом разрыве» с Т. Н. Грановским и глубоких идейных разногласиях в московском кружке Герцена — Огарева см. в «Б и Д», часть IV, глава XXXII.

[10] Т. А. Астракова, писательница, была близка кружку Герцена — Огарева 30—40-х гг.; ее воспоминания вошли в т. II «Из дальних лет» Т. П. Пассек. Умерла в 1892 г.

[11] Письма Т. А. Астраковой к Н. А. Тучковой-Огаревой 80-х гг. хранятся в Отделе рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина.

[12] С. И. Астраков — близкий друг Огарева, учитель математики в различных учебных заведениях Москвы, талантливый изобретатель, не получивший, однако, возможности добиться практического осуществления своих научных и технических замыслов. «...Между нами,— писал С. И. Астракову Огарев (1849),— есть страшно много точек соприкосновения, симпатий, даже теоретических. Я думаю, что последними шутить нельзя, в самом-то деле, только они несколько просветляют личность, они делают для нас человека симпатичным или нет» («Полярная звезда», 1881, кн. II, стр. 22). Памяти С. И. Астракова было посвящено стихотворение Огарева «Студент» (1869). Письма Т. А. и С. И. Астраковых к Герцену и Огареву см. в «ЛН», 62, стр. 9—22.

[13] Далее в тексте «Р. ст.» (1890, кн. X, стр. 57) шел рассказ об аресте А. И. Деспот-Зеновича, троюродного брата Н. А. Тучковой-Огаревой. По этому рассказу, А. И. Деспот-Зенович по дороге в Вильно, куда он поехал навестить родителей, «на какой-то станции громко распевал польские песни с товарищем-студентом»; это вызвало у него столкновение с каким-то генералом, по донесению которого Деспот-Зенович «был взят под арест в Вильне и отправлен в Сибирь».

В поправках к своим воспоминаниям, напечатанным в «Р. ст.», 1891, кн. II, Н. А. Тучкова-Огарева отмечала, что причины ареста и ссылки А. И. Деспот-Зеновича «были совсем иные», чем те, которые ей передавала тетя, М. А. Тучкова: «Почему и кем она была введена в заблуждение на этот счет — мне неизвестно, но моя племянница, Елена Николаевна Сатина, находясь у нее в гостях, не раз слышала от нее тот же рассказ» (стр. 503). В отд. издании 1903 г. этот текст был опущен автором, а публикуя в «Приложениях» собственный рассказ Деспот-Зеновича о его аресте и ссылке, Н. А. Тучкова-Огарева писала: «То, что я раньше писала об этом в «Рус. стар.» (смотри конец пятой главы моих записок), была легенда, вымышленная для успокоения моей тети и дедушки» (стр. 322).

ГЛАВА VI

(Стр. 75—96)

[1] А. А. Тучков резко отрицательно отнесся к сближению дочери и Огарева при отказе М. Л. Огаревой согласиться на развод. «Он... очень расстроился невозможностью легального брака»,— писала Н. А. Тучкова Герцену и его жене весной 1849 г. из Петербурга («Русские пропилеи», т. IV, стр. 88).

[2] Воспоминания Н. А. Тучковой-Огаревой неточно излагают обстоятельства ссылки И. С. Тургенева в Спасское. Он был выслан «на жительство на родину под присмотр» в связи с некрологом о Гоголе, напечатанном писателем в «Московских ведомостях» 13 марта 1852 г., однако главной причиной его ареста и ссылки явились «Записки охотника». «Это только послужило предлогом,— писал Тургенев Луи и Полине Виардо 1/13 мая 1852 г.,— ...на меня уже давно смотрят косо и потому привязались к первому представившемуся случаю» (И. С. Тургенев, Собр. соч., т. XII, М. 1958, стр. 109).

[3] Рассказ Н. А. Тучковой-Огаревой подтверждается свидетельствами современников о кружке Петрашевского. Ср. в показаниях А. А. Краевского в III Отделении: «... в великую пятницу его гости разговлялись сыром, куличом, ветчиной, как бы в первый день пасхи» (В. И. Семевский, М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы, ч. I, М. 1922, стр. 98). По воспоминаниям П. П. Семенова-Тяньшанского, «в пятницу на страстной неделе он ⟨Петрашевский⟩ выставлял на столе... кулич, пасху, красные яйца и т. п.» («Мемуары», т. I, П. 1917, стр. 196).

[4] В воспоминаниях Н. А. Тучковой-Огаревой, связанных с арестом петрашевцев, несколько сдвинуты события — петрашевцы были арестованы в ночь на 23 апреля 1849 г., в то время как пасха в том году приходилась на 3 апреля.

[5] Свадьба Н. М. Сатина и Е. А. Тучковой состоялась 27 мая 1849 г.

[6] В дневнике Н. А. Тучковой-Огаревой сохранилось следующее описание отъезда из Москвы: «С утра тяжелые разговоры, резкие слова, много печали было на сердце, и смятенье, и разлука, и неизвестность, страх новых неприятностей между близкими; наконец все стихло, кареты поданы, Ог⟨арев⟩ простился прежде и уехал ждать на станцию. Вещи мои были уложены в важах Ог⟨арева⟩, но никто из людей не знал этого... Мрачный отъезд, сердце словно камнем придавило... тучи надвинулись, гром загремел, долго, долго он яростно раскатывался, наконец крупный дождь ударил. Папа велел остановиться, мы вышли обе; как прощание описывать — кто сам испытал, чего стоят первые разлуки, тот, верно, помнит, сколько одно мгновенье вселяет в себя различных страшных дум» («Русские пропилеи», т. IV, стр. 188).

В наброске, относящемся к 70-м годам, Н. А. Тучкова-Огарева вспоминала:

«Я помню этот день, как будто это было вчера. Мы были тогда в Москве, вернувшись без всякого успеха из Петербурга. В то время только что совершились аресты после Петрашевской истории, и в обществе царствовала страшная паника — люди задыхались от напряженного состояния.

Дома после долгих и мучительных разговоров было решено, что я уеду с Огаревым в Одессу, а там постараемся переехать на Запад хоть на английском корабле. У Огарева не было пачпорта для заграничного путешествия и никакой надежды получить его. Несколько дней перед этим днем моя сестра венчалась с Ник. Мих. Сатиным в одной из церквей Старой Конюшенной. Я помню, что я ехала в церковь с Сергеем Ивановичем Астраковым. Последний имел тогда большую симпатию ко мне. Дорогой он разговорился, сказал мне, что слышал о наших планах, и, несмотря на дружбу к Ог⟨арему⟩, очень отсоветывал мне ехать с ним, говоря, что едва ли чувство ко мне долго продлится в Огареве. Но я отвечала ему просто, что об этом поздно говорить, потому что это давно решено и не может быть изменено, а как отгадать, что готовит судьба? В это время я с такой безумной верой смотрела и на себя и на Огарева. Мои родители собирались обратно в Яхонтово, это было перед постом, называемым Петровки; мой будущий зять не хотел откладывать свадьбу на очень долгий срок, а потому близость забытого поста заставила спешить с свадьбой; метрических свидетельств не было ни у жениха, ни у невесты; кроме того, надо было свидетельство об исповеди,— хлопот было много. Мой отец, не говоря никому, отправился в какую-то церковь к вечерне и после вечерни объявил священнику, что желает говеть, и выправил свидетельство об исповеди на имя Николая Сатина — и торжествующий привез его Сатину.

Незаметно для прислуги я предварительно уложила свои вещи в чемодан Огарева. Слуга, который ехал с моими родителями в деревню, говорил мне много раз, что устроил для меня место очень удобно, спереди внутри кареты; я рассеянно слушала его слова и благодарила только движением головы. В этот день небо было покрыто черными тучами — напрасно мы ждали, чтоб гроза прошла,— она еще не начиналась, но приготовления ее были ужасны. Пришлось выехать — мы сели все трое в карету, Елена с мужем провожала нас в другом экипаже. Мы ехали долго к Рогожской заставе, сопровождаемые резкими ударами грома и грозными сверканиями молнии,— ветер гнал облака пыли по улицам, наконец ударил проливной дождь. Мой отец велел остановиться, еще раз начались прощания, потом я пересела в экипаж сестры — мои родители продолжали путь к выезду из Москвы, а мы повернули и поехали по противоположному направлению, выехали из Москвы по Варшавской дороге и почти в безмолвии добрались до станции. Там Ог⟨арев⟩ нас ожидал. Татьяна Алексеевна Астракова с деверем Сергеем Ивановичем приехали тоже нас провожать. Астраков держал в руке букет из белых пахучих цветов, который он мне подал, говоря: «Будьте счастливы или хоть не несчастны». Т. Ал. сказала мне на ухо: «Берегите этот букет, он вам принесет счастье — Сергей только второй раз в жизни подносит букет!» («Архив Н. А. и Н. П. Огаревых», стр. 260—261). См. также письмо Огарева к С. И. Астракову из Крыма (1849) — «Полярная звезда», 1881, кн. II, стр. 22.

[7] «В Константинополь я сбирался съездить, да обстоятельства заставили раздумать»,— писал в связи с этим Огарев Герцену 23 августа 1849 г. («ЛН», 61, стр. 792).

[8] Вероятно, речь идет об А. И. Соколове, заведовавшем в те годы репертуаром в Одесском театре. Ср. в письме Огарева к Т. Н. Грановскому из Ялты от 28 июня 1849 г.: «Видел в Одессе С⟨околова⟩ и Б⟨огданова⟩. С. такой же толстый, добрый и благороднейший из смертных. Дела его, кажется, не в цветущем положении» («Звенья», I, стр. 149). См. также в мемуарах А. И. Шуберт, «Моя жизнь», Л. 1929, стр. 133—134, 141 и др. С. А. Переселенков без достаточных оснований полагает, что Н. А. Тучкова-Огарева здесь имеет в виду Г. И. Соколова. писателя-историка, чиновника особых поручений при новороссийском и бессарабском генерал-губернаторе, затем инспектора Ришельевского лицея и цензора Одесского цензурного комитета (см. изд. 1929 г., стр. 119). На эту ошибку впервые указал Н. М. Мендельсон (см. «Звенья», I, стр. 150).

[9] Огарев и Н. А. Тучкова провели в Крыму не восемь месяцев, а значительно меньше. Они выехали из Москвы на юг в первых числах июня 1849 г., в 20-х числах июня, после недолгого пребывания в Одес-

се, прибыли в Крым, а уже в сентябре выехали в Москву и в октябре возвратились в Яхонтово.

[10] Интересные подробности об этом периоде жизни Огарева сохранились в воспоминаниях «Умчавшиеся годы» И. А. Салова, известного беллетриста 60—70-х гг. «Отзывы о нем,— свидетельствует Салов,— были крайне для него неблагоприятны: его осуждали, что он занимается такими пустяками, как сочинять стишонки, что это совсем не дворянское дело...» Далее И. А. Салов пишет: «Сатин, так же как и Огарев, не пользовался расположением тогдашнего общества, и про обоих про них отзывы были самые неблаговидные: их осуждали и за писание стихов, и за переводы, и за бороды, носить которые в то время было запрещено» («Русская мысль», 1897, кн. VII, стр. 5—6). В неопубликованных воспоминаниях Ф. Е. Никольского, служившего одно время управляющим в имении и на винокуренном заводе Сатина, рассказывается, что «друзья жили совершенно замкнуто в своем кругу, всегда занятые чем-нибудь серьезным». «В них не было той барской напыщенности, какую имели другие из их барской среды; все у них было просто, но прилично и без барских замашек». Огарев, замечает Ф. Е. Никольский, не желал бывать нигде «и видеться с теми, с кем бы он не хотел» (цитир. по материалам архива «Литературного наследства»).

[11] См. также рассказ Н. А. Тучковой-Огаревой об этом эпизоде в записках Т. П. Пассек, т. III, стр. 75 (стр. 310—311 наст. издания).

[12] Арест А. А. Тучкова произошел 22 февраля 1850 г., Огарев был арестован в Симбирске утром 24 февраля 1850 г.

[13] Об отрицательном отношении к Н. А. Тучковой в кругу московских друзей Герцена и Огарева см. в книге: Я. З. Черняк, Огарев, Некрасов, Герцен, Чернышевский в споре об огаревском наследстве, М.— Л. 1933, стр. 157 и сл. «С большей частью людей связи, порванные внутренно, разрываются и географически»,— писал Огарев Герцену еще 5/17 июля 1849 г. из Крыма («ЛН», 61, стр. 788).

[14] Ср. в воспоминаниях И. В. Селиванова, также привлекавшегося по этому делу,— «Р. ст.», 1880, кн. VI, стр. 301 и сл.

[15] Стихотворение Н. П. Огарева «Арестант» было впервые опубликовано в «Полярной звезде» на 1857 г., кн. III, затем вошло в сборники «Стихотворения Н. Огарева», Лондон, 1858, «Лютня», вып. I, Лейпциг, 1869.

[16] Об обстоятельствах ареста Н. П. Огарева, А. А. Тучкова и Н. М. Сатина в 1850 г. см. в названной выше книге Я. З. Черняка, там же приведены документы из дел III Отделения. В частности, опубликовано донесение генерала А. А. Куцинского от 5 марта 1850 г. (стр. 460—462), в котором содержится упоминание о Н. А. Тучковой: «...девица 21-го года, по-видимому очень бойкая и с резкими, мужскими замашками».

[17] В ноябре того же года это запрещение с А. А. Тучкова было снято (см. «Русские пропилеи», т. IV, стр. 125).

[18] М. Л. Огарева умерла в Париже 28 марта 1853 г., но Огареву это стало известно в августе 1853 г., в связи с чем его свадьба с Н. А. Тучковой состоялась лишь в конце 1853 г.

[19] О первых годах совместной жизни с Огаревым в России Н. А. Тучкова-Огарева подробно рассказывает в наброске, озаглавленном «Моя исповедь»,— см. «Архив Н. А. и Н. П. Огаревых», стр. 261—263.

[20] Пожар Тальской фабрики (в июне 1855 г.), писала Н. А. Тучкова-Огарева в одном из мемуарных набросков (1874—1875), «развязал нам руки; беспечные, равнодушные к деньгам, мы почти радовались освобождению от дел». «Зато мы скоро будем с Герценом»,— во время пожара сказала она Огареву, и он «улыбнулся и махнул рукой» («Архив Н. А. и Н. П. Огаревых», стр. 258).

[21] Н. А. Герцен умерла 2 мая 1852 г. Огарев тяжело пережил это известие; в неопубликованном письме к М. Н. Островскому от 29 мая 1852 г. он писал: «О себе я скажу, что... убит горем и страдаю невыносимо. Если я кого любил, как сестру, и если меня любили, как брата, так это была только она» (ИРЛИ).

[22] В. Н. Кашперов в 60-х г. был профессором Московской консерватории.

[23] Упоминание о М. Н. Островском, впоследствии министре государственных имуществ, в «Р. ст.» (стр. 79) было опущено и замене но буквами «NN».

Письма Огарева к В. Н. Кашперову и М. Н. Островскому см. в «Звеньях», VI, стр. 364—377.

[24] Вероятно, Н. А. Тучкова-Огарева ошибочно называет Бутковским П. М. Грибовского, симбирского приятеля Огарева, с которым он сблизился в начале 50-х гг. См., например, в письме Огарева к М. Н. Островскому от 27 сентября 1852 г.: «Я должен признаться, что питаю слабость к Грибовскому... В нем есть что-то светлое, что я люблю, и что-то юное, что мне напоминает, что и я был молод» («Звенья», VI, стр. 370). И. С. Тургеневу Огарев в декабре 1856 г. писал о Грибовском, что «это одна из милых, светлых личностей, возбуждающих симпатию» («Современник», 1913, кн. VI, стр. 13).

[25] О пребывании Огаревых в Петербурге в ноябре 1855 г.— январе 1856 г., в ожидании заграничного паспорта, см. в письмах Н.А.Тучковой-Огаревой к родным в «Русских пропилеях», т. IV, стр. 141—146.

[26] В тексте «Р. ст.» далее шло следующее примечание за подписью «Ред.»:

«Одновременно с А. А. Тучковым и Огаревым был арестован и отвезен в Петербург, в марте 1850 г., Илья Васильевич Селиванов, весьма образованный пензенский помещик, бывший в должности уездного пред-

водителя, впоследствии судья, председатель палаты, талантливый писатель («Провинциальные очерки»). Селиванов был арестован в Москве и поездку совершил в одном кортеже с А. А. Тучковым, под конвоем того же прекраснодушного генерала Куцинского. Арест и поездка в Петербург и пребывание в III Отделении для покойного И. В. Селиванова окончились так же благополучно, как и для Тучкова, Огарева и Сатина. И. В. Селиванов подробно рассказал этот эпизод из своей жизни в своих воспоминаниях, напечатанных в «Русской старине», изд. 1880 г., т. XXVIII, стр. 299—316».

С незначительным изменением это примечание было перепечатано в отдельном издании 1903 г. (стр. 89—90).

Селиванов по окончании дела был сослан в Вятку, откуда он через полгода вернулся.

ГЛАВА VII

(*Стр. 97—113*)

[1] Герцен жил в Ричмонде с 5 апреля 1855 г., 5 декабря того же года он переехал на новую квартиру, в Petersborough Villa.

[2] Так, по имени героини одноименного романа Ж. Санд, называла Н. А. Тучкову жена Герцена, Н. А. Герцен.

[3] Приезд Огарева в Лондон был большим событием в жизни Герцена. В дневниковой записи, относящейся к маю 1856 г., он писал: «Первый раз после осени 1851 на меня повеяло чем-то домашним, я опять мог с полной теплотой и без утайки рассказывать то, о чем молчал годы...» Ср. также в «Воспоминаниях идеалистки» М. Мейзенбуг, М.— Л. 1933, стр. 340 и сл.

[4] Рассказы Герцена были преимущественно связаны с событиями его семейной драмы 1849—1852 гг. (см. «Б и Д», часть V). В «Моей исповеди» Н. А. Тучкова-Огарева вспоминает:

«Александру было необходимо говорить с нами о страшной драме, закончившей, как он говорил, его личную жизнь. Вечером он ждал, когда дети уйдут спать, когда Мальвида простится, что бывало не ранее полночи, тогда Александр обращался к нам двум, говоря: «Вам не хочется спать, посидим, я хочу вам все рассказать». Мы слушали его по целым ночам: без слов, без слез переживала я с ними эту страшную эпоху его жизни: страдание за нее и мучительное сочувствие к нему душили меня, но я не плакала; светало, когда мы расходились. Я желала отомстить за них обоих и не смела никому доверить мою мысль. И хорошо, что не доверила: я не могла бы убить даже этого презренного человека ⟨Гервега⟩. Убийство мне всегда представлялось низостью. В эти первые времена лондонской жизни, по вечерам, слушая долгие

рассказы Александра, становилось жутко, когда я представляла себе, что он должен был вынести тогда с его огненной душой, с горячим темпераментом, становилось слишком больно, участие к нему переходило почти в физическую боль, в желание облегчить, отогреть его измученную душу. Умирая, она требовала, чтоб он пожертвовал местью для детей,— он обещал, но чего ему стоило это обещание!» («Архив Н А. и Н. П. Огаревых», стр. 263).

[5] И. И. Савич был братом участника Кирилло-Мефодиевского общества Н. И. Савича (1808—1892), в 1847 г. отправленного в ссылку; студентом Московского университета, участником кружка Герцена — Огарева был А. Н. Савич (1810—1883), впоследствии выдающийся астроном.

[6] В действительности Герцен высоко ценил участие Л. Чернецкого в деятельности Вольной русской типографии. В 1863 г., отмечая десятилетие типографии, он писал, обращаясь к Чернецкому: «Дайте вашу руку на новое десятилетие и не сердитесь, что я повторяю всенародно то, что я вам сто раз говорил наедине. Помощь, которую вы мне сделали упорной, неусыпной, всегдашней работой, страшно мне облегчила весь труд. Братская вам благодарность за это» (предисловие к сборнику «Десятилетие Вольной русской типографии», Лондон, 1863). См. также стихотворение Огарева «Памяти Л. Чернецкого» (1872).

[7] Мацциии родился в 1805 г.; следовательно, ему было в это время за пятьдесят лет.

[8] См. «Б и Д», часть VI, глава «Немцы в эмиграции».

[9] «Третьего дня жена Кинкеля выбросилась из третьего этажа в окно на каменный двор,— писал Герцен М. К. Рейхель 17 ноября 1858 г.,— смерть была немедленная. По всему вероятию (она страдала гипертрофией сердца), она в тоске удушья высунулась в окно, потому что ничего этому не предшествовало». См. об этом в «Воспоминаниях идеалистки» М. Мейзенбуг, стр. 439—440.

[10] Уход Мейзенбуг из дома Герцена был преимущественно вызван крайне напряженными отношениями, сложившимися между нею и Н. А. Тучковой-Огаревой. См. письма Герцена к Мейзенбуг от 30 мая 1856 г. и к М. К. Рейхель от 31 мая и 10 июня 1856 г., а также «Воспоминания идеалистки» М. Мейзенбуг, стр. 349—352.

[11] См. очень близкий к воспоминаниям Н. А. Тучковой-Огаревой рассказ Герцена об этом эпизоде в «Б и Д», часть V, «Русские тени», глава «Энгельсоны»; об Орсини см. также в главе XXXVII «Б и Д» и в поэме Огарева «С того берега» (1858).

[12] В Laurel-hous'e Герцен и Огарев переехали 10 сентября 1856 г.

[13] Имеется в виду дикий камень кремнистых пород; ср. в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даля: «...на юге *дикарем*

зовут песчаник и известняк, идущий на постройки» (т. I, М.— СПБ. 1880, стр. 436).

[14] Инициатива Н. П. Огарева в издании «Колокола» неоднократно отмечалась самим Герценом. В письме к И. С. Тургеневу от 22 ноября 1862 г. он, например, прямо указывал, что «Колокол» «основал Огарев»; ср. в статье по поводу десятилетия Вольной русской типографии (1863): «В начале 1857 года Огарев предложил издавать «Колокол»; или в статье «Нашим врагам» (1868). «В 1856 году Огарев покинул Россию и приехал, чтобы разделить мои труды. Он предложил издавать «Колокол» наряду с «Полярной звездой» (перевод с франц.).

[15] Издание «Колокола» продолжалось десять лет, с 1 июля 1857 г. по 1 июля 1867 г.; в 1868 г. газета выходила на французском языке.

[16] Вероятно, речь идет о приезде И. С. Тургенева и В. П. Боткина (см. далее) в Лондон в мае 1858 г. «У нас теперь Вас. Петр. Боткин,— писал Герцен М. К. Рейхель 20 мая 1858 г.,— облез, состарился, похож на старого диакона расстриженного и все восхищается и шмакует».

[17] Имеется в виду глава «Б и Д» — «Эпизод из 1844 года», посвященная неудачной женитьбе Боткина на француженке Арманс; впервые была опубликована в «Сборнике посмертных статей» Герцена, Женева, 1870, впоследствии вошла в часть IV мемуаров.

ГЛАВА VIII

(Стр. 114—130)

[1] Сборники «Голоса из России» выходили в 1856—1860 гг.; всего вышло девять выпусков.

[2] В «Р. ст.» (1894, кн. IX, стр. 82) и в отд. издании 1903 г. (стр. 111) упоминание барона А. И. Дельвига было опущено; между тем А. И. Дельвиг был назван в подзаголовках главы.

Барон А. И. Дельвиг посетил Герцена в Лондоне в марте 1858 г., см. его воспоминания об этих встречах в книге: А. И. Дельвиг, Полвека русской жизни, т. II, М.— Л. 1930, стр. 80—82. Вторично А. И. Дельвиг был у Герцена в ноябре 1860 г.

[3] И. С. Аксаков был у Герцена в Лондоне в августе 1857 г., об этих встречах он упоминает в своих «Письмах в редакцию «Дня» («День», 1863, № 19; см. также «Сочинения» И. С. Аксакова, т. II, М. 1886, стр. 114).

[4] Речь идет о посещении Герцена русским крестьянином Плесковым в феврале — апреле 1858 г. «Русский крестьянин, конечно, самое значительное явление из России после прибытия Огарева,— шутливо писал Герцен М. Мейзенбуг 3 марта 1858 г.— Это — очень, очень основательный малый» (перевод с нем.). Позже Герцен разочаровался в нем: «...я им очень недоволен,— писал он М. Мейзенбуг 26 апреля

1858 г.,—он понятия не имеет о том, как надо себя вести, но зато страшно упрям» (перевод с франц.). По словам Герцена, Плесков был очень занят в Лондоне, так как служил «в большом коммерческом деле» (письмо к М. Мейзенбуг от 8 марта 1858 г., перевод с англ.).

[5] Д. И. Каченовский был у Герцена в начале апреля 1858 г. «Он очень умный и дельный человек»,— писал Герцен М. К. Рейхель 8 апреля 1858 г. Вторично Д. И. Каченовский посетил Герцена в мае 1859 г. К его научной деятельности Герцен относился весьма сдержанно, причисляя Каченовского к ученым-схоластам, оторванным от жизни, типа Вагнера из «Фауста» Гете (см. письмо к сыну от 7 февраля 1860 г.).

[6] О приезде в Лондон П. В. Павлова Герцен сообщал в письме к М. Мейзенбуг от 25 марта 1858 г.

[7] «Дневник» А. В. Никитенко был впервые опубликован в «Русской старине» в 1888—1892 гг.; в 1893 г. вышло в свет отдельное издание (в трех томах).

[8] А. Н. Пыпин посещал Герцена в 1858 и 1859 гг.; см. его воспоминания о лондонских встречах в книге «Мои заметки», М. 1910, стр. 118—121.

[9] Имеется в виду публикация в «Колоколе» (л. 7 от 1 января 1858 г.), по материалам И. С. Тургенева, сообщения о том, как князь Л. В. Кочубей стрелял в своего бывшего управляющего И. Зальцмана и добился заключения его в тюрьму. После выступления «Колокола» дело было пересмотрено, однако Кочубей остался безнаказанным.

[10] Вероятно, речь идет о картине А. П. Боголюбова «Апофеоз «Колокола» и «Полярной звезды» (1860). «Говорят, что картина превосходна,— писал Герцен сыну 13 февраля 1860 г.— Русские художники хотят впоследствии поднести ее мне». Вскоре картина была доставлена Герцену (см. его письмо к Н. А. Герцен от 23 июня 1860 г.).

[11] Воспоминания Н. А. Тучковой-Огаревой, посвященные И. И. Савичу, в «Р. ст.» и в издании 1903 г. подверглись ряду цензурных сокращений и изменений.

Об И. И. Савиче см. также «Б и Д», часть VII, глава «Апогей и перигей» («1862»); рассказ Герцена весьма близок к страницам записок Н. А. Тучковой-Огаревой (с той разницей, что он говорит о брате Савиче, взятом «по делу Шевченки»,— см. прим. 5-е к главе VII, стр. 324 наст. изд.).

[12] О приезде в Лондон жены Н. Д. Свербеева, З. С. Трубецкой, см. в письме Герцена к М. Мейзенбуг от 26 апреля 1858 г.: «Безмерно много русских. Приехала дочь князя Трубецкого, родившаяся на каторге и проведшая всю жизнь в Иркутске; это живое предание 14 дек⟨абря⟩ было полно для нас самого высокого интереса» (перевод с франц.).

[13] Герцен встречался с С. Г. Волконским в Париже в конце июня—начале июля 1861 г., об этих встречах он писал в четвертом письме цикла «Писем к будущему другу» (1864) и в заметке, посвященной смерти декабриста («Колокол», л. 212 от 15 января 1866 г.). См. также Т. П. Пассек, т. II, стр. 416—417, Н. В. Шелгунов, Воспоминания, М.— П. 1923, стр. 110.

[14] Н. М. Щепкин находился в переписке с Герценом; в июне 1857 г. он посетил его в Лондоне.

[15] Этот эпизод Герцену стал известен, очевидно, из письма И. С. Тургенева от 7 января 1858 г. (см. «Письма Ив. С. Тургенева и К. Дм. Кавелина к Ал. Ив. Герцену», Женева, 1892, стр. 116). О столкновении М. С. Щепкина с тогдашним директором императорских театров Гедеоновым Герцен рассказал в очерке-некрологе «Михаил Семенович Щепкин», 1863; см. также «Б и Д», часть VII, глава «Апогей и перигей», и письмо Герцена к М. Мейзенбуг от 15 января 1858 г.

[16] Требование возвратиться на родину было предъявлено Огареву весной 1859 г.; в л. 46 «Колокола» от 22 июня 1859 г. было напечатано его письмо к Александру II с отказом приехать в Россию. «Здесь, в Лондоне,— писал он,— я полезнее моему отечеству, чем бы я мог быть дома». По высочайшему повелению было начато дело, закончившееся только в конце 1860 г. Огарев был лишен всех прав состояния и осужден на вечное изгнание из пределов государства.

[17] Над картиной «Явление Христа народу» А. А. Иванов работал в 1837—1857 гг.

[18] Это неточно: в статье-некрологе «А. Иванов» (1858), посвященной преимущественно встрече с Ивановым в Лондоне в сентябре 1857 г., Герцен писал: «Выезжая из Рима, Иванов послал мне фотографию с своей картины; она залежалась в Париже и пришла ко мне вместе с вестью о его кончине».

[19] См. описание этого разговора с А. А. Ивановым в названной выше статье-некрологе о нем Герцена.

[20] В «Р. ст.» (стр. 96) далее шел текст, опущенный в отд. издании 1903 г.:

«Кстати, вспоминаю особенность английской жизни. Дома англичане никогда не едят супа, вероятно потому, что упомянутые два супа требуют множества ингредиентов и большое кулинарное знание. За завтраком у них подают иногда бульон (beef-tee). Обыкновенный обед их состоит из двух блюд: жареной или разварной рыбы и жареного на вертеле мяса; отварной очищенный картофель неизменно, иногда первое блюдо заменяется каким-нибудь мясом, покрытым тестом, пай, когда пай делается из вареных яблок, то подается в конце обеда; кроме того, пудинги всевозможных сортов. Но возвращаюсь к моему рассказу».

[21] О П. А. Бахметеве и его «фонде» см. «Б и Д», часть VII, глава «Молодая эмиграция», а также в сообщении Н. Анциферова «Из архива Герцена» — «ЛН», 41—42, стр. 526—528. Дальнейшая судьба Бахметева неизвестна до сих пор.

ГЛАВА IX

(Стр. 131—153)

[1] О Ворцеле см. в «Б и Д», часть VI, глава «Польские выходцы», и статью Герцена «Смерть Станислава Ворцеля» («Полярная звезда» на 1857 г., кн. III), а также стихотворение Огарева «Ворцель» (1857).

[2] См. об этом в «Б и Д», часть VII, глава «Апогей и перигей»; князь Ю. Н. Голицын прибыл в Лондон в апреле 1860 г.

[3] Копию с «Записок» Екатерины II доставил Герцену П. И. Бартенев, будущий издатель «Русского архива» (см. Л. Б. Светлов Из разысканий о деятельности А. И. Герцена — «Известия АН СССР. Серия истории и философии», 1951, т. VIII, № 6, стр. 542—544). «Записки» вышли в свет в 1859 г.

[4] См. об этом в «Б и Д», часть V, «Рассказ о семейной драме», глава «Осеапо пох».

[5] Б. Н. Чичерин приезжал в Лондон в середине сентября 1858 г. специально для выяснения позиций Герцена в политической борьбе тех лет. Полемика Герцена с Чичериным и вскоре решительный разрыв с ним ознаменовали важный этап на пути дальнейшего размежевания демократических сил русского общества и либеральных кругов в условиях нарастания революционной ситуации в стране. Письмо Чичерина с резкой критикой деятельности Герцена было опубликовано в «Колоколе» (л. 29 от 1 декабря 1858 г.); см. об этом в статьях Герцена «Нас упрекают» и «Обвинительный акт» (1858).

[6] Лиза, дочь Герцена и Н. А. Тучковой-Огаревой, родилась 4 сентября 1858 г.

[7] См. письмо матери Н. А. Тучковой-Огаревой, Нат. Аполл. Тучковой, к А. А. Тучкову от 10 сентября 1858 г. о ее приезде в Лондон и рождении Лизы — «Русские пропилеи», т. IV, стр. 201—203.

[8] Переезд в Park-house состоялся в ноябре 1858 г.

[9] Ср. в «Концах и началах» Герцена (1862—1863): «Один очень умный человек, граф Оскар Рейхенбах, мне раз сказал, говоря о зажиточно мещанских квартирах в Лондоне: «Скажите мне цену и этаж, и я берусь без свечи, в темную ночь, принесть часы, вазу, графин... что хотите, из вещей, непременно бывающих во всяком жилище среднего круга».

[10] 8 февраля 1859 г. Герцен писал М. Мейзенбуг: «История с Триною действительно ужасна: столь элементарно-подла, столь наивно-отвратительна... Я бы никогда не поверил этому» (перевод с нем.).

[11] О кн. Ю. Н. Голицыне и его концертах в Лондоне см. в «Б и Д», часть VII, глава «Апогей и перигей», а также в заметке Герцена «Русская музыка в Лондоне» (1860).

[12] Герцен познакомился с Нидергубером в Париже в конце 1848 г.; в 1853 г. в Лондоне он оказывал ему денежную помощь и давал рекомендации для поисков работы, однако вскоре Нидергубер был изобличен в связях с французской полицией. См. «Б и Д», часть VI, глава «Лондонская вольница пятидесятых годов».

[13] Имеется в виду статья-очерк «Иван Сергеевич Тургенев» (см. стр. 279 и сл. наст. издания).

[14] В «Р. ст.» (1894, кн. X, стр. 23—24) далее шел текст, опущенный в отд. издании 1903 г.:

«В то время как мы переезжали в Park-hous, наш доктор Девиль тоже менял свою квартиру, где случилась очень неприятная история: ему было необходимо, чтоб кто-нибудь из служащих был постоянно дома, так как, кроме ежедневного приемного часа больных, многие приезжали в продолжение дня, оставляли свой адрес и звали к себе доктора. Когда Девиль возвращался домой, ему подавали записки посетителей.

Прежде, когда он имел только обыкновенную housemaid, случилось странное происшествие: один посетитель явился после приемного часа; housemaid сказала ему, что доктор долго не приедет домой, но приезжий выразил желание подождать его; тогда housemaid впустила его в приемную и указала на книги и журналы, которых было пропасть на столе; затем она оставила его одного; часа через два господин этот позвонил и сказал служанке: «Нет, мне больше нельзя ждать, проводите меня».— «Оставьте доктору записку»,— сказала она. «Я написал ему»,— отвечал тот.

Возвратясь домой, Девиль нашел в маленькой комнатке (где принимал по одиночке больных), смежной с приемной, замок ящика, в который клал получаемые деньги, сломанным, денег ни гроша, но записку, разумеется, без подписи: «Je vous remercie, cher citoyen, pour ce prêt involontaire, et ne manquerai pas de m'en acquitter dans l'autre monde» *. К счастью доктора, в ящике оставалось мало денег. Девиль очень потешался над этим случаем и тогда нанял женщину с мужем, чтоб квартира никогда не оставалась пуста и чтоб привратница могла следить за посетителями, но Девиль не знал, что она подвержена

---

* «Благодарю вас, дорогой гражданин, за этот невольный заем, и я не упущу случая уплатить вам его на том свете» (*франц.*).

эпилепсии: однажды муж ее куда-то отлучился, в то время в припадке она упала на горячую плиту и загорелась; придя в себя, она стала бегать по квартире и тем только усиливала горение и кое-где зажгла гардины, а дверь квартиры была заперта изнутри; наконец снаружи заметили уже дым, полиция открыла дверь и нашла умирающую женщину; пожар потушили, а несчастная жертва прожила несколько дней в страшных мучениях; тогда Девиль решил переменить квартиру. Нужно сказать о нем несколько слов».

[15] Э. В. Европеус была задержана на границе в октябре 1861 г. с запрещенными в России журналами и книгами на русском и французском языках, в том числе листами «Колокола», и затем отправлена на «безвыездное жительство» в тверское имение ее мужа под полицейский надзор. В л. 112 «Колокола» от 15 ноября 1861 г. в связи с этим эпизодом была напечатана заметка «Война с дамами».

[16] Г. Е. Благосветов, будущий редактор и издатель «Русского слова», в конце 50-х гг. жил в Лондоне, был близко знаком с Герценом и одно время состоял учителем его дочерей; в его переводе (с английского) Герценом были изданы «Записки» Е. Р. Дашковой (Лондон, 1859).

[17] Это было в сентябре 1869 г. «Боткина видел,— писал Герцен Н. П. Огареву 26 сентября 1869 г.,— и обедал вчера у него».

[18] Один из выдающихся представителей революционно-разночинной интеллигенции 60-х годов, А. А. Серно-Соловьевич неоднократно посещал Герцена в Лондоне. Как известно, впоследствии, в 1867 г., он выпустил брошюру «Наши домашние дела», в которой резко критиковал Герцена. Брошюра А. А. Серно-Соловьевича явилась выражением глубоких расхождений между Герценом и так называемой «молодой эмиграцией» (см. Б. П. Козьмин, Герцен, Огарев и «молодая эмиграция»—«ЛН», 41—42).

ГЛАВА X

(Стр. 154—169)

[1] Н. А. Серно-Соловьевич был в Лондоне в марте 1860 г. Герцен и Огарев оказали большое влияние на формирование его взглядов. «Я отправился в Лондон,— писал он в мае 1860 г.,— и провел там две недели; вернулся освеженным, бодрым, полным энергии более чем когда-либо» (сб. «Революционное движение 1860-х годов», М. 1932, стр. 121). Ср. в письме к Герцену и Огареву, написанном Н. А. Серно-Соловьевичем в Алексеевском равелине Петропавловской крепости (1864): «Я люблю вас, как любил; люблю все, что любил; ненавижу все, что ненавидел... Помните и любите меня, как я вас» («ЛН», 62, стр. 560—561).

[2] См. посвящение статьи Герцена «Император Александр I и В. Н. Каразин» (1862) Н. А. Серно-Соловьевичу: «Вам, Н. А., последнему нашему маркизу Позе, от всей души посвящаю этот очерк». Ср. в статье Новая фаза русской литературы» (1864) о Н. А. Серно-Соловьевиче: «...последний маркиз Поза скоро увидел, что бесполезно обращаться к... монарху» (перевод с франц.), в статье «Иркутск и Петербург» (1886) и др.

[3] Прокламации «Великорус» в действительности появились не «после попытки польского восстания», а летом и осенью 1861 г. Арест Н. А. Серно-Соловьевича 7 июля 1862 г., в один день с арестом Н. Г. Чернышевского, с этими прокламациями связан не был. Умер Н. А. Серно-Соловьевич в Иркутске 14 февраля 1866 г.; весть об этом вскоре дошла до Герцена; гибель Серно-Соловьевича он отметил статьей «Иркутск и Петербург», опубликованной в «Колоколе», л. 219 от 1 мая 1866 г. «Это был один из лучших, *весенних* провозвестников нового времени в России...» — писал в ней Герцен.

[4] Речь идет о посещении Герцена в Лондоне В. А. Панаевым и его другом Кусаковым в марте 1859 г. «Кусаков,— вспоминает В. А. Панаев,— был превосходный певец, обладавший высоким баритоном, отличный музыкант и человек особенно веселый и живой... Мы часто бывали у Герцена, много раз обедали у него, и, само собою разумеется, Кусаков не замедлил обнаружить свой талант. Когда он запел русские песни, то Герцен, Огарев и жена его пришли в неописанный восторг. Вспоминались им русская удаль, все родное, русский добродушный мужичок, и слезы появились на их глазах... Всякий раз, как приезжал Кусаков, вся компания собиралась около рояля и образовывался хор, и так как я пел тоже русские песни, имея довольно сильный голос, то исполнял в этом случае роль запевалы. Когда же затягивали плясовую, то моя дочь принималась плясать русскую. Словом сказать, эти дни проводились всеми весело и оживленно» («Р. ст.», 1902, кн. V, стр. 323).

[5] В. И. Кельсиев приехал в Лондон в мае 1859 г. (см. посвященные встречам с Герценом страницы его «Исповеди» — «ЛН», 41—42, стр. 273 и сл., а также главу «В. И. Кельсиев» в части VII «Б и Д»).

[6] В июне 1859 г. И.С. Тургенев сам привез Герцену «Украинские народные рассказы» Марко-Вовчка в своем переводе (СПБ. 1859). В письме к М. К. Рейхель от 29 июня 1859 г. Герцен назвал книгу Марко-Вовчка «бесподобной вещью». См. также отзыв Герцена об этих рассказах в статье «Библиотека» — дочь Сенковского» (1860).

[7] М. А. Маркович (Марко-Вовчок) приезжала в Лондон в конце августа 1859 г. и пробыла у Герцена четыре дня. «Я ею очень доволен,— писал он М. К. Рейхель 29 августа 1859 г.,— она займет славное место в нашей литературе».

[8] Об этой встрече см. далее, стр. 164 наст. издания.

[9] Разоблачение Г. Михаловского как агента русского правительства произошло в сентябре 1857 г. В л. 4 «Колокола» от 1 октября 1857 г., а затем в газете «Польский демократ» (5 ноября 1857 г.) Герцен напечатал специальные «предупреждения» о шпионской деятельности Михаловского. Рассказ Н. А. Тучковой-Огаревой близок к воспоминаниям об этом эпизоде в «Б и Д», часть VII, глава «Пароход «Ward Jackson» R. Weatherley et C°».

[10] О том же рассказывает в своих воспоминаниях В. Р. Зотов, посетивший Герцена в июле 1857 г. (см. «Исторический вестник», 1890, кн. IV, стр. 115), тем не менее эпизод этот представляется маловероятным.

[11] Герцен находил этот бюст «превосходным» и хотел «для себя отлить два бронзовых (маленьких)» (письмо к М. К. Рейхель от 17 ноября 1858 г.). Впоследствии скульптор неоднократно переделывал свою работу; «Грас,— писал Герцен Н. А. Герцен 23 июня 1860 г.,— совсем испортил мой бюст; он его поправлял потом». Местонахождение скульптуры в настоящее время неизвестно.

[12] А. А. Краевский встречался с Герценом в июле 1857 г. «Русских все так же видимо-невидимо,— писал Герцен М. К. Рейхель 17 июля 1857 г.,— и Краевский и Зотов и т. д. Со всех концов весть одна: что успех «Полярн〈ой〉 звезды» неимоверный».

[13] Н. Г. Чернышевский пробыл в Лондоне с 26 по 30 июня 1859 г., за это время состоялось несколько встреч с Герценом. Подлинное содержание переговоров остается до сих пор недостаточно выясненным; несомненно, однако, что речь между ними шла о выпаде Герцена против «Современника» в статье «Very dangerous!» (1859), отразившей либеральные надежды издателей «Колокола» в этот период о необходимости единых действий русских революционных кругов как внутри России, так и в эмиграции, и широком круге вопросов, связанных с дальнейшим развитием революционного движения в стране.

[14] Работа над вторым изданием листов «Колокола» за 1857—1858 гг., в связи с возросшим спросом на его экземпляры и поступлением новых заказов, проходила в период с июня 1859 г. до марта 1860 г. Были переизданы все листы (с 1 по 30—31) за 1857—1858 гг.; впоследствии отдельные листы «Колокола» также выходили вторым изданием (лл. 40—45 и др.).

[15] Кн. П. В. Долгоруков приехал в Лондон в феврале 1863 г.

[16] Записки кн. П. В. Долгорукова (т. 1) вышли в свет на французском языке в 1867 г. в Женеве; в специальной статье, опубликованной в «Колоколе» (л. 233—234 от 1 февраля 1867 г.), Герцен подчеркнул значение этой книги как «великого обличения и разоблачения нашей аристократической дворни». Тем не менее деятельность Долгорукова и его политические взгляды постоянно вызывали со стороны Герцена и Ога-

рева резко отрицательное отношение; см. об этом в публикации: Н. Н. Захарьин, Из переписки П. В. и В. П. Долгоруковых с Герценом и Огаревым — «ЛН», 62, стр. 126—132.

[17] Этот эпизод, вероятно, произошел в конце февраля — марте 1863 г., т. е. раньше переезда в Теддингтон (июнь 1863 г.). Чернецкого при разговоре не было; Долгоруков после ссоры не ездил к Герцену и Огареву всего полторы недели (см. проект письма Огарева к П. В. Долгорукову и поправки к нему Герцена — Полн. собр. соч. и писем А. И. Герцена под ред. М. К. Лемке, т. XVI, стр. 147—148).

[18] О посещении Герцена Н. В. и Л. П. Шелгуновыми и М. Л. Михайловым в марте 1859 г. см. Н. В. Шелгунов, Воспоминания, М.—П. 1923, стр. 106—110, Л. П. Шелгунова, Из далекого прошлого, СПБ. 1901, стр. 90—91.

[19] См. в письме Герцена к сыну от 8 января 1868 г.: «О Бибиковой ничего не знаю, кроме того, что у нее была хорошенькая дочь и сын написал книгу «Опыты», за которую был судим. Она о себе говорила: «Дочь генерала, жена генерала»,— вот и все».

[20] «Ольгу отдаю, не зная, что делать; дом Швабе — не чисто немецкий, а скорей английский»,— писал Герцен сыну 29 мая 1860 г.

[21] Н. А. Тучкова-Огарева с Лизой и Н. А. Герцен выехали на континент 30 мая 1860 г. Встреча с Сатиными в Дрездене состоялась в первых числах июня.

[22] «Нас очень потешило происшествие Сатина с miss Turner — это надобно бы было нарисовать»,— писал Герцен дочери 7 июня 1860 г.

[23] Н. М. Сатин совершил поездку в Лондон в самом конце июня 1860 г. «Здесь Н. М.,— писал Герцен дочери 30 июня 1860 г.,— ты знаешь, что об этом не должно говорить».

[24] О встрече с Т. П. Пассек в Гейдельберге в 1860 г. см. также в заметке-некрологе Н. А. Тучковой-Огаревой «Т. П. Пассек» — «Р. ст.», 1889, кн. VII, стр. 187.

[25] В «Р. ст.» (1894, кн. X, стр. 45) далее шла строка точек; очевидно, в описании разговора Н. А. Тучковой-Огаревой с Н. А. Серно-Соловьевичем по цензурным условиям был допущен пропуск текста.

ГЛАВА XI

(Стр. 170—183)

[1] Н. А. Тучкова-Огарева с дочерью Лизой возвратилась в Лондон 24 декабря 1860 г.

[2] Переезд в Orseth-house состоялся 15 ноября 1860 г. «Новый дом очень хорош»,— писал Герцен И. С. Тургеневу 19 ноября 1860 г. Ср. в письме Огарева к П. В. Анненкову от 20 ноября 1860 г.: «Что у нас

за новая квартира — чудо!.. Жду из Швейцарии Натали со дня на день и с Лизой...» («Звенья», III—IV, стр. 413).

[3] О'Коннель тогда не было сорока лет (родилась в 1823 г.). «M-me О'Коннель,— писал Герцен Тучковой-Огаревой 21 июня 1862 г.,— замечательный талант... Рисует со смелостью страшной». Портрет Герцена работы О'Коннель в 1863 г. показывался на выставке в Париже (см. письма Герцена к сыну от 20 и 25 мая 1863 г.) и был отмечен в печати; дальнейшая судьба портрета неизвестна.

[4] О разоблачении Хотинского в апреле 1863 г. см. заметку Герцена «Астроном-наблюдатель и миссионер Хотинский» («Колокол», л. 161 от 15 апреля 1863 г.). В июне того же года Хотинский вновь приехал в Лондон, именно к этому времени относится установленное итальянцами наблюдение за ним. Подробнее о Хотинском см. в статье Герцена «Действительный статский советник и кавалер М. С. Хотинский» (1866).

[5] Герцен находился в Париже с 21 июня по 6—8 июля 1861 г.

[6] «Последняя новость та, что Девиль решительно повредился,— писал Герцен сыну после возвращения из Парижа 11 июля 1861 г.— Вздумал, что его кн. Голицын отравил, сватался за Тату, грозил Огар<еву>, сидел с заряженным револьвером, на коленках просил прощение и проч. И при этом он лечит, и англичане *еще не замечают*».

[7] О встречах Герцена с С. Г. Волконским в Париже см. примеч. 13-е к главе VIII (стр. 327 наст. изд.)

[8] См. рассказ Т. П. Пассек о встречах с Герценом летом 1861 г. в Париже — т. II, стр. 412 и сл.

[9] Л. Н. Толстой посетил Герцена в марте 1861 г.; И. С. Тургенева в это время в Лондоне не было. Когда Толстому в 1904 г. передали содержание воспоминаний Н. А. Тучковой-Огаревой о его встрече с Герценом, они вызвали у него сомнения, и он сказал: «Может быть, она просто сочинила разговор, как это часто делают авторы всяких мемуаров и записок» (А. Б. Гольденвейзер, Вблизи Толстого, т. I, М. 1922, стр. 135). Со слов Толстого (в 1908 г.) его рассказ о посещении Герцена записал П. А. Сергеенко («Толстой и его современники», М. 1911, стр. 13—14). См. также сообщение Н. Н. Гусева «Герцен и Толстой» — «ЛН», 41—42, стр. 492—494.

[10] Песня «Как восьмого сентября», авторство которой приписывалось современниками Толстому, была впервые опубликована Герценом в «Полярной звезде» на 1857 г., кн. III; там же была напечатана песня Толстого «Как четвертого числа». Как показывает переписка Герцена, он знал, кто был автором песен (см. «Вестник Академии наук СССР», 1956, № 1, стр. 117), но по конспиративным соображениям умышленно подчеркивал тогда их фольклорный характер: «Они не произ-

ведение какого-нибудь особого автора, и в их складе не трудно узнать выражение чисто народного юмора».

[11] П. А. Мартьянов, бывший крепостной графа А. Д. Гурьева, приехал в Лондон осенью 1861 г., принимал участие в изданиях Вольной русской типографии. Во взглядах Мартьянова сочетались резкие антидворянские тенденции с верой в народного, земского царя. Весною 1863 г. Мартьянов решил возвратиться в Россию, был арестован на границе, затем осужден на каторжные работы и вечное поселение в Сибири. Умер в 1865 г. См. о нем в «Б и Д», часть VII, глава «М. Бакунин и польское дело», а также в статье Герцена «П. А. Мартьянов и земский царь» (1864).

[12] Статья, начинающаяся словами «Ты победил, галилеянин!» («Через три года»), была напечатана Герценом в «Колоколе» еще 15 февраля 1858 г. (л. 9), вскоре после получения в Лондоне известий о рескриптах Александра II, ознаменовавших начало подготовки крестьянской реформы. Н. А. Тучкова-Огарева ошибочно связывает эту статью с тем впечатлением, которое произвело на Герцена известие о самой реформе.

[13] Праздник в честь «начала освобождения крестьян» состоялся 10 апреля 1861 г. (см. объявление в «Колоколе», л. 95, от 1 апреля 1861 г.). Герцен подготовил для праздника речь, которая должна была закончиться тостом за Александра II, текст речи он собирался опубликовать в «Колоколе» (см. публикацию Я. И. Линкова «Непроизнесенная речь о 19 феврале 1861 г.» — «ЛН», 63, стр. 59—70). Однако в последний момент Герцен отказался от речи. В статье «10 апреля 1861 и убийства в Варшаве», опубликованной в очередном листе «Колокола» (л. 96 от 15 апреля 1861 г.), Герцен писал: «Праздник наш был мрачен. Я не знаю дня, в который бы разорванность давила беспощаднее и тяжелее, где бы плошки ⟨для иллюминации⟩ были так близки к слезам... рука наша опустилась: через новую кровь, пролитую в Варшаве, наш тост не мог идти. Преступление было слишком свежо, раны не закрылись, мертвые не остыли, имя царя замерло на губах наших. Выпивши *за освобожденного русского крестьянина*, без речей, без шума, с тем печальным благоговением, с которым люди берут иную чашу, иного воспоминания, в котором также смешаны искупление и казнь, мы предложили один тост:

За полную, безусловную независимость Польши, за ее освобождение от России и от Германии и за братское соединение русских с поляками!»

[14] Статья «Mater dolorosa» была напечатана в «Колоколе» 1 мая 1861 г., л. 97.

ГЛАВА XII

(*Стр.* 184—191)

[1] М. А. Бакунин приехал в Лондон, после побега из Сибири, 27 декабря 1861 г.

[2] В. Ф. Нефтель (Нефталь), врач, в 1861 г. уехал из России и остался за границей, в 1864 г. переехал в Америку. В письме к Огареву от 7 февраля 1870 г. из Нью-Йорка, в связи с известием о смерти Герцена, он писал: «Я никогда в жизни не встречал личности симпатичнее его, и время, проведенное мною в его обществе, навсегда останется лучшим моим воспоминанием» («ЛН», 62, стр. 400).

[3] Н. Н. Обручев, один из видных деятелей русской революционной демократии 60-х годов, приехал в Лондон в середине 1861 г. и прожил там около трех месяцев. В составлении статьи-прокламации Огарева «Что нужно народу?» (1861), кроме Н. Н. Обручева, вероятно, принимали участие другие члены общества «Земля и воля» — Н. А. Серно-Соловьевич, А. А. Слепцов и др.

[4] Рассказ о посещении Герцена в Лондоне сыновьями Я. И. Ростовцева был, по требованию цензуры, опущен в «Р. ст.» (1894, кн. XI) и в отдельном издании 1903 г. Главное управление по делам печати нашло, что этот эпизод «ложится тяжелым и весьма оскорбительным пятном на память государственного деятеля, известного своею близостью и преданностью к престолу». Лист «Р. ст.», содержавший строки о Ростовцеве (стр. 23—24), был заменен новым, вклеенным во все экземпляры журнала; в связи с пропуском весьма значительного абзаца лист был напечатан с большими интервалами между строками, а на стр. 23 остался незаполненным пробел в тексте.

[5] Я. И. Ростовцев, генерал-адъютант, с 1857 г. — член негласного комитета и с 1858 г. — член Главного комитета по крестьянскому делу, начал свою карьеру с доноса на декабристов.

[6] Сыновья Ростовцева, М. Я. Ростовцев, флигель-адъютант, и его брат Н. Я. Ростовцев, высочайшим приказом от 5 июня 1862 г. были уволены от службы за сношения с Герценом.

[7] И. Г. Борщев посещал Герцена в 1860—1861 гг.; «он благородный человек и отличный геолог, ботаник и пр.»,— писал Герцен К. Д. Кавелину 19 мая 1861 г., см. также письмо к сыну от 1 мая 1860 г.

[8] Это было в 1861 г.; Н. А. Тучкова-Огарева и Лиза выехали в Торквей 2 августа; 22 августа к ним присоединился Герцен. В октябре 1861 г. они возвратились в Лондон.

[9] Т. П. Пассек посетила Герцена и Огарева в Торквее в августе 1861 г. и пробыла там четыре дня. См. Т. П. Пассек, т. II, стр. 487—495. Н. А. Тучкова-Огарева вспоминает о встрече с Пассек в Торквее

также в заметке-некрологе «Т. П. Пассек» — «Р ст», 1889, кн. VII, стр. 187—188.

[10] Письмо Н. А. Герцен (1863) см. Т. П. Пассек, т. III, стр. 124—125.

[11] М. Л. Налбандян (Налбандов) уехал из Лондона в Россию в апреле 1862 г.; вскоре он был арестован по делу «о сношениях с лондонскими пропагандистами», около трех лет находился в Петропавловской крепости и в 1865 г. сослан под строгий надзор полиции в г. Камышин. Герцен высоко ценил Налбандяна. «Поклонитесь ему,— писал он в июне 1862 г. Н. А. Серно-Соловьевичу,— это — преблагороднейший человек; скажите ему, что мы помним и любим его».

[12] Разговор Герцена и Бакунина с представителями Варшавского центрального комитета С. Падлевским, Я. Гиллером и В. Миловичем состоялся в сентябре 1862 г. Герцен был противником авантюристического подхода к восстанию, свойственного позиции Бакунина. Горячо поддерживая национально-освободительное движение польского народа, Герцен вместе с Огаревым полагал, что польское восстание может рассчитывать на успех, если оно «перейдет соседними губерниями в русское крестьянское восстание», если «самое польское восстание из характера только национальности» перейдет «в характер восстания крестьянского...»(записка Огарева от марта 1863 г.—«ЛН», 61, стр. 521). Воспоминания Н. А. Тучковой-Огаревой в этом отношении весьма точно передают взгляды издателей «Колокола» в их переговорах с польскими повстанцами. См. рассказ Герцена об этих переговорах в «Б и Д», часть VII, глава «М. Бакунин и польское дело». Заграничный представитель Варшавского центрального комитета перед восстанием 1863 г. Демонтович в беседе с Герценом тогда участия не принимал.

[13] См. об этом далее в заметке «К запискам Т. П. Пассек «Из дальних лет» (стр. 301 наст. издания).

[14] В мемуарном наброске, посвященном Лизе и относящемся к 1874—1875 гг., Н. А. Тучкова-Огарева также приводит разговор дочери с А. А. Потебней: «Она очень любила Мартьянова и Потебню. Последний приезжал несколько раз в последнюю зиму перед его кончиной. Много говорилось при Лизе, но ей было только четыре года. Часто во время разговоров она сидела на коленях у Потебни. Часто говорили громко, что он едет во Францию. В последний вечер после обеда Лиза сидела у него на коленях. «Прощай, Лиза,— сказал Потебня, —завтра я еду».— «Куда?»—спросила она. «Во Францию».— «Нет,— сказала Лиза,— ты едешь в Польшу, и я боюсь, ты больше не приедешь. Останься, мой милый, я не хочу, чтоб ты ехал в Польшу». Да будет любовь к Лизе этих мучеников благословением на жизнь» («Архив Н. А. и Н. П. Огаревых», стр. 256).

[15] А. А. Потебня, один из самых деятельных участников общества «Земля и воля» 60-х годов, служил в Польше, где был организатором революционной группы среди офицеров; летом 1862 г. покинул полк и перешел на нелегальное положение. Трижды посещал Герцена и Огарева в Лондоне, последний раз — в феврале 1863 г. Принял участие в польском восстании и в марте 1863 г. был убит в одном из сражений. «Личности больше симпатичной в великой простоте, в великой преданности, в безусловной чистоте и бескорыстности своей, в трагическом понимании своей судьбы — я редко встречал»,— писал Герцен о Потебне в «Письмах к противнику» (1864). См. также статью Н. П. Огарева «Надгробное слово» («Колокол», л. 162 от 1 мая 1863 г.), посвященную трагической гибели Потебни.

ГЛАВА XIII

(Стр. 192—203)

[1] М. Л. Михайлов был в 1861 г. сослан на каторжные работы за прокламацию «К молодому поколению», написанную Н. В. Шелгуновым при его участии. См. стихотворение Огарева «Михайлову» (1862).

[2] Об этой морской экспедиции, снаряженной в марте 1863 г. для помощи польским повстанцам, см. в «Б и Д»,часть VII, глава «Пароход «Ward Jackson» R. Weatherley et C°».

[3] М. А. Бакунин в Иркутске женился на А. К. Квятковской, дочери ссыльного поляка. Приезд ее в Лондон относится к началу апреля 1863 г.

[4] О пребывании В. И. Кельсиева в Тульче см. в его письмах к Герцену и Огареву («ЛН», 62, стр. 190 и сл.), а также в «Исповеди» («ЛН», 41—42, стр. 376 и сл.).

[5] Н. А. Огарева-Тучкова переехала в Теддингтон 20 июня, Огарев — 27-го и Герцен — 28 июня 1863 г.

[6] Намек на убийство Александра II 1 марта 1881 г. Эта фраза была опущена в отд. издании 1903 г., хотя входила в текст главы,опубликованный в «Р. ст.» (1894, кн. XII, стр. 10).

[7] Некрасовцами назывались старообрядцы, потомки казаков — участников булавинского восстания 1707—1708 гг., переселившиеся под руководством атамана Игната Некраса в Турцию. Видный старообрядческий деятель О. С. Гончар (Гончаров) был одним из главных руководителей некрасовцев, в 1837—1859 гг.— старшиной их общины. По делам некрасовцев Гончар поддерживал отношения с турецкими властями, французским правительством, различными эмиграциями в Лондоне, впоследствии несколько раз приезжал в Россию. Деятельность Гончара отвечала интересам наиболее зажиточной и влиятельной группы

старообрядцев: «...в сущности,— писал Герцен,— для него было все равно: он пошел бы равно с Польшей и Австрией, с нами и с греками, с Россией или Турцией, лишь бы это было выгодно для его некрасовцев» («Б и Д», часть VII, глава «В. И. Кельсиев»).

[8] О. С. Гончар прожил в Лондоне с 14 по 19 августа 1863 г. «Ему хотелось разузнать,— писал Герцен,— какие у нас связи с раскольниками и какие опоры в крае; ему хотелось осязать, может ли быть практическая польза в связи старообрядцев с нами» («Б и Д», часть VII, глава «В. И. Кельсиев»).

[9] Слова: «и которого политические изменения могли выдвинуть легко вперед» — были опущены в отд. издании 1903 г., хотя входили в текст главы, опубликованной в «Р. ст.» (стр. 11).

[10] Артиллерийский штабс-капитан В. И. Краснопевцев, о котором идет здесь речь, повесился в ночь на 8 февраля 1865 г. См. об этом в «Исповеди» В. И. Кельсиева — «ЛН», 41—42, стр. 386.

[11] В. Т. Кельсиева приехала с дочерью в Константинополь 29 августа 1863 г. После смерти сына и дочери она умерла 3/15 октября 1865 г. в Галаце. В статье-некрологе «Две кончины» (1865) Герцен писал о ней как о «твердой, превосходной женщине», вынесшей «добровольную ссылку, страшную бедность и всевозможные лишения».

[12] О смерти жены В. И. Кельсиев рассказал в письме от 14/26 октября 1865 г.— «ЛН», 62, стр. 204—206. Диалог умирающей В. Т. Кельсиевой с мужем приведен также в «Б и Д», часть VII, глава «В. И. Кельсиев».

[13] Статьи В. И. Кельсиева под псевдонимом «Иванов-Желудков» печатались в 1866—1867 гг. в «Голосе», «Русском вестнике», «Отечественных записках».

[14] Посещение Гарибальди Лондона (см. след. главу) состоялось в апреле 1864 г.

ГЛАВА XIV

(Стр. 204 — 214)

[1] Далее в «Р. ст.» (1894, кн. XII, стр. 16) шел текст, опущеный в отд. издании 1903 г.:

«Это что-то особенное; я нахожу,что этот звук, вырывавшийся сразу у многочисленной толпы, подобен реву волн, когда море сильно взволновано, или шуму водопада в близком расстоянии. Это что-то электрическое и вместе с тем страшное, захватывающее дух от какого-то сообщающегося волнения».

[2] Герцен познакомился с Гарибальди в феврале 1854 г. на обеде у американского консула в Лондоне; эмигрировав после поражения ре-

волюции 1848 г. в Америку, Гарибальди служил тогда в торговом флоте и во время одного из дальних рейсов прибыл на американском корабле «Commonwealth» в Англию (см. «Б и Д», часть V, глава XXXVII, а также часть VI, глава «Немцы в эмиграции»). С тех пор, в течение десяти лет, Герцен и Гарибальди не встречались.

[3] Далее в «Р. ст.» (стр. 19) шел текст, опущенный в отд. издании 1903 г.:

«Мы вошли в толпу, бежавшую за Гарибальди, и очутились против квартиры одной знакомой нам англичанки, страстной маццинистки, m-rs Hoccs. Слыша несмолкаемые приветствия народа, m-rs Hoccs взглянула в окно и увидала нас. Она подозвала полицейского и, указав ему на Герцена в круглой шляпе, просила провести нас к ней в дом. Полицейский отвечал почтительно, что готов исполнить желание леди, и вышел поспешно. К несчастью, впереди стоял какой-то господин, тоже в круглой шляпе, и вел под руку замечательную толстую даму. Полицейский, приняв их за нас, обратился к ним, прося их войти в дом, по приглашению m-rs Hoccs. Они последовали за полицейским; увидя Гарибальди, наговорили ему тысячу любезностей, благодарили леди, которая доставила им такое счастье, и проч., и удалились в совершенном восторге. M-rs Hoccs это происшествие очень насмешило, она не решилась послать вторично полицейского за нами».

[4] Сын Герцена, А. А. Герцен, находился в это время в Швейцарии; старшие дочери жили в Италии. О своих встречах с Гарибальди Герцен рассказал детям в ряде писем от апреля 1864 г. «Никогда я не жалел так, что вас не было с нами, как вчера», — писал он Н. А. Герцен и М. Мейзенбуг 18 апреля 1864 г.

[5] О встрече и пребывании Гарибальди в Лондоне в апреле 1864 г. Герцен подробно рассказал в статье «Camicia rossa» и заметках в «Колоколе»: «Uncrowned King» и «17 апреля 1864». Приезд Гарибальди стал событием большого общественного значения. Английский народ торжественно встречал крупнейшего деятеля итальянского освободительного движения. С большой проницательностью Герцен писал тогда, что «от этой встречи «некоронованного царя», вероятно, покачнулась не одна корона». О том, как английское правительство удалило Гарибальди из Англии, см. в недавно опубликованной главе из статьи «Camicia rossa» («ЛН», 61, стр. 125—132).

[6] П. А. Тучков скончался 21 января 1864 г., т. е. значительно раньше приезда Гарибальди в Лондон.

[7] Н. А. Тучкова-Огарева выехала в Париж с детьми 10 ноября 1864 г., Герцен присоединился к ним 22 ноября 1864 г.

[8] Имеется в виду смерть в декабре 1864 г. трехлетних детей Н. А. Тучковой-Огаревой и Герцена, близнецов Алексея и Елены.

(*Стр. 215—231*)

[1] Огарев выехал из Лондона 4 апреля 1865 г. и вскоре прибыл в Женеву.

[2] Ссора П. В. Долгорукова с Жюлем произошла в конце ноября — начале декабря 1865 г. См. в письме Герцена к сыну от 19 декабря 1865 г.: «Ты знаешь, что с Жюлем он ⟨Долгоруков⟩ уже давно помирился».

[3] В «Сев. в.» (1896, кн. II, стр. 85—86) далее шел текст, опущенный в отд. издании 1903 г.:

«Однажды я поехала в Женеву в омнибусе. На этот раз он был полон. Против меня сидела женщина лет сорока пяти. По чертам ее лица видно было, что в молодости она была очень красива. У нее была на коленях огромная корзина с цветами, а возле, держась за ее платье, стояла кудрявая девочка лет пяти, с прекрасными темными глазами.

Только простые люди легко знакомятся между собою: на пароходах, в вагонах, везде; мещане же всегда сидят в большом безмолвии, пока случай какой-нибудь не заставит их познакомиться. Цветочница разговорилась с своей соседкой, они беседовали несколько громко, и я невольно слышала их разговор.

Цветочница рассказывала, что сидит с корзиной на рынке, а дочка ее, Жозефина, предлагает букеты. Раз она забежала очень далеко и, должно быть, не могла найти матери. Последняя ждала, ждала ее и пошла домой, потому что дома есть девочка еще меньше Жозефины. «На другой день я пошла осведомиться в полицию,— говорила цветочница,— и в самом деле нашла там Жозефину! Она в полиции и ночевала, ей даже дали там и поужинать». Жозефина улыбалась, слушая рассказ о своих похождениях.

— А с кем же вы оставляете меньшую? — спросила слушательница.

— С богом,— отвечала цветочница со смехом. Слушая невольно этот разговор, я думала про себя: «Мы живем у дороги, которая ведет в Женеву, у нас большой сад; как бы хорошо было этим детям играть целый день в саду, а покормить их всегда найдется у Жюля; он бедных жалеет, а Герцен будет даже рад. Вечером мать возьмет их домой».

Когда мы вышли из омнибуса, я подошла к цветочнице и сказала ей. «Мы живем на вашей дороге в Châteaux de la Boissière. Если хотите, заводите к нам с утра ваших девочек, у нас большая семья, мы позаботимся о них, а вечером заходите за ними».

Женщина эта, m-me Besson, очень обрадовалась моему предложению и благодарила меня.

Воротившись тогда домой, я поспешила рассказать Герцену и Огареву о моей встрече с цветочницей, а также и о моем предложе-

нии ей. Герцен не только не упрекнул меня за торопливость в этом случае, но даже нашел, что это очень дельно. Со следующего дня m-me Besson стала приводить своих двух малюток к нам; они весело играли и не замечали отсутствия матери, а вечером она приходила за ними. Но случилось раз, что мать прислала меньшую пьяную. Ребенок проспал почти весь день; прислуга наша заметила несомненные признаки нетрезвости ребенка, но как это могло случиться — осталось для нас тайной. Вероятно, можно было это узнать от Жозефины, которая, несмотря на свой нежный возраст, была очень практическим маленьким существом.

Мы всегда обедали в восемь часов вечера. Раз Жюль вошел в столовую в ту минуту, когда мы собирались сесть за стол, и объявил, что m-me Besson не заходила еще за детьми. «Вы увидите, madame,— сказал он мне, улыбаясь,— что она вам прикинет этих детей».

Все были смущены, делали предположения, соображения, я стояла сконфуженная, как будто виноватая. Услышав наши толки, Герцен велел посадить детей за стол. «После придумаем, что делать, а пока надо и им пообедать»,— сказал он веселым голосом и с светлой улыбкой.

Для детей это был сытный ужин, им захотелось спать, но было уже десять часов, а никто за ними не являлся. Наконец поздно вечером, около полуночи, не совсем трезвая мать пришла за детьми и тем успокоила всех и в особенности нашу прислугу.

Часто я давала этим детям платья моей дочери, но или m-me Besson не умела их перешить, или ленилась, потому что дети ее все так же ходили в лохмотьях. По этому поводу мне пришла мысль поместить их в какое-нибудь заведение, где они увидят хороший пример, порядок и научатся честно зарабатывать себе на хлеб. Я сообщила об этой мысли Герцену, который одобрил ее, но сама цветочница ему очень не нравилась. Она рассказывала, что у нее живых детей десять человек; из них старшие двое, сын и дочь, пошли по дурной дороге, шесть были помещены в различные заведения разными благотворителями, и я, с разрешения Герцена и Огарева, отдала последних в маленькое заведение близ Морж, где находились уже две из их сестер. M-me Besson беззаботно смотрела на будущее: ей было предсказано, что она разбогатеет от меньшей дочери — Розалии, и она пресерьезно ждала с нетерпением, когда двухлетней Розалии исполнится двадцать лет, и твердо верила в предсказанье».

[4] Н. В. Шелгунов находился в то время (с декабря 1864 г.) в ссылке в Вологодской губернии.

[5] Имеется в виду А. А. Серно-Соловьевич.

[6] Подразумеваются строки из IV главы «Евгения Онегина»:

Врагов имеет в мире всяк,
Но от друзей спаси нас, боже! и т. д.

[7] А. А. Серно-Соловьевич покончил жизнь самоубийством в августе 1869 г. В воспоминаниях Т. П. Пассек «Из дальних лет» о его смерти не упоминается.

[8] В Ницце, рядом с могилой жены Герцена, Наталии Александровны, были похоронены близнецы Алексей и Елена (см. примеч. 8-е к главе XIV, стр. 340 наст. издания).

[9] В письме к Герцену из Ниццы (весна 1868 г.) Н. А. Тучкова-Огарева пишет о *двоюродном* брате Гарибальди; в письме также отмечается, что Лиза «очень подружилась с детьми Гариб⟨альди⟩» («Архив Н. А. и Н. П. Огаревых», стр. 54—55).

[10] В «Сев. в.» (стр. 89—90) далее было:

«Кроме Гарибальди, мы познакомились с семейством G., состоявшим из трех дочерей; меньшая была ровесницей моей дочери; она и старшая были очень любимы матерью, а средняя жила в страшном загоне, может быть потому, что была покрыта веснушками и вообще некрасива, тогда как меньшая и старшая были очень недурны собой. Бедная молодая девушка не смела дома войти в гостиную, когда были посторонние; гулять с сестрами ее редко брали, а посылали за разными покупками и поручениями с горничной. Эта нелюбовь матери и сестер к m-lle Louise возбудила во мне большую жалость к ней; я старалась ее приглашать почаще, но вместо нее являлись ее сестры с матерью. Тогда мне пришла странная мысль тронуть сердце матери представлением Сандрильоны, которую я написала (драмой) по-французски для наших маленьких актеров. Устроили домашний театр у меня в доме и пригласили зрителями всех родственников детей. Кому не хочется поглядеть на маленькое, дорогое существо в первый раз на сцене? Явились родственники Louise G., ее мать и сестры, но, кажется, моим трудам было суждено пропасть без пользы: никакой перемены не произошло в отношениях семейных к m-lle Louise; один отец ее любил, но, боясь жены, почти не показывал любви к своей забытой дочери.

Я не могла видеться с m-lle Louise, и потому мы стали переписываться по городской почте. M-lle Louise мне писала, что ей очень тяжело переносить вечное заключение и постоянный холод сестер и матери, и просила меня спасти ее от этой убийственной жизни. Труда она не боялась. Тогда мне пришла мысль послать ее в Италию в семью Герцена, где бы ей нашли занятия, соответственные ее воспитанию. Я стала серьезно об этом мечтать».

[11] В «Сев. в.» (стр. 90) далее было: «Он, конечно, знал m-lle Louise, о моем желании спасти ее, и только добродушно смеялся над моими несбыточными планами».

[12] Серия очерков Герцена «Скуки ради» была опубликована под псевдонимом «И. Нионский» в петербургской газете «Неделя» в 1868 (№ 48) и 1869 (№№ 10 и 16) гг. Герцен строил в связи с этим широкие

планы дальнейшего сотрудничества в русской легальной печати, однако осуществить эти планы оказалось невозможным.

[13] Жена князя А. В. Оболенского жила в Женеве отдельно от мужа, с тремя дочерьми. Сблизившись через Бакунина с эмигрантской средой, она отказалась вернуться в Россию. В связи с этим в июле 1869 г. (а не в 1868 г., как по ходу рассказа датируется это событие в записках Н. А. Тучковой-Огаревой) в Швейцарию приехал Оболенский с братом, при содействии местных властей он силой отобрал у жены двух младших дочерей и отправил их в Россию; Оболенская и ее старшая дочь вынуждены были длительное время скрываться от дальнейшего преследования самодура-князя.

«Дело Оболенской» вызвало решительное выступление Герцена против вопиющего произвола швейцарских властей. 1 сентября 1869 г. в парижской газете «Le Siècle» была напечатана его статья; «мы... ждем,— писал он в ней,— как оправдает федеральный совет явное беззаконие подобных приемов в республиканском государстве» (перевод с франц.). «Я в Париже пошумел исправно о деле Оболенской»,— писал Герцен Огареву 7 сентября 1869 г. О полемической кампании Герцена в связи с «делом Оболенской» и отношении к ней со стороны русской эмиграции в Женеве см. в публикации С. А. Макашина — «ЛН», 63, стр. 74—78.

[14] В «Сев. в.» (стр. 91) далее было:

«Герцен был так потрясен и возмущен этой историей, что сказал мне очень серьезно. «Нет, уж, пожалуйста, оставим спасение m-lle Louise, тут нельзя и рассчитать последствий. Прежде я ничего не говорил, но теперь, после таких диких вторжений полиции, я кладу свое veto на мечту о спасении m-lle Louise». Так и кончилось ничем мое желание ей помочь. К счастью, в 1875 году она вышла замуж и, говорили, счастливо. Она была очень любящая, семейное гонение не озлобило ее».

[15] См. об этом эпизоде также далее, в заметке «К запискам Т. П. Пассек «Из дальних лет» (стр. 303 наст. изд.). Но, очевидно, Н. А. Тучкова-Огарева смешала два события — припадок с Огаревым на улице в Веве в 1865 г. и перелом ноги в Женеве 20 февраля 1868 г. 21 февраля Герцен выехал из Ниццы к Огареву. «Несчастие это перетряхнуло всех»,— писал он сыну 27 февраля 1868 г.

[16] Тутс — сын А. А. Герцена и Шарлотты Гетсон (см. далее, стр. 262—263 наст. издания).

[17] Далее приведены с некоторыми изменениями в тексте отрывки из письма Герцена от 6 мая 1867 г. из Женевы.

[18] Имеются в виду «Наши домашние дела» А. А. Серно-Соловьевича.

[19] «Дым» был напечатан в «Русском вестнике», кн. III за 1867 г.

[20] В письме Герцена далее было: «Это ты только тогда поймешь,

когда захочешь подумать обо мне, как друге, как о близком и неизменно близком человеке и с тобой и с Ог⟨аревым⟩»

[21] В письме Герцена далее было: «...но есть и другие стороны, не меньше необходимые. Зачем же судьба не дала тебе тот дух простоты и участия, который врачует эти боли?»

[22] В письме Герцена далее было: «...все старая речь об отрубленной голове и повторение того, что мне режет по сердцу. Действит⟨ельно⟩, плечи здоровы, ну, зато и крест не легок.— Прости за этот плач — больно и скучно».

[23] П. В. Долгоруков скончался 17 марта 1868 г.

[24] Под этим конспиративным именем скрывался бывший полковник генерального штаба И. М. Савицкий. В 1863 г. он командовал одним из повстанческих отрядов; в 1865 г. в Женеве познакомился с Герценом, находился с ним в переписке.

[25] См. в письме Н. А. Герцен к Огареву из Парижа от 18 января 1870 г.: «Только что была у нас бедная m-lle Michel» («ЛН», 63, стр. 482).

[26] Герцен и Н. А. Тучкова-Огарева посетили пансион в Беблингейме 22 июня 1868 г. На следующий день он писал Огареву о Жане Масе, что это «замечательный деятель, простой, но умный человек, живущий 16 лет в Беблингейме и делающий чудеса пропагандой сельских библиотек и Ligu'ой первоначального образования».

ГЛАВА XVI

(Стр. 232—247)

[1] Это неточно, ср., например, воспоминания Герцена о встречах и беседах с Ледрю-Ролленом в 1854 и 1864 гг. в «Б и Д», часть VI, главы «Горные вершины» и «Camicia rossa».

[2] См. «Б и Д», часть VI, глава «Два процесса». Французский рабочий-революционер Э. Бартелеми был 22 января 1855 г. казнен в Лондоне за совершенное им убийство. О деле Бартелеми и отношении к нему Герцена интересные данные приводит М. Мейзенбуг в «Воспоминаниях идеалистки», стр. 271—273, 300—315.

[3] Герцен был у Шофура 28 июня 1868 г.; «...провел превосходно день,— писал он Огареву 30 июня 1868 г.,— они живут богатыми помещиками, и вся семья удивительно образованные люди...»

[4] Известие о болезни дочери Герцен получил 2 декабря 1868 г., на следующий день он выехал в Ниццу. О болезни Н. А. см. в письмах Герцена к Огареву и сыну от декабря 1868 г. «Нат. ходит за Татой удивительно — день и ночь»,— писал он сыну 7 декабря 1868 г. 25 декабря Н. А. Тучкова-Огарева сама заболела оспой, но уже к середине января 1869 г. была здорова. Затем легкую форму болезни перенесла Лиза.

«Кажется, все тревоги и хлопоты прошли»,— писал Герцен Тхоржевскому 27 января 1869 г.

[5] В «Сев. в.» (1896, кн. III, стр. 114) далее шел текст, опущенный в отд. издании 1903 г.:

«Помню, что на русский Новый год у нас произошел большой переполох. Ночью послышался стук: m-me Rocca, находящаяся опять у нас, перепугалась страшно и не хотела отворять дверь. Тогда стали стучать в окна, думая, что все крепко спят и никто не слышит. Наконец Герцен сам пошел отворить дверь и смеясь закричал нам через дверь: «Чудак какой-то вздумал поздравлять Наташу и всех с Новым годом телеграммой из России». Это был один из знакомых Наталии Александровны. Долго мы шутили над испугом m-me Rocca, которую вообще можно было назвать скорей храброй. Когда мы оставались в Ницце одни, то иногда мне ночью чудился стук какой-то, и m-me Rocca, вооружась, как и я, щипцами от камина для защиты, обходила со мной кругом дома, и, не встречая никого, мы возвращались благополучно домой. Убедившись, что нет ничего, мы спокойно отдыхали».

[6] В августе 1869 г. в Брюсселе состоялось личное знакомство Герцена и Гюго, находившихся долгое время в переписке. Через несколько дней, 15 августа, Герцен писал Огареву: «...отгадай, у кого я сидел третьего дня утром, у кого вчера обедал и к кому иду обедать завтра и читать отрывок из «Былого и дум»... Самолично у Виктора Гюго». В письме к Гюго от 19 июня 1871 г. Н. А. Тучкова-Огарева вспоминала: «Года два назад я имела удовольствие провести у вас приятнейший вечер: быть может, вы, милостивый государь, этого уже не помните, но у меня сохранилось яркое воспоминание о вашей беседе с Герценом и вашем любезном приеме» (перевод с франц.; «ЛН», 63, стр. 522). См. в воспоминаниях А. П. Пятковского, тогда сотрудника газеты «Неделя», находившегося летом 1869 г. также в Брюсселе: «Несколько дней спустя я видел его ⟨Гюго⟩ только мельком в ложе брюссельского театра. Герцен был с ним в очень хороших отношениях и, зайдя во время антракта, долго и дружески беседовал с ним» (А. П. Пятковский, Две встречи с А. И. Герценом — «Наблюдатель», 1900, кн. III, стр. 237).

[7] Осенью 1869 г. С. Г. Нечаев организовал среди студентов Петровской сельскохозяйственной академии в Москве революционный кружок заговорщического типа. Провокационные методы работы, свойственные деятельности Нечаева, вызвали оппозицию со стороны участника кружка студента Иванова; тогда Нечаев обвинил Иванова в предательстве и при участии своих сообщников 21 ноября 1869 г. убил его.

[8] Убийство принцем Пьером Бонапартом французского журналиста Виктора Нуара вызвало 12 января 1870 г. в Париже, во время похорон Нуара, мощную демонстрацию протеста, свидетелем которой был Герцен. «Что будет, не знаю, я — не пророк; но что история совер-

шает свой *акт* здесь... это ясно до очевидности»,— писал он Огареву 14 января 1870 г. в связи с подъемом общественного движения во Франции.

[9] Обстоятельства болезни Н. А. Герцен изложены Н. А. Тучковой-Огаревой с нарочитым пропуском ряда важных моментов. Н. А. Герцен встретилась во Флоренции с талантливым слепым музыкантом Пенизи; Пенизи настойчиво добивался любви Н. А. и довел ее до помешательства. Герцен получил от сына телеграмму об этом 29 октября 1869 г., послал ему запрос и, получив 30 октября ответ, вероятно, в тот же день выехал во Флоренцию. См. письмо Герцена к И. С. Тургеневу от 18 ноября 1869 г., а также в публикации Н. П. Анциферова «Старшая дочь Герцена (Тата)» — «ЛН», 63, стр. 477—479. Впоследствии Н. А. Герцен совершенно оправилась от перенесенной болезни.

ГЛАВА XVII

(Стр. 248—257)

[1] Это было в пятницу 14 января 1870 г.

[2] В газете «Голос», № 354 от 23 декабря 1869 г. (4 января 1870 г.). была напечатана анонимная статья, в которой И. С. Тургенев резко обвинялся в отрыве от русской жизни, в потере связи с русским обществом. Ср. в письме Герцена к Огареву от 12 января 1870 г.: «Голос» оборвал Тургенева. Он еще не приехал».

[3] См. примеч. 12-е к очерку Н. А. Тучковой-Огаревой «Иван Сергеевич Тургенев», стр. 351 наст. издания.

[4] Маркиз Рошфор, депутат законодательного корпуса и издатель журнала «Marseillaise», за появившиеся в этом журнале обвинения против принца Пьера Бонапарта был привлечен к суду и присужден к тюремному заключению и штрафу в три тысячи франков.

[5] Огарев в это время находился в Женеве и по состоянию здоровья не смог приехать в Париж.

[6] Ср. свидетельство Н. А. Тучковой-Огаревой, опубликованное в воспоминаниях Т. П. Пассек:«Жар и бред все увеличивались; однако он ⟨Герцен⟩ каждый день писал карандашом несколько слов к Огареву» («Р. ст.», 1887, кн. X, стр. 162). В письме Н. А. Герцен к Огареву от 18 января 1870 г. рукою Герцена карандашом приписано: «Умора да и только — кажется, дня в два пройдет главное. Прощай» («ЛН», 63, стр. 482). Эти обращенные к Огареву строки — последний автограф Герцена. В ночь на 21 января 1870 г. его не стало.

[1] Намек на самоубийство дочери Н. А. Тучковой-Огаревой и Герцена, Лизы, в декабре 1875 г. во Флоренции. См. об этом «Архив Н. А. и Н. П. Огаревых», стр. 213 и сл.

[2] Воспоминания Н. А. Герцен о ее встречах с Нечаевым («ЛН», 63, стр. 488—497) вносят существенные уточнения в рассказ Н. А. Тучковой-Огаревой; в частности, поездка Н А. в горы в действительности была вызвана поручением Огарева передать какую-то рукопись скрывавшемуся Нечаеву. Н. А. Тучкова-Огарева явно преувеличивает влияние, которое оказывали на Н А. Герцен Нечаев и его окружение.

[3] Речь идет о «Сборнике посмертных статей» А. И. Герцена, изданном в Женеве в 1870 г. (2-е изд., 1874 г.).

[4] Имеется в виду глава о «молодой эмиграции» из «Б и Д», часть VII; была опубликована в «Сборнике посмертных статей» под произвольным названием «Общий фонд». См. об этом далее в заметке «К запискам Т. П. Пассек «Из дальних лет» (стр. 302 наст. издания).

[5] В настоящее время автограф этой главы «Б и Д» находится в Отделе рукописей Гос. библиотеки СССР имени В. И. Ленина.

[6] Начиная со слов: «к Огареву и которого мать так трагически»,— текст был опущен в первых публикациях главы (см вступит. заметку к примечаниям — стр. 307—308 наст. издания).

Шарлотта Гетсон жила с сыном Тутсом в Lancy у Огарева; в начале июня 1867 г. она бросилась в Женевское озеро, через три года ее труп был найден на берегу Роны. Роль Мери Сетерленд в самоубийстве Шарлотты Гетсон представлена в записках Н. А. Тучковой-Огаревой в явно искаженном виде. Несомненно, что основной причиной трагической гибели Шарлотты явилось охлаждение к ней со стороны А. А. Герцена.

[7] О Мери Сетерленд, подруге Огарева, начиная с 1859 г., рассказывается в т. III «Из дальних лет» (стр. 18) в связи с описанием встречи Т. П. Пассек с Огаревым в Женеве в 1873 г. Характеристика Мери Сетерленд в «Воспоминаниях» Н. А. Тучковой-Огаревой носит совершенно очевидный пристрастный характер. В действительности отношения Огарева и Мери были проникнуты исключительной сердечностью и теплотой; «... у меня на сердце стало легче,— писал Огарев Герцену вскоре после сближения с Мери.— Мне откликнулось каким-то мягким, женским обращением со мной» («Русские пропилеи», т. IV, стр.211). Переписку Огарева и Мери Сетерленд см. в «Архиве Н. А. и Н. П. Огаревых», стр. 100—128.

[8] См. рассказ о том, как Нечаев скрывался у Н. А. Тучковой-Ога-

ревой и Н. А. Герцен, в названных выше воспоминаниях последней; события эти относятся к 1870 г.

[9] Здесь в рукописи на полях имеется следующая запись Н. А. Тучковой-Огаревой: «Хорошее время, где еще две личности, такие дорогие, такие близкие, заслоняли иногда от меня невозвратимые утраты, которые пришлось перенести».

[10] Это случилось в августе 1872 г. в Цюрихе; С. Г. Нечаев был выдан русскому правительству как уголовный преступник.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

(Стр. 273—275)

[1] В марте 1876 г. Н. А. Тучковой-Огаревой было высочайше разрешено «возвратиться в отечество на поручительство ее отца с учреждением за ней строгого полицейского надзора, в особенности за заграничными ее сношениями».

[2] «...У меня были все... труды,— писала Н. А. Тучкова-Огарева Т. П. Пассек,— но граница все взяла — осталось только то, что мое отчаяние не могло уступить: письма и портреты, скорей я готова была ехать обратно, чем расстаться с последним моим достоянием» («Архив Н. А. и Н. П. Огаревых», стр. 283).

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ

(Стр. 279—291)

[1] Это утверждение Н. А. Тучковой-Огаревой требует существенного уточнения; достаточно сказать, что за границей Огаревым были написаны такие замечательные произведения, как поэмы «Сны», «Ночь», «Тюрьма», «Матвей Радаев», «Рассказ этапного офицера» или стихотворения «Свобода», «Памяти Рылеева», «Михайлову» и многие другие.

[2] Имеются в виду страницы воспоминаний Н. А. Тучковой-Огаревой о пребывании с семейством Герцена в Италии и Франции в 1848 г. (см. Т. П. Пассек, т. III, стр. 83 и сл.; стр. 294 и сл. наст. издания).

[3] Комедия И. С. Тургенева «Где тонко, там и рвется» была впервые напечатана в «Современнике», 1848, кн. XI, с посвящением «Наталье Алексеевне Тучковой». «Тут столько наблюдательности, таланта и грации, что я убежден в будущности этого человека,— писал Огарев Н. А. Тучковой 4 января 1849 г.— Он создаст что-нибудь *важное* для Руси. А потом он вас любит» («Русские пропилеи», т. IV, стр. 73).

[4] Записная книжка, подаренная в 1848 г. Тургеневым Н. А. Тучковой, ныне хранится в ЦГАЛИ.

[5] См. примеч. 2-е к главе VI (стр. 318 наст. издания).

[6] В 1852—1853 гг. Виардо пела в Петербурге, а затем в Москве; в литературе высказывалось предположение, что в марте 1853 г. Тургенев тайно приезжал для свидания с ней в Москву (см. Н. М. Гутьяр, И. С. Тургенев, 1907, стр. 148; И. М. Гревс, История одной любви. И. С. Тургенев и Полина Виардо, М. 1927, стр. 93—94; ср. в воспоминаниях Н. А. Островской — «Тургеневский сборник» п/ред. Н. К. Пиксанова, книгоиздательство «Огни», стр. 75).

[7] Ср. в письмах Н. А. Тучковой-Огаревой к родным из Петербурга (ноябрь 1855 г.— январь 1856 г.): «Вчера явился Тург⟨енев⟩, у него страсть к Ог⟨ареву⟩», «...сегодня он обедает у Тург⟨енева⟩», «Тург⟨енев⟩ и Сологуб так протрубили об стихах Ог⟨арева⟩, что все, даже вовсе незнакомые, хотят его видеть», «он ⟨Огарев⟩ пошел с Тургеневым в любительский концерт», «Ог⟨арев⟩ теперь на вечере у Тург⟨енева⟩; опять читает «Зимний путь» ...» и т. д. (см. «Русские пропилеи», т. IV, стр. 141—146).

[8] См письмо Н. А. Тучковой-Огаревой к родным от 8 января 1856 г. (там же, стр. 146).

[9] Об обстоятельствах, связанных с известным делом об «огаревском наследстве», см. в книге Я. З. Черняка «Огарев, Некрасов, Герцен, Чернышевский в споре об огаревском наследстве», М.— Л. 1933.

[10] В сентябре 1856 г. Огарев писал И. С. Тургеневу о «Фаусте»: «Происшествие кажется придуманным с каким-то усилием для того, чтоб выказать неясные мнения о таинственном мире, в который вы сами не верите; точно автор, вопреки себе, хочет показать реальность чего-то, чего он сам не понимает... в вашем «Фаусте» фантастическая сторона прилеплена; повесть может обойтись и без нее» («Современник», 1913, кн. VI, стр. 7—8). Герцен находил, что замечания Огарева о «Фаусте» написаны «резко», но признавался, что «во многом» разделяет его мнение (письмо к И. С. Тургеневу от 26 сентября 1856 г.). Тургенев, в сущности, согласился с оценкой Огарева, когда 7/19 ноября 1856 г. писал М. Н. Лонгинову, что «напрасно хватил» в «Фаусте» «фантастического элемента» (И. С. Тургенев, Собр. соч., т. XII, М. 1958, стр. 227).

[11] Герцен высоко ценил Некрасова как поэта «очень замечательного — своею демократическою и социалистическою ненавистью» (письмо к М. Мейзенбуг от 9 июня 1857 г., перевод с франц.). Ср. в письме к И. С. Тургеневу от 2 марта 1857 г.: «Ты напрасно думаешь, что я ненавижу Некрасова; право, это — вздор. В его стихотворениях есть такие превосходные вещи, что не ценить их было бы тупосердие». Однако Герцен по недоразумению обвинял Некрасова в недобросовестном

отношении к денежным средствам Огарева. В июле 1857 г. Некрасов через Тургенева предпринимал попытку встретиться с Герценом в Лондоне и объясниться, но не был им принят. 18 июля 1857 г. Герцен писал М. К. Рейхель: «Здесь был Некрасов, я его не хотел видеть...»

[12] В газете «Голос» редактор А. А. Краевский напечатал в «безобразном», по выражению Тургенева, переводе с немецкого (из журнала «Салон», октябрьская книжка за 1869 г.) его повесть «Странная история». Возмущенный этим поступком, Тургенев в кн. I «Вестника Европы» за 1870 г., где был впервые напечатан подлинный русский текст повести, опубликовал негодующее письмо (см. стр. 510).

[13] Казнь Тропмана, совершившего с целью ограбления убийство нескольких человек, состоялась в Париже 19 января 1870 г. Очерк И. С. Тургенева, посвященный описанию этой казни, был напечатан в «Вестнике Европы» в 1870 г. (кн. VI).

[14] Тургенев выехал из Парижа 19 января 1870 г.; в записке, посланной в этот день Н. А. Тучковой-Огаревой, он писал, что «получил телеграмму, вследствие которой должен сейчас уехать в Баден» и не может «дождаться перемены в болезни Герцена» («ЛН», 63, стр. 539). См. также его письмо к А. А. Герцену от 22 января 1870 г. после получения известия о смерти Герцена («ЛН», 63, стр. 531).

ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ, НАПИСАННЫХ ДЛЯ III ТОМА «ИЗ ДАЛЬНИХ ЛЕТ» Т. П. ПАССЕК

(Стр. 292—299)

[1] Герцен покинул Лондон в ноябре 1864 г., вслед за семьей; Огарев по болезни задержался в Англии; в феврале—марте 1865 г. Герцен приезжал к нему в Лондон (см. также примеч. 1-е к главе XV — стр. 341 наст. издания).

[2] Последний лист «Колокола» (196-й), изданный в Лондоне, датирован 1 апреля 1865 г., следующий лист вышел в свет в Женеве 25 мая 1865 г.

[3] Это неверно, такого перерыва в издании газеты не было.

[4] Письма Н. А. Герцен к Н. А. Тучковой 1848—1852 гг. см. в сб. «Русские пропилеи», т. I, М. 1915, стр. 241—275.

[5] Неточные цитаты из «Б и Д», часть V, «Западные арабески» — «Сон».

[6] Ср. в стихотворении А. С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных» (1829): «И пусть у гробового входа//Младая будет жизнь играть».

Об этом же рассказывает Герцен — «Б и Д», часть V, «Рассказ о семейной драме».

[7] В рассказе Н. А. Тучковой-Огаревой об этом эпизоде допущены неточности, см. «Б и Д», часть IV, глава XXVIII.

[8] Имеется в виду последнее письмо Н. А. Герцен к Н. А. Тучковой (март 1852 г.), найденное Герценом в бумагах жены после ее кончины; опубликовано в «Р. ст.», 1886, кн. XI, стр. 314—315; ср. Т. П. Пассек, т. III, стр. 127—129, «Русские пропилеи», т. I, стр. 273—275.

[9] 15 мая 1848 г. в Париже состоялась грандиозная народная демонстрация; поражение демонстрации расчистило путь буржуазной реакции к кровавой расправе с парижским пролетариатом в июньские дни.

[10] Неточная цитата из «Б и Д», часть V.

[11] Слова Герцена из «Рассказа о семейной драме» («Приметы») в части V «Б и Д».

К ЗАПИСКАМ Т. П. ПАССЕК «ИЗ ДАЛЬНИХ ЛЕТ»

(Стр. 300—304)

[1] Т. П. Пассек умерла 24 марта 1889 г., третий том «Из дальних лет» вышел в свет в том же 1889 г. после ее смерти.

[2] Имеется в виду М. Н. Катков, которому был посвящен специальный очерк в т. III «Из дальних лет» (стр. 319—343).

[3] См. примеч. 12-е к гл. XI (стр. 335 наст. издания).

[4] См. примеч. 14-е к гл. XI (там же).

[5] См. об этом на стр 260—261 наст. изд.

[6] Первое собрание сочинений А. И. Герцена вышло в свет в Женеве в 1875—1879 гг. в десяти томах.

[7] Имеется в виду так называемый «Рассказ о семейной драме» в части V «Б и Д», впервые опубликованный в 1919 г. в Полном собрании сочинений и писем А. И. Герцена под ред. М. К. Лемке (т. XIII). Дети Герцена долгое время считали невозможной публикацию этих глав «Б и Д» в силу их личного, семейного характера. См. письма Н. А. Тучковой-Огаревой к Н. А. Герцен и П. В. Анненкову по этому поводу в публикации Н. А. Роскиной «Из переписки Н. А. Тучковой-Огаревой»— «ЛН», 63, стр. 518—521.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН[1]

Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886), публицист и поэт, один из виднейших представителей позднего славянофильства —114, 116, *325*.

Александр I (1777—1825) — 22, 42, 43, *312*, *331*.

Александр II (1818—1881) —*12*, 70, 95, 115, 124—126, 156, 181, 186, 275, 284, *327*, *335*, *338*.

Амвросий (Морев Алексей Иванович; 1783—1854) — пензенский епископ с 1835 г. — 28, 37, 38, *310*.

Андреев Варлам, служащий у А. А. Тучкова в 1850 г.— 85, 86.

Анненков Павел Васильевич (1812—1887), критик умеренно-либерального направления, мемуарист — 64, 65, 68,95, 96, 166, 279, 282, 283, 297—299, *333*, *352*.

Аракчеев Алексей Андреевич, граф (1769—1834) — 22.

Арапетов Иван Павлович (1811—1887), товарищ А. И. Герцена и Н. П. Огарева по Московскому университету; в 50-х гг. член редакционных комиссий по крестьянскому делу — 75—77.

Арсеньева Елизавета Алексеевна (рожд. Столыпина; 1773—1845), бабушка М. Ю. Лермонтова — 228.

Астраков Николай Иванович (1809—1842), преподаватель математики, друг юности А. И. Герцена и Н. П. Огарева — 73.

Астраков Сергей Иванович (1816—1867), преподаватель математики, механик-изобретатель; в 40—50-х гг. был близок к Н. П. Огареву — 64, 73, 74, 88, *317*, *319*, *320*.

Астракова Татьяна Алексеевна (1814—1892), писательница, жена Н. И. Астракова — *8*, 73, *316*, *317*, *320*.

---

[1] Указатель имен составила Л. И. Ройтберг.

Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—1824) — 280.

Бакунин Михаил Александрович (1814—1876) — 64, 68, 69, 149, 183—187, 189, 190, 192, 193, 195, 196, 242, 244, 258, 260, 261, *307*, *336—338*, *344*.

Бакунина (рожд. Квятковская) Антония Ксаверьевна, жена М. А. Бакунина — 192, 193, 195, 196, *338*.

Баранов Григорий — 21.

Баранова Варвара Григорьевна, дочь Н. и Г. Барановых — 21.

Баранова Наталия Ивановна, во втором браке — жена С А. Тучкова, брата деда Н А Тучковой-Огаревой — 21

Бартелеми Эмманюэль (казнен в 1855 г.), французский рабочий-механик, участник революционного движения; познакомился с А И. Герценом в Лондоне в 1853 г.— 233, *345*.

Бартенев Петр Иванович (1829—1912), археограф и библиограф, издатель и редактор журнала «Русский архив» — 136, *328*.

Баскакова Елизавета Ивановна — см. Огарева Е И.

Бахметев Павел Александрович, помещик, эмигрировавший из России в августе 1857 г.; передал А. И. Герцену и Н. П. Огареву денежные средства для революционной пропаганды — 114, 128 — 130, 242, *328*.

Бахметев, зять князя Ю. Н. Голицына — 147.

Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — *6*, 71, 290.

Бернатский, польский эмигрант во Франции, врач — 216.

Бестужев Александр Александрович (литературный псевдоним — Марлинский; 1797—1837), писатель, декабрист — 26.

Бетховен Людвиг ван (1770—1827) — 146, 237.

Бибикова — 160, *333*.

Благосветлов Григорий Евлампиевич (1824—1880), революционный демократ, публицист; в 1860 — 1866 гг. — редактор журнала «Русское слово», затем редактор журнала «Дело» — 131, 151-155, *330*.

Блан Луи (1811—1882), французский мелкобуржуазный социалист и демократ, деятель революции 1848 г.— 97 102, 116, 182, 233.

Боголюбов Алексей Петрович (1824—1896), художник — 124, *326*.

Боке (Бокке) Жан-Батист, участник тайных революционных обществ периода Июльской монархии; в начале революции 1848 г.— помощник мэра 12-го округа в Париже, затем эмигрировал в Англию. Учитель сына А И. Герцена Александра — 102.

Бонапарт Пьер, принц (1815—1881), двоюродный брат Наполеона III — 244, *346*, *347*.

Борщов Илья Григорьевич (1833—1878), геолог, ботаник; в 60-х гг., находясь за границей, был близок к А. И. Герцену — 189, *336*

Боткин Василий Петрович (1811—1869), критик и публицист,

до 60-х гг.— умеренно-либерального направления, в 60-х гг. перешел в лагерь реакции — 97, 112, *325*.

Боткин Сергей Петрович (1832—1889), врач и общественный деятель, основоположник физиологического направления в клинической медицине — *12*, 131, 152, 232, 244, 245, *330*.

Боткина, первая жена С. П. Боткина — 152.

Brisè — см. Du Brisè.

Брунетти Антонио — см. Чичероваккио.

Брунетти, сын Антонио Брунетти (Чичероваккио) — 63, 67, 68.

Бруннов Филипп Иванович, барон (1797—1875), русский посол в Лондоне в 1858—1874 гг. — 156.

Brus — квартирная хозяйка Н. П.и Н. А. Огаревых в Лондоне в 1856 г.— 100, 105.

Бурбон — см. Фердинанд II.

Буташевич-Петрашевский — см. Петрашевский М. В.

Бутковский — см. Грибовский П. М.

Виардо-Гарсиа Мишель Полина (1821—1910), певица, вокальный педагог и композитор, друг И. С. Тургенева — 279 — 281, 284, 285, 289, 291, *318*, *350*

Виктор-Эммануил II(1820—1878),король Сардинии в 1849—1861 гг. и первый король объединенной Италии в 1861—1878 гг.— 188, 202.

Висконти, книгопродавец в Ницце — 221, 239.

Волконский Петр Михайлович, князь (1776—1852), генерал-фельдмаршал, министр императорского двора — 29.

Волконский, Сергей Григорьевич, князь (1788—1865), декабрист — 114, 125, 177, *327*, *334*.

Вольтер (Аруэ) Франсуа-Мари (1694—1778) — 20, 30, *309*.

Воронцов Михаил Семенович, князь (1782—1856), генерал-фельдмаршал, с 1823 г. новороссийский губернатор, с 1844 г. наместник Кавказа — 44.

Ворцель Станислав Габриэль, граф (1799—1857), польский утопический социалист и революционер, участник восстания 1830—1831 гг., руководитель демократической части польской эмиграции 30—50-х гг.— 131—133, *328*.

Вырубов Григорий Николаевич (1843—1913), естествоиспытатель, философ-позитивист, с 1864 г. жил за границей — 217, 244, 250—252, 258, 289, 291, 303.

Г..... Александр Григорьевич, муж В. Г. Барановой — 21.

Гааг Луиза Ивановна (1795—1851), мать А. И. Герцена — 56, 57, 59, 61, 139, 161, 280, 294.

Гайдн Иосиф (1732—1809), австрийский композитор — 237.

Галахов Иван Павлович (1809—1849), друг А. И. Герцена и Н. П. Огарева, участник их московского кружка в 40-х гг.—53, 56, *316*.

Гарибальди Анита (рожд. Риберас; умерла в 1849 г.), жена Джузеппе Гарибальди — 211.

Гарибальди Джузеппе (1807—1882) — *5*, 107, 192, 200—212, 221, *339*, *340*.

Гарибальди Нини, дочь двоюродного брата Джузеппе Гарибальди — 237, *343*.

Гарибальди, жена двоюродного брата Джузеппе Гарибальди — 221, 237, 238, *343*.

Гедеонов Степан Александрович (1816—1878), историк и драматург; директор Эрмитажа и императорских театров — 126, *327*.

Гейне Генрих (1797—1856) — 103.

Гервег Георг (1817—1875), немецкий революционный поэт и политический деятель — 64, 65, 68, *316*, *323*.

Гервег Эмма (1817—1904), жена Г. Гервега — 65, 68.

Герцен Александр Александрович (Саша; 1839—1906), старший сын А. И. Герцена — 57—59, 100, 105, 109, 113, 117, 118, 124, 131, 135—138, 140, 164—172, 208, 213, 216, 219, 223—225, 243, 245, 246, 250, 251, 259—261, 274, 294—297, 302, 303, *326*, *333*, *334*, *336*, *343*, *345*, *347*, *348*, *351*.

Герцен Александр Иванович (1812—1870) — *1—16*, 39, 41, 50, 51, 53, 54, 56—62, 64—68, 70—75, 78, 79, 95, 97—123, 125—130, 132, 133, 135—165, 170—175, 177—192, 194, 195, 198—200, 203—218, 220—262, 268, 272, 274, 279, 280—282, 286, 288—304, *308*, *313*, *316—318*, *321—327*, *329—353*.

Герцен Алексей (1861—1864), сын А. И. Герцена и Н. А. Тучковой-Огаревой — *13*, *14*, 194, 214, 225, *340*, *343*.

Герцен Елена (1861—1864), дочь А. И. Герцена и Н. А. Тучковой-Огаревой — *13*, *14*, 194, 214, 225, *340*, *343*, *353*.

Герцен Елизавета Александровна (Лиза; 1858—1875), дочь А.И. Герцена и Н. А. Тучковой-Огаревой — *13*, *14*, 141, 143, 146, 153, 160—162, 165, 166, 168—171, 173, 176, 179, 189, 191, 194, 199, 209, 214, 215, 220, 221, 223, 225, 232, 236—241, 245, 246, 255—259, 264, 267, 270, 271, 274, *328*, *333*, *334*, *336*, *337*, *340*, *345*, *348*.

Герцен Наталья Александровна (рожд. Захарьина; 1817—1852), жена А. И. Герцена — *9*, *11*, 54, 56—59, 61, 62, 65—68, 73, 75, 78, 79, 82, 95, 100, 104, 139, 166, 189, 225, 280—282, 293—299, *318*, *322—324*, *343*, *352*.

Герцен Наталья Александровна (Тата; 1844—1936), старшая дочь А. И. Герцена и Н. А Герцен—*14*, *16*, 57, 58, 99, 103 104, 109, 110, 113, 134, 142, 146, 151—153, 155, 161, 162, 171—173, 180, 181, 189, 208, 213,

216, 219, 221, 223, 224, 235, 237, 239, 240, 243, 245—247, 250, 253—259, 261—263, 265—267, 269—271, 294, 303, *333*, *334*, *337*, *340*, *346—348*, *351*, *353*.

Герцен Николай (Коля; 1843—1851), сын А. И. Герцена и Н. А. Герцен — 57, 58, 139.

Герцен Ольга Александровна (в замужестве — Моно; 1850—1953), дочь А. И. Герцена и Н. А. Герцен — 99, 104, 105, 134, 140, 142, 153, 161, 170, 174, 189, 208, 213, 216, 219, 221, 223, 224, 246, 247, 249, 250, 253—257, 294, *333*, *353*.

Герцен (рожд. Феличе) Терезина, жена сына А. И. Герцена, Александра Александровича — 223, 224, 246.

Гете Иоганн-Вольфганг (1749—1832) — 280.

Гетсон Шарлотта (умерла в 1867 г.), гражданская жена А. А. Герцена — 262, *344*, *348*.

Гиллер Агатон (1831—1887), писатель, деятель польского национально-освободительного движения — 184, 190, 301, *337*.

Гладстон Уильям Юарт (1809—1898), английский реакционный государственный деятель; в 1868—1874, 1880—1885, 1886 и 1892—1894 гг.— премьер-министр — 230.

Глинка Михаил Иванович (1804—1857) — 146.

Гогенлое, германский княжеский род — 40.

Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — 30, *318*.

Голицына Авдотья Михайловна, княгиня, сестра декабриста М. М. Нарышкина — 43.

Голицын, князь — 220, 221.

Голицын Юрий Николаевич, князь (1823—1872), хоровой дирижер и композитор; за сотрудничество в «Колоколе» был сослан, в 1860 г. эмигрировал за границу —131, 136, 145—147, 173—176, 181, 182, 237, *328*, *329*, *334*.

Головкин — 26.

Гончар (Ганчар, Гончаров) Осип Иванович (1796—1876), один из руководителей русской старообрядческой общины т. н. «некрасовцев» в Турции — 192, 196, 198, 199, *338*, *339*.

Горбунов Кирилл Антонович (1822—1893), художник, был близок к московскому кружку А. И. Герцена и Н. П. Огарева в 40-х гг.—82.

Горскин (Горсткин) Иван Николаевич, приятель А. А. Тучкова — отца Н. А. Тучковой-Огаревой — 32, 33, 34, 89, 90.

Гох Андрей Иванович, садовник в имении А. А. Тучкова — деда Н. А. Тучковой-Огаревой — 23.

Грановская (рожд. Мюльгаузен) Елизавета Богдановна (1824—1857), жена Т. Н. Грановского — 72, 73.

Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855) — *7*, *9*, 72, 73, 75, 88, 140, 163, *312*, *317*, *320*.

Грасс Филипп, скульптор — 157, *332*.

Греков, знакомый Тучковых — 154, 163, 164.

Грекова Ирина Афанасьевна, подруга Е. А Сатиной — сестры Н. А. Тучковой-Огаревой — 154, 163, 164.

Грибовский Петр Михайлович — симбирский приятель Н. П. Огарева в начале 50-х гг.— 95, *322*.

Гюго Виктор-Мари (1802—1885) — *5*, 232, 241, 242, *346*.

Гюго, сыновья В. Гюго — 241, 242.

Давыдов Иван Иванович (1794—1863), профессор Московского университета по кафедре русской словесности — 24.

Дашкова Екатерина Романовна (1743—1810), княгиня, первый президент Петербургской академии наук и Российской академии, участница дворцового переворота в 1762 г.— 131, 152, *330*.

«Записки княгини Е. Р. Дашковой, писанные ею самою» — 131, 152, *330*.

Девиль Франц, политический эмигрант, врач, лечил в Лондоне А. И. Герцена и его семью — 97, 113, 119, 131, 136, 141, 142, 149, 150, 170, 172, 173—177, 193, *329*, *330*, *334*.

Дельвиг Андрей Иванович, барон (1813—1887), инженер-лейтенант, путеец и гидротехник, первый председатель Русского технического общества, организованного в 1867 г.— 114.

Демонтович Иосиф, комиссар революционного правительства Польши в Литве в 1863 г.— 190

Деспот-Зенович Александр Иванович (1828 — 1895), тобольский губернатор в 1853—1867 гг.; троюродный брат Н. А. Тучковой-Огаревой — 25, 34, *307*, *317*, *318*.

Диккенс Чарльз (1812—1870) — 86.

Добрынин Иван Иванович, священник в селе Яхонтово — 47

Долгорукий Сергей Николаевич, князь (1780—1830), генерал-майор, при Павле I — комендант С.-Петербургской крепости и член военной коллегии — 22.

Долгоруков Владимир Петрович, сын Долгорукова П. В.— 224—226, *333*

Долгоруков Петр Владимирович, князь (1816—1868), эмигрант, публицист, сотрудничал в «Колоколе» — 154, 158—160, 181, 187, 188, 215—218, 224—226, *332*, *333*, *341*, *345*.

Du Brisé — французский врач — 252.

Европеус Александр Иванович (1826—1885), петрашевец, в 1849 г. был приговорен к смертной казни, замененной определением в рядовые Кавказского линейного батальона; по возвращении (в 1857 г.) участ-

вовал в подготовке крестьянской реформы в Тверской губернии — 131, 150, 151, *330*.

Европеус Эмилия Вильямовна, жена А. И. Европеуса — 131, 150, 151, *330*.

Екатерина II (1729—1796) — 19, 20, 26, 35, 131, 137, *328*.

«Записки» — 131, 137, *328*.

Елена — см. Сатина Е. А.

Елизавета, горничная Н. А. Тучковой-Огаревой в Лондоне — 237—239.

Ерминия, горничная Н. А. Тучковой-Огаревой в Париже — 249.

Желтухин Алексей Дмитриевич, пензенский помещик — 41, 51, 52.

Желтухин Дмитрий Алексеевич, пензенский помещик — 51.

Желтухина Елизавета Николаевна, жена А. Д. Желтухина — 41, 51.

Жемчужников Антон Аполлонович, дядя Н. А. Тучковой-Огаревой — 140.

Жемчужников Аполлон Степанович, дед Н. А. Тучковой-Огаревой — 19, 25.

Жемчужникова Анна Ивановна (рожд. Типольд), бабушка Н. А. Тучковой-Огаревой — 25.

Жемчужникова Наталия Аполлоновна — см. Тучкова Н. А.

Жирарден Эмиль де (1806—1881), французский буржуазный публицист, издатель газеты «Пресса» — 215.

Жозо, аптекарь в Лондоне — 174.

Жорж, негр, слуга А. И. Герцена в Лондоне — 138, 140, 143.

Жуковский Николай Иванович (1842—1895), революционер-эмигрант; в 60-х гг. был близок к А. И. Герцену и Н. П. Огареву, транспортировал в Россию издания Вольной русской типографии в Лондоне — 264.

Jules (Жюль), повар в лондонском доме А. И. Герцена — 140, 143—145, 160, 180, 182, 185, 195, 198, 208, 209, 217, 218, 220, 301, *341*, *342*.

Закревский Арсений Андреевич, граф (1783—1865), московский генерал-губернатор в 1848—1859 гг.— 89

Зальцман Игнатий, австрийский подданный, управляющий имением князя Л. В. Кочубея — 123, *326*.

Земперини, итальянский революционер, близкий к С. Г. Нечаеву в период пребывания последнего в Швейцарии в начале 70-х гг.— 267, 269, 271.

Зорич Семен Гаврилович (1745—1799), генерал-лейтенант, фаворит Екатерины II — 21.

Иванов Александр Андреевич (1806—1858), художник — *12*, 114, 126, 127, *327*.

Иванов Иван Иванович, студент Петровской сельскохозяйственной академии, участник революционного движения 60-х гг., убитый в 1869 г С. Г. Нечаевым и его сторонниками —244, 263, 266, 271, *346*.

Иванов-Желудков — см. Кельсиев В. И.

Ивановская Каролина Ивановна — см Тучкова К. И.

Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885), либерально-буржуазный публицист, историк и юрист, профессор Московского и Петербургского университетов; в 40-х гг. был близок к московскому кругу А. И. Герцена и Т. Н. Грановского; в 60-х гг. перешел на реакционные позиции —64, 71, 72, 75—80, 90, 96, *327*, *336*.

Каншины, муж и жена, посетившие А. И. Герцена в Лондоне, во время своего заграничного путешествия — 116.

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — 20, *309*.

«Мои безделки» — *309*.

Караулов, чиновник особых поручений при пензенском губернаторе А А Панчулидзеве — 83, 86.

Касаткин Виктор Иванович (1831—1867), литератор, с 1862 г. эмигрант — 216.

Катков Михаил Никифорович (1818—1889), реакционный публицист, редактор газеты «Московские ведомости» в 1850—1855 и 1863—1887 гг. и журнала «Русский вестник» в 1856—1887 гг.—26, 225, 300, *352*.

Каченовский Дмитрий Иванович (1827—1872), юрист, профессор Харьковского университета по кафедре международного права— 114, 118, *326*.

Кашперов Владимир Никитич (1827—1894), композитор и вокальный педагог, автор церковной музыки и нескольких опер Н П. Огаревым было написано либретто к оставшейся незаконченной опере Кашперова «Цыганы» — 95, *322*.

Кельсиев (лит псевдоним Иванов-Желудков) Василий Иванович (1835—1872), публицист, политический эмигрант, с 1859 г. был близок к А. И. Герцену и Н. П. Огареву, работал в редакции «Колокола»; в 1867 г. вернулся в Россию, перешел в лагерь реакции — 154, 155, 182, 192, 194, 196, 197, 199, 200, *331*, *338*, *339*.

Кельсиева Варвара Тимофеевна (ок. 1840—1865), жена В. И. Кельсиева — 155, 192, 196, 197, 199, 200, *339*.

Кельсиева Маруся (умерла в 1865 г.), дочь В. И. и В. Т. Кельсиевых — 197, 199, 200, *339*.

Кетчер Николай Христофорович (ок. 1806—1886), врач, поэт-переводчик, друг юности А. И. Герцена, участник его кружка 40-х гг.; в 60-х гг. перешел в лагерь реакции — *9*, 39, 65, 72, 73, 88, 140.

Кинкель Готфрид (1815—1882), немецкий поэт и публицист, участник баденско-пфальцского восстания 1848 г.; эмигрировав в Англию, стал одним из лидеров мелкобуржуазной революционной эмиграции в Лондоне — 97, 103, 104, *324*.

Кинкель Иоганна (1810—1858), пианистка, жена Г. Кинкеля — 97, 103, 104, *324*.

Киселев Павел Дмитриевич, граф (1788—1872), министр государственных имуществ с 1837 по 1856 г.; позже — русский посол в Париже —64, 70, 71.

Clariton, доктор, домовладелец, у которого А. И. Герцен снимал квартиру в Теддингтоне — 210.

Козлов Иван Иванович (1779—1840), поэт — 228.

Козлова, дочь поэта И. И Козлова — 228.

Кокорев Василий Александрович (1817—1889), откупщик-миллионер — 124.

Колоколов Иван Анисимович, камердинер А. А. Тучкова —87, 92.

Кольцов Алексей Васильевич (1809—1842), поэт — 296.

Constance, привратница в женском монастыре в Меце — 227.

Конт Огюст (1798—1857), французский буржуазный философ и социолог — 150, 151.

Корнель Пьер (1606—1684), французский драматург — 20.

Корш Валентин Федорович (1828—1893), журналист, в 1856—1862 гг. редактор «Московских ведомостей», в 1869—1874 гг.— «Санкт-Петербургских ведомостей» — 56.

Корш Евгений Федорович (1810—1897), журналист, переводчик, в 40-х гг. участник кружка А. И. Герцена и Н П. Огарева, редактор «Московских ведомостей» (1843—1848) и журнала «Атеней» (1858—1859), в 50-х гг.— умеренный либерал — *9*, 39, 56, 71, 72, 280.

Корш Мария Федоровна (1809—1883), сестра Е. Ф. и В. Ф. Коршей, близкий друг семьи А. И. Герцена — 56—58, 61, 62, 71, 72, 280, 294, 295.

Коссидьер Марк (1809—1861), французский политический деятель, участник революции 1848 г., префект парижской полиции в феврале — мае 1848 г.— 184.

Costè, французский врач — 215.

Котц А. В., баронесса, впоследствии игуменья Бородинского монастыря — 228.

Кочубей Лев Викторович, князь (1810—1890), полтавский губернский предводитель дворянства — 123, *326*.

Краевский Андрей Александрович (1810—1889), издатель журнала «Отечественные записки» (1839—1884) и газеты «Голос» (1863—1884)— 154, 157, 248, 289, *318*, *332*, *351*.

Краснопевцев Петр Иванович (умер в 1865 г.), артиллерийский штабс-капитан, во время польского восстания 1863 г. сражался на стороне поляков — 200, *339*.

Крауфорд (Кроуфорд), английский дипломат, отец жены Саффи — Жеоржины — 133—135.

Крауфорд (Кроуфорд) Жеоржина (Джоржина) — см. Саффи Ж.

Крауфорд (Кроуфорд) Эдуард, брат Жеоржины Крауфорд — 134.

Кулон, владелец гостиницы в Петербурге — 75, 93.

Куртель де Куртель Николай (Куртейль; род в 1768 г.), живописец, член Российской академии художеств с 1813 г.— 24.

Кусаков, инженер, друг В. А. Панаева, вместе с ним посетивший А. И. Герцена в Лондоне — 154, *331*

Куцинский Андрей Александрович, жандармский генерал-майор— 83—87, 89, 90—93, *321*, *323*.

Кюн, владелец ресторана в Лондоне — 207, 208.

Ламартин Альфонс (1791—1869), французский поэт, историк и политический деятель, член Временного правительства в 1848 г.—184.

Левицкий (Львов-Львицкий) Сергей Львович (1819—1898), двоюродный брат А. И. Герцена, фотограф — 177, *353*.

Левицкие, семья С Л. Левицкого — 248.

Ледрю-Роллен Александр Огюст (1808—1874), французский политический деятель, мелкобуржуазный республиканец; после февральской революции 1848 г. член Временного правительства и министр внутренних дел, после разгрома революции эмигрировал в Англию — 233, *345*.

Леля, дочь В. А. Панаева — 154, 155, *331*.

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — 228, 296.

Лиза — см. Герцен Е. А.

Липранди Иван Петрович (1790—1880), генерал-майор, царский чиновник, агент тайной полиции, провокатор — 32, *310*.

Лопухин Петр Васильевич, князь (1753—1827), в 1803—1810 гг.— министр юстиции, с 1810 г.— председатель Государственного совета и комитета министров — 23.

Людовик Филипп (1773—1850), с 1830 г. король Франции, после революции 1848 г. бежал из Парижа в Англию — 193.

Марайя, англичанка, горничная в доме А. И. Герцена в Лондоне — 139, 140.

Марианна, подруга Л. Чернецкого — 197, 208, 209.

Маркович Афанасий Васильевич (1822—1867), украинский этнограф, член Кирилло-Мефодиевского братства — 156, 164.

Маркович Мария Александровна (рожд. Вилинская, лит. псевдоним Марко-Вовчок; 1834—1907), украинская писательница, в годы расцвета своей литературной деятельности (конец 50-х —начало 60-х гг.) примыкавшая к революционно-демократическому направлению — *12*, 154—156, 163, 164, *331*.

Марко-Вовчок — см. Маркович М. А.

Маркс Карл (1818—1883) — 65.

Марлинский — см. Бестужев А. А.

Мартьянов Петр Алексеевич (1834—1865), крепостной крестьянин, выкупившийся на волю; в 60-х гг., находясь за границей, был близок к А. И. Герцену и Н. П. Огареву; по возвращении в Россию арестован и приговорен к каторжным работам, умер в Иркутской тюремной больнице — 179, 181, 183, *335*, *337*.

Марфа Ивановна, кормилица Н. А. Тучковой-Огаревой — 53, 54.

Масè Jean (1815 — 1894), французский педагог —227, 230, 232, 233, *345*.

Маццини Джузеппе (1805—1872), руководитель республиканского течения в итальянском национально-освободительном движении — 97, 102, 103, 107, 132, 133, 143, 182, 201—203, 206, 207, 209, 210, 233, *324*.

Мейер, женевский врач-хирург, лечивший в 1868 г. Н. П. Огарева — 223.

Мейзенбуг Мальвида-Амалия (1816—1903) немецкая писательница, эмигрировавшая в 1848 г. в Англию, была воспитательницей дочери А. И. Герцена Ольги — 99, 100, 103, 105, 161. 170, 185, 189, 213, 216, 219, 221, 223, 224, 246, 247, 250, 253, 255—257, 259, *323—327*, *329*, *340*, *345*, *350*.

Мечников Лев Ильич (1838—1888), географ, социолог и публицист, участник революционно-демократического движения 60-х гг., сотрудничал в «Колоколе», участвовал в 1860 г. в походе Гарибальди — 264.

Миллер-Стрюбинг (Мюллер-Стрюбинг) Герман (1810—1893), литератор, археолог, знаток классической филологии, участник революционных событий 1848 г. в Берлине, эмигрировал в Париж, затем в Лондон — 55.

Милович Владимир, польский политический эмигрант, участвовал в подготовке восстания 1863 г.— 184, 190, 301, *337*.

Myls, горничная в лондонском доме А. И. Герцена — 104, 105

Мильнергинсон Кюльм-Сюзанна (Мильнер-Гибсон, 1814 — 1855), жена Томаса Мильнер-Гибсона, английского министра торговли в 1859—1866 гг.— 104, 107, 133, 172.

Милютины, петербургские знакомые А. А. Тучкова — 93.

Михаил Павлович, великий князь (1798—1848) — 26.

Михайлов Александр, буфетчик в доме Тучковых — 88.

Михайлов Михаил Ларионович (1829—1865), писатель и публицист, революционный демократ — 154, 160, 192, 218, *333*, *338*

Михаловский Генрих, поляк, эмигрант, служил приказчиком в книжной лавке Н. Трюбнера в Лондоне, был разоблачен А. И. Герценом, как полицейский шпион — 156,157, *332*.

Michel (Каролина Мишель), гувернантка Н. А. Тучковой-Огаревой и ее сестры Е. А. Сатиной — 30, 40, 52, 54, 69, 227—229, 279, *313*, *345*.

Моно Габриэль (1844—1912), французский историк, профессор, муж дочери А. И. Герцена Ольги Александровны — 253, 256, 257.

Моно Ольга Александровна — см. Герцен О. А.

Moreau de la Meltière, гувернантка Н. А. Тучковой-Огаревой — 28, 39, 40.

Моцарт Вольфганг Амадей (1756—1791) — 237.

Муравьев Николай Николаевич (1768—1840), писатель и общественный деятель — 23, 25.

Муравьев-Амурский Николай Николаевич, граф (1809—1881), генерал-губернатор Восточной Сибири в 1847—1861 гг.; заключил Айгунский договор с Китаем (1858), определивший русскую границу по Амуру — 186.

Муравьевы-Апостолы, братья, декабристы:

Матвей Иванович (1793—1886) — 26.

Сергей Иванович (1796—1826) — 26.

Муравьевы — 185.

Mussy de Guénot (Мюсси Гено), французский врач — 192—194.

Налбандов — см. Налбандян.

Налбандян (Налбандов) Микаэл Лазаревич (1829—1866), армянский революционер-демократ, поэт, философ, публицист; в апреле 1862 г. посетил А. И. Герцена в Лондоне, по возвращении в Россию был арестован и после заключения в Петропавловской крепости сослан в 1865 г. в Самарскую губернию, где вскоре умер — 189, 190, *337*.

Наполеон I Бонапарт (1769—1821) — 43, *312*.

Наполеон III (1808—1873), племянник Наполеона I, император Франции в 1852—1870 гг.— 108, 149, 174, 233, 244.

Нарышкин Михаил Михайлович (1798—1863), декабрист — *5*, 26 41, 43, *312*.

Нарышкина Маргарита Михайловна — см. Тучкова М. М.

Нейдгардт, генерал — 19, 24.

Некрасов Николай Алексеевич (1821—1878) — *7*, 76, 285, 288, 289, *321*, *350*, *351*.

Нефталь (Нефтель) Василий Федорович (1829—1906), русский врач, с 1861 г. изучал медицину за границей, лечил Н. П. Огарева, А. И. Герцена и его семью — 184, 187, 188, *336*.

Нефталь — жена В. Ф. Нефталя — 184, 187, 188.

Нечаев Сергей Геннадьевич (1847—1882), революционер-заговорщик. В 1869 г. пытался создать террористическую организацию «Народная расправа». В декабре 1869 г. эмигрировал за границу, в 1872 г. был выдан царскому правительству и приговорен к 20 годам каторги —*16*, 232, 242—244, 258, 260, 263—272, *346*, *348*, *349*.

Нечаева — см. Юрлова Н. Н.

Нидергубер, офицер венской национальной гвардии во время революции 1848 г., затем эмигрант; в 1853 г был изобличен в сношениях с французской полицией — 147, 148, *329*.

Никитенко Александр Васильевич (1805—1877), историк литературы, академик — 118, *326*.

«Дневник» — *326*.

Никифор, отставной солдат, слуга в семье Астраковых — 73.

Николадзе Николай Яковлевич (лит. псевдоним Рио Нелли; 1843—1928), грузинский общественный деятель, публицист и критик; будучи студентом Петербургского университета, принимал участие в волнениях 1861 г.; позднее, в середине 60-х гг., живя за границей, встречался с А. И. Герценом — 224.

Николай I (1796—1855) — *12*, 20, 26, 29, 42, 43, 46, 50, 115, 137, 186, 287, 288, *311*, *312*, *336*.

Нини — см Гарибальди Нини.

Норов Василий Сергеевич (1793—1853), декабрист, брат А. С. Норова, министра просвещения — 41, 42, 43, *311*, *312*.

Нуар Виктор (1848—1870), французский журналист-демократ, убитый в январе 1870 г. принцем Пьером Бонапартом (племянником Наполеона III) — 244, *346*.

NN— см. Бартенев П. И.

***О**боленская* (рожд. графиня Сумарокова) Зоя Сергеевна, княгиня, гражданская жена польского эмигранта Валериана Мрочковского; в 60-х гг. проживала с детьми в Швейцарии, где поддерживала связи с русскими революционными эмигрантскими кругами — 215, 222, *344*.

Оболенский Алексей Васильевич, князь (1819—1884), генерал-лейтенант, сенатор, московский губернатор в 60-х гг.— 215, 222, *344*.

Оболенский Евгений Петрович, князь (1796—1865), декабрист — 26.

Обручев Николай Николаевич (1830—1904), генерал, в 1856—1867 гг. профессор и начальник кафедры военной статистики Академии Гене-

рального штаба; видный деятель революционного движения в армии, член тайного общества «Земля и воля» 60-х гг.— 188, *336*.

Огарев Николай Платонович (1813—1877) — *5—7*, *9—16*, 28, 39, 51—57, 64, 70, 72—86, 88, 90—100, 102, 104, 106, 110—115,117,119—121, 125, 126, 128, 129, 132, 133, 136, 140—143, 145, 148, 153, 155, 156, 158, 159, 162, 170, 171, 173—175, 178, 180, 184, 186—189, 191, 192, 198, 203, 205, 208, 209, 213—216, 220—222, 224, 225, 236, 237, 242, 243, 252, 258—262, 264—266, 268, 280, 284, 285, 288, 289, 292—295, 301—303, *308*, *310*, *312—315*, *318—325*, *328*, *330—338*, *341—351*, *353*.

Огарев Платон Богданович (1777—1838), отец Н. П. Огарева — 40.

Огарева Елизавета Ивановна (рожд. Баскакова; 1784—1815), мать Н. П. Огарева — 40.

Огарева Мария Львовна (рожд. Рославлева; ок. 1817—1853), первая жена Н. П. Огарева — *6*, *9*, *12*, 28, 39, 40, 75, 83, 84, 95, 285, *310*, *318*, *322*.

О'Коннель Фредерика (O'Connel; 1823—1885), бельгийская художница — 172, *334*.

Орлов Алексей Федорович, князь (1786—1861) шеф жандармов и главный начальник III Отделения в 1844—1856 гг.— 92, 93.

Орлов Николай Алексеевич, князь (1827—1885), русский посланник в Бельгии в 1860—1870 гг.— 286.

Орсини Феличе (1819—1858), итальянский буржуазный демократ, республиканец, один из видных участников борьбы за национальное освобождение и объединение Италии; казнен за покушение на Наполеона III — 97, 104—109, *324*.

Островский Александр Николаевич (1823—1886) — 95.

«Свои люди — сочтемся» — 30

Островский Михаил Николаевич (1827—1901), друг Н. П. Огарева в 50-х гг.; с 1872 г. сенатор, в 1881—1893 гг.— министр государственных имуществ — 95, *322*.

Павел I (1754—1801) — 20, 23.

Павлов Платон Васильевич (1823—1895), историк, профессор Петербургского университета, в 1862 г. сослан в Ветлугу — 114, 118, *326*.

Падлевский Сигизмунд (Зыгмунт; 1835—1863), польский революционный демократ, один из руководителей восстания 1863 г.— 184, 190, 301, *337*.

Панаев Валериан Александрович (1824—1899), публицист, инженер путей сообщения — 154, *331*.

Панаев Иван Иванович (1812—1862), журналист и писатель, с 1847 г. совместно с Н. А. Некрасовым издавал журнал «Современник» — 76.

Панаева (Головачева) Авдотья Яковлевна (1819—1893), писательница, — 78, 285.

Панчулидзев Александр Алексеевич (1789—1867), пензенский губернатор в 1831—1859 гг.— 40, 48, 49, 82, 83.

Пассек Александр Вадимович, старший сын Т. П. Пассек — 163.

Пассек Татьяна Петровна (рожд. Кучина; 1810 — 1889), писательница, родственница и друг юности А. И. Герцена — *14*, *15*, 41, 66, 154, 162, 163, 177, 189, 220, 230, 265, 280, 292, 300—303, *307*, *309—313*, *315*, *317*, *321*, *327*, *334*, *336*, *337*, *343*, *344*, *348*, *349*, *352*.

Перваго Авдотья — 41, 50, *312*, *313*.

Перовский Лев Алексеевич (1792—1856), министр внутренних дел с 1841 по 1852 г.— 70, 71.

Петр I (1672—1725) — 19

Петр III (1728—1762) — 196.

Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич (1821—1866), деятель русского освободительного движения; в 1849 г. сослан на каторгу в Сибирь — *9*, 75—78, 80, 81, *318*.

Пикулин Павел Лукич (1822—1885), врач, член московского кружка Т. Н. Грановского — 98.

Пирогов Николай Иванович (1810—1881), хирург и анатом, прогрессивный общественный деятель — 152.

Плаутины — Анна Платоновна (1808—1886), сестра Н. П. Огарева, и ее муж Сергей Федорович (1798—1881) — 93.

Плесков, крестьянин, приезжавший в Лондон к Герцену в 1858 г.— 117, 118, *325*, *326*

Полежаев Александр Иванович (1804—1838), поэт — 37, *310*.

Потебня Андрей Афанасьевич (1838—1863), революционный демократ, член общества «Земля и воля», организатор военной революционной группы среди офицеров в войсках, расположенных в Польше — 184, 191, *338*.

Потемкин Григорий Александрович, князь (1739—1791), генерал-фельдмаршал — 23.

Пристлей, английский врач — 174.

Прудон Пьер-Жозеф (1809—1865) — 69.

Пугачев Емельян Иванович (ок. 1742—1775) — 37.

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — 30, 219, *309*, *351*. «Евгений Онегин» — 284, «Стансы» — *351*.

Пущин Иван Иванович (1798—1859), декабрист, друг А. С. Пушкина — 26.

Пыпин Александр Николаевич (1833—1904), историк русской литературы, профессор Петербургского университета, сотрудник «Современника» — 118, *326*.

Рагозин Евгений Иванович (1843—1906), русский публицист, автор ряда работ по экономическим вопросам, принимал участие в издании журнала «Неделя» — 248.

Рагозины, семья Е. И. Рагозина — 248.

Raymond, сиделка — 246.

Расин Жан (1639—1669) — 20, 34, *309*.

Раупах, русский офицер — 115.

Рейхель Мария Каспаровна (рожд. Эрн; 1823—1916), воспитательница детей А. И. Герцена, близкий друг его семьи; в 1847 г. выехала с семьей Герцена за границу — 56, 57, 61, 62, 161, 162. 219, 224, 260, 280, 294, *316*, *324—326*, *331*, *332*, *351*.

Рейхель Х. Я., художник — 82, *353*.

Reeve (мисс Рив), англичанка, воспитательница и друг дочери А. И. Герцена — Натальи Александровны — 171, 176.

Римский-Корсаков Григорий Александрович (умер в 1852 г.), участник Отечественной войны 1812—1814 гг., сосед Тучковых по имению в Пензенской губернии — *15*, 28, 29—34, 89, *309*, *310*, *314*.

Римский-Корсаков Сергей Александрович (умер в 1893 г.), помещик, сосед Тучковых по имению в Пензенской губернии — 30.

Rocca (Рокка), жена Пьера-Паскаля Рокка, повара А. И. Герцена в Ницце — 238—240, *346*.

Rocca Marie, в замужестве Piacentini, дочь Пьера-Паскаля Рокка — 238, 240.

Рославлева Мария Львовна — см. Огарева М. Л.

Ростовцев Михаил Яковлевич, полковник, флигель-адъютант — 188, *336*.

Ростовцев Николай Яковлевич (умер в 1897 г.),полковник Генерального штаба —188, *336*.

Ростовцев Яков (Иаков) Иванович (1803—1860), генерал-адъютант, в 1857—1859 гг. член Секретного и Главного комитетов по крестьянскому делу; с 1859 г.— председатель редакционной комиссии Главного комитета — 188, *336*.

Ростопчин Федор Васильевич, граф (1763—1820), московский губернатор и главнокомандующий Москвы в 1812—1814 гг.— 22.

Ротшильд Джемс, барон (1792—1868), банкир в Париже — 70, 71, 129, 130.

Ротшильд Лионель Натан, барон (1808—1889), банкир в Лондоне — 130.

Рошфор Анри, маркиз (1830—1913), французский буржуазный публицист и политический деятель — 244, 250, *347*.

Рылеев Кондратий Федорович (1795—1826) — 50.

Сабуровы, петербургские знакомые А. А. Тучкова — 93.

Савицкий Иван Михайлович, (конспиративный псевдоним Ян Стелла), полковник Генерального штаба, поляк, один из военных руководителей польского восстания 1863 г., впоследствии эмигрировал за границу — 227, *345*.

Савич Алексей Николаевич (1810—1883), участник студенческого кружка А. И. Герцена и Н. П. Огарева — 100, 121, *324*.

Савич Иван Иванович (1808—1892), в 50—60-х гг. жил в Лондоне, некоторое время был учителем детей А. И. Герцена — 97, 100, 101, 114, 119, 120—124, *324*, *326*.

Сазонов Николай Иванович (1815—1862), писатель-публицист, участник студенческого кружка А. И. Герцена и Н. П. Огарева, впоследствии — эмигрант — 65, 68.

Сатин Николай Михайлович (1814—1873), участник московского кружка А. И. Герцена и Н. П. Огарева, поэт и переводчик — *10*, *11*, 73, 75, 76, 80, 81, 82, 88, 90—93, 154, 162, 165, *318—321*, *323*, *333*.

Сатина Елена Алексеевна (рожд. Тучкова; 1827—1871), жена Н. М. Сатина, сестра Н. А. Тучковой-Огаревой — *10*, 37, 39, 51, 52, 55, 62, 66, 73, 78—82, 88, 90, 94, 154, 161, 162, 163, 166, 280, 281, 294, *314*, *315*, *319—320*.

Сатина Наталья Николаевна, дочь Н. М. и Е. А Сатиных, племянница Н. А. Тучковой-Огаревой — 88, 94.

Саффи Жеоржина (Джорджина), жена Марка Аурелио Саффи — 133—135, 208.

Саффи Марк Аурелио (1819—1890), итальянский писатель и ученый, активный участник национально-освободительного движения, друг А. И. Герцена, долгое время жил в эмиграции в Лондоне— 97, 106, 107, 109, 119, 131, 133—135, 182, 201, 208.

Свербеев Дмитрий Николаевич (1799—1876), служил по министерству иностранных дел; в его доме в Москве собирались представители славянофилов и западников; автор воспоминаний об А. И. Герцене—125.

Свербеев Николай Дмитриевич, сын Свербеева Д. Н.— 114, 125, *326*.

Свербеева Зинаида Сергеевна, жена Н. Д. Свербеева, дочь декабриста князя С. Н. Трубецкого — 125, *326*.

Селиванов Илья Васильевич (1810—1882), писатель и мемуарист, сотрудник «Современника», сосед Н. П. Огарева и А. А. Тучкова по имению в Пензенской губернии — 65, 297, *321* —*323*.

Семевский Михаил Иванович (1837—1892), историк и публицист, издатель журнала «Русская старина» — 260, *318*.

Семен, крепостной крестьянин помещика А. Н. Струйского, соседа Тучковых по имению в Пензенской губернии — 36, 37.

Серебренников Владимир (род. ок. 1850), за участие в студенческих волнениях был сослан, затем эмигрировал, жил в Англии и Швей-

царии, оказывал содействие С. Г. Нечаеву в издании журнала «Община» — 263, 265—269.

Серно-Соловьевич Александр Александрович (1838—1869), революционер-демократ, последователь Н. Г. Чернышевского; с 1862 г. эмигрант, с 1867 г. член Женевской секции I Интернационала — *12*, 131, 152—154, 215, 218—220, 224, *330*, *342—344*.

Серно-Соловьевич Николай Александрович (1834—1866), революционер-демократ, один из организаторов общества «Земля и воля», сотрудник журнала «Современник», в 60-х гг. был близок к А. И. Герцену и Н. П. Огареву — *12*, 154, 169, *330*, *331*, *333*, *336*, *337*.

Сетерленд Мери, англичанка, подруга Н. П. Огарева — *13*, *14*, 262, 265, *348*.

Сетерленд Генри, сын М. Сетерленд — 262.

Scoffier, врач, лечивший дочь А. И. Герцена, Наталью Александровну — 238, 240

Smith, компаньонка дочери П. А. Тучкова (старшего) — Марии Павловны — 55.

Созн — 79.

Соколов Александр Иванович, заведовал репертуаром Одесского театра в 40-х гг., знакомый Н П. Огарева — 82, *320*.

Спешнев Николай Александрович (1821—1882), один из видных петрашевцев; в 1849 г. был приговорен к смертной казни, замененной каторгой — 75, 77, 78, 80.

Спини Леопольд, журналист, редактор журнала «Эпоха», участник итальянского национально-освободительного движения, эмигрант, был близок к семье А. И. Герцена — 61.

Станкевич Николай Владимирович (1813—1840), руководитель философско-литературного кружка 30-х гг. в Москве — 163.

Стелла — см. Савицкий И. М.

Столыпина Екатерина Аркадьевна — 40, 227.

Столыпина Елизавета Дмитриевна, дочь публициста Д. А. Столыпина — 40, 228.

Столыпина Мария Дмитриевна, дочь публициста Д. А. Столыпина — 40, 227.

Стравинская Настасья Михайловна, сестра Н. М. Сатина — 165.

Стравинские, семья Н. М. Стравинской — 165.

Струйская Александра Петровна (1754—1840), жена Н. Е. Струйского — 35—37.

Струйский Александр Николаевич, помещик, сосед Тучковых по имению в Пензенской губернии — 36, 37.

Струйский Леонтий Николаевич (умер в 1823 г.), отец поэта А. И. Полежаева, помещик, сосед Тучковых по имению в Пензенской губернии — 36.

Струйский Николай Еремеевич (умер в 1796 г.), помещик, сосед Тучковых по имению в Пензенской губернии — 35—37, *310*.

Сутерланд Мери — см. Сетерленд Мери.

Таландье Альфред, французский эмигрант в Лондоне, литератор, был в дружеских отношениях с А. И Герценом — 119, 182, 213, 233, 291.

Татаринов, отставной полковник, живший в имении А. А Тучкова, деда Н. А. Тучковой-Огаревой — 23.

Тассинари Валериано итальянец, повар в доме А. И. Герцена в Park-house (Лондон) — 143—145.

Тассинари, жена повара А. И. Герцена — 143.

Тейлер, квартирохозяин С. Ворцеля в Лондоне, в конце 50-х гг.— 132.

Терезина — см. Герцен Терезина.

Типольд Анна Ивановна — см. Жемчужникова А. И.

Типольд, братья, генералы, двоюродные братья Наталии Аполлоновны Тучковой, матери Н. А. Тучковой-Огаревой — 90, 93.

Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — *12*, *16*, 170, 178, *334*.

Торкель Карл Карлович (умер в 1839 г.), генерал-майор, живший в имении А. А. Тучкова — деда Н. А. Тучковой-Огаревой — 19, 23, 28, 34, 35.

Торлони Александро (1800—1886), итальянский банкир — 59.

Третьякова, пензенская помещица — 49

Трина, горничная в доме А. И. Герцена в Лондоне — 143—145, *329*.

Троппман Жан-Батист (1849—1870), француз, уголовный преступник, был казнен за убийство — 290, *351*.

Трубецкая Зинаида Сергеевна — см Свербеева З. С.

Трубецкая, княгиня —227, 228

Трубецкой Сергей Петрович, князь (1790—1860), декабрист — 125, *326*.

Трюбнер Николай (1817—1884), английский библиограф и книгопродавец, содействовал А. И. Герцену в распространении «Колокола» и других изданий Вольной русской типографии в Лондоне — 111, 154, 156, 157.

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) —*5*, *12*, *16*, 64, 65, 68, 75, 76, 96, 97, 101, 111, 112, 131, 148, 155, 170, 178, 179, 225, 248, 279—286, 288— 291, 297—299, *307*, *308*, *318*, *322*, *325*. *327*, *329*, *331*, *333*, *334*, *344*, *347*, *349*, *351*, *353*.

«Где тонко, там и рвется» — 281, *349*; «Дым» — *344*; «Казнь Троппмана» — *350*; «Отцы и дети» — 289, 290. «Фауст»—131, 288, *350*.

Турнер Иоганна, англичанка, гувернантка Лизы, дочери А. И. Герцена и Н. А. Тучковой-Огаревой — 161, 162, 221, *333*.

Тутс (Туц), сын А. А. Герцена и Шарлотты Гетсон; воспитывался в семье Н. П. Огарева — 223, 224, 262, 263, 304, *344*, *348*.

Тучков Александр Алексеевич (1777—1812), участник Отечественной войны 1812 г., убит в Бородинском сражении; брат деда Н. А Тучковой-Огаревой — 21.

Тучков Алексей Алексеевич (1766—1853), генерал-майор, дед Н. А. Тучковой-Огаревой — 19—24, 26, 27, 33, 35, 39, 49—51, 54, 70, 72, 90, 92, 94, *318*.

Тучков Алексей Алексеевич (1800—1879), генерал, член тайных декабристских обществ, друг Н. П. Огарева и А. И. Герцена, отец Н.А. Тучковой-Огаревой —*5—10*, 22, 24, 26, 27, 29, 30—33, 37—39, 41, 42, 44—51, 55—57, 59, 61, 62, 64—67, 69—72, 75, 78—80, 82—88, 90—92, 94, 95, 212, 242, 283, 297, 298, *309—312*, *315*, *318—323*, *328*, *349*, *353*.

Тучков Алексей Васильевич (1729—1799), инженер, генерал-поручик, прадед Н. А Тучковой-Огаревой — 21, 26.

Тучков Михаил Павлович — 20.

Тучков Николай Алексеевич (1761—1812), участник Отечественной войны 1812 г., был смертельно ранен в Бородинском сражении; брат деда Н. А. Тучковой-Огаревой — 20.

Тучков Павел Алексеевич (1776—1858), участник Отечественной войны 1812 г., впоследствии член Государственного совета; брат деда Н. А. Тучковой-Огаревой — 21, 55.

Тучков Павел Алексеевич (1803—1864), генерал-адъютант, член Государственного совета и московский генерал-губернатор, дядя Н. А. Тучковой-Огаревой — 24, 55, 90, 91, 93. 125, 204, 212, *340*.

Тучков Сергей Алексеевич (1767—1839), сенатор, брат деда Н. А. Тучковой-Огаревой — 20, 21, *309*.

Тучкова Анна Алексеевна, тетка Н. А. Тучковой-Огаревой — 25, 27.

Тучкова Анна Алексеевна (1825—1838), старшая сестра Н. А Тучковой-Огаревой — 27, 38.

Тучкова Елена Алексеевна — см. Сатина Е. А.

Тучкова Елена Яковлевна (рожд. Казаринова; умерла в 1818 г.) прабабушка Н. А. Тучковой-Огаревой — 21.

Тучкова Елизавета Алексеевна (в замужестве — Суровщикова), тетка Н. А. Тучковой-Огаревой — 25.

Тучкова Елизавета Ивановна, жена П. А. Тучкова (младшего), дяди Н. А. Тучковой-Огаревой — 91, 93, 212.

Тучкова Каролина Ивановна (рожд. Ивановская),бабушка Н.А. Тучковой-Огаревой — 19, 20, 22, 25, 28, 34, 35, 37—39, 50.

Тучкова Маргарита Михайловна (рожд. Нарышкина; 1781—1852), жена Тучкова Александра Алексеевича — 21, 26, 43.

Тучкова Мария Алексеевна (род. 1794), тетка Н. А. Тучковой-Огаревой — 20, 24, 27, 34, 39, 49, 212, *309*, *318*.

Тучкова Мария Павловна, дочь П. А. Тучкова (старшего) — 55.

Тучкова Наталья Аполлоновна (рожд. Жемчужникова; 1802—1894), мать Н. А. Тучковой-Огаревой — 25, 26, 34, 39, 58, 78, 79, 82, 83, 85, 87, 89—91, 94, 95, 141, 142, 280, *313*, *319*, *328*.

Тхоржевский Станислав, польский эмигрант с 1845 г., один из ближайших помощников А И Герцена по изданиям Вольной русской типографии в Лондоне — 97, 101, 109, 127, 136, 138, 156, 159, 160, 181, 182, 196, 197, 207, 222, 223, 226, 254, 258, 271, 302, *346*.

Уваров, граф — 181.

Урих, родители Эммы, невесты А. А. Герцена — 165, 166, 171.

Урих Эмма, невеста А А. Герцена — 164, 165, 167, 171, 172.

Фекла Егоровна, няня Н. А. Тучковой-Огаревой — 27, 28, 54, 82, 87, 91, 93—95, *314*.

Фензи, парижский домовладелец, у которого снимал квартиру в 1848 г. А. А. Тучков со своей семьей — 297.

Фердинанд II (1810—1859), король обеих Сицилий с 1830 г. — 202.

Фильд Джон (1782—1837), композитор и пианист, по происхождению ирландец, с 1802 г. концертировал и преподавал в Москве — 25.

Фогт (Фохт) Адольф, сын Вильгельма-Филиппа Фогта — 167.

Фогт (Фохт) Вильгельм-Филипп (1789—1861), профессор медицины — 136, 154, 164, 166—168.

Фогт (Фохт) Густав (1829—1901), сын Вильгельма-Филиппа Фогта, редактор «Новой Цюрихской газеты» — 167, 168.

Фогт (Фохт) Карл (1817—1895), сын Вильгельма-Филиппа Фогта, немецкий естествоиспытатель, один из представителей вульгарного материализма, участник революции 1848 г. в Германии, эмигрировал в Швейцарию — 136, 166—168, 171, 260, 261, 266—269, 302.

Фогт (Фохт), жена Вильгельма-Филиппа Фогта — 164, 166—170, 224.

Фогт (Фохт) Эмиль, адвокат, сын Вильгельма-Филиппа Фогта —167.

Форш, немецкий купец, живший в Москве — 227

Francois (Франсуа), итальянец, повар А. И. Герцена — 99, 100, 117, 138—140.

Фурье Шарль (1772—1837), французский социалист-утопист — 150, 151.

Хотинский Матвей Степанович, статский советник, тайный агент III Отделения, разоблаченный А. И. Герценом — 170, 172, *334*

Цветков, чиновник в Москве — 80, 81

Циммерман, врач, родственник Натальи Аполлоновны Тучковой — матери Н. А Тучковой-Огаревой — 58, 59.

Черкасский Владимир Александрович, князь (1824—1878), член редакционных комиссий и Тульского губернского комитета по крестьянскому делу; с 1864 г.— главный директор комиссии внутренних дел Царства Польского — 114, 115.

Чернецкий Людвиг (1828—1872), польский эмигрант, заведовал Вольной русской типографией в Лондоне — 97, 101, 109, 127, 137, 156—159, 196, 197, 208, 243, *324*, *333*.

Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889) — *7*, *12*, 154, 157, 158, *309*, *321*, *331*, *332*, *350*.

Чичагов Павел Васильевич (1767—1849), адмирал, в 1807 г. морской министр — 20.

Чичерин Борис Николаевич (1828—1904), профессор права в Московском университете, историк и социолог либерального направления, впоследствии непримиримый враг русской демократии — 131,140, 141, *328*.

Чичерин Николай, отец Чичерина Б. Н., был близок к московскому кругу А. И Герцена и Т. Н. Грановского — 140, 141.

Чичероваккио (Брунетти Анджело; 1800—1849), итальянский патриот, участник национально-освободительного движения 40-х гг.— *8*, 62, 63, 67.

Шане, акушерка — 141.

Шаншиев Николай Самойлович (род. в 1809 г.), поверенный М Л. Огаревой в деле об «огаревском наследстве» — 285.

Шарко Жан-Мартен (1825—1893), французский врач-невропатолог — 249—254.

Швабе, вдова банкира — 161, *333*.

Шелгунов Николай Васильевич (1824—1891), русский революционный демократ, публицист и общественный деятель — 160, 218, 219, *327*, *333*, *338*, *342*.

Шелгунова Людмила Петровна (1832—1901), жена Н. В. Шелгунова, переводчица и писательница, автор книги «Из далекого прошлого» (1901) — 160, 218—220, *333*.

Шишков Владимир Ардальонович, поэт, в 1828 г. привлекался к следствию по делу о «Гавриилиаде» А. С. Пушкина — 41, 49, 50.

Шофуры, братья, знакомые А. И. Герцена в Кольмаре — 234, 235. *345*.

Шувалов Николай Иванович, саранский помещик, знакомый Тучковых — 37.

Щепкин Михаил Семенович (1788—1863)— 39, 114, 125, 126, *327*.

Щепкин Николай Михайлович (1820—1886), сын М. С. Щепкина, до 1847 г. артиллерийский офицер, впоследствии общественный деятель, издатель сочинений В. Г. Белинского и др.— 125, *327*.

Элпидин Михаил Константинович (ок. 1835—1908), участник революционного движения 60-х гг.; в 1865 г. бежал из тюрьмы и эмигрировал в Женеву, занимался издательской деятельностью, был членом Женевской секции I Интернационала; с 1885 г.— тайный агент департамента полиции — 224.

Энгельсон Александра Христиановна — (умерла в 1865 г.), жена В. А. Энгельсона — 97, 104, *324*.

Энгельсон Владимир Аристович (1821—1857), литератор, публицист, в 1849 г. был арестован за связи с петрашевцами; в 1850 г. эмигрировал за границу — 97, 104, 106, 107, *324*.

Эрн Мария Каспаровна — см.Рейхель М К.

Юлия Федоровна, гражданская жена князя Ю. Н Голицына— 146, 174—176.

Юрлова Нина Николаевна (рожд. Нечаева), знакомая Тучковых — 52.

Языков Михаил Александрович (1811—1885), школьный товарищ И. И. Панаева, член кружка В. Г. Белинского в Петербурге, впоследствии петербургский чиновник — 75, 76, 78.

Яковлев Иван Алексеевич (1767—1846), отец А.И. Герцена— 51, *313*.

Яковлевы, родные А. И. Герцена —177, 293.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Н. А. Тучкова-Огарева. С фотографии, 1870-е гг. Гос. Литературный музей, Москва (стр. 4—5).

2. А. А. Тучков. Рисунок карандашом Х. Рейхеля (1844 г.) в альбоме, подаренном Огаревым Герцену. ЦГАЛИ СССР, Москва (стр. 32—33).

3. Н. П. Огарев. Портрет работы неизвестного художника, 1830-е гг. Гос. Исторический музей, Москва (стр. 56—57).

4. А. И. Герцен. С литографии Л. Ноэля, 1847 г. Гос. Исторический музей, Москва (стр. 64—65).

5. Дом в Лондоне, где жил Герцен (на переднем плане Герцен в семейном кругу). С фотографии, 1850-е гг. Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР, Ленинград (стр. 96—97).

6. А. И. Герцен. С гравюры Леммеля; середина 1850-х гг. Гос. Литературный музей, Москва (стр. 112—113).

7. Н. П. Огарев. С гравюры, конец 1850-х гг. (стр. 128—129).

8. Н. А. Тучкова-Огарева с дочерьми Герцена Татой и Ольгой. С фотографии, конец 1850-х гг. Гос. Литературный музей, Москва (стр. 144—145).

9. Н. А. Тучкова-Огарева. Рисунок карандашом Н. А. Герцен, 1859 г. ЦГАЛИ СССР, Москва (стр. 160—161).

10. А. И. Герцен. С фотографии С. Л. Львова-Львицкого, 1861 г. Гос. Литературный музей, Москва (стр. 176—177).

11. Н. А. Тучкова-Огарева с дочерью Лелей. С фотографии, 1862—1863 гг. Гос. Исторический музей, Москва (стр. 192—193).

12 Дом в Теддингтоне, близ Лондона, где в 1863—1864 гг. жил Герцен (стр 208—209)

13. Н. П Огарев С фотографии, конец 1860-х гг. Гос. Исторический музей, Москва (стр. 224—225)

14. Улица Риволи в Париже, на которой Герцен жил последние месяцы своей жизни. С литографии, 1860-е гг.Гос. Литературный музей, Москва (стр 256—257).

15. И. С. Тургенев С фотографии, конец 1860-х гг. (стр 288—289).

СОДЕРЖАНИЕ

Вл. Путинцев. Н. А. Тучкова-Огарева и ее записки 5

ВОСПОМИНАНИЯ

Глава I. Мой дед Алексей Алексеевич Тучков.— Бабушка Каролина Ивановская.— Братья деда.— Затеи деда.— Гостеприимство.— Генерал Торкель.— Столкновение с генералом Нейдгардтом.— Заботы дедушки о воспитании детей.— Мой дед по матери А. С. Жемчужников.— Разорение деда.— Арест.— Переезд семьи в село Яхонтово 19

Глава II. Друзья отца.— Г. А Римский-Корсаков.— Mon Répos генерала К. К. Торкеля.— День ангела бабушки.— Соседи.— Преосвященный Амвросий в селе Яхонтове.— Смерть бабушки и сестры.— Николай Платонович Огарев.— Наша первая гувернантка.— Разлад в семье Огаревых. 28

Глава III. Отец мой как предводитель дворянства.— Деревенская школа.— Воспоминания отца о декабристах.— Норов.— Свидание с М. М. Нарышкиным.— Отношения отца к крестьянам.— Выборы бургомистра.— Рекрутские наборы.— Штраф, наложенный на отца.— Новый священник нашего села.— Столкновение отца с губернатором.— Следствие у соседней помещицы.— Шишков.— Встреча г-жи Перваго с Герценом в Вятке.— Нравы того времени.— Желтухины.— Спектакль. 41

Глава IV. Николай Платонович Огарев.—Сборы к отъезду.— Остановка в Москве и Петербурге.— Первые заграничные впечатления.— Италия.— Свидание с И. П. Галаховым в Ницце.— Рим.— А. И. Герцен и его семья.— Неаполь.— Пропажа портфе-

ля.— Известие о революции во Франции.— Отголоски революции в Италии 53

Глава V. В Париже.— Соотечественники.— Немецкий революционер Гервег.— Июньские дни 1848 г.— Обыск у Герцена и у моего отца А. А. Тучкова.— П. В. Анненков и И. С. Тургенев.— Последняя ночь в Париже.— Встреча с М. А. Бакуниным в Берлине.— Возвращение в Россию.— Граф П. Д. Киселев.— К. Д. Кавелин.— Московский кружок Герцена и Огарева.— Астраков. 64

Глава VI. Наше сближение с Николаем Платоновичем Огаревым.— Хлопоты его о разводе с Мариею Львовною Огаревою.— Поездка в С.-Петербург.— Приятели и друзья Огарева.— Ив. Павл. Арапетов.— К. Д. Кавелин.— И. С. Тургенев.— Мих. Александр Языков.— Собрания у М. В. Буташевича-Петрашевского.— Вечер у Н. П. Огарева.— Спешнев.— Аресты в Петербурге.— Отъезд в Москву.— Розыски священника для обвенчания.— Мой отказ венчаться с Огаревым без его развода.— Поездка в Одессу.— Намерение уехать за границу.— Пребывание в Крыму.— Возвращение в деревню.— Запрещение Огареву носить бороду.— Обыск в деревне.— Арест и увоз отца.— Весть к Огареву.— Тяжелые встречи в Москве и черные дни в Петербурге.— Освобождение отца, Огарева и Сатина.— Веселые проводы.— Ссылка отца в Москву.— Наш отъезд в деревню.— Сожжение книг и бумаг.— Поджог крестьянами писчебумажной фабрики.— Смерть Н. А. Герцен.— Приглашение за границу.— Смерть М. Л. Огаревой и Т. Н. Грановского.— Новое царствование.— Заграничный паспорт. 75

Глава VII. Приезд в Лондон.—Александр Иванович Герцен и его семейство.— Наем квартиры.— Ив. Ив. Савич.— Помощники Герцена: Тхоржевский и Чернецкий.— Типография.— Эмигранты.— Луи Блан.— Маццини.— Готфрид Кинкель и его жена — Орсини — Энгельсон и его жена.— Водворение у А. И. Герцена.— Столкновение с Орсини.— Саффи.— Казнь Орсини в Париже — Воскресные собрания у Герцена.— Перемена квартиры.— Обычный день.— Герцен и его сожители.— Начало издания «Колокола».— Н П. Огарев.— И. С. Тургенев.— В. П. Боткин.— Доктор Девиль. 97

Глава VIII. «Колокол».— Приезжие в Лондон русские: барон Андрей Ив. Дельвиг, князь Владимир Александрович Черкасский.— «Рыцари промышленности».— Купцы — И. С. Аксаков — Русский крестьянин. — Профессора: Каченовский и П В. Павлов — Ив Ив Савич, его поездка из Лондона в С.-Петербург и вывезенные оттуда впечатления.— Свербеев,—

Декабрист князь Сергей Григорьевич Волконский.— Случай с Мих. Сем. Щепкиным.— Художник Иванов.— Бахметев на пути к Маркизским островам и его приношение. 114

Глава IX. Жизнь в Лондоне.— Ворцель.— Саффи и его бракосочетание. — Юноша А. А. Герцен. — Дворовые князя Ю. Н. Голицына в Лондоне.— «Записки императрицы Екатерины II».— Домашний обиход.— Прислуга.— Б. Н. Чичерин.— Переезд в Park-house, за Путнейский мост.— Дома в Лондоне и их внутреннее устройство.— Домашние приключения.— Князь Юрий Николаевич Голицын и его концерты.— И. С. Тургенев и его «Фауст».— Прием посетителей.— Доктор Девиль.— Фурьеристы.— Европеус с женой.— Г. Е. Благосветлов.— «Записки княгини Екатерины Романовны Дашковой» в русском переводе.— Сергей Петрович Боткин.— Александр Серно-Соловьевич. . . . 131

Глава X. Николай Серно-Соловьевич. — Железнодорожники.— В. И. Кельсиев.—Марко-Вовчок.— Случай у Трюбнера.— А. А. Краевский.— Н. Г. Чернышевский.— Князь П. В. Долгоруков.— М. Л. Михайлов.— Русские дамы.— Дрезден.— Сатины.— Т. П. Пассек.— Марко-Вовчок.— Грековы.— В Швейцарии.— Профессор Фогт и его семья. 154

Глава XI. Переезд в Лондон.— Новое помещение.— Несостоявшаяся свадьба А. А. Герцена.— Русский шпион.— Доктор Девиль.— И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой.— Известие в Лондоне об освобождении крестьян в России.—Похороны «Колокола» 170

Глава XII. Приезд Бакунина в Лондон.— Посланные жонда.— Нефтали.— Неожиданная встреча.— Потебня. 184

Глава XIII. «Великоросс».— Михайлов.— «Земля и Воля».— Экспедиция Бакунина в Швецию.— Приезд Бакуниной в Лондон.— Неизвестный шпион.— Guènot de Mussy.— Отъезд Кельсиева в Тульчу.— Вопрос трех русских.— Гончар.— Отъезд Кельсиевой в Тульчу.— Гарибальди в Лондоне.— Наш праздник. 192

Глава XIV. Приезд Гарибальди в Лондон.— Праздник в Теддингтоне.— Печальные последствия.— Весть о кончине моего дяди, Павла Алексеевича Тучкова.— Тяжелое раздумье.— Борнмаус.— Возвращение в Лондон. 204

Глава XV. Жизнь в Монпелье.— Переезд из Ниццы в Женеву.— Русское подворье.— Князь Долгоруков.— Серно-Соловьевич младший. — Переезды. — Ницца. — Оболенские.— Эльзас.— Кольмар.— Пансион для девиц.— В Бебленгейме 215

Глава XVI. Jean Macé.— Опять в Ницце.— Поездка в Голландию и Бельгию.— Виктор Гюго.— Театр.— Приглашение.— Возвращение в Женеву.— Нечаев.— В Париже.— Последнее сви-

дание с С. П. Боткиным. — Поспешный отъезд во Флоренцию — Возвращение в Париж. 232
Глава XVII. Болезнь и кончина А. И. Герцена 248
1871 год 258
Возвращение 273

ПРИЛОЖЕНИЯ

Иван Сергеевич Тургенев. 1848—1870 279
Отрывки из воспоминаний Н. А. Тучковой-Огаревой, написанных для III тома «Из дальних лет» Т. П. Пассек
Письмо Н. А. Тучковой-Огаревой к Т. П. Пассек . . . 292
В Италии 294
⟨Эпизод из нашей жизни в Париже⟩ 297
К запискам Т. П. Пассек «Из дальних лет» 300
Примечания 307
Указатель имен 353
Список иллюстраций 376

Наталья Алексеевна Тучкова-Огарева

ВОСПОМИНАНИЯ

Редактор *В. Волина*
Художественный редактор *И. Жихарев*
Технический редактор *С. Розова*
Корректор *Е. Мезис*

Сдано в набор 20/XII 1958 г. Подписано к печати 25/III 1959 г. Бумага 84×108¹/₃₂
12 печ. л.=19,68 усл.-печ. л. 19,93+15 вкл.=20,68 уч.-изд. л. Тираж 50 000
Заказ 2591. Цена 7 р. 25 к.

Гослитиздат. Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Московского Городского Совнархоза
Москва, Ж-54, Валовая, 28